55+83
И68

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[3] 2001

ПОВЕСТЬ ЖАН-ФИЛИППА ТУССЕНА "МЕСЬЕ" / РОМАН НОРМАНА МЕЙЛЕРА "КРУТЫЕ ПАРНИ НЕ ТАНЦУЮТ" / СТИХИ ФРАНЦУЗСКИХ СИМВОЛИСТОВ / ДВА ЭССЕ МИГЕЛЯ ДЕ УНАМУНО / "СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ" ОЛИВЕРА САКСА / ВЕНГЕРСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ "JELENKOR" / РАССКАЗЫ ДРАГАНА ВЕЛИКИЧА И УРСА ВИДМЕРА / ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АСТ"

Основан в 1891 году

[3]

2001

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Жан-Филипп Туссен. *Месье.* Роман. Перевод и вступление с французского И. Радченко

34 Драган Великич. *Белград.* Рассказ. Перевод с сербского Л. Савельевой

41 Норман Мейлер. *Крутые парни не танцуют.* Роман. Перевод с английского В. Бабкова

138 Урс Видмер. *Рассказы.* Перевод с немецкого Е. Колесова

Литературное наследие — 145 *"Столетье бьют часы..."* Стихи французских символистов в переводе Романа Дубровкина

Документальная проза — 151 Оливер Сакс. *Случаи из практики.* Перевод с английского Р. Шапиро, В. Кулагиной-Ярцевой

Литературная пресса мира — 197 "Jelenkor". Составление, перевод с венгерского и вступительная статья Ю. Гусева

Статьи, эссе — 232 Мигель де Унамуно. *Два эссе.* Перевод с испанского Н. Богомоловой

Трибуна издателя: зарубежная литература в России — 257 *Издательство "АСТ"*

Комментарий — 266 Алексей Зверев. *Исповедь при свете софитов*

Среди книг — 273 С. Пискунова. *Апофеоз Барокко.*
Мария Табак. *Сирин и Набоков: один или двое?*
Марк Соколянский. *Диалог историка и критика*

Авторы номера — 284

© "Иностранная литература", 2001

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Из общего тиража
Институт "Открытое
общество" ежемесячно
выкупает и направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
1 700 экземпляров;
Министерство культуры
РФ выкупает для
библиотек 1000
экземпляров; финансовую
поддержку журналу
оказывает также
Министерство печати РФ.

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
Т. П. Карпова
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников

Ежегодные литературные
премии журнала
спонсирует ЗАО Конверсбанк
[Акционерный банк Конверсии].

Жан-Филипп Туссен

Месье

Роман

Перевод и вступление с французского И. Радченко

От переводчика

Опубликованный в 1985 году первый роман Жана-Филиппа Туссена "Ванная комната" произвел настоящий фурор и сразу сделал автора мировой знаменитостью: книгу наперебой расхваливали критики различных направлений, в том же году она была переведена на три десятка языков и экранизирована (фильм по своему второму роману "Месье" Туссен ставил уже сам и в настоящее время занимается преимущественно кино).

Ж.-Ф. Туссен, бельгиец по происхождению, блистательно образованный эстет, любивший похвастаться тем, что в шестнадцать лет завоевал титул чемпиона мира по скрэблу[1], стал тогда лидером целого направления молодых писателей, среди которых Франсуа Бон, Бертран Визаж, Жан Эшноз, Патрик Древе и другие. Литературоведы поспешили окрестить это направление "новым 'новым романом'", тем более что большинство упомянутых авторов печатались в том же издательстве "Минюи", давшем сорока годами раньше жизнь 'новому роману'. Кстати, патриарх этой школы Ален Роб-Грийе в своей книге "Последние дни Коринфа" называет произведения Туссена в числе немногих, на его взгляд, великих, которые он разбирает на семинарах по французской литературе с американскими студентами.

"Новый 'новый роман' ", безусловно, дитя старого, и все же нетрудно заметить между ними разницу в целое поколение. Романисты эпохи постмодернизма менее всего склонны ломать традиционные структуры, напротив, они восстанавливают сюжет и иллюзию правдоподобия.

© Les Éditions de Minuit, 1992
© И. Радченко. Перевод, вступление, 2001

1. Скрэбл — игра в слова, известная в России под названием "Эрудит". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Название третьего романа Туссена "Фотоаппарат" вступает в полемический диалог с эстетикой "нового романа", формировавшейся под сильным влиянием кинематографа. Литературное творчество, по Туссену, есть, подобно фотографии, заведомо обреченная попытка зафиксировать вечно ускользающее мгновение, остановить бег времени. Его романы состоят из коротких (от полутора страниц до одного слова) фрагментов, разделенных пробелами, или паузами. В этих паузах между стоп-кадрами и течет то самое время, которое невозможно поймать, и пульсирует не поддающаяся фиксации жизнь.

А вот персонажи в кадре преимущественно статичны. Минимум движения, минимум слов, и в этом они похожие на писца Бартльби из одноименной повести Г. Мелвилла, отвечавшего на любые предложения: "Предпочел бы отказаться". По сравнению с туссеновскими, речи персонажей Беккета кажутся многословными и эмфатическими. Не случайно за упомянутой группой писателей закрепилось также название "минималисты" — термин возник в американском искусстве конца 60-х. Представители этого течения (оно называлось еще "холодным искусством" и "буквализмом") стремились достичь эффекта наипростейшими, "минимальными" средствами, скажем, создавая инсталляции из разложенных металлических прямоугольников или гладких, вертикально поставленных параллелепипедов.

Однако теории теориями, а язык Туссена, безукоризненно правильный и вместе с тем парадоксальный, полный скрытого юмора, заставляет нас забыть о литературоведческих "измах" и просто с удовольствием читать его небольшие, и в самом деле минимальные по объему, романы.

В тот день, когда Месье приступил три года назад к исполнению своих новых обязанностей, ему предоставили — отличная мысль — персональный кабинет на шестнадцатом этаже башни "Леонардо да Винчи". Кабинет был просторным и с приличным потолком. Сквозь голубоватое стекло широкого окна открывался вид на город. Толстое дымчатое стекло покрывало письменный стол, расположенный на расстоянии вытянутой руки от двух совершенно одинаковых металлических шкафов и вмещавший шесть ящиков с обеих сторон. Кресло — Месье в этом походя убедился — вращалось.

В последующие дни Месье почти целиком посвящал утреннее время наведению порядка в кабинете. Один за другим он освобождал шкафы, вытряхивал на ковер содержимое ящиков. Он сортировал и методично выносил за дверь, на лестничную площадку, полиэтиленовые мешки со старыми газетами и целые кипы журналов. Книги своего предшественника сложил в коробки, а вместо них разместил на полках собственные папки.

Понемногу он обживался. На второй день принес электрическую кофеварку, подключил ее к единственной розетке, помещавшейся в углу за вешалкой, и временно установил на коробке с книгами. Кофеварка варила превосходный кофе и долго сохраняла его горячим. Каждое утро он выпивал чашечку-другую, посетителей тоже угощал.

Месье легко вписался в коллектив. При всей своей замкнутости он не чурался разговоров в коридоре и, потупив глаза, слушал, как коллеги обсуждают тот или иной животрепещущий вопрос. Потом извинялся, что

вынужден их покинуть, и беспечной походкой удалялся к себе, обтирая небрежной ладонью коридорную стену.

Случалось, еще до обеда Месье спускался в большой застекленный холл на первом этаже, просто так. Обогнув стойки регистраторш, он направлял стопы в кафетерий, где покупал пакетик чипсов с паприкой, например, почему бы нет, и, открыв его на ходу, еще некоторое время прохлаждался. Останавливался перед профсоюзными стендами и, будучи с историей рабочего движения на "ты", задумчиво читал объявления, надкусывая хрустящие ломтики. Затем разворачивался, пересекал холл в обратном направлении, прихватив по пути несколько рекламных проспектов, некоторые из них проглядывал наскоро в ожидании лифта, остальные же клал на банкетку.

Дважды в неделю на полочке для почты Месье ожидала пачка еженедельников и специальных, экономических и финансовых, журналов. Он приносил их к себе в кабинет, просматривал, пролистывал, на иных статьях делал пометки тонкой ручкой марки "рётринг", другие вырезал и складывал в пластиковые папки.

Во второй половине дня Месье, что греха таить, снова спускался в кафетерий. Поддернув складки брюк, усаживался поудобней и заказывал маленькую пива. В эти часы затишья первый этаж, как правило, пуст. Со своего места он видел большой аквариум, где в прозрачной воде перемещались неизменно спокойные существа. В кафетерии почти никого не было. Только девушки из регистрации болтали за соседним столиком, ели мороженое ассорти и попивали кофе.

Если, возвращаясь наверх, Месье встречался в лифте с генеральным директором, то спрашивал, какой ему этаж, и нажимал за него соответствующую кнопку. Поднимаясь, оба разглядывали стенки кабины, но в разных местах. Месье смотрел вниз. Директор же поигрывал брелком. Изредка они перебрасывались фразочками, уместными, само собой. Директор, скрестив руки, внимательно слушал Месье и, судя по лицу, напряженно пытался вспомнить, с кем говорит.

По четвергам директор собирал всех руководящих работников компании, и Месье в их числе. В холле на этаже кнопками прикреплялось объявление, извещавшее о времени заседания, место же оставалось неизменным: прямоугольный зал, в котором все пространство занимал овальный полированный стол. Против каждого стула собравшихся ожидали пепельница и бювар. Месье усаживался на семнадцатое место слева, где, как показывал опыт, его присутствие оставалось максимально незаметным, позади мадам Дюбуа-Лакур, курировавшей значительную часть его дел и оттого отвечавшей на большинство обращенных к нему вопросов, сам же он, спокойно покуривая, на протяжении всего совещания норовил держаться в ее тени, откидываясь назад, когда отодвигалась она, и подаваясь вперед, когда она наклонялась, — чтобы не высвечиваться. Если же генеральный произносил его имя вслух, Месье удивленно вытягивал шею, почтительно кивал и отвечал лаконично, сухо, точно, профессионально. Раз-два и готово. Потом снова прятался за соседку, только пальцы у него слегка дрожали. Совещания продолжа-

лись обычно чуть меньше часа. Когда директор наконец вставал, объявляя заседание закрытым, все поднимались вслед за ним, надевали пальто и расходились группками (вы не видели моих "гаванитос"? — суетилась Дюбуа-Лакур, — такая красная с золотом пачка...).

Дюбуа-Лакур заходила иногда к нему в кабинет с папками в руках. Месье предлагал ей сесть, благодарю вас, говорила она, закидывая ногу на ногу, и протягивала ему бумаги, затем кратко излагала содержание некоторых из них и обращала его внимание на другие в самых общих чертах. Уточнив кое-что напоследок, она оставляла его в одиночестве. Дюбуа-Лакур никогда не подвергала сомнению, и он был ей за это признателен, серьезное отношение Месье к работе. Такое впечатление, будто вы всегда сидите сложа руки, дружески замечала она при случае и проницательно добавляла, что это как раз и есть свойство истинных тружеников.

Когда на прием к Месье являлись посетители, секретарша уведомляла его звонком. Месье поджидал их, сидя за рабочим столом или, лучше, стоя в задумчивости перед широким окном и поправляя галстук. Они входили, он предлагал им кофе. Неторопливо помешивая ложечкой в своей чашке, он приглашал их сесть и, уставившись на собственные пальцы, выслушивал с готовностью. Если попадались среди них деловые, такие, которые, покрываясь испариной, все-таки приходили опять и требовали на сей раз фактов, цифр, "конкретики", он сулил им таблицы или еще эти, как их там, графики. И, закрыв за ними дверь, всерьез задумывался.

Эх, люди, люди!

Раз в неделю Месье играл вечером в футбол в недорогом спортивном зале. В раздевалке он держался особняком. Переодевался неторопливо. У него была красивая экипировка: красная футболка, полотняные бермуды, кеды на толстой подошве. Он выходил на поле последним и начинал разогреваться под внимательными взглядами десятка девиц в тренировочных костюмах, которые наблюдали за игроками из-за боковой и обсуждали каждого. Во время матча, когда подавали угловой у ворот противника, Месье, игравший в защите, устремлялся во вражеский стан и норовил в прыжке ударить по мячу головой. Эй, длинный, давай назад, кричал тренер, спортивная звезда в ауте. Месье пожимал плечами и трусцой возвращался на место, не спуская глаз с поля.

Месье не больно-то любил особей, подобных себе. Нет, не любил. В тот вечер, например, когда он вывихнул запястье, он читал газету на автобусной остановке, поставив спортивную сумку у ног. Какой-то тип, стоявший рядом, обратился к нему с вопросом. Поскольку увлеченный чтением Месье не отвечал, тот счел уместным с робкой улыбкой вопрос повторить. Опустив газету, Месье задумчивым взглядом смерил этого месье с головы до ног. Тогда тот подошел вплотную и грубо его толкнул. Месье потерял равновесие и со всего маху стукнулся рукой о металлическую стойку остановки.

В ту пору у Месье была невеста.

Да, да. Надо думать, ее огорчило, что он пришел под вечер с увечьем. Она принесла из кухни ведерко со льдом, велела опустить в него руку и погладила Месье по голове, утешая, как маленького. Пока он снимал часы, она уселась на ковре по-турецки, затем, надеясь разрядить атмосферу, тем более что Месье не предпринимал никаких шагов в этом направлении, набросала, в соответствии с приметами, которые он указал, портрет того типа с остановки и повесила у входной двери.

Невеста в тот вечер отнеслась к нему с пониманием, поставила у себя в комнате раскладушку и всячески старалась поддержать его в таком деликатном деле, как объяснение с ее родителями. Супруги Паррен, показавшиеся ему при первом знакомстве людьми скорее добродушными, нависли над ним в дверях. Месье сидел на постели, опасаясь, как бы они на него не обрушились; желая оправдать свое присутствие в их квартире, он настойчиво, с расстановкой уговаривал их войти в его положение. Но они его едва слушали. Они хотели одного: выяснить, это их сильно заинтриговало, почему дочь повесила на дверь портрет их друга Карадека.

На другой день ранним утром Месье тихонько крался по коридору и наткнулся на мать невесты в ночной рубашке: на ее заспанном лице читалось недоумение, словно она не помнила, как сюда попала. Чтобы помочь ей сориентироваться, Месье лаконично напомнил ей свое имя и поздоровался, вежливо потупив глаза и уставившись, таким образом, на ее живот, внизу которого просвечивало утреннее благолепие высшей пробы. Хорошо спали? — спросила она, прижав руку к плечу и стараясь держаться к собеседнику в профиль. Месье покачал головой: нет, и показал опухоль на запястье, вызревшую под покровом ночи. Она покосилась на его руку, пролепетала что-то неразборчивое насчет больницы и рентгена и добавила, ускользая бочком, что воду надо спускать очень аккуратно (учту непременно, ответил Месье).

Проблуждав некоторое время по квартире, где расположение комнат то и дело заводило его в тупик, Месье явился на кухню опрятный, в костюме цвета ночной синевы и темном галстуке. Он поддернул брюки и без лишних церемоний опустился на стул. Родитель сидел за столом в одной майке, курил и искоса на него поглядывал. Невеста, по последним сведениям, еще спала. Спит так спит, они с мадам Паррен решили начать завтрак без нее. Желая произвести хорошее впечатление, Месье, несмотря на распухшую руку, сам поднялся и налил себе вторую чашку кофе.

Мадам Паррен не сняла ночной рубашки, но поддела вместительные трусики, так что просвечивала теперь только грудь, чем Месье и пришлось удовлетвориться за кофе. Родитель же, затушив сигарету в блюдце, попросил позволения осмотреть его кисть — из чистого любопытства. Он достал из футляра очки, долго прилаживал их на носу, потом велел Месье присесть на пол, положить руку к нему на колени и расслабиться. Когда Месье уселся, как требовалось, Паррен стал неуверенно ощупывать запястье, затем снял очки и с озабоченным видом заключил: рентген необходим, поскольку иначе ничего не видно.

Месье прекрасно знал, что рентген — пустяковая безобидная процедура, и поддался бы ей без боязни, когда бы для успешного ее осуществления

не надо было ехать в больницу (больницы Месье не больно-то любил). Он снова сел за стол и поинтересовался у Парренов, нет ли случайно врача в доме, желательно рентгенолога. Нет, врача нет, ответили те, за исключением доктора Дувра с третьего этажа. Месье спросил, почему они настроены против доктора Дувра, но мадам Паррен возразила, что вовсе нет, сосед как сосед, и ничего, уверяю вас, между нами никогда не было.

Пока родительница как ни в чем не бывало мыла посуду, Месье, не зная, чем еще заняться на кухне (он уже и так помог убрать со стола свою чашку), порылся в карманах, извлек оттуда какие-то бумажки и принялся поочередно сжигать их над пепельницей, заодно выясняя у мадам Паррен, нельзя ли пригласить доктора Дувра на дом. Вопрос ее несколько раздосадовал, вероятно, оттого, подумалось Месье, что она не в состоянии ответить на него подобающе. Пусть он, Месье, сам ему позвонит да узнает, сказала она.

Телефон Месье не больно-то любил.

Он положил руки ладонями на стол, приподнял один палец, придирчиво осмотрел ноготь так и сяк и, легонько хлопнув по столешнице, вышел из кухни. В коридоре он спросил у Паррена, который направлялся в ванную с инструментами в руках, разрешения позвонить. Когда, позвонив, Месье вернулся на кухню, невеста сидела за чашкой чая и покуривала сигарету. Вы что, знаете телефон доктора Дувра? — спросила мамаша. Нет-нет, охотно поддержал разговор Месье, откуда же нам его знать — просто решил позвонить начальству, чтобы оно не беспокоилось. А я и не знала, что вы работаете, сказала мадам Паррен. И чем же вы занимаетесь? Он коммерческий директор, ответила невеста. Вроде того, подтвердил Месье. Да-да, продолжала невеста, он один из трех или четырех коммерческих руководителей “Фиат-Франс”.

Вроде того, согласился Месье.

Какие у вас цены? — полюбопытствовала мадам Паррен. Что, простите? — переспросил Месье. Какие цены на автомобили? Не знаю, отвечал Месье и постучал пальцами по столу. Надо бы вам поинтересоваться, сказала она. Если вам угодно, поинтересуюсь, сказал Месье. Так-так. Еще вопросы?

После нескольких минут ожидания в обществе ассистентки доктора Дувра Месье, решившийся все-таки отправиться на прием, очутился в докторском кабинете, просторном, с бежевыми стенами, большим письменным столом и белой простыней на кушетке. Дувр, высокий, стройный, изысканный господин лет пятидесяти, выглядевший весьма элегантно в белом медицинском халате, поднялся навстречу Месье, пожал руку и нет чтобы сесть на место, заговорил о том о сем, надвигаясь на пациента, который вынужден был отступать. Загнав Месье в угол, он, не переставая разглагольствовать, смерил его взглядом, мысленно прикидывая, кто из них двоих выше (эх, люди, люди!). И только потом сел. Положив ладони на стол, он спросил, что случилось. Месье объяснил. По ходу его рассказа доктор Дувр проникался к нему состраданием и наконец сказал, что сейчас посмотрит руку, если Месье соблаговолит

снять пиджак. Осторожно ощупывая запястье, доктор задал ему несколько вопросов, на которые, впрочем, сам и ответил, на одни кратко, на иные подробно, и, предупредив: сейчас нажму на кость и будет больно, — с той же непринужденной любезностью спросил, что Месье делает в жизни. В жизни? — уточнил Месье. Нимало не обескураженный такой скрытностью, доктор Дувр поднял к нему исполненное благожелательности лицо и повторил вопрос, сформулировав его несколько иначе, чтобы все-таки добиться ответа. Месье ответил уклончиво. Интересная работа? — спросил Дувр. Да, мне прилично платят, сказал Месье. Полагаю, я зарабатываю больше, чем вы, добавил он. Далее доктор Дувр уже ничего не спрашивал (возможно, Месье следовало с этого начать).

Спустившись к Парренам, Месье позвонил на работу. Ему ответила секретарша, почтительнейше ее поприветствовав, он попросил отменить все намеченные встречи и передать мадам Дюбуа-Лакур, что появится на следующей неделе. Затем он зашел в комнату невесты, собрал вещи и явился на кухню со спортивной сумкой и атташе-кейсом. Пока он усаживался, мадам Паррен сообщила мужу, что жених их дочери — коммерческий инженер. Коммерческий директор, уточнил Месье. Да. И по связям с общественностью тоже немного, сказал он, но это не самая сильная моя сторона.

Да уж. Осторожно массируя больную руку, Месье сказал невесте, что намерен использовать вынужденный перерыв в работе для поездки на Лазурный берег. Невеста удивилась и спросила, что он там собирается делать, Месье не знал, там видно будет, отвечал он. Еще вопросы? Нет. Отлично. До Канна добрался благополучно. В купе с ним ехал немец, но швейцарский.

В Канне Месье остановился в первом же попавшемся у вокзала отеле. По утрам он отправлялся завтракать в кафе в центре города; он покупал газеты, играл на бегах, накапливая скромные выигрыши, даже иногда строил планы, как поедет в Кань-сюр-Мер, где расположен ближайший ипподром, болеть на трибуне. И так далее, и тому подобное. Например, под вечер, в час аперитива, он играл в бильярд в прокуренном зале кафе с молчаливым старичком, который время от времени прерывал игру и удалялся кушать канестрели. В молодости старичок играл, видать, неплохо, но соперничать с Месье не мог. Нет. Тем не менее они прониклись взаимной симпатией и угощали друг друга аперитивом. А однажды вечером старичок, широкая натура, даже пригласил его поужинать.

За день до отъезда Месье позвонил своему приятелю Луи, у которого была вилла в горах около Ванса. Приятель позвал его к себе и под вечер заехал за ним в Канн на своем "фольксвагене".

Пока они по мокрой дороге поднимались в автомобиле к Вансу, Месье, насупившись, копался в бардачке, надеясь найти сигару, и рассказывал Луи об опыте Шредингера — абстрактном, понятно: кошку помещают в замкнутое пространство, где устанавливают пробирку с цианистым калием и детектор с радиоактивным атомом; в случае расщепления атома детектор запускает механизм, разбивающий пробирку, и умерщвляет

кошку (эх, люди, люди!). Но это еще не все. Нет. Вероятность того, что вышеупомянутый атом распадется в течение часа, равна пятидесяти процентам. В задаче спрашивается: жива или мертва будет кошка через шестьдесят минут? Возможны только два варианта, правильно? Ты все-таки поглядывай на дорогу, сказал Месье. Однако, по мнению Копенгагенской школы, кошка через час будет ни жива, ни мертва, с равными шансами выжить или окочуриться. Ты скажешь, можно без ущерба для эксперимента заглянуть и проверить, потому что от одного взгляда кошка не умрет и не оживет, если уже умерла. Между тем, опять же по мнению Копенгагена, один-единственный взгляд коренным образом меняет математическое описание ее состояния, поскольку из ни живой, ни мертвой кошка превратится либо в безусловно живую, либо в окончательно мертвую: это уж как повезет.

В жизни всё так.

То-то и оно. После ужина, поздно ночью, Месье и Луи совершили отрезвляющую прогулку под зонтиком в мокром саду. Они шлепали изящными ботинками по грязи, освещая себе путь фонариком, а впереди бежал хозяйский пес, с виду спаниель, иногда он останавливался, поджидая их, и отряхивался, окутанный снопом света.

На другой день спозаранок, пока Луи еще спал, Месье прошелся босиком по непросохшей лужайке, а затем позавтракал в одиночестве, глядя вдаль. В саду между платаном и засохшей мимозой висел — о искушение! — гамак. Месье не устоял и, подталкиваемый легким ветерком, пустился в плавание, скрестив ноги, с открытыми глазами, следуя мыслями за колебательными движениями своего тела, не забегая вперед, но и не отставая. Иногда он вытягивал руку за голову, касался гладкого ствола платана, тормозил, останавливался полностью, потом отталкивался и снова запускал гамак слева направо, туда-сюда, часами.

После обеда они отправились с Луи за дровами на поляну чуть ниже по склону. Часок-другой попилили и пошли назад. Тяжелые бревна они оставили на месте, маленькие и даже средние ветки взвалили на плечи, а кое-какие потащили волоком. Обратный путь по тенистой, плавно поднимающейся дороге был долог.

Затем наступило время возвращаться в Париж.

Вечерами после ужина Месье частенько играл на кухне в скрэбл с родителями невесты, он сам записывал очки в три столбца на листе бумаги. Разбирательства в отношении орфографии далеко не заходили, поскольку Месье позволял им в спорных случаях справляться по словарю, а если замечал, что они косятся на соседние страницы и тайком подглядывают новые слова, то виду, бог с ними, не подавал. Паррены нашли, что Месье уживчив и предупредителен, и мало-помалу приняли его в свою семью.

Не Месье, а идеальный зять, прямо Поль Гют[1] какой-то.

1. Поль Гют (1910—1997) — французский писатель, противопоставлявший в своих романах патриархальное прошлое настоящему.

Впрочем, когда он порвал с невестой, Паррены, возможно, стали испытывать некоторую неловкость оттого, что он продолжает жить у них в доме. Месье, откровенно говоря, не смог бы объяснить причину разрыва. Он, собственно, не очень-то и вникал, помнил только, что количество высказанных упреков показалось ему значительным.

Невеста тем временем, сойдясь с неким Жан-Марком, человеком зрелых лет, дельцом и к тому же женатым, все чаще не ночевала дома, а если случалось ей заглянуть к родителям на ужин, держалась с Месье весьма холодно и отстраненно. А Жан-Марк этот вообще почти с ним не разговаривал, зато с порога, еще не сняв пальто, начинал рассыпаться в любезностях перед родителями, рассчитывая, вероятно, что они закроют глаза на его связь с их дочерью (между прочим, несовершеннолетней).

Месье, со своей стороны, по-прежнему поддерживал со всеми наилучшие отношения. Паррены, например, легко усвоили, что его мало прельщает возвращение в дом брата, и даже не доискивались причин, а наоборот, всячески поощряли его желание снять себе квартиру. По утрам, когда после душа он выходил к завтраку в банном халате, они непременно интересовались результатами поисков, и более того, мадам Паррен простерла свою любезность так далеко, что однажды взяла дело в свои руки и подыскала-таки ему трехкомнатную квартиру поблизости от них.

Новая квартира Месье, состоявшая из трех больших комнат, можно сказать, без мебели, пахла краской. Только в спальне стояли стол, кровать и складные стулья. Прочие помещения пустовали, за исключением прихожей, где он сложил чемоданы, две коробки журналов и портативную пишущую машинку. Вселившись накануне, Месье так ничего и не распаковал, ни к чему не притронулся. Он устроился в шезлонге посреди спальни, света не зажигал. Одетый в серый костюм, белую рубашку и темный галстук — предмет зависти окружающих, он слушал радио и поглаживал себя то по щеке, то ниже пояса, по тем местам, какие попадались под руку, однако от сознания, что он все время у себя под рукой, легче не становилось.

Вот и этот вечер в своей новой квартире Месье также провел без затей, в состоянии, когда отсутствие боли воспринимается как удовольствие, а отсутствие удовольствия — как боль, вполне, однако, терпимая. Темно-синий полотняный шезлонг допускал три положения, которые Месье и принял одно за другим от более или менее вертикального до все более и более горизонтального по мере приближения ночи. Когда она пришла, он до предела опустил спинку и, закрыв гдаза, плавно отклонился назад чуть не до самого пола.

Часов эдак в одиннадцать в дверь позвонили. Да. Месье широко открыл глаза, словно не верил своим ушам, обвел взглядом потолок, потом поднялся и пошел в коридор открывать. Незнакомый человек, стоя в профиль к нему на темной площадке, сообщил, что они соседи, каковое обстоятельство его, по всей видимости, очень забавляло (эх, люди, люди!). Меня зовут Кальц, сказал он и протянул руку: Кальц. Потом заверил, что

он на минутку, обошел Месье и заглянул в квартиру, полюбопытствовав мимоходом, что Месье делает в жизни. Сам Кальц — геолог, минералог, если угодно. Работает в Национальном научно-исследовательском центре. Только что возвратился с отдыха на острове Корфу. Возраст — сорок семь лет. Очень возможно, ответил Месье и предложил ему чего-нибудь выпить, скажем, вина, тем более что ничего другого у него не было.

Сидя на кровати против Месье, Кальц объяснил ему, что, поскольку они теперь соседи, они кучу всего смогут делать вместе, затем, не теряя ни секунды даром, поведал, поглаживая ладонью покрывало, что задумал написать трактат по минералогии, и тут же пустился в общих чертах излагать содержание. Воодушевляясь от собственного рассказа, он очень скоро стал уговаривать Месье работать вместе с ним; книга уже полностью сложилась у него в голове, говорил Кальц, он знает подходящего фотографа, а также картографа, осталась малость — написать текст, для чего как раз он бы с радостью прибегнул к услугам Месье. Если ты согласишься, добавил он. Месье поглядел на собеседника. Воцарилось молчание, похоже, Кальц ждал ответа, и Месье на всякий случай спросил, сколько времени, по его мнению, займет написание книги. Год, ответил тот. Месье не спеша налил себе еще вина и как нельзя спокойнее признался, ставя бутылку на пол, что не располагает временем и ровно ничего — по меньшей мере — не смыслит в минералогии. Не беда, сказал Кальц и принялся объяснять, что все берет на себя, а от Месье потребуется одно: печатать текст под его диктовку. Подлей-ка мне, пожалуйста, вина, сказал он. Дабы заинтересовать Месье еще сильней, он намекнул, что авторские права они поделят: треть одному и две другому, и прибавил, что книга непременно будет опубликована, как он полагает, скорее всего, в Штутгарте, далее следовало скромное упоминание престижного научного издательства. И поскольку, похоже, он снова ждал ответа, Месье спросил, не разумнее ли для издания в Штутгарте — ведь вы говорили о Штутгарте, не так ли, — написать книгу по-немецки. Кальца такое соображение нисколько не смутило, он сказал, что их сочинение можно будет потом перевести на немецкий или даже издать во Франции. Так что, по рукам?

Месье не умел отказывать.

Мир минералов, в частности кристаллов, привлекает не только некоторых специалистов, но и все более и более широкую публику. Всякая твердая порода, включая сыпучие, состоит на самом деле из кристаллов, редко видимых невооруженным глазом, и не случайно до начала двадцатого века об их строении мало что было известно. С открытием рентгеновских лучей и опытами фон Лауэ, направлявшего эти лучи на кристаллы и фотографировавшего их отклонение, родилась новая ветвь науки: кристаллография.

Итак, все выходные (в будни Месье работал) Кальц диктовал ему свое исследование. Расхаживая по комнате с папкой в руках или устроившись с удобствами на постели Месье, разложив перед собой бумаги, приподняв очки, серьезный и сосредоточенный, он планомерно воплощал свой замысел. Месье сидел за письменным столом и печатал, время от времени приподнимая голову, чтобы получить необходимые разъясне-

ния. В первые дни Кальц, путавшийся от возбуждения в собственных записях, злился, когда Месье уж слишком часто, как ему казалось, перебивал его вопросами, минералог даже позволил себе поиронизировать, что Месье, дескать, печатает двумя пальцами, но тот быстро и, так скажем, сухо поставил соседа на место — с тех пор Кальц старался диктовать медленнее.

Берилл, mit zwei[1] "л", минерал, содержащий алюминий и бериллий, представляет собой гексагональный кристалл, тогда как топаз, являющийся, как мы уже говорили, силикатом алюминия и фтора, кристаллизуется в ромбической системе. Гранаты, сложные силикаты алюминия и кальция, магния, железа, марганца или хрома, используются в ювелирной промышленности ввиду их кубической сингонии.

Месье не выдержал и обратился к мадам Дюбуа-Лакур.

Услышав, в чем дело (Месье звонил с улицы из автомата, поскольку в комнате у него сидел Кальц), Дюбуа-Лакур поначалу сказала, что надо было ему отказаться сразу, и посоветовала просто объяснить соседу, что он не может проводить с ним все выходные. Но Месье только обреченно повторял, что ситуация, по его мнению, сделалась совершенно безвыходной. В конце концов она рассердилась и напоследок буркнула раздраженно, что лучше бы ему решать свои проблемы самому.

Нет, не лучше. Положение было пиковое.

Редко встречающееся самородное золото, с незапамятных времен привлекавшее людей великолепными оттенками цвета, кристаллизуется в кубической сингонии. Традиционно считающееся самым ценным из минералов, золото является идеальным металлом, его символика неисчерпаема: у брахманов оно почитается символом знания, у ацтеков — новой оболочкой Земли. Догоны же предпочитают объяснение более духовного свойства, считая золото экстрактом красной меди, символа очистительного огня и вдохновения, о чем свидетельствует слово "sanuya", которое можно перевести на немецкий как "Reinheit", т. е. чистота, и которое происходит от слова "sanu", что означает золото: ZAHB.

Месье счел, что разумнее всего переехать.

Дюбуа-Лакур вызвалась отвезти его посмотреть новую квартиру, которую сама же ему и нашла; а если точнее — то комнату в квартире у ее знакомых. В шесть часов они вместе ушли с работы и спустились в подземный гараж, где между двух бетонных колонн был втиснут ее автомобильчик. Симона запустила на заднее сиденье двух своих собачонок, объясняя попутно, что рассчитывает войти в состав делегации, которую их компания направляет в Японию, потом села сама и перегнулась вправо открыть дверцу Месье. Тот подобрал полы пальто, низко наклонил голову и, скрючившись, полез в машину вперед ногами, вернее ногой. Дюбуа-Лакур тронулась тотчас, Месье еще не успел пристегнуть ремень безопасности, как они уже выкатили на свежий воздух.

1. С двумя (*нем.*).

Нескоро, очень нескоро они въехали в узкую улочку одного из отдаленных районов. Дюбуа-Лакур притормозила и остановилась перед старинным домом с палисадником, обнесенным оградой. Здесь она его и высадила, снабдив необходимыми указаниями, поскольку и так уже потеряла кучу времени в пробках и идти с ним в квартиру не могла. Месье остался стоять на тротуаре, глядя вслед удаляющейся машине. Когда та скрылась, он пошел дальше по улице. Она была тихой, пустынной. Он прогулялся по кварталу, завернул в кафе, выпил пива, купил сигарет. Потом вернулся назад и снова оказался перед домом.

Как быть?

Аккуратный, тусклый, свежевыкрашенный фасад. На третьем этаже, куда ему предстояло подняться, все окна были наглухо закрыты, причем два из них забраны железными ставнями. В сумрачном вестибюле Месье разыскал выключатель, потоптался у почтовых ящиков, рассеянно читая фамилии жильцов, потом неуверенно ступил на лестницу. Широкие ступени покрывал ковер, крепившийся тонкими позолоченными стержнями. Дойдя до второго этажа, Месье остановился в нерешительности и, подарив себе последнюю отсрочку, спустился вниз, дабы воспользоваться лифтом.

Массивная, темного дерева дверь квартиры на третьем этаже имела две створки с серебряным молоточком на каждой. Месье легонько постучал и, не услышав ни звука в ответ, собрался было уйти, но тут у него за спиной открылась другая дверь. Поспешно обернувшись, он принялся объяснять, что хотел бы видеть кого-нибудь из Леганов. Я — Леган, сказал человек в дверях и, впустив Месье в большую темную прихожую, молча посмотрел ему в лицо, после чего пригласил следовать за ним. Они прошли чередой коридоров, затем наискосок через столовую, где вкушала ужин — приятного аппетита, мадам! — престарелая особа, и некоторое время спустя добрались до кабинета, помещавшегося в самом дальнем конце квартиры. Устроившись за небольшим секретером, Леган стал задавать Месье вопросы, поинтересовался возрастом: двадцать девять.

Коротенько перебрав общих знакомых, сводившихся, в сущности, к одной Дюбуа-Лакур (с Симоной я сто лет знаком), Леган объяснил, что если и решился сдать комнату студенту, то, разумеется, не из-за каких-то там тысячи двухсот франков, которые он за нее просит. Полагаю, вы все еще студент? И, предупреждая ответ, Леган заверил Месье, что ни на чем не настаивает. Просто они с женой подумали, что жилец мог бы раз или, скажем, два в неделю консультировать их сына, помогать ему делать уроки. Видите ли, сказал он, задумчиво поигрывая ножом для разрезания бумаги, у нашего Людовика очень широкий круг интересов для мальчика пятнадцати лет. Он и киноман, и эллинист. Но в школе, как бы это сказать, ему трудно приспособиться к слишком жесткой системе, граничащей с принуждением. Второгодник он, заключил Леган и поднялся, чтобы показать Месье отведенную ему комнату.

В комнате царил запах воска и засохшей спермы. Шторы были задвинуты. Темного дерева паркет в полумраке казался черным. Это комната мо-

ей матери, пояснил Леган вполголоса. Понятно, прошептал Месье. У стены стояла какая-то старинная штука с зеркалом и тазом, вероятно, умывальник. Над кроватью висело распятие и покоились в резных рамках побуревшие от времени фотографии. Леган зажег ночник, открыл шкаф и показал Месье полки, чистенькие, накрытые бумагой в цветочек, прикрепленной кнопками. Некоторое время они смотрели внутрь шкафа, одобрительно кивая, затем закрыли каждый по створке и вышли вон. Ну вот, сказал Леган, если хотите, можете въезжать уже на этой неделе.

Нет.

Месье сказал "нет". Леган взглянул на него без неприязни, заверил, что прекрасно его понимает, в любом случае, прибавил он, время подумать еще есть. Он любезно закрыл дверь и отправился провожать Месье. Они медленно двинулись друг за другом по петляющему коридору, снова прошли через столовую, и все еще ужинавшая старушка с умилением посмотрела им вслед.

Итак, встречаемые в природе кристаллы не всегда идеальны, они имеют дефекты, такие как дислокация, то есть нарушение порядка упаковки слоев, выявляемые посредством дифракции рентгеновских лучей методом топографии на отдельных участках или же путем анализа изменений интенсивности отражения лучей кристаллом в целом. В эту минуту в дверь позвонили. Кальц в изумлении прервал диктовку и с листочком в руке и легкой досадой на лице повернулся к Месье, вопрошая взглядом, не ждет ли тот кого. Нет, нет. Пойду посмотрю, сказал Кальц и, опережая хозяина, шмыгнул к выходу: наверное, это мадам Понс-Романов, бросил он через плечо и прибавил, что позволил себе попросить ее по возможности заглянуть вечерком.

Когда Кальц провел ее в квартиру, мадам Понс-Романов, если, конечно, это была она, — застенчивая на первый взгляд блондинка в светлом меховом жакете, изящном и вполне к лицу, — осталась стоять в замешательстве посреди комнаты. Кальц пригласил ее располагаться в шезлонге. Она села с опаской, сумочку положила на колени и одарила Месье смущенной улыбкой. Кальц не обращал на нее внимания, он сортировал разложенные на постели бумажки, проглядывал карточки. Через минуту я буду в вашем распоряжении, сказал он, вот только сейчас закончу. Одну за другой он открыл несколько папок, но безрезультатно, пояснил, что не может найти исключительно важный документ, и отправился искать его к себе в квартиру, оставив Месье наедине с мадам Понс-Романов.

Понятия не имея, кто эта дама, Месье поначалу сидел за столом, хотя нет-нет да и поглядывал на нее искоса. Затем, поскольку Кальц не возвращался, он пересел на кровать поближе к гостье, а та, держась в шезлонге чрезвычайно прямо, время от времени вынимала ножку из туфли и, легонько потирая ее о другую, посматривала на него из-под опущенных век. Месье, отвечавший вежливой улыбкой всякий раз, когда их взгляды встречались, решился в конце концов завести беседу и высказал предположение, что она, должно быть, подруга Кальца. В общем-то, нет, отвечала она, я с ним едва знакома.

Ну-ну. Посидев, Месье поднялся и в ожидании Кальца принялся перечитывать работу. Найдя на странице несколько опечаток, он открыл флакончик с корректорской замазкой, наложил кисточкой там-сям несколько хирургических мазков и подул на листок. Кальц не возвращался; Месье закурил сигарету и, пройдя вдоль шезлонга, протянул пачку мадам Понс-Романов — для пущей непринужденности.

Вернувшись, Кальц извинился, что заставил себя ждать, и, уверенный, будто мадам Понс-Романов известно, зачем они с Месье прибегли к ее услугам, сказал, что готов предоставить любые дополнительные разъяснения — относительно расценок, в частности. Посчитав в уме, он добавил, что для книги в целом вряд ли понадобится более двух десятков карт, а из них только стратиграфические могут, по его мнению, представлять трудность, поскольку, как ему уже доводилось говорить ей ранее, он по-прежнему задается вопросом, нельзя ли на классической хорохроматической проекции вместо традиционных разрезов применять наложение цвета на каждом отдельно взятом участке. Думаю, можно попробовать, согласилась мадам Понс-Романов, обращаясь к Месье.

Месье, со своей стороны, возражать не стал, он стоял спиной к окну и разглядывал Кальца, только теперь заметив, что во время своего продолжительного отсутствия тот вовсе не искал затерявшийся документ, а просто-напросто переодевался. Вместо привычной заношенной куртки с шарфом он явился в элегантном костюме тонкой серой шерсти, белой рубашке и бабочке. В таком наряде он сидел теперь на краю постели, скрестив ноги, и излагал мадам Понс-Романов свои впечатления от ее последней статьи, напечатанной в журнале, издаваемом при участии Национального научно-исследовательского центра, которую он, Кальц, будучи несогласным в деталях, находил весьма содержательной. Затем, не зная, куда девать руки, он встал, поддернул манжеты и предложил пойти к нему выпить аперитив, тем более, проговорил он как бы застенчиво, что шампанское уже охлаждается и он приготовил тосты. Тут он испугался: не хватил ли через край, и поспешил заверить гостью, что ничего, в сущности, и не готовил, а лишь помазал сухарики керлингом и открыл баночку рольмопсов.

Продолжая аргументировать в коридоре свое восхищение статьей мадам Понс-Романов, о которой, если не вдаваться в подробности, он только и мог сказать, что она содержательна, Кальц приостановился на пороге, галантно пропуская даму, и, целомудренно опустив глаза, некоторое время мечтательно глядел на ее раскачивающиеся бедра, затем догнал ее и — вы позволите? — распахнул перед ней дверь своей квартиры. Они проследовали в прихожую, а Месье, руки в карманах, за ними. Хорошо, что вы тоже пришли, бросил ему Кальц через плечо.

Гостиная, куда провел их Кальц, как видно, только что подверглась грандиозной уборке, имевшей результатом весьма благопристойный беспорядок: очечник, забытый на низеньком столике, раскрытая книга на ручке кресла. Кальц, не успев войти, стал извиняться за хаос в квартире, он захлопнул книгу и поставил ее на полку с такой неподдельной естественностью, что у Месье возникло подозрение, не отрепетировал ли хозяин этот жест. Не обратив ни малейшего внимания на старания Каль-

ца, мадам Понс-Романов прошла прямиком к окну и, зябко кутаясь в шубку, устремила наружу рассеянный взгляд. Вскоре Месье заметил, что смотрит она, оказывается, на него, точнее на его отражение, и смущенно ей улыбнулся, а затем, когда Кальц объявил, что сейчас принесет шампанское, принялся осматривать библиотеку, где среди книг были выставлены образцы камней, причем наиболее ценные хранились в застекленном шкафу под стеклянным колпаком. Нагнувшись, Месье прочитал названия некоторых пород, машинописные таблички сообщали также об их свойствах и происхождении, потом он отошел и сел. Тогда мадам Понс-Романов неспешно скинула шубку, повесила ее не глядя на спинку стоящего рядом стула, развернулась на сто восемьдесят градусов и, наблюдая за производимым эффектом, плавным шагом направилась к креслу в облегающем шерстяном платье, сквозь которое проступали едва сглаженные очертания старомодного нижнего белья.

В дверях появился Кальц, катя перед собой нагруженный сервировочный столик; с отрешенным видом пересекая гостиную, он спросил у мадам Понс-Романов, когда она полагает приступить к работе над картами, затем поставил ведерко со льдом на низкий стол и уселся на диване, перекинув через руку белую салфетку для шампанского. Мадам Понс-Романов объяснила, что в ближайшие дни закончит имеющиеся у нее заказы, один или два, а потом, вот вам слово, непременно попытается изыскать время для их трактата. Месье кивнул и продолжил задумчиво оглядывать негритянские маски и щиты на стенах. Ты, может, шампанское все-таки откроешь, сказал ему Кальц и тут же предупредительно обратился к даме, услужливой рукой указывая на блюдо: рольмопс?

Месье поднялся с неохотой, взял салфетку с руки Кальца, достал из ведерка со льдом бутылку не шампанского, нет, а игристого, по виду не подал и откупорил ее на манер реймского, отклонив горлышко от себя и наставив его при этом на Кальца, провожавшего взглядом все его движения. Мадам Понс-Романов, нисколько не прельстившаяся рольмопсом, вдобавок, как выяснилось, не употребляла спиртного, но, желая оказать мало-мальскую честь кальцеву угощению, напомнила, призвав Месье в свидетели, что хозяин, кажется, хотя, впрочем, она могла и ошибаться, и в таком случае это, право же, не имеет никакого значения, говорил о тостах с керлингом. Чуть не забыл, спохватился Кальц и, вскочив поспешно, устремился на кухню, предлагая на ходу заменить ей шампанское швепсом.

Вернувшись из кухни, Кальц сел и стал наливать в бокал для шампанского швепс, не спуская глаз с бурлящих пузырьков, словно бы перед ним был перегонный аппарат, и заодно излагая мадам Понс-Романов основные направления своей работы. Признавшись чистосердечно, что ему все-таки немного неловко предлагать для чтения недозрелый плод своих трудов, он осведомился, протягивая ей бокал, не жаждет ли она ознакомиться с первыми страницами текста, и поскольку она, хоть и не жаждала, ничего не возразила по существу, а лишь беспомощно и обреченно развела руками, Кальц послал Месье за рукописью.

Чуть погодя Месье явился в гостиную с пачкой бумаг и положил ее на стол. Кальц раскрыл рукопись и, нацепив очки, сообщил Месье, небреж-

но листая страницы, что мадам Понс-Романов пригласила его, Кальца, провести уик-энд в ее загородном доме, где она устраивает прием для друзей, и что она зовет приехать также и Месье, дабы не срывать работу над книгой. Пишущую машинку не забудь, добавил он, приподняв очки. Она у него маленькая и скверная, извинился он перед гостьей, зато легкая.

В день их приезда, под вечер, возле освещенного дома, из которого через открытые окна доносились далекие голоса, Месье с мадам Понс-Романов сгребали опавшие листья в саду. Потом они убрали грабли, навели в сарае порядок и отправились в дом, где она представила ему немолодую пару, а затем, не прерывая беседы, поднялась на второй этаж. Зайдя в свою комнату, она пальчиком оттолкнула Месье и, томно закрывая дверь перед самым его носом, сообщила, что сейчас переоденется — надо думать, в юбку.

•

Поскольку комната его помещалась этажом выше, а лестница полнилась гулом шагов, Месье, не зная, куда податься, предпочел остаться на месте; он расхаживал взад-вперед по коридору, а дойдя до лестничной площадки, перегибался через перила и глядел вниз. Потом, испугавшись, что его застанут слоняющимся без цели, взял с полки книгу и сел на укромный стул в углу возле комода. Книгу он положил на колени и открыл для вида, на случай, если кто-нибудь подойдет. Кем-нибудь оказался, разумеется, Кальц, вдруг возникший перед ним в первоклассном костюме, первозданной белизны рубашке и безупречной бабочке; чем ничего не делать, сказал он с головой погруженному в чтение Месье, не лучше ли спуститься к другим гостям. Оторвавшись от книги, Месье поставил ее на место и попросил Кальца подняться с ним наверх, в его комнату, за галстуком, тем самым, "предметом всеобщей зависти", но Кальц ответил, что сойдет и так, и более того, пока они спускались, посоветовал ему вовсе не носить этот галстук, уж больно чудно он смотрелся с желтым свитером.

Супруг мадам Понс-Романов, имевший, по-видимому, какое-то отношение не то к экспорту, не то к импорту и как раз рассказывавший о своих делах, вел разнообразную биржевую и финансовую деятельность, хотя сказать точно, в чем именно она заключалась, не мог никто, включая его самого, если судить по тому, что он говорил. В гостиной перед камином пили аперитив многочисленные друзья Романовых и в их числе две знаменитости: заместитель министра — о существовании такого портфеля Месье и не подозревал — и один американский ученый, еще не прибывший. Когда мадам Понс-Романов, упрятав волосы в целомудренный пучок, спустилась в расклешенной юбке к гостям, ей представили тех, с кем она не была знакома, — вереницу женщин и мужчин, последние при этом вставали. Заместитель министра был человеком суровым, одетым строго, с черными-пречерными зализанными волосами, в толстых роговых очках, за которыми мерцал непроницаемый взгляд, из тех, что ломают карьеры. Он слегка изогнулся, целуя ручку мадам Понс-Романов, скорбным голосом произнес, что счастлив познакомиться. Засим подернул брюки и с самодовольной полуулыбкой погрузился в глубокое кресло. Во все время аперитива он сидел выпрямившись, чуть склонив

голову набок, благожелательно прислушиваясь к разговорам и время от времени поднимая на присутствующих глаза магараджи.

Пока Месье (глаз не поднимая) любовался исподволь качеством кожи собственных ботинок — один из них он, закинув ногу на ногу, ухитрился выставить на свет, — Романов, развалившись в кресле, объяснял со знанием дела, держа стакан виски в руке, хлопавшему глазами заместителю министра, что, по сообщениям журнала "Восток-Запад", беспристрастность которого может подвергнуть сомнению разве что отпетый коммунист, на территории Советского Союза введен в строй целый ряд новых радарных установок, в том числе в Оленегорске, Печоре, Сарышагане, Ляки и Пушкино. В Красноярске, кажется, тоже, добавил он, чтоб ничего не упустить, в то время как стоявший рядом Кальц, избрав себе в слушательницы пожилую даму, рассказывал ей о своей книге.

Поднявшись после ужина в свою комнату, Месье не стал ложиться. Нет. Он потушил свет и, стоя босиком у окна, некоторое время смотрел в сад, где прямые аллеи перемежались темными лужайками. Потом, когда погас последний огонек и весь дом погрузился во мрак, он открыл окно и, глядя поверх черных крон в небо, тщетно пытался представить себе искусственные спутники, оставляющие сплошной светящийся след.

Месье, он тоже по-своему упрям.

На другой день в саду перед террасой Романовы угощали гостей шашлыками, зажаренными на мангале-автомате. Всякий раз, когда световой сигнал загорался над одной из двенадцати секций прибора, готового, казалось, взлететь под напором скопившегося внутри дыма, Романов, с трудом поспевая за ходом событий, с полотенцем за поясом и вилкой в рукавице, доставал шампур из печи, заменял другим, опускался на колени проверить термостат и неуверенно поворачивал ручку хронометра соответствующей секции. Приготовленный на скорую руку обед подавали — как это мило! — без всякой сервировки. На красновато-коричневой с золотистым отливом скатерти стояли два непритязательных подноса, на одном — приправы, горчицы, корнишоны, перчики, майонезы, соусы беарнские, острые, сладкие, томатные и мадеровые, на другом — тарелки стопкой: всё так запросто, что просто чудо. Кальц сидел на нижних ступеньках лестницы, сняв пиджак и расстегнув ворот. Слегка откинувшись назад, он беседовал с заместителем министра об итальянском кино. Я, знаете, давно уже не был в кино, говорил тот. Феллини, не унимался Кальц, Коменчини, Антониони. Антониони, прибавил он, ах, Антониони. Послушайте, у меня нет времени ходить в кино, отмахивался суровый чиновник. К сожалению, у меня тоже, признался Кальц. Так они жаловались друг другу и все сильнее огорчались и в конце концов надумали бросить работу.

После обеда, обставив замминистра в пинг-понг двадцать один — четыре, Месье с отсутствующим видом перешел на другую сторону стола, лениво везя по нему ракетку, и без всякой охоты предложил чиновнику отыграться, но тот, чем снова продувать несимпатичному юнцу, наверняка коммунисту, предпочел пойти почитать на солнышке. Когда Месье присоединился к другим гостям, в саду был уже сервирован кофе, кто-то

прогуливался по аллеям, кто-то дремал в шезлонге. Тут же рядом мадам Понс-Романов попивала кофе, ах, вот оно что, наедине с Кальцем. Не прилечь ли нам отдохнуть, предложил Кальц, затем поднялся и ненавязчиво двинулся за мадам Понс-Романов след в след.

Супруга замминистра, толстая, элегантно одетая молодая особа, провела всю вторую половину дня на террасе, она сидела в плетеном кресле, подтянув колени к подбородку, и крохотными туалетными щипчиками старательно выдергивала волоски на ногах. Время от времени, устало приподняв голову, она сквозь падавшую на лицо шевелюру осматривала очередного наглеца, осмелившегося ее потревожить, и вздыхала. Нет, она ничего не желает выпить. Нет, она не хочет гулять. Она хочет одного: чтоб ее оставили в покое, у нее еще работы по горло, а лето уже на носу.

Остаток дня после блаженного отдыха Кальц расслаблялся в качалке, читал какую-то попавшуюся под руку книжонку, потом закрывал ее, пил апельсиновый сок, курил, наблюдал рассеянно за садовником, подстригавшим кусты роз (из-за соломенной шляпы не сразу распознав в садовнике Месье), и сожалел, должно быть, только об одном: Романов затеял стрельбу по летящим мишеням, отчего он, Кальц, подскакивал при каждом выстреле.

Месье, нашедшего было прибежище среди роз, которые он тщательно обрабатывал секатором, а потом одну за другой черенковал, очень скоро настиг сын Романовых Уго, внезапно проникшийся к нему симпатией и с самого обеда теребивший его, требуя сыграть с ним в пинг-понг. Не зная, как от него отделаться, Месье в конце концов поддался на уговоры матери, замолвившей словечко за сына, и согласился. Даю тебе пять очков форы, приятель, сказал он, беря ракетку. Вы что, смеетесь? — ответил мальчик. Ну хорошо, девять, расщедрился Месье. Широкой души человек. Вы что, смеетесь? — повторил Уго, в пинг-понге я — бог. И действительно, партия получилась жаркой. Месье засучил рукава, снял ботинки. Босой, разъяренный, обливаясь потом (вам следует остановиться, воскликнула мадам Понс-Романов, вы же весь красный), он сопротивлялся изо всех сил. Уго играл технично, гибко, подвижно. Свеча, свеча, гас: такие не берутся. Месье вошел в раж — ну совсем другой человек, — взгляд его был ужасен, он закатал брюки, потом снял часы, чтоб получить секундную передышку. Когда под конец игры он приноровился парировать смэши и выиграл несколько мячей подряд, Уго признал, что в молодости Месье, возможно, и умел играть.

Принимая во внимание вышеизложенные положения, необходимо снова обратиться к симметрии кристаллов, не забывая, что для описания кристаллической решетки достаточно знать размещение атомов в элементарной ячейке, повторением которой путем параллельных дискретных трансляций образуется вся структура кристалла.

Ближе к вечеру они смогли спокойно поработать около часа, уединившись в комнате на третьем этаже. Затем Кальц, собрав бумаги, предложил Месье прогуляться напоследок. Бок о бок они пошли по аллее; Кальц наслаждался воздухом и рассуждал о том, как продвигается его ра-

бота, а розоватая вечерняя заря между тем понемногу окутывала дом. Уткнувшись в барьер, отделявший аллею от площадки для стрельбы, они развернулись и лужайкой вернулись к дому, где в окнах уже зажигались огни. Кальц, широко расставив руки и шумно дыша, объяснял, что мечтает жить вот так, за городом, на природе.

Их подвез в Париж и высадил у подъезда замминистра; всю дорогу он сохранял восхитительное спокойствие в пробках, то включая передачу, то снова выключая, тогда как его супруга сокрушалась, зачем они не вызвали отряд мотоциклистов — те расчистили бы им дорогу. Скучавшему рядом с Месье на заднем сиденье Кальцу идея въехать в Париж в сопровождении полицейского эскорта пришлась, как видно, по душе: он предложил остановиться немедленно и позвонить из автомата. Вот здесь, вот, тормозите, настаивал он, опершись локтями на спинку переднего сиденья и нависая над водителем, и Месье, знавший, что Кальц всегда добивается своего, не позавидовал на сей раз высокопоставленному лицу (об этом не может быть речи, парировал, однако, тот с неизменной любезностью).

У дверей квартиры, перед тем как попрощаться, Месье поблагодарил Кальца за уик-энд и полез было в карман за ключами, но Кальц пригласил его зайти перекусить и добавил, что приготовил для него сюрприз. Тсс, ни слова больше. Он провел Месье на кухню и, надавив на плечи, усадил на стул. Удостоверившись, что Месье не пытается бежать, Кальц на минуту исчез и вернулся с сюрпризом — фотокопиями эскизов будущих карт, десятками рисунков и набросков мельчайших кубических сборок, которые он листик за листиком извлекал из красивой пластиковой папки. Предоставив гостю возможность насладиться ими вволю, он достал из холодильника несколько тарелок и серебряное блюдо, на котором слегка скукожившиеся рольмопсы начали буреть в тех местах, куда были воткнуты зубочистки. Затем он разложил приборы, рюмки, тарелки и выставил бутылку божоле. К сожалению, у меня нет штопора, пояснил он, но это не беда, правда ведь, выпьем воды. Месье кивнул, сложил эскизы в папку и сказал, вставая, что штопор принесет.

Месье возвратился не скоро — мог ли он знать, что не следует ему, ох, не следует, заходить домой в тот вечер, — и положил штопор на стол. Кальц полюбопытствовал, не случилось ли чего. Мне звонил брат, ответил Месье. И, замолчав, сел. Что-нибудь серьезное? — тихо спросил Кальц, косясь на штопор. Ничего особенного, сказал Месье, просто он идет сегодня в оперу и просит меня посидеть с его дочками.

Стоя перед квартирой брата, Месье долго-долго звонил, прежде чем кто-то откликнулся. Затем дверь приоткрылась, и молодая особа, собиравшаяся уходить, поинтересовалась, что ему угодно. Месье ей подмигнул и преспокойно направился мимо нее в комнату племянниц. В коридоре его остановила другая девица, предупрежденная первой, и преградила ему путь, пытаясь все-таки выяснить, что ему нужно. Тем временем появился и брат (это ты? привет, сказал он) в смокинге, спросил, как дела, и представил его своим юным спутницам, Анне и Бенедикте, преподавателям философии, как на подбор. Месье поцеловал обеих и, задержав-

шись на минуту, сладким голосом спросил брата, когда он предполагает вернуться.

У брата (тоже преподавателя философии: не судья человек брату своему) было две дочери, доводившиеся Месье племянницами, две близняшки, по шесть лет каждая. Месье, присмотревшийся к ним за эти годы, научился различать их с первого взгляда. Ты Жанна, говорил он, переводя палец с одной на другую, а ты Клотильда. Да, да, верно, кричали они в восторге. Одна из девочек, Клотильда, была бойкой, смешливой, шустрой, другая вяловатой — в дядю.

Дабы развивать их ум, такой податливый в этом возрасте, Месье, оставаясь с племянницами, не упускал случая поучить их играть в шахматы. Он раскладывал доску на низеньком столике посреди гостиной, садился на ковер по-турецки. Девочки заходили с другой стороны стола, и лица у них делались серьезными. Пока он им объяснял, как ходят фигуры, они стояли рядышком в трусиках и маечках и внимательно его слушали — исключительно сосредоточенные крошки. А ну, не лазить руками в трусы, когда я вас учу, одергивал их Месье.

Уроки не проходили даром, малышки уже освоили ходы. Когда они задумывались, Месье не мог на них налюбоваться: они напоминали ему его самого. Особенно ему нравилось, как хорошо они запомнили, что надо сказать "я еще не хожу", если дотронулся до фигуры и ею не пошел. Пожалуй, это единственное, что их привлекало в шахматах, и Месье даже заподозрил, что они специально касаются всех фигур сразу, лишь бы произнести полюбившуюся фразу.

В тот вечер, когда он зашел в комнату племянниц, они играли с феном, вырывая его друг у друга и пуская струю воздуха под висевшие на стенах плакаты. Месье сел на кровать, не говоря ни слова, но этого оказалось достаточно, чтобы посеять в них смутный страх и отравленная сомнением игра наскучила сама собой. Тогда Месье выключил фен и велел им ложиться спать. А на прощание изобразил, не слишком, впрочем, правдоподобно, вынужденную посадку планера — это их всегда смешило. Мы-то с вами друг друга понимаем, сказал он. Затем присел у постелей, подоткнул одеяла и расцеловал малышек в четыре щеки. Мы-то с вами друг друга понимаем, да? — повторил он с грустью. Что ты там бормочешь, дядя? Нет, они ничего не понимали.

Самородное золото, встречающееся в природе в чистом виде, часто рассеяно в кварцевой породе золотоносных жил и в сернистых соединениях, таких как пирит, через "и", арсенопирит, пирротин, с двумя "р", и стибин, как слышится.

Полагая, что развеяться иногда полезно, Месье повел раз в субботу после обеда племянниц во Дворец открытий. Он вихрем пронесся по залам, так что малышки не поспевали за ним и семенили далеко позади; время от времени он останавливался перед какой-нибудь витриной, и, используя любую возможность заронить в них разумное и вечное, толковал об основах жизни, представлявшихся девочкам еще большими загадками, нежели ему самому. На улице, по дороге из музея, Месье объяснял,

что, когда идешь на восток, твоя скорость прибавляется к скорости вращения Земли, а когда на запад — вычитается. Дядя, купи нам пиццу, сказали они. Пиццу? — вскричал Месье и остановился, выискивая глазами, кого бы призвать в свидетели праведности своего гнева, — пиццу в вашем возрасте не едят. Все, точка. Теперь слушайте. Предположим, человек хочет убежать от себя, чего, кстати, я вам не советую делать, — продолжал он, остановившись посреди тротуара и засунув руки в карманы, а сестренки в одинаковых розовых курточках слушали его, задрав от усердия носы, — как по-вашему, следует ему двигаться на запад или на восток? Они не знали. На восток, сказал Месье, с лукавым прищуром подняв указательный палец, на восток, потому что так время в пути течет быстрее — какой-никакой, а выигрыш, заключил он и зашагал дальше. Пиццу! Подумать только, в их-то лета!

В свободные от печатания вечера Месье лежал на кровати и швейцарским перочинным ножичком фигурно чистил апельсины, превращая их в водяные лилии или кувшинки. Если вынести за скобки редкие мимолетные мысли, которые, не будучи сформулированными, беспрерывно растворялись, Месье, даже напрягшись, уже совершенно не ощущал течения времени ни на запад, ни на восток. Прежде он бы с легкостью вообразил, в абстрактной, понятно, форме, две различные субстанции, ничем не связанные между собой: одна неподвижная — это он сам (Месье не любил суеты), другая — обтекающее его время; теперь же у него вызревала мысль, что никаких двух субстанций не существует — есть лишь один мощный поток, беспрепятственно уносящий его за собой.

Греческие термины, применяемые для обозначения внешних форм кристаллов, — ку-ку, ты меня слушаешь? — трудности не представляют, они чрезвычайно просты для понимания и очевидны даже непосвященным, например, пинакоид, от "пинакс" — "доска", обозначает два параллельных ряда, а пентагоногексаоктаэдр, от "гекса" и "окто", обозначает твердое вещество с шестью восемь — сорока восьмью пентагональными гранями.

На следующий вечер Месье — свободу людям доброй воли! — переехал к Леганам.

Хозяин поджидал жильца в прихожей, чтобы с порога познакомить с женой и сыном. Хорошо, хорошо, сказал Месье, озабоченный более насущными проблемами: внизу в такси остались его чемоданы, и кто-то должен был за ними спуститься. Людовик не запрыгал от восторга, нет, но все же поплелся нехотя вслед за Месье, с небрежной ленцой помог шоферу выгрузить багаж и в два приема отволок наверх.

У себя в комнате Месье снял с постели кружевное покрывало, сложил вдвое, развязал галстук и растянулся поверх одеяла. Затем он исхитрился без помощи рук сбросить ботинки, и они со стуком грохнулись на пол. Некоторое время он лежал, радуясь тому, что у него больше нет соседа, раскинув руки и не дыша, то есть дыша, но самую малость.

У нас завтра опрос по физике, сказал Людовик от самой двери. Он положил учебник на кровать, прошел, не глядя на Месье, к окну и удрученно

в него уставился. Чуточку помедлив, Месье сел, закурил сигарету (его начинало пугать собственное спокойствие) и поинтересовался, по какой теме опрос и что надо повторять. Всякое движение относительно, ответил тот. Месье затянулся, раскрыл учебник и спросил: это что, параграф такой? Разумеется, параграф, сказал Людовик, задач нет.

Да, разумеется, согласился Месье. Он быстро пролистал учебник, нашел указанный раздел и стал читать. Всякое движение относительно. Это заглавие, прокомментировал он, ты хоть понимаешь, что оно значит? Чего ж тут не понимать, ответил Людовик, всякое движение относительно, вчера в классе делали. Значит, так, продолжал Месье, если в некоторой системе отсчета существует движущаяся точка, недостаточно указать, что она находится там-то, надо еще знать, когда она там находится. Таким образом, время, с точки зрения физики, имеет двоякое значение: длительности, с одной стороны, то есть промежутка времени между началом и концом наблюдаемого явления, и, во-вторых, даты, то есть времени, когда действие имеет место. Повтори, сказал Месье. Прямо сейчас? — спросил Людовик, не отрываясь от окна. А ты как думал? — ответил Месье. И пока Людовик лицом к окну бубнил, что длительность — это промежуток между началом и концом, а дата — время, когда что-то происходит, Месье бесшумно выскользнул из комнаты и крадучись покинул квартиру. Спустившись вниз и выйдя на улицу, он встал на тротуаре против дома и увидел в окне Людовика, твердящего урок (эх, люди, люди!).

Месье неподвижно стоял посреди тротуара, скрестив руки на груди, и только что не улыбался. А вдруг, увидев Месье перед собой на улице, в то время как тому подобало бы находиться у него за спиной, в комнате, Людовик, у которого голова пойдет кругом, вообразит, что Месье, будучи статичным по определению, мгновенно перемещается в пространстве и что его энергия, подобно жульнической энергии электрона, способна в некоторый момент совершить дискретный скачок, однако предвидеть, когда это произойдет, невозможно, поскольку, по мнению Копенгагена, нет никаких оснований полагать, что скачок осуществится в тот, а не иной момент. Впрочем, Людовик, вероятно, ничего такого не подумает (нет в программе).

Потом Месье слонялся по кварталу, бродил без цели по улицам. Там осмотрел на витрине пластинки, там джемперы и наконец приобрел ботинки. Почему нет? Из магазина он вышел в глубокой задумчивости, купил в киоске на площади газету и зашел в кафе с обувной коробкой под мышкой.

Кафе было почти пустым, Месье облюбовал укромную нишу и сел на потертую, потрескавшуюся бурую банкетку. Затем развернул многочисленные слои папиросной бумаги, в которую были упакованы ботинки, достал их из коробки, надел один на руку и некоторое время разглядывал его в профиль. Потом сложил все, как было, поставил коробку рядом с собой, заказал пива и раскрыл газету. За столиком возле телефонной кабинки сидели двое с потерянным видом, и младшего из них, озабоченно озиравшегося вокруг, Месье заподозрил, еще когда вошел: сейчас пристанет с какой-нибудь просьбой или, хуже того, захочет денег стрель-

нуть. Тот и в самом деле вскоре подошел к Месье и спросил, нет ли у него чем писать. Месье задумался, закрыл газету и ответил "нет". Ручка у меня есть, добавил он, но я ее никому не даю, такое у меня правило (правил Месье устанавливал для себя немного, но строго их придерживался). Юноша выглядел таким расстроенным, что Месье все-таки достал ручку из внутреннего кармана пиджака и сказал примирительно, что, если ему дадут бумагу, он запишет необходимое своей рукой. Вот и отлично, обрадовался молодой человек, подсел к Месье на банкетку и позвал пожилого расположиться за столиком напротив них. Тут у нас надолго, пояснил он.

Понимаете ли, продолжал юноша, я студент-историк и пишу работу о лицее города Шартра в период "странной войны". Почему, скажете вы, именно о лицее в Шартре? — спросил он и, не дожидаясь ответа, сам признал, что выбор сделан совершенно произвольно, просто ему хотелось взять за основу конкретный пример, изучить архивы, поездить по местам событий, разыскать, по возможности, живых свидетелей той эпохи. Прибавим к этому, сказал молодой человек, что Шартр находится в департаменте Эр и Луар, префектом которого в 1939 году был Жан Мулен, не правда ли, пикантная подробность? Так вот, разглагольствовал он, для начала я составил список всех, кто учился в лицее Марсо в 1939 году; я всем им направил письма, где сообщал о своем проекте и просил оказать мне содействие, то есть поделиться воспоминаниями, и месье Левассер, — тут он указал на второго собеседника, который, заметив, что его представляют, скромно наклонил голову, — согласился рассказать нам о том, как прошел этот 1939/40 учебный год. А у вас тоже нет ручки? — спросил Месье. Чего нет, того нет, развел руками Левассер.

Итак, начнем, сказал молодой человек. Я хотел бы спросить у месье Левассера, и это будет мой первый вопрос, какие потрясения ожидали лицеистов той памятной осенью 1939 года. Значит, так, сказал Левассер, выпрямляясь на стуле и потирая руки, лично я сдал первую часть выпускных экзаменов еще в июне, устные же экзамены, насколько мне помнится, проводились в тот год не в Париже, а в Шартре, прямо у нас в лицее — такие вот потрясения. Каково было ваше умонастроение? — спросил Месье, постукивая пальцами по столу.

Умонастроение, повторил Левассер и исподволь взглянул на студента — дескать, должен ли он отвечать также и на вопросы Месье; значит, так, заговорил он после того, как молодой человек моргнул в знак согласия, мы думали, что рано или поздно нас призовут. В 1914 году, как известно, был мобилизован весь призывной контингент, включая самых младших, и мы полагали, что с нами будет то же самое. Соответственно, всю зиму мы пребывали в подвешенном состоянии, и только немецкое наступление 10 мая 1940 года внезапно положило этому конец. Я хорошо помню, как в тот день провожал своего друга-чеха на фронт. Когда Гитлер захватил Чехословакию, многие чешские солдаты бежали из страны, и те, что служили в авиации, оказались на воздушной базе в Шартре (не могли бы вы говорить немного медленнее, попросил Месье).

Скажите нам, пожалуйста, месье Левассер, продолжил студент, когда Месье дописал фразу, что именно изменилось после 10 мая 1940 года.

Значит так, отвечал Левассер, прихлебывая аперитив, для младших ничего не изменилось, все шло своим чередом. Мы же, наоборот, старались принести пользу, помогали, например, Красному Кресту и пунктам приема беженцев. Благодарю вас, сказал Месье. Так продолжалось до 13 июня, спешил выговориться Левассер, когда все покинули Шартр. Хорошо, хорошо, успокоил его Месье и откланялся.

Вернувшись к Леганам, Месье открыл дверь своим ключом, углубился в коридор, пересек столовую, где заканчивала ужин престарелая дама, что ж, приятного аппетита, и пробрался к себе в комнату, помещавшуюся в дальнем конце квартиры. Он лег на кровать, скрестил руки на груди и, прислушиваясь к своему размеренному дыханию, в очередной раз удивился собственному спокойствию: ох, не к добру. Ему бы хоть немного поволноваться, понервничать под напором обстоятельств, выпустить пар, иначе, он это прекрасно знал, накопленное напряжение чревато взрывом.

В дверь тихонько постучали. Тихо-тихо. Извинившись за беспокойство, старушка объяснила ему, что потеряла шаль и позволила себе зайти посмотреть, не оставила ли она ее случаем в своей комнате. Я мама Люсьена, сказала она, потупившись, будто произнесла нечто для себя лестное. Наступила тишина: она рылась в шкафу, а он смотрел на нее, приподнявшись на локте, затем она обронила как бы между прочим, что ей так тяжко покидать свою комнату, просто невыносимо тяжко, но Месье, разумеется, тут ни при чем — в необходимости переезда ее убедил сын. Ведь вы учитель, да? — умилилась она напоследок.

С точки зрения физики, чтобы датировать событие, необходимо определить точку отсчета времени и условно принять ее за нулевую. Ты меня слушаешь? — спросил Месье. Да, да, ответил Людовик. Чтобы выстроить последовательность событий во времени, необходимо иметь прибор для его измерения. Например, часы, сказал Месье. Часы? — усомнился Людовик. Часы, глухо повторил Месье. А может, электронный хронометр? — не унимался Людовик. Пойди, пожалуйста, позови отца, сказал Месье (пререкания Месье не больно-то любил).

Легану он объяснил, что все обдумал и комната ему не подходит. Месье искренне сожалел. Как-нибудь в другой раз. Он достал чековую книжку, снял с "ретринга" колпачок и, предупреждая любые возражения, выписал чек за месяц. Затем, вызвав такси, попросил Людовика снести чемоданы и пожелал ему удачи в жизни вообще и на опросе по физике в частности.

В ту самую минуту, когда он приготовился отпереть дверь своей квартиры, на площадку выглянул Кальц и, увидев Месье, сказал, что тот явился кстати, поскольку он, Кальц, как раз к нему и шел. Оказывается, он написал небольшую вступительную заметку к их книге, сущий пустяк, но все же он был бы рад ознакомить с ней Месье, и прежде чем тот успел вставить слово, Кальц, включив на лестнице световой таймер "минутка", принялся читать. Мы ни в коей мере не ставим своей задачей в коротком трактате дать исчерпывающий ответ на рассматриваемый вопрос. Мы намерены лишь сориентировать читателя в соответствии с

нашими собственными вкусами и направить его, смеем надеяться, не без пользы, по субъективно избранному нами пути. Превосходно, сказал Месье и захлопнул за собой дверь квартиры, оставив Кальца посреди площадки.

Несколько дней Месье старался избегать Кальца.

В выходные сразу после завтрака, если погода позволяла, он выходил из квартиры, поднимался на верхний этаж и шел гулять. Безукоризненные линии почти плоских, соединенных железными мостками крыш радовали глаз. Когда Месье возвращался с гуляния и спускался на свой этаж, он старался закрыть дверь без шума, дабы не привлекать внимание Кальца.

Единственным человеком, которого Месье встречал во время своих прогулок по весьма, правда, ограниченному периметру, был (если не считать соседа, что однажды утром устанавливал параболическую антенну и, прервав свое занятие, проводил Месье взглядом) мужчина лет пятидесяти, с проседью; одетый в слегка потертый зеленый вельветовый костюм, с полиэтиленовой сумкой в руке, он медленно ходил взад-вперед, как будто постоянно взвешивал в уме все накопившиеся "за" и "против". Месье держался от него подальше, по правде говоря, он опасался такого рода людей.

Желая повысить уровень жизни, Месье стал брать с собой на крышу стул. Поднявшись на шестой этаж, он вылезал наружу, затем, опустившись на колени, свешивался в люк, вытаскивал стул, после чего устраивался под навесом на площадке, примыкающей к фасаду. И там сидел.

Месье теперь чаще обычного проводил время сидя на стуле. Большего он не требовал от жизни — только стул. Минуты тягостной нерешительности он перемежал простыми успокаивающими действиями. Например, на работе (благо место не пыльное) он неизменно вызывал восхищение секретарш, когда, расстелив помятый носовой платок, чистил на письменном столе апельсин. На Месье с шестнадцатого этажа никто не мог пожаловаться. Мадам Дюбуа-Лакур считала его весьма достойным молодым человеком: спокойный, серьезный, пунктуальный и с высшим образованием.

В часы затишья Месье читал в кафетерии газету. Перед ним по периметру большого застекленного холла зеленели там-сям в цветочницах какие-то растения, то ли фикус, то ли папирус; за круглой стойкой регистрации девушки болтали по телефону. Иногда, прежде чем подняться к себе, Месье огибал стойку — добрый день всем — и останавливался перед аквариумом; засунув руки в карманы, он глядел на рыб и не уставал любоваться движением этих бесстрастных существ по траекториям непостижимой чистоты.

Со временем Месье освоил искусство — не слишком, впрочем, зазнаваясь, даже когда улыбалась удача — возвращаться в кабинет, не вынимая рук из карманов. Он стоял перед аквариумом до тех пор, пока кто-нибудь не подойдет и не вызовет лифт. Двери лифта открывались автоматически, тогда он входил в кабину первым и занимал правый угол в глубине,

как можно дальше от кнопок. Обратив к попутчику понурый профиль, он ждал, когда тот спросит, какой ему этаж, а дальше, это уж проще простого, тихим голосом называл цифру.

У себя в кабинете Месье старательно держал веки опущенными, а когда оставался один, так и вовсе — fiat lux[1] — сомкнутыми. Если в ходе беседы с посетителями возникали разногласия, Месье предпочитал не поднимать шума и находил удовлетворение в смаковании собственного молчания, понимая, что только он один и может оценить его по достоинству. Собеседники, впрочем, относились к нему неплохо, некоторые даже не то чтобы захлебывались от восхищения, но все же отмечали у него привлекательные черты, например скупую полуулыбку, поддерживающую его имидж человека, с которым можно договориться.

На рабочем столе у Месье были аккуратно разложены разнообразные предметы: ножички для разрезания бумаги, точилки, калькулятор.

Кондиционер, само собой.

Иногда Дюбуа-Лакур приходила к нему без предупреждения и просила заменить ее на встрече с дилерами, поскольку ей необходимо отлучиться и она не успевает сама их проинструктировать. Ну разумеется, отвечал Месье, он с удовольствием ее выручит, и еще спрашивал, нужно ли инструктировать их группой или поодиночке. Обычно Месье предпочитал принимать всех сразу; перед тем как встретиться с ними лицом к лицу, он прохаживался по кабинету, сложив ладони под подбородком, и сосредоточивался. Затем приоткрывал дверь и быстро садился за стол, а десяток посетителей внедрялись в кабинет и выстраивались по дуге, готовые его слушать. Так-так, еще вопросы, господа? — произносил он напоследок. Нет? А у дамы? — добавлял он, почтительно склоняя голову перед единственной среди присутствующих особой женского пола, вполне, кстати, привлекательной, хотя смотря на чей вкус (эх, люди, люди!).

Как-то раз после ужина Месье со стулом в руке преспокойно удалился от всего земного на крышу.

Стемнело — это Месье видел ясно. Парижский день иссяк. Вместе с дождем, пролившимся недавно, если судить по серым, блестящим и чуть скользким крышам. Вдали светились окна, улицы внизу казались пустынными. Он придвинул стул к краю карниза, достал из кармана зажигалку, поднял, закуривая, голову и уставился в промытое ливнем небо — наугад, куда-то в окрестности Ориона. Месье стоял рядом со стулом и долго-долго смотрел в небеса, погружаясь в них все глубже и глубже, не различая ничего, кроме точек и линий созвездий, и небосвод постепенно превратился для него в гигантскую схему метро, озарявшую ночь. Тогда он сел и махнул от Сириуса — его он находил безошибочно — к Монпарнасу, затем спустился к Севр-Бабилон[2], а оттуда, задержавшись на секунду у звезды Бетельгейзе, добрался до площади Одеон, куда, собственно, и стремился.

1. Да будет свет (*лат.*).
2. Станция метро в Париже.

Там, в его воображении, все еще струился давешний ночной свет.

Об Анне Брукхардт Месье, в сущности, ничего не знал. Он видел ее лишь однажды на приеме у Дюбуа-Лакуров. Они проговорили часа два, не больше, уже под конец банкета, сидя на кухне по разные стороны заставленного пустыми стаканами стола, при этом она ела шоколадный торт, время от времени аккуратно отрезая ножичком тонкий ломтик, а он — фруктовый салат, который черпал столовой ложкой и предусмотрительно выуживал из нее грецкие орехи — этот плод всегда вызывал в нем отвращение. Иногда на кухню забегала Дюбуа-Лакур взять в холодильнике бутылку шампанского. Анна Брукхардт и Месье не обращали на нее внимания, они болтали о том о сем, не задавая лишних вопросов, из деликатности, понятно, так что в результате за весь вечер ровным счетом ничего друг о друге не узнали. Нет, они рассказывали всякие забавные случаи из жизни, по очереди, и чем дальше, тем незначительней становились эти истории, так как касались людей, о которых слушающий понятия не имел и с которыми говорящий был едва знаком. Временами кто-нибудь из гостей с бокалом в руке заходил на кухню посмотреть, что там творится, но поскольку там не творилось ничего, посетитель, постояв у стола, уходил не солоно хлебавши со своим бокалом в руке. Так, вдали от праздничного шума и бразильских ритмов, Анна Брукхардт и Месье, заключив союз одними глазами — а от опущенных глаз Месье не ускользало ничто, — все рассказывали и рассказывали разные байки, копались, опершись локтями о стол, в запутанных подробностях событий, ни в коей мере их не затрагивающих. Не успела Анна закончить одну из таких ничем не поучительных историй, чрезвычайно обоих рассмешившую, как в кухню ввалилась целая толпа гостей; ни слова не говоря, они взяли от стола стулья и уселись поодаль возле окна, прихватив с собой стопку тарелок и фруктовый салат. Жуя, они вспоминали об отпуске в Египте и сокрушались, что не могут подкрепить слайдами описания пейзажей, разумеется, грандиозных, а порой и вовсе нереальных (эх, люди, люди!). Посидев еще немного, Анна Брукхардт и Месье все-таки встали и вышли из кухни. На минутку они задержались в коридоре, в темноте обменялись напоследок анекдотами и замолчали, замолчали совсем, с грустью глядя друг другу в глаза, Месье — прислонившись к коридорной стене, она — положив руку ему на плечо.

Вот, собственно, и все.

Темнота обступила Месье со всех сторон. Он неподвижно сидел на стуле, запрокинув голову, взгляд его тонул в бездне неба, думы устремлялись к изгибу горизонта. Он дышал ровно и мысленно обнимал ночь, всю, насколько хватало памяти вселенной, до самого свечения в основании небес. Так он достиг высшей безмятежности духа, голова его полностью очистилась от мыслей, а сам его мозг стал миром — потому что он так пожелал.

Да. Чего уж тут церемониться.

Посидев еще, Месье озяб, страшно, очень страшно, подумал он и решился встать; подняв воротник пиджака, он задумчиво побрел назад, волоча

сквозь ночь свой стул. Дойдя до люка, он брезгливо опустился на колени, другого выхода не было, и медленно погрузил стул в отверстие. Удостоверившись, что тот стал на пол четырьмя ножками, Месье, опершись руками о край люка, развернулся и заскользил в пустоту, пока не коснулся ногами стула. Затем он закрыл крышку над головой, отряхнул рукава и заново перевязал галстук.

Когда после вечеринки у Дюбуа-Лакуров Месье провожал Анну Брукхардт на стоянку такси, он воображал, шагая с ней по пустынным улочкам, как за разговором вынет руку из кармана, глянет отстраненно на свою ладонь, продолжит естественным образом ее движение и небрежно подхватит спутницу под руку при переходе через дорогу. Они шли рядом, и Месье украдкой озирался, чтобы не пропустить подходящую для перехода улицу. Таковой не попалось, а Анна между тем, поднявшись на цыпочки, остановила такси с непринужденностью, которой он мог только позавидовать.

Месье спустился в квартиру, позвонил Анне Брукхардт и пригласил ее поужинать с ним.

Прямо сейчас.

Над площадью Одеон струился ночной свет. От своей встречи с Анной месяц тому назад Месье до боли отчетливо сохранил в памяти именно это — свет над площадью Одеон. Огни светофоров переключались через равные промежутки времени, и все вокруг изменялось. Витрины магазинов прятались за железными ставнями, кинотеатры не работали. Месье стоял посередине площади; в боковую улочку удалялся какой-то мужчина, какая-то парочка пересекала площадь по переходу. Было часа два ночи, может, три, Анна Брукхардт только что уехала на такси.

Она не смогла освободиться в тот же вечер, но назавтра ужин состоялся. Они договорились встретиться в баре большого отеля. Месье приехал раньше и, сидя в широком мягком кресле, разглядывал немногочисленных посетителей, одинаково бледных в тусклом свете зала. Уютное местечко. Солидные мужчины пили аперитив, поклевывали оливки и арахис. Одни читали газеты, другие, те, что были с дамами, сидели молча и чинно. Еще один, перед тем как отпить глоток, обводил взглядом зал. За стойкой бара на стереопроигрывателе медленно вращалась пластинка, и звучал тихо-тихо концерт для флейты и арфы.

Месье не удалось поймать такси, и на свидание он ехал на метро. На станции Франклин Рузвельт в вагон вошел молодой человек и торопливым нервным голосом спросил, свободно ли откидное сиденье рядом с Месье; Месье осмотрел упомянутое сиденье, оно было совершенно свободно, нелепо было бы утверждать обратное. Молодой человек сел, поднял воротник плаща. Месье чуть-чуть отодвинулся. Поезд нырнул в тоннель, и они вместе с ним, бок о бок, причем Месье глядел в окно, а сосед смотрел вниз на новые ботинки Месье. На следующей станции молодой человек бросился к выходу, позабыв чемоданчик, и какой-то пассажир схватил его и, чуть не столкнув Месье, вышвырнул вслед владельцу. В самом деле, очень любопытно, сказала Анна Брукхардт, только теперь

снимая пальто, поскольку Месье, едва только ее увидел, принялся рассказывать свое приключение.

Не Месье, а кладезь анекдотов.

Бар между тем заполнился людьми и оживился. Не замечавший их до этой минуты официант подошел спросить, что они желают, и они заказали два "бурбона". В ожидании выпивки они сидели молча, изредка обмениваясь смущенными взглядами. В конце концов гарсон все-таки принес виски и поставил на стол блюдечко арахиса. Наклоняясь время от времени над столом, чтобы взять орешек, Анна Брукхардт и Месье по-прежнему хранили молчание, разглядывали отделку стен и изучали меню. Месье, разумеется, мог бы оживить беседу новым рассказом, по крайней мере он обдумывал такую возможность.

В такси по дороге в ресторан они сидели рядом на заднем сиденье и глядели каждый в свое окно; после продолжительной паузы, слово за слово, заговорили о живописи и литературе. Художник — одна из немногих профессий, которые ему по душе, еще он хотел бы быть родителем школьника: одно собрание раз в четверть и никаких хлопот, — или писателем, хотя словам, признался он ей, предпочитает свет (да, пожалуй, именно свет сближает его с миром). Впрочем, как очень уместно заметила Анна — не совсем понятно, правда, к чему, но это и не имело значения, — одно другому не мешает. Ну конечно, ответил он. А дальше, когда такси прочно увязло в пробках, они обменялись информацией более личного свойства, просто так, к слову. Например, они выяснили, что им двадцать девять и тридцать четыре года, а вот таксисту сорок семь.

Ресторан выбирала Анна: мой любимый ресторан, сказала она ему через плечо, открывая стеклянную дверь, и Месье усмотрел в этом знак того, что уже завоевал скромное место в ее сердце. Перед тем как войти вслед за ней в зал, Месье проверил, есть ли у него с собой сигареты, затем догнал Анну, которую метрдотель как раз пригласил к столу; держа одну руку в кармане, Месье вальяжно уселся рядом с ней и только тут понял, взглянув на метрдотеля, что ему предназначено место напротив. Тогда он встал, осторожно обогнул стол, придерживая складки брюк, и сел против Анны, наблюдавшей за ним с легким беспокойством. Затем им принесли меню. Месье чувствовал себя не слишком уютно и дергался всякий раз, когда у него за спиной открывалась дверь, при этом он слегка поворачивался на стуле и рассеянно смотрел на входящих. Так, так. Он захлопнул меню и, перегнувшись через стол, доверительно шепнул Анне Брукхардт, что из гарниров предпочитает шпинат и семга его не испортит. Все шутите, улыбнулась Анна и решила, что зубатка будет ей по зубам, если присыпать ее укропом.

Опустив голову, Месье молча ел рыбу, изредка поглядывая в окно на небольшую площадь, освещенную там и сям фонарями. Они сидели на застекленной веранде, обращенной к колоннам театра "Малый Одеон". Ресторан был тихим, вполне симпатичным, только одно не нравилось Месье — окна на улицу, откуда прохожие наблюдали за тем, как он ест. Анна Брукхардт вела себя тактичнее и внимания на него не обращала; сидя напротив, она изящно, спокойно, неторопливыми плавными дви-

жениями отделяла от костей ломтики рыбы. Белая блузка и замшевая куртка были ей очень к лицу. На лбу у нее красовался прелестный маленький прыщик, а она-то, наверно, расстроилась, когда увидела его в зеркало.

Народу в ресторане было немного, занято столиков пять-шесть, не больше. За соседним молодая особа слушала своего любовника, судя по всему врача, впрочем, он вполне мог доводиться ей мужем; он рассуждал о проблеме "вынашивающих матерей", чрезвычайно, по его мнению, серьезной и вызывающей далеко не однозначную реакцию в обществе. По какому праву, утверждают одни, тут он положил вилку и нож на стол, общество не позволяет бездетной супружеской паре завести ребенка таким способом, если сами супруги считают его приемлемым и вынашивающая мать соглашается добровольно? Он снова ухватил вилку и нож, задумчиво что-то пожевал, и тут в ресторане разом погасли все лампы.

Вот те раз. Месье поднял голову и постарался разглядеть во мраке Анну Брукхардт. В зале все перестали есть, некоторые заерзали. Только медик, выпрямившись на стуле, несколько раз хлопнул в ладоши, да и то сдержанно, а затем продолжил свою речь об искусственном осеменении, понизив, однако, голос, будто темнота обязывала переходить на шепот. А темнота стояла непроглядная. Не только весь ресторан погрузился во мрак, но и на улице нигде не светилось ни огонька. Лишь чуть серели фасады домов, выступая из черноты площади. Прохожие растворились в ночи, фонари не горели. Вскоре метрдотель ровным, спокойным, степенным голосом, словно и не заметив случившегося, объявил, что сейчас принесут свечи. Потом он вернулся, как если бы чего-то не договорил, и позвал к телефону месье Лакоста. В глубине зала поднялась тень, ощупью выбралась из-за столика и, освещая себе путь зажигалкой, удалилась во внутренние помещения.

Месье, прильнув к стеклу, пытался разглядеть что-нибудь за окном. Кругом было черным-черно, единой мрачной глыбой высились дома. На углу, в горстке прохожих, кто-то щелкнул зажигалкой, на огонек начали собираться люди. Время от времени проезжала машина, толкая перед собой косые полоски света. Потом все снова тонуло во мраке. Будем есть десерт или я попрошу счет? — спросил Месье. Когда подали счет, он поинтересовался, позволит ли ему Анна Брукхардт заплатить за двоих или она предпочитает платить за себя сама. Ее устраивали оба варианта. Месье поразмыслил и признался, что понятия не имеет, как подобает вести себя в подобных случаях. Анна заверила его, что никаких правил на этот счет не существует.

Отлично. Ситуация, таким образом, становилась неразрешимой. Что же делать? — недоумевал Месье, опустив голову и уставившись в темноте на собственные пальцы. Анна Брукхардт, которую начинало забавлять его замешательство, повторила, что он действительно волен поступить по своему усмотрению. В конце концов Месье, не зная, на что решиться, предложил компромисс: поделить всю сумму на четыре части и самому заплатить три четверти (это самое простое, сказал он, или, по крайней мере, элегантное, с точки зрения математики).

Выйдя из ресторана, они направились в сторону Люксембургского сада и обнаружили, что электричество отсутствует во всем районе, а может, и не только в районе, но этого они видеть не могли. Тихие улочки были темны как никогда, кругом только ночь да ночь. Перед зданием Сената выделялась чернотой решетка Люксембургского сада. С тех пор как выключился свет, прошло уже минут двадцать; Анна Брукхардт и Месье ощупью продвигались друг за другом и размышляли вслух о последствиях аварии, сочувствовали, например, тем, кто застрял в лифте (люди как-никак). Потом Месье, отстав от Анны, шагал, засунув руки в карманы, запрокинув голову и глядя в небо.

Первозданное небо, не тронутое городскими огнями.

Дойдя до площади Сен-Сюльпис, они сели на скамейку и долго сидели рядом, храня образцовое молчание. Умозрение, произнес наконец Месье, умозрение. Простите? — переспросила Анна Брукхардт, удивленная его неожиданной словоохотливостью. Да так, ничего, смутился Месье. Да нет же, вы что-то сказали, настаивала Анна. Я про умозрительный взгляд, повторил Месье. По крайней мере в науке, добавил он, чтобы быть совсем уж честным, и неопределенно махнул рукой, имея в виду и мнение Копенгагена, и всякие разные кванты. В самом деле, по утверждению Пригожина, квантовая теория разрушает представление о том, что физическое описание предмета объективно и отражает свойства системы, независимо от условий наблюдения. Да, но. Рядом с ним на скамейке, вне всяких сомнений, лежала рука Анны Брукхардт.

Месье смотрел на нее, смотрел, потом, не поднимая глаз, осторожно приподнял один пальчик, затем другой и наконец взял ее руку в свою.

Так он сидел, держа руку Анны в своей, затем, не зная, что с ней делать, аккуратно положил на скамейку. Ну что, пошли, сказал он. Они встали и побрели дальше. В квартирах на бульваре Сен-Жермен за тюлевыми занавесками передвигались тени. Кое-где в окна высовывались фигуры, освещенные горящей у них за спиной свечой. Месье и Анна Брукхардт больше не разговаривали. Они шли и шли.

Площадь Одеон укрылась тьмой, хоть глаз выколи. Здесь Месье остановился, поднял голову, вытянул руку и медленно повел пальцем от Сириуса до Альдебарана, объясняя Анне, что Одеон, в его представлении, был вот этой звездой — Альдебараном. Какой, какой? — спросила Анна. Вот, под перевернутой буквой "А", оранжеватая такая. Нет, не вижу, сказала Анна, впрочем, она его не слушала, хотя и продолжала вглядываться в небо. Неважно, сказал Месье, короче, мы пришли, и, достав из кармана зажигалку, чиркнул ею на уровне лица. Они грустно посмотрели друг другу в глаза. Анна коснулась рукой его щеки и нежно поцеловала его в темноте. Раз-два и готово. Оказывается, все совсем не так сложно.

Жизнь для Месье — детская игра.

Драган Великич

Белград

Рассказ

Перевод с сербского Л. Савельевой

1.

БЕЛГРАД расположен на 44° 49′ 14″ северной широты и 20° 27′ 44″ восточной долготы.
Площадь: 3221,85 кв. км.
Площадь исторической части города: 358,77 кв. км.
Высота над уровнем моря: минимальная – 66,6 м, максимальная – 512 м.
Климат: умеренно континентальный.
Среднегодовая температура: 11,6 °С.
Средняя температура января: 0,2 °С.
Средняя температура июля: 22 °С.
Время: среднеевропейское.
Численность населения: 1 млн. 628 тыс.
Численность населения исторической части города: 1 млн. 186 тыс.

2.

В сущности, многое отсутствует, например, данные о числе дождливых дней за прошлый год, последнее десятилетие, век, тысячелетие, – сколько дней шли дожди в 1054 году? Нет информации о солнечных днях, ветрах, бурях, толщине снежного покрова. Не хватает сведений о

© Л. Савельева. Перевод, 2001

покушениях, ночных нападениях, убийствах, грабежах, войнах, революциях.

Биография города немыслима без списка его кинотеатров как в прошлом, так и на сегодняшний день, без длинного перечисления фильмов, которые крутили в темноте кинозалов, без мимики зрителей и траекторий их движения после окончания сеанса, наконец, без перечня эпизодов, героями которых, главными или второстепенными, они себя воображали, продолжая жить их жизнью вне целлулоида.

Не хватает книг регистрации родившихся и умерших, схем землепользования целых кварталов, топографических планов с расположением водопровода и канализации и местонахождением артезианских колодцев, списка двухзначных номеров абонентов первой телефонной сети, командировочных удостоверений, полицейских досье, историй болезни, маршрутов всадников, экипажей, омнибусов, автобусов, трамваев, троллейбусов, автомобилей.

3.

Представим себе громадное ухо, размером с самый большой телескоп, которое двадцать четыре часа в сутки впитывает миллиарды слов, произнесенных на территории города, аккуратно записывает их и отправляет в хранилище. В бездонном архиве такого слухового аппарата накапливаются не только слова многих языков, но и вздохи, выкрики, смех. Представим себе громадный глаз, размером с самое большое ледниковое озеро, в хрустальной поверхности которого отражаются лица, движения, жесты, гримасы, широкие панорамные планы и сценки, зафиксированные через замочную скважину. Представим себе огромный терминал, постоянно пополняющийся благодаря работе громадного уха и громадного глаза, терминал, из которого бесконечный материал непрестанно скользит по изгибам путей, сформированных фразами, на мгновение приостанавливается перед шлагбаумами и через стрелки раскаленных мозгов устремляется на перроны новелл и романов. И даже еще глубже, в ночь Истории.

4.

В последний раз караван верблюдов проходил через Белград в 1854 году, он доставил из Сереза табак в тюках для купца Анастаса Христодула.

Первая телеграмма пришла в Белград из Алексинаца 12 апреля 1855 года.

Первые суповые ложки были привезены в Белград в 1827 году. В этом же году Белград увидел первый женский зонтик от солнца.

Два года спустя, в 1829 году, в Белграде появилось первое пальто.

Пиво пришло из Земуна в 1834 году, его продавали в разлив в Маноиловом саду на улице Зелени Венац.

Метеорологические наблюдения начали вести с 1847 года, занимался этим некто Драгутин Карловански, владелец "Первой сербской купальни и пляжа", которая находилась под самым Калемегданом. Три года спустя Драгутин Карловански открыл и первую лавку колониальных товаров, в которой он торговал порошком против блох, всевозможны-

ми красками, швейцарским сыром и селедкой. Кроме того, Карлованси лечил от геморроя.

В 1844 году в Белград приехал первый дамский портной, Павле Темелькич. В том же году дал представление и первый цирк. Через два года в Белград прибыл первый учитель музыки, Александр Скродилис, родом из Триеста.

В 1847 году в Белграде поселился первый зубной врач, Морис Лефнер, который "дыры в зубах заполняет какой-то массой".

Первый настройщик роялей появился в Белграде в 1850 году. Это был Имре Пенович, который в юности ослеп и уже слепым выучился в Пеште ремеслу настройщика.

Первая городская баня была открыта в Белграде в 1850 году.

5.

Трамвай кольцевого маршрута № 2 останавливается на конечной остановке, у пристани. Вагоновожатый выходит из вагона, медленно шагает в сторону станционного барака, войдя, закрывает за собой дверь. В трамвае находится двадцать два пассажира, семь из них проживают в старой части города, двенадцать в Белграде в широком смысле этого слова, а остальные, таких было трое, приехали в Белград этим утром. Дверь барака открывается. Вагоновожатый выходит и направляется к одноэтажному зданию контрольного пункта службы городского пассажирского транспорта. Минут пять спустя он снова появляется в дверях здания, в руке у него лист бумаги. Зовут вагоновожатого Марко Николич. Он не знает, что в этот момент в трамвае сидят еще два Марко Николича, которые не знакомы друг с другом. Никто не знает, сколько Марко Николичей живет в Белграде. И сколько Марко Николичей лежит на белградских кладбищах.

Трамвай трогается, слегка кренится на повороте, и возле бензоколонки, после пересечения с асфальтированной дорогой, увеличивает скорость, поднимаясь по склону Калемегдана в сторону Городской библиотеки. Пассажиры, сидящие в правой части вагона, видят здание австрийского посольства, здание французского посольства, павильон Музея современного искусства. О том, что думают эти люди, нам ничего не известно. Взгляд тех, кто сидит по левую сторону, скользит по зелени Калемегданского парка. Мысли этих пассажиров ввиду отсутствия широкоформатного плана , вероятно, никоим образом не связаны с теми картинами, которые мелькают перед их глазами. Через полминуты трамвай останавливается на остановке возле Городской библиотеки. И тут приходит конец одной из возможных историй. Рассыпается в прах рассказ, который бы, несомненно, мог развернуться, если бы трамвай еще некоторое время двигался без остановок. Никогда больше в этом транспортном средстве не встретятся еще раз те же самые двадцать два пассажира. Один из трех Марко Николичей, таможенник белградского речного порта, выходит из трамвая и отправляется на прогулку по Калемегданскому парку. Второй Марко Николич сойдет на следующей остановке, на улице Царя Душана, и зашагает к ближайшей гомеопатической аптеке купить брусничный чай. В контексте возможной истории остается один-единственный Марко Николич, вагоновожатый, который терпеливо ждет, пока Никола Маркович, хозяин стеклорезной мас-

терской, находящейся в доме номер 13 по улице Джорджа Йовановича, неподалеку от Байлониева рынка, добежит до открытой двери трамвая. В трамвае сейчас находится тридцать пять пассажиров. Их имена навсегда останутся неизвестными, так же как и причины, побудившие их в то жаркое августовское утро отправиться туда, куда они должны были попасть.

Для вагоновожатого Марко Николича, годами водившего трамвай № 2 по его кольцевому маршруту, давно уже не было ничего неожиданного в хорошо знакомом ему городском пейзаже. Он знал, где расположены все киоски по той и другой стороне улиц, узнавал некоторые из автомобилей, запаркованных на тротуарах, витрины магазинов рядом с трамвайными остановками, деревья, фасады домов, даже лица некоторых пассажиров. Его мысли забирались в самые дальние закутки, выдвигали потайные ящички воображаемых шкафов. Так он коротал скучные часы езды по городу. Он воображал, какие сцены могли бы разыгрываться за окнами домов, мимо которых он двигался. Иногда ранним утром, проезжая по улице Царя Душана, он, шутки ради, дергал звонок и с удовольствием представлял себе сонных жителей ближайших домов, вырванных из кто знает каких снов резким звуком трамвайного звонка. Иногда он развлекал себя предположениями о том, сколько денег может оказаться в данный момент в карманах всех пассажиров трамвая, сколько еще лет проживут все они вместе взятые, каков возраст самого старшего или самого младшего из них, не станет ли для кого-то эта поездка на трамвае последней в жизни. Город, по которому он много лет водил трамвай, напоминал ему огромный кроссворд, который никогда не будет решен до конца.

Занятый подсчетом предполагаемой наличности в карманах пассажиров, вагоновожатый Марко Николич 18 августа 1998 года в 10 часов 45 минут утра проехал перекресток улиц Царя Душана и Змая Йовановича на красный свет и врезался в оказавшийся на его пути автомобиль. Слишком поздно затормозив, он вылетел со своего сиденья и, пробив головой лобовое стекло, погиб на месте, успев пересчитать всего лишь треть воображаемых денег.

Картину несчастного случая наблюдала с балкона своей квартиры госпожа Даница Стойкович, в девичестве Николич, которая вышла срезать сухие листья с росших на ее балконе цветов. Спустя полчаса она рассказывала обо всем увиденном резчику стекла Николе Марковичу, в чью мастерскую зашла забрать рамку, в которую тот вставил стекло и куда она намеревалась поместить фотографии своих потомков и предков. Резчик стекла, Никола Маркович, разумеется, ни на мгновение не задумался над тем, что вагоновожатый, о печальной судьбе которого ему только что рассказала госпожа Стойкович, мог бы иметь дело с совершенно иным цветом светофора, если бы тем утром не задержался на остановке, поджидая, пока он, Никола Маркович, перебежит улицу Царя Душана. Резчик стекла, Никола Маркович, вообще не помнил ни о том, как он этим утром перебегал улицу, ни о любезности дожидавшегося его вагоновожатого.

После ухода госпожи Даницы резчик стекла Никола Маркович обратился к своему ежедневному ритуалу: он перелистал газету, после чего с особым вниманием принялся читать любимую рубрику “Листая “Политику”.

6.

"С каждым днем наша столица приобретает все новые и новые западные черты, причем, к сожалению, почти исключительно достойные сожаления. Мы еще не успели заменить старые турецкие булыжные мостовые более современными и вынуждены утопать в грязи худшей, чем в Турции, а тем временем в Белграде арестована группа лиц, наживавшаяся на продаже кокаина". (21 ноября 1923 г.)

"Позавчера, примерно в 8 часов, в трактире "У холодной воды", в котором всегда в избытке имеется ракия всех сортов, между жандармами из ближайшего отделения жандармерии произошла ссора, позже перешедшая в драку. Сами жандармы или высокопоставленные представители какой-то другой власти отдали распоряжение, чтобы эта стычка между стражами общественного порядка осталась в тайне, а простому народу, созданному для послушания, остается, как всегда, только слушаться". (6 декабря 1923 г.)

"Вчера в первой половине дня упал в раскаленную печь и сгорел кочегар Национального театра Никола Мачкич". (19 января 1924 г.)

"На эти дни приходится пик сезона на курорте Врнячка Баня. Сразу после получения июльского жалованья, чиновники отправились на железнодорожный вокзал сдавать вещи в багаж, потому что на этот курорт приходится везти с собой и постельное белье и много других вещей. Кроме двух неблагоустроенных источников и двух небольших павильонов с ваннами, здесь нет никаких других лечебных объектов. У нас есть курорт, которому может завидовать весь мир, а нам до него нет дела. А ведь в таких лечебных водах еще как нуждается народ, злоупотребляющий перцем, соленой пищей и ракией, народ, подверженный массовым заболеваниям туберкулезом и сифилисом, народ, столько страдавший в войнах". (22 июля 1924 г.)

"Аспирин в таблетках фирмы "Байер" часто подделывают. Поэтому требуйте это лекарство в оригинальной упаковке". (8 сентября 1924 г.)

7.

Ранним августовским вечером, когда резчик стекла Никола Маркович закрыл свою мастерскую и вдоль Байлониева рынка пешком отправился домой, на рынке несколько человек мыли асфальт водой из шлангов. Отбросы и разный мусор кучками скапливались на решетках канализационных люков. Подземная система кровообращения города уносила отбросы дня дальше, так же как невидимый телефонный транспортный путь собирает и уносит слова тысяч разговоров, начавшихся и закончившихся в жаркой атмосфере августовского вечера. Огромное хранилище, наполнявшееся громадным ухом и громадным глазом, хранилище начавшихся новелл и романов, досрочно законченных и взятых в рамку, подобно изображениям потомков и предков Даницы Стойкович на ее семейной фотографии, помещенной под стекло в мастерской Николы Марковича, парило в воздухе города. Миллионы движений и жестов, слов и шумов формировало невидимую архитектуру города. А что уж говорить о снах? В неподвижных головах спящих людей протекала нигде не учтенная жизнь, создавался и распространялся по неограниченному пространству еще один город, определяемый рефлексами яви,

памятью тела, которое только во сне приобретает настоящую свободу. Там, наяву, метеорологические станции с помощью точных приборов фиксировали сведения, касающиеся еще одного дня, которые позже обработают статистики и которые, возможно, приведут к незначительным изменениям в таблицах будущих путеводителей по городу. Однако в неограниченном пространстве снов, в ритме, задаваемом его спящими жителями, строился совсем другой город, город, в котором по Дунаю и Саве одновременно плыли и парусники и пароходы, а по Царьградской дороге двигались караваны лошадей и верблюдов, колонны легковых автомобилей и грузовиков. Трубили военные трубы, и завывали сирены пожарных машин, топот конских копыт сменялся ревом моторов, перемещались церкви и башни, парки и площади. В этом нагромождении фантастических городов, как на дне глубокого водоема, просматривались контуры одного-единственного, реально существующего города, города, который исчезает каждый день и каждую ночь изменяет сведения о себе, фальсифицируя собственный образ в миллионах темных клеток. Он исчезал через рамы оконных проемов, под колесами трамваев, в пятнах на старых зеркалах. Мраморные плиты вдавливали мертвецов в землю еще глубже, приобщая их к собранию экспонатов исчезнувших эпох, оттесняя в сумрак будущих музеев. Разбойники и авантюристы в одеянии героев расположились в безопасных заводях стихов. Цепочки фраз, произнесенных с забытыми интонациями, вырывались из-под клавиатур пишущих машинок, возникали на экранах компьютеров, звучали в ушах спящих. С решеток канализационных люков соскальзывали остатки еще одного дня.

8.

Луч света от карманного фонарика ощупывает замок ювелирного магазина, железяка взламывает замок, сигнализация под анестезией, бухгалтер туристического агентства “Медитеран” корректирует счета, в зоопарке льву снится антилопа, усталый пассажир дремлет на деревянной лавке в зале ожидания, официант в садике ресторана “Мадера” принимает заказ от компании из семи человек, светофоры в отдаленных районах города мигают желтым светом, ночная бабочка со сложенными крыльями, похожая на лезвие бритвы, дополняет дизайн галстука в витрине магазина “Югоэкспорт” на площади Республики, из неисправного холодильного ящика для мороженого на дорожку Калемегданского парка сочится вода, пятнадцатилетний парнишка в мансарде на Доситеевой улице первый раз в жизни натягивает презерватив, цыганская девочка с благодарностью берет деньги за проданную розу в ресторанчике “Бывают дни”, на аэродроме “Сурчин” приземляется самолет из Афин, в Жаркове легковой автомобиль врезается в грузовик, с девятого этажа госпиталя Военно-медицинской академии дежурные санитары спускают на лифте в морг только что умершего пациента, у двери дежурной аптеки возле ресторана “Лондон” молодой человек нажимает кнопку вызова, сломавшийся автобус останавливается посреди улицы Теразие, ночные сторожа в “Югобанке” на улице Короля Петра играют в шахматы, один из обитателей ночлежки на Драйзеровой улице впадает в кому, стая бродячих собак перебегает перекресток у Топчидерской Звезды, Даница Стойкович поливает цветы на балконе своей квартиры на улице Царя Ду-

шана, милицейский патруль останавливает машины на Авалской дороге, резчик стекла Никола Маркович задумчиво грызет карандаш, уставившись на пять пустых клеточек под номером 3 по горизонтали, а потом вписывает под номер 2 по вертикали название лекарственного растения: брусника, на втором этаже здания по улице Братьев Недич над бутиком "Давид" юноша делает запись в своем дневнике, продавец на рынке Каленича накрывает брезентом гору арбузов и дынь, официантка в кафе "Весна" составляет вымытые тарелки в шкаф, девушка на улице Цвиича плачет, держа за руку парня, чертежник строительной фирмы на улице Матери Евросимы вносит данные в компьютер, из поврежденной трубы на улице Рифата Бурджевича хлещет вода, вагоновожатый Марко Николич вступает в тринадцатый час жизни в лучшем мире.

Норман Мейлер

Крутые парни не танцуют

Роман

Перевод с английского В. Бабкова

Скотту Мередиту

То листья палые иль мертвецы ноябрьским вечером кружат в тумане?
Джеймс Элрой Флекер

Иные ошибки слишком чудовищны для того, чтобы в них раскаиваться.
Эдвин Арлингтон Робинсон

Глава первая

На рассвете, когда низкие берега были обнажены отливом, я просыпался под гомон чаек. В плохие дни мне казалось, что я уже умер и птицы клюют мне сердце. Потом я снова задремывал, прилив наступал на пески быстро, как тень на холмы, когда солнце садится за горную гряду, и вскоре в подпорную кладку дома под окном моей спальни начинали ударять первые волны — за один крохотный миг сотрясение передавалось от строительных перемычек в самые сокровенные глубины моей плоти. Бу-ум! — волны бухали в стену, точно я был один на корабле в ночном море.

В настоящий момент я и вправду просыпался один — на двадцать четвертое безотрадное утро после того, как от меня уехала жена. Этим

© 1984 by Norman Mailer
© В. Бабков. Перевод, 2001

вечером, по-прежнему в одиночестве, мне предстояло отметить истечение двадцати четырех суток после этого события. Дате и впрямь суждено было оказаться знаменательной. В ближайшие дни, ища ключ к нескольким преследующим меня кошмарам, я буду вглядываться в туманную пелену памяти, вспоминая, что же именно я мог или не мог совершить на протяжении двадцать четвертой ночи.

Однако когда я встал с постели, на память мне пришло немногое. Минувший день представлялся таким же, как прочие. Есть анекдот о том, как человек пришел к новому врачу и тот поинтересовался его режимом дня. Пришедший бойко перечисляет: "Я встаю, чищу зубы, блюю, умываюсь..." И тут врач спрашивает: "Вы что, каждый день блюете?" — "Конечно, доктор, — отвечает пациент. — А разве не все так?"

Этим человеком был я. Каждое утро, после завтрака, я не мог закурить сигарету. Едва я брал ее в рот, как у меня возникали позывы к рвоте. Я испытывал всю мерзостную полноту ощущений, связанных с уходом жены.

Двенадцать лет я пытался бросить курить. Как сказал Марк Твен — кто не помнит этой шутки? — "нет ничего легче, чем бросить курить. Лично я делал это раз сто". Мне чудилось, будто это сказал я, потому что я действительно совершал десятки и десятки попыток — раз в год, раз в девять месяцев, раз в четыре месяца. Я отказывался от курения снова и снова, сто раз за все эти годы, но неизменно возвращался к этой привычке опять. Ибо в своих снах, рано или поздно, я зажигал спичку, подносил пламя к кончику сигареты, а затем, вместе с первой затяжкой, вбирал в себя всю жажду существования. Я чувствовал себя напоровшимся на самое страсть — духи, заточенные в моей груди, взывали об одном глотке табачного дыма. Поверни судьбу!

Так я понял, что значит неистребимая тяга. Этот зверь держал меня за горло, и его жизненно важные органы были в моих легких. Я боролся с этим демоном двенадцать лет и иногда на время обуздывал его — обычно ценой больших потерь для себя и окружающих. Потому что в периоды некурения я злобствовал. Мои рефлексы жили в том месте, по которому чиркает спичка, и мой мозг терял те крохи знания, что дарят нам безмятежность (по крайней мере, если мы американцы). В муках отлучения от курева я мог нанять автомобиль, не заметив, "форд" это или "крайслер". Это служило предвестием конца. Как-то раз в такой период я вместе с девушкой, которую любил, — ее звали Мадлен — отправился провести уик-энд с супружеской парой, предложившей нам поменяться женами. Мы ответили на приглашение. На обратном пути я поссорился с Мадлен и разбил машину. Мадлен сильно повредила внутренности. Я снова начал курить.

Я говаривал: "Легче расстаться с любовью своей жизни, чем бросить курить", — и, пожалуй, был прав. Но вот в прошлом месяце, двадцать четыре дня назад, моя жена ушла. Двадцать четыре дня. И теперь я узнал о неистребимой тяге еще кое-что. Может быть, от любви и проще отказаться, чем от сигарет, но когда надо распрощаться разом с любовью и ненавистью — ах, эта верная опора психиатров, связь, основанная на ненависти и любви! — что ж, в этом случае разрушить свой брак отнюдь не легче, чем покончить с зависимостью от никотина; особой разницы тут нет, ибо я могу сказать вам, что за двенадцать лет возненавидел это гнусное вещество так же, как и своего злейшего врага, жену. Даже первая утренняя затяжка (которая раньше приносила чистейшее блаженство, ис-

ключавшее самую мысль о том, чтобы бросить) выродилась в судороги кашля. Осталась лишь квинтэссенция привязанности, но сама привязанность — это по-прежнему автограф на дне твоей души.

Похоже обстояло дело и с моим браком — теперь, когда Пэтти Ларейн ушла. Ведь я любил ее когда-то, зная ее чудовищные недостатки, — вот так мы счастливо курим и пожатием плеч прогоняем мысль о раке легких, до которого еще десятки лет, — и так же, несмотря ни на что, я обожал ее. Кто знает? Возможно, любовь помогает нам избавляться от зловещих предчувствий. С тех пор прошли годы. А в последнее время, уже много месяцев, мы пытались искоренить привычку друг к другу. Глубинное омерзение все росло и росло, покуда его побеги не заполонили все ниши, где прежде гнездилось добродушие. Жена стала так же противна мне, как и утренняя сигарета. От которой я таки в конце концов отказался. Спустя двенадцать лет я наконец почувствовал себя свободным от сильнейшей в жизни привязанности. Правда, лишь до того вечера, когда она ушла. В тот вечер я открыл, что потеря жены — удар посильнее.

До ее ухода я не выкурил ни одной сигареты за целый год. Как следствие, у нас с Пэтти Ларейн бывали бурные скандалы, но со своим "Кэмелом" я наконец покончил. Жалкая надежда. Через два часа после отъезда Пэтти я вытащил из оставленной ею полупустой пачки новый гвоздь для крышки гроба и после двух дней борьбы с собой вновь оказался на крючке. Теперь, когда она ушла, каждый мой день начинался с жесточайших душевных конвульсий. Боже мой, я задыхался в хлябях страдания. Ибо с возвратом этой паршивой привычки ко мне в полном объеме вернулась и прежняя тоска по Пэтти Ларейн. Вкус каждой сигареты напоминал пепельницу, но обонял я не деготь, а свою собственную горелую плоть. Вот он, дух хандры и утраты.

Итак, повторяю: я не помню, где провел свой Двадцать четвертый день. Самое отчетливое воспоминание относится к тому, как я в муках заглатываю дым первой сигареты. Иногда, выкурив четыре-пять штук, я начинал затягиваться более или менее спокойно, тем самым растравляя рану, которую (не без ущерба для самоуважения) стал-таки почитать неизлечимой. И по Пэтти Ларейн я тосковал гораздо больше, чем мне бы хотелось. В эти двадцать четыре дня я старался никого не видеть, я сидел дома, не всегда умывался, пил так, словно великую реку крови нашей питают потоки виски, а не воды, я был — говоря коротко — в полном раздрае.

Летом мои горести скорей привлекли бы внимание окружающих, но нынче стояла поздняя осень, дни были серы, город почти пуст, и до наступления сумерек (а они с каждым днем наступали все раньше) вы спокойно могли бы прокатить шар, каким сбивают кегли, по нашей длинной и узкой главной улице — типичной новоанглийской аллее, — не попав ни в машину, ни в пешехода. Наш городок ушел в себя, и холода, в которых не было ничего особенного, если судить по термометру (ибо климат на массачусетском побережье не так суров, как в районе каменистых холмов к западу от Бостона), все же пронизывали насквозь — в промозглом морском воздухе ощущалась та беспредельная стужа, что таится под монашьим клобуком историй с привидениями. Или в сердцевине спиритических сеансов. Скажу честно, в конце сентября мы с Пэтти посетили один такой сеанс, и результаты оказались обескураживающими: краткий и жуткий, он закончился воплем. Пожалуй, я лишился Пэтти

Ларейн отчасти и потому, что в тот миг к нашему браку примкнуло нечто неосязаемое, но безусловно отталкивающее.

После ее отъезда погода на неделю замерла. Один холодный день сменялся другим; угрюмое ноябрьское небо не прояснялось. Все кругом серело на глазах. Летом в городке было тридцать тысяч человек; на уикэндах эта цифра удваивалась. На главной, четырехполосной магистрали штата, упирающейся в наш пляж, было полно машин, словно к нам стремилось все население Кейп-Кода. Тогда Провинстаун был пестрым, как Сен-Тропез, а по воскресным вечерам — замусоренным, как Кони-Айленд. Однако осенью, когда народ разъехался, городок стал совсем другим. От нескольких десятков тысяч душ, бурливших на улицах, остался лишь осадок в три тысячи местных жителей, а в голые тоскливые будни можно было подумать, что их не больше тридцати — и те прячутся.

Другого такого города на свете не существует. Если вы не любите толпы, летнее нашествие отдыхающих может оказаться для вас губительным. С другой стороны, если вы не выносите одиночества, за долгую зиму сосуд вашей души может переполниться ужасом. На Мартас-Виньярде, меньше чем в пятидесяти милях к югу и западу, вырастали и разрушались горы, этот остров видел наступление и спад океанов, жизнь и смерть великих лесов и болот. По Мартас-Виньярду бродили динозавры, и их кости спрессовались в геологический слой. Ледники приходили и уходили, то буксируя остров к северу, то отталкивая его обратно на юг, точно баржу. Некоторые ископаемые с Мартас-Виньярда имеют возраст в миллион веков. Северную же оконечность Кейп-Кода, где стоял мой дом, ту землю, на которой я жил, — длинный спиралевидный отросток на самом конце мыса, покрытый дюнами и кустарником, — ветер и море создали лишь за последние десять тысяч лет. По геологическим меркам это не больше одной ночи.

Наверное, поэтому Провинстаун так прекрасен. Зачатые ночью (ибо можно поклясться, что они выросли во мраке одной-единственной бури), на рассвете его песчаные отмели влажно блестят с девственной непорочностью края, впервые подставляющего себя солнцу. Десятилетие за десятилетием художники приезжают писать свет Провинстауна и сравнивают эту местность с венецианскими лагунами и голландскими болотами, но потом лето кончается, большинство художников уезжает, и город открывает глазам длинное несвежее исподнее новоанглийской зимы, тусклой и серой под стать моему настроению. Тогда вспоминаешь, что краю этому всего десять тысяч лет и у здешних привидений нет корней. Это не Мартас-Виньярд — здесь не найти ископаемых останков, которые привязали бы духов к себе, и потому наши бесприютные призраки, кренясь, проносятся с ветром по двум центральным улицам городка, что огибают залив вместе, как две идущие в церковь старые девы.

Если по этому можно судить, как работал мой мозг на Двадцать четвертый день, становится очевидным, что меня одолевала тяга к самоанализу и саморазрушению, тоска, питаемая и прошлым, и настоящим. Двадцать четыре дня без жены, которая внушает тебе любовь, ненависть и определенно страх, — и ты с гарантией прирастешь к ней самым комлем своей души. Как ненавидел я вкус сигарет теперь, когда закурил снова.

Кажется, в тот день я прошел весь город насквозь и вернулся обратно к своему дому — к ее дому, потому что мы купили этот дом на деньги Пэтти Ларейн. Я прошагал три мили по Коммершл-стрит и возвращал-

ся уже почти в сумерках, но я не помню, с кем говорил по пути и кто — много их было или мало — проезжал мимо в машине и предлагал меня подбросить. Помню только, что добрел до самой окраины городка, до пляжа за последним домом — места высадки первых английских колонистов. Да, они высадились не в Плимуте, а здесь.

Я часто размышляю об этом событии. Переплыв Атлантику, колонисты увидели на горизонте землю, и этой землей были скалы Кейп-Кода. У берега, обращенного к океану, волны иногда достигают десятиметровой высоты. В безветренные дни там еще опасней: неумолимые течения могут увлечь судно на мель, и оно завязнет в песке. Кейп-Код грозен именно зыбучими песками, а не прибрежными скалами. С каким, наверное, страхом вслушивались мореплаватели в далекий вечный шум прибоя. Кто отважился бы подойти к этому берегу на тех кораблях, что были у них? Они повернули на юг, но белая полоса суши оставалась безжалостной — ни намека на бухту. Только длинная ровная отмель. Тогда они пошли на север и через день увидели, как берег заворачивает к западу, а потом и вовсе к югу. Что за шутки шутила с ними земля? Три четверти пути от самой северной точки им пришлось проплыть на восток. Что это — гигантская раковина? Они обогнули мыс и бросили якорь в спокойных водах. Здесь обнаружилась естественная гавань, защищенная со всех сторон, точно ушной канал. Люди спустили шлюпки и на веслах пошли к берегу. На месте их высадки есть памятная табличка. Она находится в начале волнолома, который теперь защищает от разрушительного действия океана последние низины на окраине нашего города. Тут и кончается дорога — место высадки первых колонистов совпадает с самой дальней точкой полуострова Кейп-Код, до которой может добраться турист. И лишь спустя несколько недель, переждав суровую непогоду и убедившись, что в этом песчаном краю мало дичи и годных под запашку полей, путешественники пересекли залив и высадились в Плимутской бухте.

Однако именно здесь они впервые ступили на сушу, в полной мере испытав тот трепетный восторг, каким сопровождается открытие новой земли. Она и впрямь была новой — ей не исполнилось и десяти тысяч лет. Песчаная коса. Сколько же индейских духов, должно быть, завывало в их лагере в первые ночи.

Я думаю об этих колонистах всякий раз, когда прихожу на изумрудно-зеленые луга в конце города. Дальше тянутся прибрежные дюны — они так низки, что вы можете видеть плывущие по горизонту корабли, не видя самого моря. Рулевые мостики рыболовных барок верблюжьими караванами бредут по песку. Если я уже успел выпить, меня разбирает смех, потому что ярдах в пятидесяти от места, где начались Соединенные Штаты, — от памятной таблички — расположен въезд в огромный мотель. Он не безобразней и, уж конечно, не краше любого другого гигантского мотеля, и единственная дань, отданная колонистам, — это его название, ибо называется он гостиницей. Его автомобильная стоянка может поспорить размерами с футбольным полем. Уважили колонистов!

Как бы я ни напрягал и ни мучил свою память, мне не удается вспомнить о Двадцать четвертом дне — точнее, о промежутке с полудня до вечера — ничего другого. Я вышел, пересек город, поразмышлял о геологическом строении наших берегов, вернулся мыслями к первым колонистам и посмеялся над гостиницей "Провинстаунская". Потом я,

кажется, побрел домой. Мое унылое лежание на диване стало хроническим. За эти двадцать четыре дня я пролежал много часов, просто пялясь в стену; но что я действительно помню, чего я не могу игнорировать — это моя вечерняя вылазка, когда я сел в свой "порше" и очень медленно, точно боялся задавить ребенка — стоял туман, — поехал по Коммершл-стрит и двигался по ней, пока не достиг "Вдовьей дорожки"[1]. Тут, недалеко от гостиницы "Провинстаунская", есть темный и грязноватый, обшитый сосновыми панелями зал, под которым во время прилива мягко плещется вода, ибо одна из прелестей Провинстауна, не упомянутых мною, состоит в том, что не только мой дом — ее дом! — но и все прочие дома на Коммершл-стрит со стороны океана иногда превращаются в корабли: поднявшаяся вода наполовину затопляет строительные подпорки под ними.

Вчера вода тоже поднялась высоко. Она наступала лениво, точно в тропиках, но я знал, что море холодное. За манящими окнами полутемного зала, в его просторном камине пылал огонь, достойный рождественской открытки, и мой деревянный стул напоминал о скором приходе зимы, поскольку у него была полочка вроде тех, что сотню лет назад использовались в библиотеках, — широкая круглая дубовая крышка, которая откидывалась на шарнирах, позволяя вам сесть, а потом возвращалась на место, дабы служить подставкой для вашего правого локтя и стакана с выпивкой.

"Вдовья дорожка" была словно создана для меня. Долгими осенними вечерами я тешил себя фантазией, будто я — один из современных промышленных магнатов, купивший этот бар ради собственного удовольствия. В большой ресторан, куда можно было пройти из бара, я заглядывал редко, но этот уютный зальчик с деревянными панелями на стенах и барменшей за стойкой был как раз по мне. Наверное, в глубине души я считал, что другим сюда вход заказан. В ноябре поддерживать эту иллюзию ничего не стоило. По будням большинство здешних клиентов — почтенные джентльмены из Брустера, Денниса и Орлинса — в поисках экзотического отдыха пускались в отважное путешествие за тридцать-сорок миль от своего дома, чтобы поужинать в самом Провинстауне. Летнее эхо не влияло на нашу дурную репутацию. Все эти убеленные благородными сединами персонажи — отставные профессора и удалившиеся от дел сотрудники крупных фирм — в баре не задерживались. Они шли прямиком в обеденный зал. Кроме того, им было довольно одного взгляда на мою рабочую куртку, чтобы почувствовать обострение голода. "Нет, милый, — говорили их жены, — выпьем лучше за столиком в ресторане. Мы так изголодались!" — "Изголодалась ты, как же", — бормотал я себе под нос.

В эти двадцать четыре дня бар "Вдовьей дорожки" был моей крепостной башней. Я усаживался у окна, глядел на огонь, следил за тем, как наступает или отступает вода, и после четырех бурбонов, десятка сигарет и дюжины крекеров с сыром (мой обед!) начинал казаться себе по меньшей мере раненым лордом, живущим у моря.

Тоска, жалость к себе и отчаяние компенсируются тем, что благодаря виски воображение начинает работать с утроенной силой. Не важно, что алкоголь его скособочивает — главное, что оно просыпается. В этой

1. Здесь — название бара; раньше "вдовьими дорожками" назывались огороженные площадки на крышах прибрежных домов, где жены моряков ожидали своих мужей. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

комнате меня бесперебойно снабжала выпивкой покорная девица, у которой я, несомненно, вызывал ужас, хотя ни разу не сказал ничего более провокационного, чем "Еще бурбон, пожалуйста". Но поскольку она работала в баре, я понимал ее страх. Я сам был барменом много лет, и мне была понятна ее уверенность в том, что я опасен. Слишком уж вежливо я держался. Когда я сам стоял за стойкой, такие посетители тоже вызывали у меня беспокойство. Они не доставляют вам никаких хлопот — но только до определенного момента. Потом они могут разнести все вокруг вдребезги.

Я не причислял себя к этой категории клиентов. Но разве могу я сказать, что опасения, внушенные мною официантке, не сослужили мне хорошей службы? Она уделяла мне ровно столько внимания, сколько я хотел, — ни каплей больше или меньше. Управляющий, симпатичный паренек, который старательно демонстрировал свои светские манеры, знал меня уже не один год и, пока я ходил сюда в обществе богатой жены, относился ко мне как к редкому образчику местной аристократии, игнорируя любые выходки подвыпившей Пэтти Ларейн: богатым извинительно многое! Потом же, когда я стал посещать бар в одиночестве, он здоровался со мной вначале, прощался в конце и явно по-хозяйски решил оберегать мой покой. Как следствие, мало кого из посетителей усаживали в этом зале. Я мог вечер за вечером напиваться по своему вкусу.

Теперь я наконец созрел для признания в том, что я писатель. Впрочем, за эти три с лишним недели, начиная с Первого дня, я не написал ничего нового. Сознавать нелепость своего положения — это, согласитесь, само по себе невесело, но когда не можешь вырваться из порочного круга, бремя становится совсем невыносимым. Сигареты, от коих я отказался ценой такого ущерба для своего писательского дара, теперь, по моем возвращении под иго никотина — а это настоящее иго, — и вовсе лишили меня способности написать хотя бы один абзац. Чтобы не курить, мне пришлось заново научиться писать. Теперь же, когда подошло время праздновать победу, возврат к сигаретам, казалось, затоптал последнюю искорку моего таланта. Или в этом виноват уход Пэтти Ларейн?

В эти дни я брал с собой во "Вдовью дорожку" блокнот и, как следует выпив, умудрялся добавить строчку-другую к словам, запечатленным там в менее отчаянные часы. Изредка в одном со мной зале оказывались другие посетители, зашедшие на коктейль перед ужином, и мои одобрительные восклицания по поводу какого-нибудь удачного оборота или недовольное ворчанье над фразой мертвой, точно давно опостылевший тост старого пропойцы, должны были звучать для них странно и дико-вато, вызывать такую же тревогу (с учетом претендующей на элегантность панельной облицовки), как подвыванья пса, абсолютно равнодушного ко всякому человеческому присутствию.

Поверите ли, что я не играл на публику, когда хмурился на какую-нибудь пьяную запись, не поддающуюся прочтению, и довольно усмехался, если эти жуткие каракули вдруг превращались в осмысленный текст? "Ага, — бормотал я себе под нос, — портреты!"

Я только что разобрал часть названия, добротного названия, достаточно звучного для книги: "В нашей глуши — портреты здравомыслящих" Тимоти Маддена.

Теперь я начал так и этак примерять свое имя. "В нашей глуши — портреты здравомыслящих"; кто автор — Мак Мадден? Тим Мак Мадден? Тик-Так Мадден? Я захихикал. Моя официантка, бедная опасливая мышка, отважилась бросить на меня взгляд, лишь повернувшись строго в профиль.

Но я забавлялся искренне. Ко мне вернулись старые шутки по поводу моего имени. Я чувствовал прилив любви к отцу. Ах, эта сладкая печаль сыновней любви. Она чиста, как вкус леденца с кислинкой, когда тебе пять. Дуглас (Дуги) Мадден — для друзей Биг-Мак; а меня, его единственного отпрыска, они когда-то звали Мик-Маком, потом Тик-Таком и снова Тимом. Наблюдая за метаморфозами своего имени сквозь винные пары, я и захихикал. Каждая перемена имени была в моей жизни событием, и я старался восстановить эти события в памяти.

В глубине души я уже изобретал первые фразы вступительного эссе. (А какое название! "В нашей глуши — портреты здравомыслящих", автор Тим Мадден.) Я мог бы порассуждать об ирландцах и о том, почему они так много пьют. Может, виноват тестостерон? Считается, что у ирландцев его больше, чем у других мужчин — уж у моего-то отца наверняка, — и оттого они так неуправляемы. Возможно, алкоголь требуется этому гормону как растворитель.

Я сидел, нацелив карандаш на блокнот, отпитое из стакана виски жгло язык. Я еще не был готов проглотить его. Название — это почти все, что мне удалось придумать с Первого дня. Я был способен только смотреть на волны. В этот зябкий ноябрьский вечер волны за окном бара чем-то походили на волны в моем мозгу. Мои мысли застопорились, и я ощутил разочарование, сопутствующее глубоким пьяным прозрениям. Едва перед тобой забрезжат истинные мировые законы, как твой словарный запас расплывается мутным пятном.

Именно тогда я заметил, что я уже не одинок во "Вдовьей дорожке", этих своих владениях. Не дальше чем в десяти футах от меня сидела блондинка, поразительно похожая на Пэтти Ларейн, а рядом — ее спутник. Если у меня и не было другой ниточки, по которой я мог бы выкарабкаться в сознательное состояние, она помогла мне сделать это, появившись здесь со своим пижоном, с иголочки одетым провинциально-твидово-фланелевым, среброволосо-напомпадуренным[1], загорелоадвокатоподобным типом; да, эта леди уселась здесь со своим шейхом, и, судя по стоящим перед ними бокалам, они беседовали (причем не понижая голоса, во всяком случае она) уже довольно долго. Пять минут? Десять? Я понял, что они оценили меня с одного взгляда и самоуверенно — скажем даже, нагло — решили не брать в расчет. Я не знал, в чем причина этого надменного обособления — то ли ее приятель, несмотря на свой внешний вид, был как следует подкован в области боевых искусств (хотя твидово-фланелевые обычно бывают теннисистами, а не обладателями черного пояса), то ли они были такой богатой парой, что не ожидали от незнакомцев никаких неприятностей (кроме разве что кражи со взломом), то ли они проявили простую невосприимчивость к налитому виски телу, голове и конечностям, находящимся так близко от них, — но женщина, по крайней мере, говорила громко, словно меня вовсе не было. Какое оскорбление в этот задумчивый час!

1. "Помпадур" здесь — мужская прическа (волосы зачесываются прямо назад так, чтобы стояли).

Затем я понял. По их разговору мне скоро стало ясно, что это калифорнийцы, держащиеся так же свободно и раскованно, как туристы из Нью-Джерси, зарулившие в мюнхенский бар. Откуда им знать, как они меня обидели?

Когда мое мышление выполнило все эти тяжеловесные маневры, свойственные только людям, погруженным в глубокую депрессию — мозг пошатывается, точно слон, загоняемый обратно в стойло, — я наконец выкарабкался из мрачного острога эгоцентризма и разглядел их получше, после чего сообразил, что их индифферентность по отношению ко мне не является ни высокомерием, ни самоуверенностью, ни наивностью, но, напротив, чистейшим театром. Сценическим действом. Мужчина отлично понимал, что присутствие враждебно настроенного соседа вроде меня не может не грозить им серьезными неприятностями, а женщина, согласно моему убеждению в том, что блондинки полагают неприличным не вести себя либо по-ангельски, либо по-сучьи — причем оба варианта практикуются в равной степени, — перла вперед без оглядки. Она хотела меня спровоцировать. И испытать на вшивость своего красавца. Видно, она и по характеру ничем не уступала моей Пэтти Ларейн.

Но дайте я опишу эту женщину. На нее стоило посмотреть. Ей было лет на пятнадцать больше, чем моей жене, — стало быть, уже под пятьдесят, — но как она себя подавала! Такая же внешность была у одной порнозвезды по имени Дженнифер Уэллс. У нее были большие, точеные, развратные груди — один сосок смотрел на запад, другой пялился на восток, — глубокий пуп, округлый женский животик, широкий, щедрый, жизнерадостный зад и *темные* лобковые волосы. Именно это и разжигало похоть в тех, кто брал билеты на фильмы с Дженнифер Уэллс. Если женщина стала блондинкой по выбору — значит, она блондинка в душе.

Итак, лицо моей новой соседки, как и лицо порнозвезды Дженнифер Уэллс, обладало бесспорной привлекательностью. У нее был милый вздернутый носик и полные губы, бесстыдные и повелительные, как дыханье самого секса. Ноздри ее трепетали, красивые ногти на руках — пусть борцов за женское равноправие хватит кондрашка! — были вызывающе тщательно покрыты серебристым лаком в тон серебристо-голубым теням на веках. Ну и штучка! Анахронизм. Наиболее самодовольная разновидность ходячей мошны с Западного побережья. Санта-Барбара? Ла-Джолла? Пасадена? Что бы это ни было, она наверняка явилась из какого-нибудь бридж-клуба. Прекрасно ухоженные блондинки — такой же непременный атрибут подобных мест, как горчица на пастрами. Корпоративная Калифорния вторглась прямо ко мне в душу.

Я не могу описать, как это было возмутительно. Все равно что свастика, намалеванная на дверях Комитета защиты прав евреев. Эта блондинка так живо напомнила мне Пэтти Ларейн, что я ощутил потребность нанести ответный удар. Что бы такое сделать? — думал я. По крайней мере, отравить им вечер.

И я стал слушать. Она была из тех безупречно одетых, хорошо упитанных дамочек, что любят выпить. Приканчивала один бокал и сразу начинала другой. Шотландского, конечно. "Чивас-ригал". Она называла его "чивви". "Мисс, — говорила официантке, — дайте мне еще чивви. И побольше стекляшек". Это у нее был лед, ха-ха.

"Конечно, я тебе надоела", — говорила она своему спутнику громким и до предела самоуверенным голосом, точно могла до последней капли

измерить свой сексуальный багаж. Динамо-машина. Некоторые голоса заставляют резонировать тайные фибры души. Такой голос был у нее. Это не слишком тонкое замечание, но ради такого голоса человек способен на многое. Всегда существует надежда, что его обладательница предложит тебе что-нибудь достаточно откровенное.

У Пэтти Ларейн тоже был такой голос. Прихлебывая очень сухой "мартини" (который она, уж будьте уверены, называла "марти-секо"), она вела свирепые речи. "Это джин, — говорила она со всем хрипловатым пылом своей падкой на словоизвержения глотки, — джин сгубил старушку. Да, говнючок", — она с нежностью включала тебя в свои язвительные периоды, словно, ей-же-ей, даже ты, говнючок, рядом с нею мог чувствовать себя человеком. Однако Пэтти Ларейн принадлежала к иному сорту богачей — ее капитал целиком достался ей из других рук. Второй ее муж, Микс Уодли Хилби Третий (которого она хотела прикончить и открытым текстом уговаривала меня это сделать), был из Тампы, из старинной денежной семьи, и она пробила хорошую дыру — правда, не между его глаз, а в его финансовом понтоне — благодаря своему адвокату, специалисту по разводам, настоящему мастеру своего дела (который, с мукой признался я сам себе, в то время наверняка ежедневно массировал ей заднюю стенку живота, но чего и ожидать от талантливого адвоката по разводам — это ведь входит в процесс подготовки свидетельницы). Хотя Пэтти Ларейн была тогда бойкой красоткой — конфеткой, начиненной кайенским перцем, — ему удалось умерить ее пыл и поубавить яду в содержащихся в ней специях. С помощью интенсивных тренировок (он был одним из первых, кто пользовался на репетициях видеокамерой) этот малый научил ее казаться робкой на свидетельском месте и заставлять жирного старика судью таять от умиления. В ходе процесса все грешки в ее замужней жизни (свидетели были и у мужа) приняли вид невинных ошибок отчаявшейся и оскорбленной до глубины души благородной леди. Каждый очередной экс-любовник, который показывал против нее, являлся лишь свидетельством новой неудачной попытки излечить сердце, разбитое ее мужем. Может, в юности Пэтти и была всего только заводилой болельщиков, обаятельной провинциалочкой из заштатного городка в Северной Каролине, но ко времени развода с Уодли (и выхода замуж за меня) она таки пообтерлась в обществе. Черт возьми, да на заседаниях суда они с адвокатом перебрасывались полной супницей не хуже Лунта с Фонтэн[1]. В результате чего отпрыск богатого флоридского рода лишился увесистой доли своего капитала. Вот так разбогатела Пэтти Ларейн.

Но чем дольше я вслушивался в речи своей соседки во "Вдовьей дорожке", тем больше убеждался: она из другого теста. Пэтти Ларейн была умна по-настоящему — ее ум был единственным, что отделяло ее от серых и тупых низов. Эта же новая блондинка, вторгшаяся в мое одиночество, умом не блистала, но не очень-то в нем и нуждалась. Манеры пришли к ней вместе с деньгами. Если бы все остальное сложилось как надо, она могла бы встретить вас на пороге своего гостиничного номера, облаченная только в белые перчатки до локтей (и туфли на высоком каблуке).

— Ну, смелей — скажи, что тебе надоело, — ясно расслышал я. — Так всегда бывает, когда двое симпатичных людей едут куда-нибудь вместе.

1. Альфред Лунт (1892–1977) и Линн Фонтэн (1887–1983) — известные американские актеры, супруги в жизни и на сцене.

Эта вынужденная жизнь вдвоем порождает разочарование. Что, я не права?

Очевидно, ей хотелось не столько услышать его ответ, сколько дать мне понять, что они совершают краткую увеселительную поездку и отнюдь не состоят в брачных отношениях. Все могло повернуться по-разному. Если смотреть на этого Твидово-фланелевого как на убойную скотинку, его запросто можно заменить на одну ночь. Поведение этой дамочки говорило о том, что первый ночной сеанс с нею будет самым что ни на есть полноценным — трудности могут возникнуть только потом. Но первая ночь явно пойдет за счет заведения.

— Вовсе мне не надоело, отвечал Твидово-фланелевый тихим-претихим голосом, вовсе нет, — его голос проникал ей в уши, точно потрескивание радиоприемника, постепенно усыпляющее слушателя. Да, решил я, он определенно юрист. В его доверительной сдержанности сквозило что-то профессиональное. Он словно охмурял присяжных, помогая судье спасти дело. Баю-баюшки-баю...

Однако она и не думала сбавлять обороты!

— Нет, нет, нет, — выпалила она, слегка встряхивая лед в бокале, — это была моя идея приехать сюда. У тебя были дела в Бостоне — ладно, сказала я, почему бы не составить тебе компанию? Как ты на этот счет? Ты, понятно, не возражал. Папочка в экстазе от новых мамочек. И т. д., — она сделала паузу, чтобы пригубить "чивви". — Но, милый мой, у меня есть один минус — я не выношу удовлетворенности. Стоит мне ее почуять, как сразу: прощай, любовь! Кроме того, Лонни, ты наверняка заметил, что я обожаю читать карты. Говорят, женщины не разбираются в картах. Это не про меня. Когда-то в Канзас-сити — дай-ка припомнить... а, в семьдесят шестом! — я была единственной женщиной Джерри Форда[1] в нашей делегации, которая могла по карте доехать от гостиницы до его штаб-квартиры. Так что это была твоя ошибка — показать мне карту Бостона и его окрестностей. Если ты слышишь в моем голосе эту интонацию, когда я говорю: "Милый, мне хотелось бы взглянуть на карту здешних мест", — берегись. Значит, у меня пятки чешутся. Лонни, с тех самых пор, как мы начали изучать географию в пятом классе, — она критически покосилась на тающие "стекляшки" в своем бокале, — я глаз не могла отвести от Кейп-Кода на карте Новой Англии. Торчит как мизинчик. Знаешь, до чего дети обожают мизинчики? Они им кое-что напоминают. Вот и я всегда хотела поглядеть на кончик Кейп-Кода.

Я должен сказать, что ее друг мне по-прежнему не нравился. У него был чересчур холеный вид человека, чьи деньги делают деньги, пока он спит. Вовсе нет, вовсе нет, говорил он, поливая своим оливковым маслом ее душевные царапины, мы оба хотели сюда съездить, так что все в полном ажуре, и прочее, и прочее.

— Нет, Лонни, я все решила за тебя. Проявила характер. Сказала: "Хочу поехать в это местечко, Провинстаун". Да я бы и возразить тебе не дала. И вот мы здесь. Каприз на капризе — а в результате ты помираешь со скуки. И хочешь сегодня же вернуться в Бостон. Как тут *безлюдно*, правда?

При этих словах — всякая ошибка исключена — она прямо посмотрела на меня: взглядом, полным призыва подхватить ее реплику и презрения на тот случай, если ответа не последует.

1. Джеральд Рудольф Форд (род. в 1913) — президент США в 1974—1977 годах.

Я заговорил. Я сказал ей:

— Вот и доверяйте после этого картам.

Видимо, это сработало. Поскольку дальше я помню себя уже сидящим с ними. Признаюсь — память у меня паршивая. То, что я помню, я помню ясно — иногда! — но частенько не могу связать вместе события одного вечера. Итак, дальше я помню себя сидящим с ними. Наверное, меня пригласили. Должно быть, я и впрямь пришелся ко двору. Даже он смеялся моим шуткам. Его звали Леонард Пангборн, Лонни Пангборн — несомненно, представитель славного семейства калифорнийских республиканцев, — а ее имя было не Дженнифер Уэллс, а Джессика Понд. Понд и Пангборн — теперь вам понятна моя враждебность? Они точно сошли с телеэкрана во время трансляции какой-нибудь мыльной оперы.

Мое общество ее здорово развлекло. Думаю, это потому, что я уже много дней ни с кем не разговаривал. Кроме того, в депрессии я или нет, какой-то подспудный юмор всегда во мне держится. Я стал сыпать разными историями про наш полуостров. Энергия била во мне ключом, как в осужденном, которому позволили провести один день вне тюремных стен, но и то сказать: мой флирт с Джессикой явно приносил плоды, и это почти избавило меня от хандры. Во-первых, я вскоре обнаружил, что ее притягивает солидная собственность. Красивые усадьбы на славных зеленых лужайках, с фигурной железной оградой пьянили ее, как агента по продаже недвижимости — удачно подобранный в пару к дому покупатель. Конечно, скоро я во всем разобрался. К деньгам, имеющимся у нее от рождения, Джессика добавила деньги, заработанные ею самой. У себя в Калифорнии она именно этим и занималась — успешно торговала недвижимостью.

Как, должно быть, разочаровал ее наш Провинстаун. У нас есть своя архитектура, но она старомодна: это типичные для Кейп-Кода домишки, двухэтажные спереди и одноэтажные сзади, с наружной деревянной лестницей и сараем для обработки рыбы. Мы сдаем жилье туристам. Из ста сданных приезжим комнат сто могут оказаться с наружными лесенками. Для человека, ищущего красивой жизни, в Провинстауне не больше приволья, чем среди двух десятков телефонных будок на перекрестке.

Может, ее обманули изысканные очертания нашей земли на карте: филигранно тонкий кончик Кейп-Кода загибается внутрь себя, словно носок средневековой туфли! Возможно, она воображала себе сплошные зеленые луга. А вместо этого ее взору предстали заколоченные досками лавчонки да главная улица с односторонним движением, такая узкая, что если у тротуара стоял грузовик, вы проезжали мимо него, затаив дыхание: не дай бог ободрать взятый напрокат "седан".

Разумеется, она спросила меня о самом эффектном доме в нашем городе. Он стоит на холме — это пятиэтажная вилла, единственная в Провинстауне, — и обнесен высокой фигурной оградой. От ее ворот до парадного входа чуть не целая миля. Я не мог сказать, кто живет там сейчас и на каких правах — съемщика или хозяина. Имя я слышал, но забыл. Это трудно объяснить чужакам, но зимой жители Провинстауна предпочитают сидеть по своим норам. Завязать знакомство с новоприбывшими не проще, чем перебраться с острова на остров. Вдобавок, ни одного из моих знакомых, одетого в нашу зимнюю форму (рабочие штаны, сапоги и куртка с капюшоном), и в ворота этой усадьбы не впустили бы. Я полагал, что нынешний владелец нашего единственного импозантного дома — какой-нибудь богатый чудила. Так что я взял богача, ко-

торого знал лучше всего (а это, чего греха таить, был как раз бывший муженек Пэтти Ларейн из Тампы), перетащил его с юга на север, в Провинстаун, и сдал виллу ему. Я не хотел терять темп с Джессикой.

— А, этот дом! — сказал я. — Его хозяин — Микс Уодли Хилби Третий. Живет там совсем один. — Я помедлил. — Между прочим, он мой знакомый. Вместе учились в Экзетере[1].

— Ага, — сказала Джессика после солидной паузы. — Вы думаете, нам стоит нанести ему визит?

— Его сейчас нет. Теперь он редко бывает в городе.

— Жаль, — сказала она.

— Он бы вам не понравился, — сообщил я. — Уж очень чудной малый. В Экзетере он бесил всех учителей, потому что чихать хотел на форму одежды. Мы обязаны были посещать занятия в пиджаках и галстуках, а старина Уодли приходил разряженный, как предводитель Армии спасения.

Видимо, в моем тоне прозвучало какое-то обещание, поскольку она счастливо рассмеялась, но едва заговорив снова — это осталось у меня в памяти, — я почувствовал, что продолжать мне ни в коем случае не следовало. Возникшее у меня ощущение было иррациональным, как необъяснимый запах дыма; знаете, мне иногда думается, что все мы похожи на радиостанции и некоторые истории категорически нельзя выпускать в эфир. Кроме того, внутренний голос настоятельно советовал мне воздержаться от продолжения (но я сознательно проигнорировал его — уж это-то можно сделать ради привлекательной блондинки!), и в тот самый момент, когда я искал нужные слова, в моем мозгу возникла картинка из далекого прошлого, яркая, как только что отчеканенная монета: Микс Уодли Хилби Третий, *Уодли*, неуклюже шагает по коридору в своих твидовых брюках, лакированных бальных туфлях и старом смокинге с обтерханными атласными лацканами (в котором он, к ужасу половины факультета, ежедневно являлся на занятия), — а его пурпурные носки и лиловый галстук-бабочка сияют, словно неоновые вывески в Лас-Вегасе.

— Ну да, — сказал я Джессике, — мы его прозвали "Доном Долдоном".

— Вы должны мне все про него рассказать, — попросила она. — Пожалуйста!

— Не знаю, не знаю, — ответил я. — Это довольно пакостная история.

— Прошу вас, расскажите, — произнес Пангборн.

Меня уже не надо было подгонять.

— Наверное, тут виноват его отец, — сказал я. — Должно быть, он здорово на него повлиял. Теперь-то он умер. Микс Уодли Хилби Второй.

— И как же их различали? — спросил Пангборн.

— Ну, отца всегда звали Микс, а сына — Уодли. Так что путаницы не возникало.

— А-а, — кивнул он. — И они были похожи?

— Не особенно. Микс был спортсменом, а Уодли был Уодли. В детстве няньки привязывали ему руки к кроватке. По распоряжению Микса. Он рассчитывал таким путем отучить Уодли от онанизма. — Я поглядел на нее, словно говоря: "Вот этой детали я и опасался". Она улыбнулась, и я понял это так: "Все нормально. Сидим у камелька".

И я стал рассказывать дальше. Я украсил свою повесть весьма живописными подробностями и дал им полный отчет о юности Микса Уодли

1. Экзетер — город в штате Нью-Хэмпшир, где находится известная школа-интернат.

Хилби Третьего, ни разу не укорив себя за сверхнахальное перенесение сценической площадки с Флоридского побережья сюда, на северные холмы, — но ведь слушали-то меня только Понд с Пангборном. А какая им разница, сказал я себе, где все это происходило?

А рассказал я следующее. Жена Микса, мать Уодли, часто хворала, и Микс завел любовницу. Мать Уодли умерла, когда сын поступил в Экзетер, а вскоре после того отец женился на любовнице. Ни он, ни она не любили Уодли. Он отвечал им тем же. Поскольку они всегда запирали некую дверь на четвертом этаже дома, Уодли решил, что в ту комнату надо проникнуть. Но он приезжал домой лишь ненадолго, и только когда его вышибли с последнего курса, случилось так, что отец со своей новой женой ушли на какую-то вечеринку, а он остался в доме один. Подстегиваемый любопытством, он умудрился взобраться на четвертый этаж по наружным лепным украшениям и влезть в таинственную комнату через окно.

— Чудесно, — сказала Джессика. — И что же он там нашел?

Он обнаружил, сказал я ей, большой старомодный фотоаппарат с черной шторкой, установленный в углу на массивной треноге, а на письменном столе — пять альбомов в переплете из красной кожи. Это была необычная порнографическая коллекция. В пяти альбомах хранились большие сепиевые фотографии Микса и его подруги, занимающихся любовью.

— Той самой подруги, что стала его женой? — спросил Пангборн.

Я кивнул. По словам сына, первые снимки показались ему сделанными примерно в том году, когда он родился; по мере того как отец с любовницей становились старше, заполнялись очередные альбомы. Через год-другой после смерти матери Уодли, вскоре после нового брака, на снимках появился еще один человек.

— Это был управляющий усадьбой, — сказал я. — Уодли говорил мне, что он обедал с ними каждый день.

Тут Лонни хлопнул в ладоши.

— Невероятно, — сказал он.

На более поздних фотографиях управляющий занимался любовью с мачехой Уодли, а его отец сидел футах в пяти от них и читал газету. Парочка принимала разные позы, но Микс не отрывался от газеты.

— А кто их фотографировал? — спросила Джессика.

— Уодли сказал, что слуга.

— Ну и семейка! — воскликнула Джессика. — Такое могло произойти только в Новой Англии. — При этих словах мы все расхохотались.

Я не добавил, что тот же самый слуга соблазнил Уодли в возрасте четырнадцати лет. Не повторил я и фразы Уодли на этот счет: "Всю остальную жизнь я пытался восстановить право собственности на свою прямую кишку". Возможно, в разговоре с Джессикой не следовало перегибать палку. Я еще не нащупал верной линии поведения, а потому осторожничал.

— В девятнадцать лет, — сказал я, — Уодли женился. По-моему, в пику отцу. Микс был убежденный антисемит, а Уодли выбрал в жены еврейку. Да еще с большим носом.

Это так их развеселило, что я продолжал, почти не раздумывая (впрочем, что делать — неумолимость рассказчика все равно не позволила бы мне пожертвовать такой ценной деталью):

— По словам Уодли, нос у нее доставал до самого рта, так что казалось, будто она нюхает собственные губы. Почему-то — может, потому, что он был гурманом, — это страшно возбуждало Уодли.

— Надеюсь, у них все утряслось, — заметила Джессика.

— Не совсем, — сказал я. — Жена Уодли получила хорошее воспитание. На мужнину беду, она узнала, что и у него есть порнографическая коллекция. Она ее уничтожила. Дальше — больше. Она умудрилась очаровать отца. Через пять лет после свадьбы она так угодила Миксу, что тот пригласил сына с невесткой к себе на ужин. Уодли отчаянно напился и в тот же вечер проломил жене голову канделябром. Удар оказался смертельным.

— Кошмар, — произнесла Джессика. — И все это случилось в том доме на холме?

— Да.

— И каким было официальное заключение? — спросил Пангборн.

— Что ж, верьте не верьте, но они не стали строить защиту на его невменяемости.

— Тогда он, наверно, получил срок.

— Получил. — Я не собирался им говорить, что мы не только учились вместе в Экзетере, но и встретились снова в тюрьме, куда попали в одно и то же время.

— Сдается мне, что отец контролировал процесс над сыном, — сказал Лонни.

— Наверное, вы правы.

— Конечно! Объявив его ненормальным, защита вынуждена была бы представить суду те альбомы. — Лонни сцепил пальцы вместе и выгнул их. — Итак, — сказал он, — Уодли загремел в кутузку. И что ему посулили в качестве компенсации?

— Миллион долларов в год, — ответил я. — Прибавьте к этому ежегодный приварок к доверительной собственности за каждый год отсидки, да еще долю во владении усадьбой, которую они с мачехой должны были поделить после смерти отца.

— И вы точно знаете, что все это ему заплатили? — спросил Лонни.

Джессика покачала головой.

— Мне кажется, от таких людей трудно ожидать честной игры.

Я пожал плечами.

— Микс заплатил, — сказал я, — потому что Уодли стащил альбомы. И поверьте мне: когда Микс умер, мачеха продолжала блюсти соглашение. Микс Уодли Хилби Третий вышел из тюрьмы богатым человеком.

Джессика заметила:

— Мне нравится, как вы рассказываете.

Пангборн кивнул.

— Замечательно, — произнес он.

Блондинка явно была довольна. В конце концов, путешествие в это странное местечко доставило ей несколько приятных минут.

— И что, — спросила она, — Уодли собирается снова поселиться в этом доме?

Я замешкался с ответом, и тут Пангборн сказал:

— Разумеется, нет. Ведь наш новый друг все это выдумал.

— Знаете, Леонард, — сказал я, — когда мне понадобится адвокат, я непременно найму вас.

— Что, правда выдумали? — спросила она.

Я не намерен был криво улыбаться и говорить: "Ну, кое-что". Вместо этого я сказал:

— Да. Все до последнего слова. — И лихо опорожнил стакан. Очевидно, Леонард уже навел справки насчет хозяина усадьбы.

Дальше я опять помню себя в одиночестве. Они перешли в ресторан.

Я помню, как пил, делал записи и глядел на воду. Одни заметки я клал в карман, а другие рвал. Звук рвущейся бумаги находил в моей душе смутный отклик. Я начал посмеиваться про себя. Я подумал, что хирурги, должно быть, самые счастливые люди на свете. Кромсать людей и получать за это деньги — вот оно, счастье, сказал себе я. Мне захотелось, чтобы Джессика Понд вновь очутилась рядом. Она встретила бы мою мысль восторженным кличем.

Теперь мне припоминается, что тогда я сделал более длинную запись, которую на следующий день нашел у себя в кармане. По какой-то причине я озаглавил ее: "ПРИЗНАНИЕ". "Постижение возможности собственного величия всегда влечет за собой жажду убить ближайшего из недостойных". Вторую фразу я подчеркнул: *"Уж лучше не стоит много о себе мнить!"*

Но чем дольше я перечитывал эту запись, тем более укреплялся в той несокрушимой надменности, которая, наверное, и является самой драгоценной наградой для одиноких пьяниц. Меня возбуждала мысль о том, что Джессика Понд и Леонард Пангборн сидят за столиком меньше чем в сотне футов отсюда и думать не думают о серьезной опасности, каковую я, возможно, для них представляю; и я стал размышлять — должен сказать, без особенного азарта, скорее просто затем, чтобы скоротать очередной безрадостный вечер, — как легко было бы разделаться с ними. Ничего себе, да? Двадцать четыре дня без Пэтти Ларейн — и вот в кого я превратился!

Я рассуждал так. Пара, состоящая в тайной связи, — причем оба партнера явно занимают высокое положение в своих калифорнийских кругах — задумывает прогуляться в Бостон. Они стараются не выдать своих планов. Возможно, они поставили в известность одного-двух близких друзей, а может, и нет; но после того как они взяли напрокат автомобиль и по чистой прихоти заявились в Провинстаун, преступнику — буде преступное деяние возымеет место — останется только отогнать их машину за сто двадцать миль обратно в Бостон и бросить на улице. Если тела тщательно закопать, то прежде чем здешние газеты опубликуют сообщение о розыске пропавших, пройдет как минимум несколько недель. Но разве к тому времени кто-нибудь из "Вдовьей дорожки" еще будет помнить их лица? И даже в этом случае, поскольку машину найдут в Бостоне, полиция решит, что они вернулись туда и встретили свой конец там. Я упивался логичностью этого чудного сценария, с удовольствием прихлебывал из стакана, с удовольствием думал о том, какую власть над ними дают мне подобные мысли... и вот тут-то — именно тут — и обрываются мои воспоминания о вчерашнем вечере. Наутро я уже не смог нарисовать сколько-нибудь вразумительную картину происшедшего.

Я не могу вспомнить, пил ли я снова с Понд и Пангборном. Вполне вероятно, что я накачался один, сел в машину и уехал домой. Если так, то я, должно быть, сразу лег спать. Хотя с учетом того, что я обнаружил утром, это не представлялось возможным.

Есть и другой вариант — он кажется реальней сна, хотя полной уверенности в том, что это мне не привиделось, у меня нет. А именно: Пэтти Ларейн вернулась, и у нас произошла дикая ссора. Я вижу ее рот. Однако не могу вспомнить ни слова. Что это было — сон?

Кроме того, у меня осталось ярчайшее впечатление, что Джессика и Леонард все-таки присоединились ко мне после ужина и я пригласил их к себе домой (точнее, в дом Пэтти Ларейн). Мы сидели в гостиной, и эти двое внимательно слушали то, что я говорил. Похоже, тут я не ошибаюсь. Затем мы куда-то поехали на машине, но если это был мой "порше", то я не мог взять их обоих. Возможно, мы отправились на двух машинах.

Еще я помню, как вернулся домой один. И смертельно напугал своего пса. Это большой лабрадор, но он уполз при моем приближении. Я сел на краешек кровати и, прежде чем лечь, сделал еще одну запись. Да-да, точно. Я задремал сидя и упершись взглядом в блокнот. Через несколько секунд (или целый час?) я очнулся и прочел написанное: "Отчаяние мы испытываем, когда гибнут те, кто внутри нас".

Это было моей последней мыслью в ту ночь. Но ни один из этих сценариев не мог быть сколько-нибудь близок к правде — потому что, проснувшись утром, я обнаружил у себя на руке неизвестно откуда взявшуюся татуировку.

Глава вторая

В этот день случилось многое, но начинался он без особенной суеты. Честно говоря, я довольно долго лежал в постели, не решаясь разомкнуть веки и подставить глаза дневному свету. По доброй воле заточенный в этой искусственной темнице, я пытался собрать воедино свои воспоминанья о том, что произошло после моего ухода из "Вдовьей дорожки".

Эта процедура была для меня не нова. Независимо от количества выпитого я всегда доезжал до дома. Я возвращался целым и невредимым после таких доз, которые обеспечили бы любому другому ночлег на дне морском. Я входил в дом, добирался до кровати и просыпался поутру с ощущением, что мой мозг разрубили надвое. Я не помнил ничего. Но если дело ограничивалось этим и меня терзали лишь последствия надругательства над собственной печенкой, все было в порядке. О моих поступках мне потом сообщали другие. Если я не чувствовал ужаса, можно было считать, что ничего чересчур дикого я не отколол. Провалы в памяти — еще не самая большая беда для ирландца с национальной приверженностью к спиртному.

Однако после ухода Пэтти Ларейн я начал сталкиваться с новыми, более странными явлениями. Не загонял ли меня алкоголь в самые дебри душевных страданий? Могу сказать только, что по утрам мои воспоминания бывали ясными, но как бы разбитыми на мелкие осколки. Каждый фрагмент был достаточно четок, но общая картина казалась сложенной из кусочков от разных головоломок. Можно выразить это и иначе: мои сны стали такими же убедительными, как мои воспоминания, или память стала такой же ненадежной, как сны. В любом случае, я не мог отличить одно от другого. Это жуткая вещь. Утром в твоих мыслях царит полный хаос: что ты мог сделать, а чего не мог? Это словно

блуждание в подземном лабиринте. Длинная крепкая нить, которой положено вывести тебя наружу, оборвалась где-то на полдороге. И теперь после каждого поворота надо гадать, то ли ты уже проходил здесь, то ли попал сюда впервые.

Я говорю об этом потому, что на Двадцать пятый день проснулся и почти целый час пролежал с закрытыми глазами. Такого отчетливого ужаса я не испытывал с тех пор, как вышел из тюрьмы. Там я иногда просыпался с уверенностью, что кто-то плохой — находящийся гораздо ниже того предела, до которого мог докатиться я сам, — ищет меня. Хуже таких утр для меня ничего не было.

Теперь я был убежден, что сегодня непременно что-то стрясется, и это предчувствие наполняло меня ужасом. Помимо этого, имелся и другой сюрприз. Лежа в постели со свирепой головной болью, пытаясь нарисовать под закрытыми веками связную картину вчерашнего — это походило на просмотр фильма с многочисленными обрывами пленки, — ощущая свинцовый ком зловещего предчувствия в животе, я тем не менее обнаружил у себя эрекцию — полновесную и самую что ни на есть добротную эрекцию таранного типа. Я хотел отодрать Джессику Понд.

В ближайшем будущем я еще не раз вспомню об этой детали. Но лучше все по порядку. Когда твой разум похож на книгу с вырванными страницами — хуже того, на две книги, и обе с пробелами, — тогда порядок становится просто необходимым, как мытье полов в монастыре. Поэтому скажу только, что именно благодаря этой эрекции я избежал шока, в который поверг бы меня вид моей татуировки, ибо прежде чем увидеть ее, я о ней вспомнил. (Однако в ту минуту я не мог припомнить ни места, где меня кололи, ни лица художника.) Где-то этот факт был зафиксирован. При всех своих страданиях я испытывал любопытство. Как разнообразны приемы, которыми пользуется наша память! Вспомнить, что некое событие имело место (будучи неспособным зрительно представить себе какие бы то ни было связанные с ним моменты), было все равно что прочесть о ком-то в газете. Такой-сякой растратил 80 000 долларов. В мозгу остался только заголовок; но факт сохранен. Итак, я вспомнил о себе вот это: у Тима Маддена есть наколка. Глаз я тогда еще не открывал. О татуировке мне напомнила эрекция.

В тюрьме я всячески избегал такого приобретения. Я и без того чувствовал себя конченым. Но все равно, нельзя просидеть за решеткой три года и не узнать многого о татуировочной культуре. Так что о возбуждении я слышал. Каждый четвертый-пятый мужчина, в которого всаживают иглу, испытывает сильный прилив полового возбуждения. Вспомнил я и свою вчерашнюю тягу к мисс Понд. Была ли она рядом, когда художник трудился надо мной? А может, она ждала в моей машине? Распрощались ли мы с Лонни Пангборном?

Я открыл глаза. На наколке была липкая корочка крови: вчера ее заклеили каким-то хваленым пластырем, однако ночью он съехал. Но слово разобрать было можно. "*Лорел*", — прочел я. "*Лорел*" — кудрявый синий росчерк в маленьком красном сердечке. Да, если вести речь об изобразительном искусстве, ни у кого не повернется язык обвинить меня в излишней оригинальности.

Мое веселье разбилось, как тухлое яйцо. Пэтти Ларейн тоже видела эту картинку. Вчера вечером! Пэтти вдруг ясно вырисовалась перед моим мысленным взором. Орала на меня в нашей гостиной. "Лорел? И у тебя хватает духу снова тыкать мне в нос своей Лорел?"

Да, но что из всего этого произошло на самом деле? Я отлично знал, что вымышленные разговоры могут казаться мне такими же реальными, как настоящие. В конце концов, я писатель! Двадцать пять дней назад Пэтти Ларейн исчезла с облюбованным ею черным самцом — высоким, угрюмым, безупречно сложенным малым, что все лето терся поблизости, готовый сыграть на той низменной тяге к неграм, которая гнездится в душах иных блондинок подобно потенциальному грому и молнии. Или, по моим представлениям, тлеет в их сердце, точно промасленная тряпка за дверью амбара. Впрочем, что бы Пэтти ни чувствовала, результат был налицо. Раз в год, а то и чаще, ей надо было оттянуться с каким-нибудь мистером Черняшкой. Желательно покрупнее. Среди них бывали и медлительные, и шустрые, как баскетболисты, но маленьких не было. Размер выводил их за пределы моей физической досягаемости — похоже, во время этих романов она тешила себя презрительными мыслями о том, что у меня не хватает мужской доблести даже на простецкую беготню по дому с заряженным револьвером. "Вроде твоего папаши в Северной Каролине?" — иронизировал я. "А что — слабо?" — отвечивала она смачно, дерзко, нагло, точно восемнадцатилетняя девчонка в ободранных джинсах на какой-нибудь южной бензозаправке. Да уж, страха передо мной она не испытывала. Меня жутко пугала мысль, что я и впрямь схвачусь за пистолет, но только не ради охоты за мистером Черняшкой. Он лишь присваивал себе то, чем соблазнился бы и я, будь у меня его бычья стать и проникнись я как следует его черной логикой. Нет, я боялся, что возьму ствол и не уйду из дома, пока не переправлю всю обойму в ее высокомерную — видала я, мол, вас всех — физиономию.

И тем не менее! Почему я рискнул обидеть жену упоминанием о Лорел? Я знал, что она — единственная женщина, которой Пэтти мне никогда не простит. В конце концов, впервые Пэтти увидела меня именно с Лорел — только тогда ее имя было Мадлен Фолко. И именно Пэтти в тот день настояла на том, чтобы звать ее Лорел. Потом я узнал, что "Лорел" — уменьшительное от "Лорелеи": Пэтти сразу невзлюбила Мадлен Фолко. Стало быть, я сделал себе такую наколку в пику Пэтти? И она действительно была в этом доме? Или у меня в памяти отпечатался обрывок последнего сна?

Мне подумалось, что если жена и впрямь меня навещала, а потом уехала, то должны остаться какие-нибудь следы. Пэтти Ларейн всегда разбрасывала вокруг недоиспользованные мелочи. Зеркала должны быть испачканы помадой. Эта мысль побудила меня одеться и сойти вниз, но в гостиной не было ничего необычного. Пепельницы стояли чистые. Отчего же теперь я был так твердо уверен, что наша беседа мне не приснилась? Какой прок в доказательствах, если они заставляют тебя поверить в обратное? Мне пришло в голову, что единственным истинным признаком силы — так сказать, непоколебимой тоникой психического здоровья — является способность сносить вопрос за вопросом в отсутствие каких бы то ни было намеков на ответ.

Хорошо, что у меня возникла эта мысль, поскольку вскоре она мне пригодилась. В кухне, ночью, моего пса вырвало. Линолеум был запакощен содержимым его брюха. Хуже того — на куртке, которую я надевал вчера, запеклась кровь. Я проверил ноздри. У меня случались кровотечения из носа. Но на сей раз, похоже, дело было не в этом. Ужас, с которым я проснулся, приобрел другую окраску. В груди у меня, на вдохе, щебетнул страх.

Где я возьму силы, чтобы убрать кухню? Я повернулся и прошел через дом на улицу. Только на мостовой, ощутив, как забирается под рубашку ноябрьская сырость, я заметил, что вышел в шлепанцах. Не беда. Пятью широкими шагами я пересек Коммершл-стрит и заглянул в окна моего "порше" (ее "порше"). Место для пассажира было в крови.

Что за странная логика действует в таких случаях! Я поразился собственному спокойствию. Впрочем, с худшими похмельями всегда так — они полны самых непостижимых зияний. И на смену моему испугу пришла бодрость, точно все это не имело ко мне никакого касательства. Вернулось возбуждение, связанное с наколкой.

Затем я почувствовал, что замерз. Я пошел обратно в дом и сварил себе кофе. Пес пристыженно бродил по испоганенному полу, рискуя усугубить свою вину, и я его выпустил.

Мое хорошее настроение, вдвойне драгоценное для меня из-за его непривычности (так неизлечимый страдалец бывает благодарен судьбе за час без боли), не проходило, пока я убирал за собакой. С учетом похмелья это занятие изрядно вымотало меня, зато послужило самым радикальным и полновесным искуплением греха пьянства, в который я впал вчера. Хотя католик я только отчасти, да и то необразованный, поскольку Биг-Мак никогда и близко к церкви не подходил, а моя мать Джулия (наполовину протестантка, наполовину иудейка — и это одна из причин, по которой я не люблю антисемитских шуточек) так любила водить меня по самым разнообразным соборам, синагогам, квакерским молитвенным домам и лекциям по этической культуре, что настоящей духовной наставницы из нее не вышло. Поэтому ощущать себя католиком я не мог. Но ощущал. Дайте мне похмелье и поставьте на колени перед собачьей блевотиной — и я почувствую себя праведником. (И действительно, я умудрился почти забыть о том, сколько крови пролито на сиденье моего автомобиля.) Потом раздался звонок. Это был Ридженси, Элвин Лютер Ридженси, наш и. о. шефа полиции, или, вернее, его секретарша, попросившая меня подождать соединения с ним, — и пока я ждал, от моего хорошего настроения остались рожки да ножки.

— Привет, Тим, — сказал он, — как у вас?

— Порядок. Похмелье только, а вообще порядок.

— Отлично. Замечательно. А я с утра за вас беспокоился. — Он явно обещал стать вполне современным шефом полиции.

— Да нет, — сказал я. — Со мной все нормально.

Он выдержал паузу.

— Тим, может, заглянете ко мне ближе к вечеру?

Отец всегда говорил мне: если возникают сомнения, считай, что заваривается каша. И действуй с опережением. Поэтому я сказал:

— А почему не утром?

— Так уже время ланча, — с укором ответил он.

— Ланча, — сказал я. — Самое то.

— Я собираюсь выпить кофе с одним приятелем из мэрии. Давайте после.

— Годится.

— Тим?

— Да.

— Вы в порядке?

— Вроде бы.

— Машину будете чистить?

— А... это у меня ночью кровь носом шла. Никак не мог унять.

— Ясно. А то, похоже, ваши соседи вступили в общество сыщиков-любителей. Судя по их звонку, вы там чуть ли не руку кому-то отхватили.

— Черт знает что. Придите да возьмите пробу. Можете сравнить с моей группой крови.

— Эй, пощадите. — Он рассмеялся. Смех у него был как у прирожденного копа. Визгливое сопрано, совершенно не гармонирующее с внешним обликом — например, с лицом, которое было словно высечено из гранита.

— Ладно, — сказал я. — Смешно, конечно. Думаете, приятно быть взрослым человеком, у которого то и дело кровь из носу хлещет?

— О, — сказал он. — Я бы на вашем месте поберегся. И после каждых десяти бурбонов непременно выпивал стаканчик воды. — На этом "непременно", видимо, и пробил час его перерыва. Он разразился визгливым смехом и дал отбой.

Я вымыл изнутри свою машину. То, что там было, выглядело отнюдь не так умиротворяюще, как собачья блевотина. К тому же и кофе у меня в желудке не слишком хорошо улегся. Я не знал, то ли мне обижаться на враждебный или параноидальный выпад соседей (каких именно?), то ли начать привыкать к версии, что я совсем развинтился и расквасил нос которой-нибудь из блондинок. Если не хуже. Как, интересно, отхватывают руку?

Беда в том, что моя сардоническая жилка, чьим назначением, вероятно, и было протащить меня сквозь большинство дурных дней, не являлась ярко выраженной чертой моего характера — ее можно было сравнить с одной из ямок на рулеточном колесе. Имелись еще и тридцать семь других. Мало способствовала успокоению и моя растущая уверенность в том, что кровь на сиденье вытекла не из чьего-то носа. Для этого ее было чересчур много. И вскоре я почувствовал отвращение к своему занятию. Подобно любой другой природной силе, кровь словно говорит. Причем всегда одно и то же. "Все, что жило прежде, — слышал я теперь, — взывает к новой жизни".

Я умолчу о таких подробностях, как оттирание ткани и таскание ведер с водой. По ходу дела я пожаловался на свой нос двум-трем прошедшим мимо соседям, выслушал несколько сочувственных слов, а потом решил пойти в полицейский участок пешком. Иначе Ридженси мог поддаться соблазну изъять машину.

В пору моей трехлетней отсидки бывало так, что я просыпался посреди ночи, абсолютно не понимая, где нахожусь. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не одно обстоятельство: конечно, я твердо знал, где нахожусь — вплоть до номера своего отделения и камеры, — но не мог заставить себя принять это. Данное не признавалось за данное. Я лежал в постели и размышлял, например, как приглашу девушку на ланч или найму для прогулки по морю парусную шлюпку. И бессмысленно было говорить себе, что я не дома, а в камере флоридской тюрьмы, под надежной охраной. Это представлялось мне частью сна, то есть как бы не затрагивало меня непосредственно. Я мог начать приводить в жизнь свои планы, когда сон о том, что я нахожусь в тюрьме, кончится. "Старик, — говорил себе я, — стряхни эту паутину". Иногда процесс возврата к реальности занимал у меня все утро. Только к полудню я понимал, что пригласить девушку на ланч не удастся.

Нечто подобное творилось со мной и теперь. Я имел непонятно откуда взявшуюся наколку, хорошего пса, который меня боялся, машину, только что отмытую от крови, пропавшую жену, которую вчера то ли видел, то ли не видел, и устойчивое, приятно будоражащее кровь возбуждение, вызванное блондинкой средних лет, агентом по продаже недвижимости из Калифорнии, но по дороге в центр города мои мысли занимало лишь одно: у Элвина Лютера Ридженси должна быть достаточно серьезная причина, чтобы потревожить писателя посреди рабочего дня.

Причем тот факт, что почти за целый месяц мной не было написано ни строчки, я как-то и не думал брать в расчет. Подобно тем тюремным утрам, не дающим мне начать день, я был похож на вывернутый пустой карман и так же лишен себя, как актер, который перед вхождением в роль оставляет позади свою жену, своих детей, свои долги, свои ошибки и даже свое эго.

И правда, я наблюдал, как в кабинет Ридженси в полуподвале городской ратуши входит новая личность, ибо я переступил его порог словно репортер — то есть стараясь создать впечатление, что одежда шефа полиции, выражение его лица, его речи и обстановка комнаты для меня равнозначны, так же равнозначны, как фразы примерно одинаковой длины, которые затем сложатся в краткий тематический очерк из восьми равных абзацев. Итак, я вошел, полностью сконцентрировавшись на этой роли, и потому, как хороший журналист, заметил, что он не привык к своему новому кабинету. Еще не привык. Пускай все его фотографии, аттестаты в рамочках, профессиональные свидетельства, пресс-папье и любимые безделушки уже лежали на виду или висели на стенах, пускай он сидел на стуле прямо, как и полагается бывшему военному (короткий ежик выдавал в нем ветерана "зеленых беретов"), а по обеим сторонам стола, как стражи у ворот древнего замка, стояли два картотечных шкафчика — все равно я видел, что он здесь не в своей тарелке. Впрочем, какой кабинет чувствовал бы себя тарелкой, подходящей ему? Его лицо можно было бы изваять из камня с помощью отбойного молотка: оно состояло сплошь из сколов, карнизов и уступов. В городе ему дали множество кличек — Морда Ящиком, Стрелковая Мишень, Ястребиный Глаз, — а старые рыбаки-португальцы прозвали его Шустрилой. Местное население явно было от него не в восторге. Он исполнял обязанности шефа полиции уже полгода, но в кабинете еще витал дух его предшественника. Последний шеф, прослуживший тут десять лет, был португальцем из здешних; он изучал по ночам право и ушел наверх, в Генеральную прокуратуру штата Массачусетс. Теперь этого последнего шефа — хотя жители Провинстауна вообще-то не склонны к сентиментальности — поминали добрым словом.

Я знал Ридженси не очень хорошо. Впрочем, загляни он ко мне домой в старые времена, мне показалось бы, что он не представляет для меня никакой тайны. Он был достаточно крупен, чтобы играть в профессиональный футбол, да и глаза его блестели, как у заядлого спортсмена: в его натуре смешались Бог, боевой дух и тяга к нанесению увечий. Ридженси был похож на атлета-христианина, который терпеть не может проигрывать.

Я описываю Ридженси так подробно, потому что, честно говоря, не мог его раскусить. Как я не всегда приветствовал наступивший день, так и он не всегда отвечал своему имиджу. Дальше я дополню его портрет еще кое-какими деталями.

Теперь же он с военной четкостью отодвинул свой стул строго назад и вышел из-за стола, чтобы подтолкнуть другой стул ко мне. Потом задумчиво уставился мне в глаза. Точно генерал. Он выглядел бы полным долбаком, если бы на каком-то этапе его карьеры в него не вживили идею, что сочувствие тоже должно входить в арсенал действующего полицейского. К примеру, первым, что он сказал, было:

— Как там Пэтти Ларейн? Слыхали о ней что-нибудь?

— Нет, — ответил я. Разумеется, одним этим маленьким вопросцем он сразу лишил меня такой, казалось бы, надежной журналистской установки.

— Не будем развивать, — сказал он, — но я, ей-богу, видел ее вчера вечером.

— Где?

— В Уэст-Энде. Рядом с волноломом.

Это было недалеко от "Вдовьей дорожки".

— Любопытно узнать, что она снова в городе, — сказал я. — Но я об этом понятия не имел. — Я закурил сигарету. Мой пульс пошел галопом.

— Я только и разглядел, что блондинка. Далеко был — ярдов за триста, наверно. Может, и ошибся. — Но сам он явно в эту возможность не верил.

Затем он достал сигару и раскурил ее картинно, как старый ковбой в телерекламе.

— Ваша жена, — сказал он, — очень эффектная женщина.

— Спасибо.

Мы с Ридженси познакомились в августе нынешнего года, на одной из вечеринок-со-встречей-рассвета-в-воде, которые мы устраивали ежедневно в течение целой недели (мистер Черняшка тогда уже разнюхивал обстановку). Поводом послужила жалоба на шум. Элвин явился лично. Я убежден, что он слыхал о наших вечеринках и раньше.

Пэтти очаровала его в момент. Она объявила всем — пьяным, обкуренным, мужским и женским моделям, полуголым и преждевременно нацепившим маскарадные костюмы в стиле Дня всех святых, — что выключает музыку в честь шефа Ридженси. Потом стала прохаживаться насчет чувства долга, которое не позволяет ему взять стакан. "Элвин Лютер Ридженси, — сказала она. — Блеск, а не имя. Надо быть его достойным, дядя".

Он засиял, как награжденный медалью за доблесть, на щеке которого запечатлела памятный поцелуй Элизабет Тейлор.

"Как вы умудрились заполучить имя "Элвин Лютер" в Массачусетсе? Это миннесотское имя", — сказала она.

"Ну да, — сказал он, — мой дед по отцу из Миннесоты".

"Что я говорила? Не спорьте с Пэтти Ларейн". — И она живо пригласила его на вечеринку, которую мы собирались устроить завтра. Он пришел после работы. Под конец, у двери, он сказал мне, что чудесно провел время.

Мы разговорились. Он сказал, что до сих пор живет в Барнстабле (от нас до Барнстабла миль пятьдесят), и я спросил его, не чувствует ли он себя неуютно, работая здесь в сутолоке летнего нашествия. (Провинстаун — единственный известный мне город, где можно задать полицейскому такой вопрос.)

"Нет, — сказал он. — Я просил перевода сюда. Я сам этого хотел".

"Почему?" — спросил я. Ходили слухи, что он работал в Бюро по борьбе с наркотиками.

Он отшутился.

"Знаете, Провинстаун называют Диким Западом на Востоке", — ответил он и визгливо заржал.

Потом он иногда заходил к нам на вечеринки на несколько минут. Если празднество не кончалось за сутки, он появлялся и следующим вечером. Приходя после работы, он позволял себе выпить, тихо беседовал с одним-другим гостем и отчаливал. Только раз — а именно уже после Дня труда — он дал нам понять, что пропустил стаканчик до этого. У дверей он поцеловал Пэтти Ларейн и обменялся вежливым рукопожатием со мной. Потом сказал:

"Я за вас волнуюсь".

"Почему? — Мне не нравились его глаза. В общении с симпатичными ему людьми он проявлял теплоту, очень напоминающую тепло нагретой солнцем скалы — она действительно горяча, вы ей симпатичны, — но глаза его походили на два ввинченных в эту скалу стальных болта. — Говорят, — пояснил он, — что у вас слишком богатый потенциал".

Так в Провинстауне не выразился бы никто.

"Да, — сказал я, — уж если я влипну, то по-крупному".

"У меня предчувствие, — заметил он, — что ваше время наступит, когда неприятности будут видны издалека".

"Издалека?"

"Когда все поутихнет". — Теперь у него в глазах по крайней мере появился свет.

"Верно", — сказал я.

"Верно. Вы знаете, о чем я. Что верно, то верно". — И он отправился восвояси. Если бы в его натуре было махать рукой на прощанье, я увидел бы, как он машет.

Выпивая в баре ВАЗВ[1], он бывал более собранным. Я даже видел его поединок с нашим чемпионом по арм-рестлингу Бочкой Коста, которого прозвали так за то, что он с легкостью выкидывал бочки с рыбой из трюма на палубу, а при низкой воде и с палубы на причал. Когда доходило до арм-рестлинга, Бочка мог положить любого рыбака в городе, но как-то раз Ридженси принял его вызов, сделанный на пари, и все оценили то, что он не спрятался за свой мундир. Бочка победил, хотя ему пришлось поработать достаточно долго, чтобы ощутить горечь надвигающейся старости, и Ридженси помрачнел. По-моему, он не привык проигрывать. "Вы неудачник, Мадден, — сказал он мне в тот вечер. — Только и знаете, что валять дурака".

Однако на следующее утро, когда я шел по улице за газетой, он остановил рядом патрульную машину и сказал: "Надеюсь, вчера я не слишком много себе позволил". — "Забудем". Он начал меня раздражать. Я уже предвидел конечный результат: большегрудую мамашу с увесистым фаллосом.

Теперь, в кабинете, я сказал ему:

— Если вы позвали меня сюда только затем, чтобы сообщить, что видели Пэтти Ларейн, это можно было сделать и по телефону.

— Я хотел с вами поговорить.

— Мне не идут впрок чужие советы.

1. Ветераны американских зарубежных войн — старейшая общенациональная ветеранская организация.

— Может, это *мне* нужен совет. — Следующую фразу он произнес с гордостью, которой не мог скрыть, точно сама мужская суть, истинное клеймо качества заключалось в силе, необходимой для поддержания в себе такого рода неискушенности: — Я не слишком хорошо знаю женщин.

— Это уж точно, если обращаетесь за подсказкой ко мне.

— Мак, давайте напьемся как-нибудь вечерком, да поскорее.

— Ладно.

— Знаете вы это или нет, но кроме нас в городе нет настоящих философов.

— Тогда вы единственный мыслитель, порожденный правым крылом за последние годы.

— Эй, не брюзжите, пока в вас не стреляют. — Он тронулся к двери, проводить меня. — Пошли, — сказал он, — прогуляюсь с вами до машины.

— Я без нее.

— Вы что, боялись, что я арестую ваш драндулет? — Это так развеселило его, что он ржал всю дорогу по коридору и перестал только на улице.

Перед тем как распрощаться со мной, он сказал:

— Та делянка с коноплей в Труро еще ваша?

— Откуда вы о ней знаете, Элвин?

На его лице изобразилось недовольство.

— А что это, по-вашему, — тайна? Все говорят, что у вас своя травка. Я и сам пробовал. Пэтти Ларейн собственноручно положила мне в карман пару косяков. Качество что надо — примерно такие я курил во Вьетнаме. — Он кивнул. — Слушайте, мне плевать, левый вы или правый, плевать, к какому там крылу вы принадлежите. Я люблю траву. И вот что еще скажу. Консерваторы правы далеко не во всех пунктах. Тут они как раз промахнулись. Думают, что марихуана растлевает души, но я в это не верю — я верю, что благодаря ей туда проникает Бог и борется с Дьяволом.

— Ну-ну, — сказал я. — Если вы на секунду перестанете говорить, у нас может получиться беседа.

— На днях, вечерком. Давайте напьемся.

— Заметано, — сказал я.

— А пока — если б я хранил свой урожай на участке в Труро... — он умолк.

— Ничего я там не храню, — ответил я.

— Я и не говорю, что храните. И знать ничего не хочу. Я только говорю, что если бы у меня там что-нибудь лежало, то сейчас было бы самое время забрать.

— Почему?

— Не могу же я вам все рассказывать.

— Просто решили попугать?

Прежде чем ответить, он выдержал приличную паузу.

— Вот что, — сказал он, — я служил в полиции штата. Вам это известно. И я их знаю. Большинство там — хорошие ребята. Не очень остроумные, и им никогда с вами не сравняться — но хорошие.

Я кивнул. Подождал. Думал, это еще не все. Но оказалось, что все, и тогда я заметил:

— Но насчет марихуаны они не шибко покладистые.

— Они ее ненавидят, — сказал он. — Так что держитесь от греха подальше. — Он сногсшибательно хлопнул меня по спине и исчез в полуподвале ратуши.

Мне с трудом верилось, что полицейские нашего штата, которые почитали одной из своих служебных обязанностей бить баклуши осенью, зимой и весной ради того, чтобы как следует поохотиться в течение трех изобильных месяцев летнего торгового сезона, сопровождающегося на Кейп-Коде диким ажиотажем, теперь, в ноябре, вдруг примутся рыскать по полуострову и обшаривать каждую мелкую делянку с конопле́й в окрестностях Орлинса, Истема, Уэлфлита и Труро. Однако их могла заесть скука. Опять же, они могли знать о моем поле. Иногда мне казалось, что копов из Бюро на нашем полуострове не меньше, чем самих потребителей товара. А уж в Провинстауне бизнес, связанный с продажей информации, дезинформации, заключением сделок и разными надувательствами по этой части, определенно занимал четвертое по доходности место — сразу после упакованных в полиэфир туристов, промышленного рыболовства и массы увеселительных заведений.

Если в полиции штата знали о моем поле — а пожалуй, правильнее было бы спросить иначе: разве могли они не знать? — то стоило ли мне надеяться на их благорасположение ко мне и моей жене? Вряд ли. Наши летние вечери́нки были слишком широко известны. Пэтти Ларейн обладала серьезными пороками — слепое безрассудство и хроническая неверность приходят на ум в первую очередь, — но у нее имелось и очень привлекательное достоинство: она не была снобом. Можно, конечно, списать это на ее провинциальное происхождение, но разве оно когда-нибудь кому-нибудь мешало? Если бы после суда она не уехала из Тампы или отважилась перебраться в Палм-Бич, ей осталось бы только применить тактику, отточенную ее амбициозными предшественницами: действуя где безжалостно и грубо, а где вкрадчиво и мягко, залучить под венец еще большую шишку, чем Уодли, — на Золотом Берегу[1] это была единственная игра, победа в которой могла удовлетворить эго богатой и ставшей притчей во языцех разведенки. Интересная жизнь, если вы к ней склонны.

Естественно, я никогда не считал, будто понимаю Пэтти. Возможно, она даже меня любила. Более понятное объяснение трудно найти. Я истово верю в "бритву Оккама"[2] — эта максима утверждает, что простейшее объяснение фактов непременно является правильным. Поскольку в год перед нашей женитьбой я был всего лишь ее шофером и поскольку я "увильнул" (как она выразилась) от варианта, в котором мне полагалось прикончить ее мужа; поскольку я успел отсидеть в тюрьме и явно не смог бы ввести ее по мраморной лестнице в одну из усадеб Палм-Бич, мне всегда казалось, что она, уж конечно, избежала бы сомнительного удовольствия жить в браке со мной, не побуди ее к этому некое целительное умиление в сердце. Не знаю. С постелью у нас некоторое время было недурно, но это само собой разумеется. С чего бы иначе женщине отдаваться замуж? Позже, когда все пошло прахом, я стал гадать, не тянуло ли ее на самом деле обнажить бездну, таящуюся под моим тщеславием. Бесовские штучки.

Но ладно. Сейчас я хочу только сказать, что, будучи снобом, она не поехала бы со мной в Провинстаун. Если вы сноб и хотите шагать вверх

1. Золотой Берег — престижный район Чикаго.
2. Уильям Оккам (1285—1349) — английский философ-схоласт.

по социальной лестнице, в Провинстауне вам не место. Придет время, и я с удовольствием посмотрю, как какой-нибудь социолог обломает зубы об уникальную классовую структуру здешнего общества. Сто пятьдесят лет назад наш город — и если у меня была такая возможность, я наверняка не преминул объяснить это Джессике Понд — был китобойным портом. Тогда нашу верхушку составляли капитаны-янки с Кейп-Кода, а в свои судовые команды они набирали португальцев с Азорских островов. Потом янки и португальцы стали заключать смешанные браки (примерно то же происходило с шотландско-ирландскими выходцами и индейцами, с каролинским дворянством и женщинами-рабынями, с евреями и протестантами). Теперь у половины португальцев были фамилии янки, вроде Кука и Сноу, и вообще, независимо от фамилий, город принадлежал им. Зимой португальцы составляли большинство почти везде: среди рыболовов, в Городском совете, в церкви Св. Петра, среди низших чинов полиции, среди учителей и учеников начальных и средних школ. Летом португальцы вдобавок управляли девятью десятыми пансионов и больше чем половиной баров и кабаре. Однако это был своеобразный истеблишмент — этакая обильно смазанная, не знающая отдыха коробка передач. Они жили скромно и не строили шикарных хором на холмах. Самый богатый португалец в городе мог запросто жить рядом с одним из самых бедных, и его дом выделялся бы среди других только свежепокрашенными стенами. Я не слыхал, чтобы какой-нибудь португальский отпрыск поступил в крупный университет. Может быть, они чересчур опасались гнева морской стихии.

Так что если вы хотели послушать звон монет, вы ждали лета, когда из Нью-Йорка приезжали привилегированные группы психоаналитиков и ориентированных на искусство свободомыслящих богачей, а за ними подтягивалась самая разношерстная веселая публика плюс наркоманы и торговцы наркотиками, а также половина Гринич-виллидж и Сохо. Здесь появлялись художники, якобы художники, банды мотоциклистов, лоботрясы, хиппи, битники вместе со всеми своими детьми плюс десятки тысяч туристов-однодневок, приезжающих из любых мыслимых штатов посмотреть, на что похож Провинстаун, ибо вот он где — на самом краю карты. Если речь заходит о конце дороги, у людей всегда начинается свербеж.

В такой мешанине, где истеблишмент состоял из обычных горожан, а самыми шикарными летними домиками (за одним-двумя исключеньями) были пляжные коттеджи, *стандартные* пляжные коттеджи; на курорте, где не было ни усадеб (кроме одной), ни роскошных отелей, ни бульваров! — в Провинстауне имелись лишь две длинные улицы (остальные были, по сути, просто переулками); в приморском поселке, где роль главной авеню исполнял пирс и при отливе нельзя было без осложнений подвести к берегу прогулочную яхту с большой осадкой; в месте, где мерилом качества одежды служило фирменное клеймо на футболке, — можно ли было рассчитывать на какое-либо социальное продвижение? Поэтому вы устраивали званые вечера не ради того, чтобы повысить свой статус. Вы устраивали их — если вы были Пэтти Ларейн — потому, что как минимум сотня "интересных" (то есть с прибабахами) незнакомцев в вашей летней гостиной была необходима вам для утоления врожденной тяги к желчным выходкам и безоглядным кутежам. Наверно, за свою жизнь Пэтти Ларейн прочла всего с десяток книг, но одной из них была книга "Великий Гэтсби". Догадайтесь, какой она видела себя! Точь-в-точь такой

же пленительной, как Гэтсби. Если вечеринка затягивалась и луна была поздней и полной, Пэтти иногда вытаскивала свой старый школьный горн и, выйдя в ночь, трубила луне отбой — и не стоило говорить ей, что час для отбоя неподходящий.

Нет, мы вряд ли нравились полиции штата. Тамошние копы скаредны, как пилоты авиалиний, а в округе не было вечеринок, где тратилось бы столько денег и с такой малой отдачей. Полицию штата не могло не раздражать подобное транжирство. Кроме того, в последние два лета кокаин стоял на нашем столе в открытой вазе, а Пэтти Ларейн, любившая встречать гостей у двери — руки на бедрах, рядом с очередным нанятым нами вышибалой (почти всегда каким-нибудь здоровенным парнем из местных), — никогда не давала чужакам от ворот поворот. Кто только не вваливался к нам без приглашения. Копы из Бюро вынюхали у нас не меньше кокаина, чем вся прочая поддавшая мезга.

Причем я не могу сказать, что относился к этой открытой вазе так уж спокойно. Мы с Пэтти Ларейн ссорились по поводу того, выставлять ее или нет. Пэтти, решил я, запала на кокаин сильней, чем ей кажется, а я теперь эту дрянь ненавидел. Едва ли не худший год своей жизни я провел, покупая и продавая снежок, — и в тюрьму угодил именно после кокаиновой облавы.

Нет, полиция штата вряд ли питала ко мне теплые чувства. Однако в этот холодный ноябрьский день мне трудно было поверить, что праведное негодование побудит их ополчиться против моей маленькой делянки с коноплей. В безумии лета — возможно. Прошлым летом, в сумасшедшей августовской смуте, вызванной слухами о близком рейде, я помчался в Труро жарким полднем (этот час считают неподходящим для сбора урожая: разрушается духовная аура растения), порубил посадки и провел иррациональную ночь (ибо мое отсутствие на нескольких вечеринках подряд пришлось бы объяснять), заворачивая свежескошенные стебли в газету и укладывая их в тайник. Это было сделано на скорую руку, так что я не слишком поверил комплименту Ридженси насчет качества этого продукта годичной выдержки (возможно, Пэтти Ларейн подсунула ему парочку самокруток с таиландским зельем, выдав его за доморощенное). Впрочем, мой следующий урожай, собранный как раз в этом сентябре, отличался особенным ароматом — можете списать это на мое сверхъестественное чутье. Хотя окрестные леса и болота и сообщили ему некий сыроватый душок, в нем все равно было что-то от туманов нашего побережья. Вы могли бы выкурить тысячу косяков и все-таки не понять, о чем я веду речь, — однако я действительно выращивал коноплю с тонким букетом. Для человека, лелеющего иллюзию, что возможно общение с мертвыми, или хотя бы допускающего, что они могут что-то ему нашептывать, лучше моей травки было не найти. В ее аромате ощущалось нечто призрачное. Я объясняю это многими причинами, и не в последнюю очередь тем, что в лесах Труро обитают привидения. Несколько лет назад — а точней, уже больше десяти — молодой португалец из Провинстауна убил четырех девушек, расчленил их тела и похоронил в разных местах среди тамошних невысоких зарослей. Я всегда отчетливо чувствовал этих мертвых девушек и их немое, искалеченное, обвиняющее присутствие. Помню, что, собирая урожай в этом году — и опять я спешил, так как надвигался ураган (который позже свернул в море) и порывы ветра достигали штормовой силы, — жарким, хмурым, сумрачно-непогожим сентябрьским днем, когда испуганный прибой сотрясал под-

порную кладку домов в Провинстауне, а горожане поспешно приколачивали к окнам вторые рамы, я потел, словно болотная крыса, среди полуобезумевших букашек трурских лесов в восьми милях от города. Какой мстительностью веяло в воздухе!

Я помню, как срезал каждый стебель медленно, точно исполняя магический ритуал, и старался уловить момент, когда жизнь растения скользнет через нож ко мне в руку и оно упадет, готовое к своему будущему полуживому существованию. Теперь его духовное бытие определится способностью к контакту с тем человеком — злым ли, порочным, мирным, веселым, чувственным, одухотворенным или просто агрессивным, — который станет курить его. По сути, пожиная свой урожай, я пытался медитировать, но (возможно, из-за бешеной мельтешни насекомых или висящей в воздухе угрозы близкого урагана) так и не выдержал медленного темпа. Против воли я стал рубить коноплю под корень и собирать ее слишком быстро. Правда, я попытался компенсировать эту спешку в процессе заготовки, превратив отдельную часть подвала, которая никогда раньше не использовалась, в импровизированную сушильню, — и там, во тьме (чтобы понизить влажность, я расставил везде открытые банки с содой) Мери-Джейн покоилась на протяжении еще нескольких недель. Однако после того как я ободрал с нее листья и бутоны, сложил их в маленькие стеклянные кофейники с красными резиновыми уплотнителями на крышках (простая упаковочная бумага или пластиковые пакеты казались мне абсолютно не годными для такого благородного содержимого) и набил первую сигаретку, обнаружилось, что в каждой затяжке есть что-то от неистовой атмосферы, в которой прошел сбор этого урожая. Наши дикие семейные скандалы обрели новые безобразные оттенки — мы переходили от приступов отвращения к клокочущей в глотке кровавой ярости.

Больше того, марихуана этого года (которую я нарек "Душой урагана") стала оказывать неожиданно сильное действие на душу Пэтти Ларейн. Следует упомянуть, что Пэтти, по ее мнению, была наделена сверхъестественными способностями — этим (вспомним о "бритве Оккама") вполне можно объяснить предпочтение, отданное ею Провинстауну перед Палм-Бич, поскольку спираль, которой заканчивался наш полуостров, и округлая береговая линия якобы отзывались в ней неким ощутимым резонансом. Однажды, будучи навеселе, она сказала мне:

"В душе я всегда была потаскухой. Еще когда заводила болельщиков на школьных матчах, я уже знала, что буду спать с кем попало. Думала: черт меня побери, если не перетрахаю половину футбольной команды".

"Которую?" — спросил я.

"Защитников".

Это стало нашим рефреном — бочкой масла на разбушевавшиеся волны. Она громко, по своему обыкновению, хохотала, а я в ответ слегка размыкал и раздвигал губы.

"Чего ты так язвительно ухмыляешься?" — спрашивала она.

"Может, ты выбрала не ту половину".

Это ей нравилось.

"Ох, Тимми Мак, иногда ты прелесть". — И она затягивалась "Душой урагана". Никогда ее свирепая жажда (чего? — если бы я только знал) не проступала так ярко, как во время затяжки. Потом ее губы изгибались, обнажая зубы, и дым выходил, *бурля*, — как мощный поток через узкий шлюз.

"Да, — как-то сказала она, — начинала я потаскухой, но после первого развода решила стать ведьмой. И стала. Как думаешь с этим бороться?"

"Молитвами", — отвечал я.

Это ее расстроило. "Пойду достану горн, — сказала она. — Луна нынче что надо".

"Разбудишь Адов Городок".

"А что, это идея. Нечего им там долго дрыхнуть, сил набираться. Кто-то должен держать их в узде".

"Ты говоришь, как настоящая ведьма".

"Если и ведьма, то белая, лапусик. Как и полагается блондинке".

"Ты не блондинка. По волосам на лобке видно, что ты брюнетка".

"Это клеймо плотских утех. Раньше мой лобок был светло-золотистым — пока я не опалила его с футбольной командой".

Если бы она всегда была такой, мы могли бы пить до бесконечности. Но очередная затяжка "Душой урагана" выбросила ее на мыс. Адов Городок зашевелился.

Не подумайте, будто я щеголяю иммунитетом против ее оккультных притязаний. Я так и не научился относиться к идее духов с философическим спокойствием; не пришел я и к какому-либо определенному выводу. То, что после смерти вы можете продолжать жить в некоей воздушной юдоли, казалось мне не абсурднее утверждения, что со смертью прекращают свое бытие все компоненты вашей личности. Пожалуй, с учетом разнообразия человеческих реакций на любое событие я готов был допустить, что некоторые из умерших остаются поблизости, а другие улетают куда-то далеко, если не вовсе пропадают.

Однако отрицать существование Адова Городка было трудно. После косяка из "Души урагана" он становился несомненной реальностью. Больше ста пятидесяти лет назад, когда в здешних водах еще били китов, на берегу соседнего рукава провинстаунской гавани вырос целый городок из борделей — теперь на его месте осталась лишь голая, пустынная песчаная коса. После того как китобойный промысел захирел, склады и бардаки Адова Городка поставили на плоты и переправили через залив. Половина старых домов в Провинстауне имела эти пристройки. Так что если за самые безумные причуды, на которые толкало нас употребление "Души урагана", следовало в первую очередь благодарить Пэтти Ларейн, то отчасти, я думаю, тут сказывалось и влияние нашего собственного дома. Половину бревен, балок, досок, брусьев и кровельной дранки, из которых был сложен наш дом, больше века назад привезли из Адова Городка — то есть сюда перекочевала наиболее вещественная часть этого исчезнувшего поселка. В наших стенах и посейчас обитало нечто от погибшего Клондайка проституток, контрабандистов и китобоев, чье жалованье жгло им карманы. Там были и вовсе не ведавшие жалости головорезы — в безлунные ночи они разводили на дальнем берегу костры, и морякам с проходящего судна казалось, будто они огибают маяк. В результате корабль мог завернуть в гавань слишком рано и сесть на мель — после чего эти злыдни грабили завязшее в песке судно. Пэтти Ларейн утверждала, что ей иногда слышатся вопли мореходов, которые приняли смерть, пытаясь не подпустить к борту баркасы мародеров. Какое, должно быть, библейское зрелище представлял собой этот Адов Городок со всеми его мальчиками-педерастами и блудницами, передающими вековую заразу пиратам с обагренными кровью бородами! Провинстаун же был тогда достаточно далеко, чтобы оставаться за-

поведником обычных американских добродетелей, "вдовьих дорожек" и белых церквей. А теперь вообразите себе смешение духовных климатов, происшедшее по отмирании китобойного промысла, когда лачуги Адова Городка были перевезены к нам.

В первый год жизни в этом доме нашему браку сообщалось нечто от тогдашней течки. Похоть встречавшихся на одну ночь и почивших больше века назад блудниц и матросов каким-то образом передавалась нам. Я не стану спорить на тему, реальным или нереальным было их пребывание в нашем доме, — я говорю только, что наша чувственность отнюдь не была притуплена. Наоборот, ее обостряло присутствие этой невидимой сладострастной аудитории. Приятно, когда жизнь в браке еженощно дарит тебе оргии, за которые не приходится платить — то есть глядеть в лицо соседу, трахавшему твою жену.

Впрочем, если самое мудрое правило экономики гласит, что нельзя обмануть жизнь, то самым суровым законом духа можно назвать такой: не эксплуатируй смерть. Теперь, после ухода Пэтти Ларейн, я вынужден был проводить в обществе невидимок из Адова Городка почти каждое утро. Хотя жены больше со мной не было, моя душа словно переняла на время ее хваленую восприимчивость. Одной из причин, мешавших мне поднимать по утрам веки, были голоса, которые я слышал. Да не скажет никто, что холодный рассвет в ноябре месяце и хихиканье столетней новоанглийской шлюхи взаимно исключают друг друга. Иногда мы с собакой спали вместе, как дети, съежившиеся перед потухшим камином. Время от времени я курил "Душу урагана" в одиночестве, но результатам не хватало ясности. Конечно, если марихуана не ваш гид, вам трудно понять последнее замечание. Я же был убежден, что это — единственное лекарство, которое следует принимать, пускаясь вплавь по морю одержимости: ты можешь вернуться с ответами на вопросы двадцатилетней выдержки.

Однако теперь, когда я жил один, "Душа урагана" не будила во мне никаких мыслей. Вместо них просыпались желания, которые я даже не старался определить. Змеи выползали из мрака. Поэтому в последние десять дней я и близко не подходил к траве.

Может ли это объяснить, почему я не проявил большой охоты последовать столь великодушному совету нашего шефа полиции?

Хотя, добравшись до дома, я действительно сел в автомобиль, выехал на шоссе и повернул в сторону Труро, я вовсе не был уверен, что и вправду заберу из своего тайника запасы "Души урагана". Мне страшно не хотелось их трогать. Впрочем, угодить из-за них за решетку тоже было не слишком приятной перспективой.

Какое чутье демонстрировал Ридженси, когда дело касалось моих привычек! Я и сам не смог бы сказать, почему устроил свой склад так близко от делянки, но факт оставался фактом. Двадцать стеклянных кофейников, наполненных тщательно обработанным сырьем, хранились в стальном сундучке, покрытом лаком и смазанном, чтобы не ржавел. А он был засунут в яму под очень приметным деревом, к которому вела заросшая тропа длиной ярдов в двести, ответвляющаяся от узкой, ухабистой песчаной дороги в лесу.

Да, из всех укромных местечек, коими так богаты трурские чащобы, я выбрал для тайника едва ли не самое близкое к своему маленькому свежевыкошенному участку. Хуже и придумать-то было нельзя. Любой охотник, забредший на эту тропу (а такое случалось по нескольку раз за год),

мог определить характер выращиваемой здесь культуры и посвятить некоторое время изучению окрестностей. Камень, прикрывающий яму с моим сундучком, был замаскирован только слоем почвы в дюйм толщиной да небольшим количеством как следует утоптанного мха.

Но я дорожил именно этим местом. Я хотел, чтобы мой урожай хранился близ своего родного поля. В тюрьме нас кормили продуктами, доставленными на кораблях из недр самых крупных пищевых корпораций Америки, и там не было ни кусочка, который не побывал бы в пластиковой обертке, картонном пакете или банке. Если сложить расстояния от фермы до пищеобрабатывающей фабрики и оттуда до нас, то, по моей прикидке, средний путь, проделанный этими продуктами, оказывался равным двум тысячам миль. И я изобрел панацею от мировых бед: пусть всякий кормится лишь тем, что выросло от его дома на расстоянии, которое можно покрыть за один день с этим урожаем за плечами. Любопытная идея. Скоро я перестал искать способы ее претворенья в жизнь. Однако уважение к родине моей конопли укоренилось во мне крепко. Подобно вину, что выдерживается в тени произведшей его на свет лозы, моя Мери-Джейн должна храниться поблизости от земли, что выпестовала ее.

Поэтому при мысли о перевозке своих запасов я испытал прилив добротного, настоящего ужаса — он был сродни страху, с которым я проснулся утром. Конечно, мне нужно было оставить все как есть! Тем не менее я свернул с шоссе на проселочный тракт, который (после одной-двух развилок) должен был привести меня на ту песчаную дорогу в глубине леса. Двигаясь вперед на малой скорости, я начал осознавать, каким испытаниям подверглась сегодня моя способность не терять выдержки. Разве не парадоксальным — с учетом всего происшедшего — выглядел мой апломб в разговоре с Элвином Лютером? В конце концов, *откуда* взялась моя наколка?

В этот миг я помимо воли притормозил у обочины. Так *откуда* взялась наколка? Этот вопрос словно впервые пришел мне в голову. Вдруг, без всякого предупреждения, меня чуть не вывернуло, как моего пса.

Могу сказать вам, что, справившись со своим внезапным приступом, я тронулся дальше с абсурдной осторожностью, точно плохой водитель, едва избежавший аварии. Я еле полз.

Так пробирался я по окрестностям Труро в этот холодный день — неужели солнце больше никогда не появится? — и разглядывал лишайник на стволах деревьев, словно его желтые споры могли сообщить мне что-то важное, и провожал глазами синие почтовые ящики вдоль дороги, точно это были сами тюремные охранники, даже остановился у позеленевшей бронзовой стелы на распутье и прочел надпись, сделанную на ней в память о каком-то местном юноше, погибшем в давней войне. Я миновал множество изгородей перед множеством крытых серой дранкой домиков — от дорожек, усыпанных битыми ракушками, веяло морем. Сегодня в лесу был сильный ветер, и стоило мне на секунду затормозить, как я услышал над головой шум, точно по верхушкам деревьев перекатывались волны прибоя. Потом я вновь вынырнул на открытое место и поехал по крутым маленьким холмам, мимо болот, зеленых пятен трясины и бочагов с водой. Я остановился у знакомого колодца на обочине, вылез и заглянул туда, чтобы увидеть уже не раз виденный блеск мха на его дне. Скоро опять пошли леса, и мощеная дорога кончилась. Теперь я медленно продвигался по песчаному проселку, задевая за

густую колючую поросль то одним боком "порше", то другим, но горб посередине был таким высоким, что я не отваживался ехать по колее.

Потом я стал опасаться, что и вовсе застряну. Дорогу пересекали ручьи, и в нескольких местах мне пришлось форсировать мелкие лужи — ветви над ними смыкались, образуя лиственный туннель. В пасмурную погоду я всегда любил ездить по этим печальным, невзрачным холмам и лесам в окрестностях Труро. По сравнению со здешним неброским пейзажем Провинстаун даже зимой казался суетливым, как нефтяной поселок. Приехав сюда и поднявшись на один из невысоких пригорков в ветреный, как сегодня, день, вы могли увидеть вдалеке рьяную мельтешню света и барашков на поверхности моря, в то время как болотца в низинах по-прежнему отливали темно-грязной бронзой. Вся палитра трурских лесов располагалась между этими крайностями. Мне нравились тусклая зелень травянистых дюн и бледное золото камыша, и этой поздней осенней порой, когда листву уже покинули бычья кровь и оранжевое пламя, цветовая гамма сместилась к серому, зеленому и коричневому, но с какой богатой игрой оттенков! Мой глаз привык различать в танце оставшихся цветов темно-серый и сизовато-серый, дымчато-серый и сиреневый, оливково-коричневый и светло-коричневый, красновато-, серовато- и желтовато-коричневый, мышиный и пепельный, и бутылочную зелень мха, и белизну сфагнума, и зелень ели, зелень падуба и зелень морской волны на горизонте. Мой глаз привык перескакивать с древесного лишайника на вереск в поле, с болотных камышей на красные клены (уже не красные, а коричневые — цвета мокрой коры), и аромат желтой сосны и вывих карликового дуба мрели в лесном безмолвии, пока на листву сверху не накатывал с шумом прибоя очередной порыв ветра: "Все, что жило прежде, взывает к новой жизни" — вот о чем шумел ветер.

Итак, я останавливал машину там, где можно было переводить взгляд с болота на море, и пытался успокоить себя созерцанием этих мягких, печальных красок, но сердце мое громко стучало. Я ехал, пока не добрался до тропы, ответвляющейся от песчаной дороги; здесь я заглушил мотор, вылез из-за руля и попытался вновь ощутить то безупречное чувство одиночества, которым эти леса одаривали меня прежде. Но ничего не вышло. За последние дни тут кто-то побывал.

Ступив на свою тропу, со стороны дороги почти скрытую кустарником, я почувствовал это еще острее. Я не стал задерживаться в поисках следов, хотя их наверняка можно было найти. Есть тонкие намеки на чье-то выветрившееся присутствие, которые могут сохраняться только в лесу, и, пройдя сотню шагов по направлению к тайнику, я вновь покрылся потом, как в тот жаркий сентябрьский день, когда над всеми нами нависло грозное предвестие урагана.

Я миновал делянку, где выращивал коноплю; дожди уже прибили стерню к земле. Пережитый раньше стыд за ту поспешность, с которой я провел сентябрьскую жатву, отозвался во мне теперь ощущением легкой неловкости, точно при встрече с обиженным мною другом; я остановился как бы в знак уважения и подумал, что мой участок и правда похож на заброшенное кладбище. Однако долго стоять я не мог — мешала объявшая меня паника — и потому поспешил дальше, мимо поляны, затем снова в заросли шиповника и чахлой сосны, — и там, еще через несколько шагов, росло самое необычное дерево из всех. Это была карликовая сосна на гребне песчаного взгорка, пробившегося через суглинок

этих лесов, маленькое упорное деревце-зигзаг, вцепившееся корнями в ненадежный песчаный склон, с ветвями, которые переплелись и искривились под натиском ветра — точно человек упал на колени и в отчаянии вскинул руки к небу. Здесь и находился мой тайник: у подножия этого дерева, под его корнями, была маленькая берлога, куда не смог бы втиснуться и медвежонок, а дверью в эту нору служила каменная плита, укрытая мхом, который много раз снимали и опять клали на место. Теперь я увидел, что этот мшистый дерн весь изорван; края его были сырыми, как края грязной повязки, сбившейся из-за того, что рана под ней воспалилась и вспухла. Я отвалил камень и сунул руку в дыру перед сундучком — мои пальцы царапали и разгребали мягкий суглинок, точно почуявшие корм полевые мыши, — и я нащупал что-то: то ли плоть, то ли волосы, то ли какую-то влажную губку, — не знаю что, но мои руки, действуя решительнее меня, расчистили мусор и вытащили наружу полиэтиленовый пакет, куда я заглянул и сразу увидел достаточно, чтобы испустить громкий стон, чистый, как головокруженье при долгом падении. Я смотрел в чей-то затылок. Волосы на нем, хоть и запачканные землей, были светлыми. Потом я попытался взглянуть на лицо, но когда, к моему ужасу, голова повернулась в пакете без всякого сопротивления — отрезанная! — понял, что не смогу заставить себя распознать черты, нет, я пихнул обратно пакет, потом камень, даже не прикрыв его мхом, побежал из этого леса к своей машине и ринулся прочь по разбитой дороге со скоростью, компенсирующей мою прежнюю медлительность. И только потом, вернувшись домой и забравшись в кресло, пытаясь унять дрожь неразбавленным виски, я вдруг понял (и это было точно одна гибельная стена огня обрушилась на другую), что даже не знаю, чья голова лежит в той могиле — Пэтти Ларейн или Джессики Понд. Конечно, я не знал также, кого мне следует бояться — себя или кого-то еще, — и это, после прихода ночи и связанной с ней бессонницы, переросло в ужас, который никому не дано измерить и описать.

Глава третья

На рассвете ко мне вернулись голоса. Я слышал обитателей Адова Городка в час между пробужденьем и сном.

"Ах, Тим, — шептали голоса, — ты сжег свою свечу с обоих концов: ядра и мозг, болт и язык, свой рот и свое сопло. Значит, твой фитиль поник навсегда? Значит, грешник не сможет больше грешить?"

Они шептали: "Ах, Тим, не лижи бедра блудниц. Древний запах спермацетового кита заставит тебя кончить слишком быстро. Дай нам отведать старых солей. Верни нам пену всех тех, кто ушел. Прощай, добрый друг, и будь проклят твой дом. Я проклинаю твой дом".

Попробую рассказать о том, что мне удалось понять. Фильмы ужасов не могут подготовить нас к часам мучительных поисков после единственной ясной мысли. Выплывая из кошмаров и вновь погружаясь в пучину жути, я добрался по крайней мере до одного вывода. Допустив, что я не принимал участия в этом деянии — а как можно было это утверждать? — я должен был спросить: но кто же? Видимо, кто-то, знающий о моей делянке с коноплей. Что сразу приводило на ум мою жену — если, шаря в своем тайнике, я наткнулся рукой не на ее волосы. Итак, вот вывод, к которому я пришел: надо вернуться в лес и посмотреть снова. Од-

нако та мельком увиденная грязно-белая шевелюра отпечаталась в моей памяти подобно вспышке света и следующему за ней громовому удару боли — так бывает, когда ваше плечо выламывают из сустава. Я знал, что не смогу вернуться. Я раскис. Я предпочитал разлагаться в зловонном гнойнике трусости.

Понятно, почему я не берусь описывать эту ночь? Или объяснять, отчего каждый логический шаг так дорого мне обходился? Теперь я понял, как развивается психоз у запертой в лабиринте подопытной крысы. Едва ли не каждый поворот вызывает шок. Что, если там Джессика? А если так, стало быть, это сделал я?

С другой стороны — и за время, понадобившееся мне для отыскания этой альтернативы, я успел бы проехать тысячу миль, — если Понд и Пангборн вернулись в Бостон, а то и вовсе в Санта-Барбару (впрочем, их могло занести и еще куда-нибудь, это не важно), тогда голова в тайнике была головой Пэтти. Эта мысль окатила меня нестерпимой скорбью. Скорбью с налетом гаденького злорадства — но все это смыла очередная волна страха. Кто мог убить Пэтти, если не мистер Черняшка? А раз так, то не грозит ли опасность мне самому?

Вам знакомо тревожное чувство, которое ощущаешь в присутствии огромных черных пижонов? Попробуйте вспомнить его ночью, зная, что один из таких пижонов, возможно, ищет вас. Каждый всплеск со стороны океана, каждая беспокойная чайка говорили мне о вторжении: мне мерещилось, что убийца поднимает окна и отворяет двери.

Это было унизительно. Я никогда не воображал себя героем. От этого заблуждения — не пожалев ни времени, ни сил — обезопасил меня мой отец. Однако в обычных условиях я был способен считать себя все же не полностью лишенным мужских качеств. Я мог заступиться за друга; мог умолчать о полученной ране и без жалоб перетерпеть нарыв. Теперь я пытался сохранить выдержку. Но едва мое сознание прояснялось настолько, чтобы породить новую мысль, как меня снова подкашивало паникой. Я был как щенок в чужом доме. Я начал бояться своих друзей.

Убийцей должен был быть кто-то, знающий, где я храню марихуану. Этого требовала простая логика. Ближе к рассвету я сообразил, что в ближайшие день-два, встречая приятелей на улице, буду искать ложь в каждом взгляде. Я походил на человека, который летит вниз по скользкому склону, хватается за ледяной нарост — и тот остается у него в руке. Я понимал, что если не смогу ответить на главный вопрос, а именно (поставим же его!): не я ли убийца? — то так и буду скользить вниз, пока не сорвусь с обрыва в безумие.

Когда же наконец рассвело и меня стали донимать голоса Адова Городка — почему они слышатся яснее всего между пробужденьем и сном, как будто этот период обнимает целое столетие? — в мои уши начало проникать и визгливое каркань чаек; их гомон был достаточно громок, чтобы распугать гусениц ночи. Подумав о гусеницах, я вспомнил латинское слово "лярвы", и это принесло мне крохотное удовлетворение. Эй вы, призраки, — *лярвы*! В Экзетере нас хорошо учили латыни.

Я уцепился за эту мысль. В тюрьме, когда ты не поладишь с другим заключенным и страх становится тяжелым, точно свинцовое дыханье самой вечности, самое мелкое удовольствие, проникшее к тебе в душу, не менее ценно, чем брошенная в пропасть веревка, — это я знал по опыту. Сконцентрируйся на этом пустяке, каким бы он ни был, — и ты сможешь выбраться из бездны. Так что теперь я сделал попытку переклю-

читься на что-нибудь совсем далекое и стал размышлять об Экзетере и латыни – и вскоре благодаря этому не то чтобы успокоился, но по крайней мере изолировал свой страх и начал думать о маленькой меблированной комнатке в пансионе на запад от Десятой авеню, на Сорок пятой улице, где жил нынче мой семидесятилетний отец. С помощью этой тактики мне снова удалось увидеть бумажку, которую он приколол у себя над зеркалом, и прочесть аккуратно напечатанные на ней слова. Надпись гласила: INTER FAECES ET URINAM NASCIMUR, – а внизу отец с кудрявым росчерком подписал имя автора: *Св. Одон Клюнийский.* Самого же отца (и мне приятно упомянуть это в таком контексте) по-прежнему звали Биг-Маком в пику всем макдональдовским гамбургерам.

"Ну и зачем тебе это?" – сказал я Биг-Маку, когда впервые увидел эту фразу над зеркалом.

"Это напоминание", – ответил отец.

"Ты никогда не говорил мне, что знаешь латынь".

"Приходская школа, – сказал он. – Там нас пытались научить. Кое-что в котелке застряло".

"А это ты где взял?"

"Знакомый священник поделился. Отец Стив. Он вечно на ножах с кардиналом", – заметил Биг-Мак поощрительным тоном, словно для попа это первая добродетель.

Что ж, моих знаний хватало, чтобы это перевести. Inter faeces et urinam nascimur – "Меж дерьмом и мочою мы рождены". Даже крохи культуры Биг-Мак выуживал, точно портовый грузчик – рыбу.

Но вот на столике рядом с моей кроватью зазвонил телефон, и я приготовился услышать голос отца. Мы не звонили друг другу довольно давно, но я был уверен, что это он. Я обладал способностью вспоминать о приятелях или приятельницах, едва они поднимали трубку, чтобы позвонить мне: это случалось так часто, что уже перестало меня удивлять. Однако в то утро я увидел в этом предзнаменование.

– Привет, Тим.

– Ну, Дуги, – сказал я, – легок на помине.

– Ага, – отозвался он. Я сразу понял, что он в тяжком похмелье. Его "ага" открывало перед вашим мысленным взором безрадостные ландшафты мозга после шестидесяти лет дружбы с выпивкой (конечно, если допустить, что он попробовал ее лет в десять).

– Тим, – сказал он, – я в Хайянисе.

– Что ты делаешь на Кейп-Коде? Ты же вроде не любишь путешествовать.

– Я здесь уже три дня. Фрэнки Фрилоуд сюда перебрался, когда вышел на пенсию. Разве я тебе не говорил?

– Нет, – сказал я. – Как он?

– Помер. Я на поминки приехал.

Смерть близкого друга должна была произвести на моего отца такое же впечатление, как утес, обрушившийся в море неподалеку от вашего дома.

– Так, – сказал я. – Может, заглянешь в Провинстаун?

– Подумывал об этом.

– Машина у тебя есть?

– Могу арендовать, – сказал он.

– Не надо. Я сам за тобой заеду.

Наступила долгая пауза, но я не мог понять, о себе он думает или обо мне. Потом он сказал:

— Давай обождем денек-другой. Надо помочь вдове кое-что утрясти.

— Ладно, — ответил я, — приезжай, когда сможешь.

— Мне казалось, что я ничем не выдал своего плачевного состояния, но Биг-Мак спросил:

— У тебя все в порядке?

— Остался без жены. Уехала. Это ничего.

Наступила долгая пауза. Затем он сказал:

— Ага. Увидимся. — И повесил трубку.

Тем не менее он внес свой вклад в импульс, побудивший меня выбраться из постели и начать новый день.

Если говорить о похмельях, то я напоминал человека, балансирующего на грани эпилептического припадка. Я должен был следить за каждым своим движением, чтобы не споткнуться и не оступиться, избегать слишком резких поворотов головы и заранее подготавливать каждый жест — тогда можно было надеяться обмануть надвигающийся приступ или хотя бы отодвинуть его на несколько часов. Но ограничивая свои мысли — то есть позволяя себе думать об одних вещах и начисто исключая другие, — я старался оградить себя не от физических конвульсий, а от кошачьих воплей, с которыми осаждали меня призрачные ведьмы.

Поскольку главная моя проблема была болезненной, как живая рана, — даже моя татуировка начинала ныть, стоило мне обратить на нее мысленный взор, — я попытался уравновесить себя и нашел паллиатив в думах об отце. Не то чтобы целиком приятных — я мог размышлять даже о давних горестях, но и это было вполне приемлемо в силу их давности: прежние печали служили как бы противовесом, который не давал мне соскользнуть в настоящее.

К примеру, я вновь вспомнил о Миксе Уодли Хилби Третьем. В течение целого месяца моей жизни в Тампе я буквально каждое утро просыпался с одним и тем же требующим разрешения вопросом: как нам с Пэтти прикончить его и не сесть? Однако теперь это воспоминание меня не расстроило. Наоборот — оно помогло мне сконцентрироваться по двум причинам, которые можно уподобить грузам на концах балансировочного шеста. Первая заключалась в том, что я совершенно определенно не убил Уодли и даже выяснил, что во мне нет ярко выраженной тяги к убийству, — неплохо было подумать об этом в такое утро! Другая состояла в том, что в нынешний момент я вспомнил о мистере Хилби не как о муже Пэтти из Тампы, а как о своем товарище по Экзетеру, где между нами существовала странная связь, а это имело много общего с мыслями об отце и привело мне на память, наверное, самый лучший день, проведенный с Биг-Маком.

Микс Уодли Хилби Третий, и это вполне можно повторить, был единственным обитателем тюрьмы, с которым я в прошлом учился в Экзетере. Но больше всего в нашей совместной истории меня впечатлял тот факт, что нас обоих вышибли из колледжа в одно и то же утро, за месяц до выпуска. Раньше я едва его знал. Хилби был рохлей, а я — неплохим спортсменом. Он проучился в Экзетере четыре года, как прежде его отец Микс, а я провел там осень и весну после окончания средней школы на Лонг-Айленде, получив аспирантскую стипендию по спортивной линии. (Мать хотела, чтобы я отправился в Гарвард.) Я пытался обога-

тить своим талантом уайд-ресивера[1] экзетерскую команду, где и пасовать-то не умели. (Разве есть на Востоке хоть одна частная школа, где прилично играют в футбол?) В день, когда нас выперли, мы вместе покинули кабинет директора, и Микс Уодли Хилби Третий плакал. Его потертый смокинг с атласными лацканами и лиловый галстук-бабочка казались костюмом приговоренного к смерти. Я был грустен. Даже сейчас, вспоминая ту минуту, я чувствую, как мои члены наливаются грустью. Меня поймали за курением марихуаны (двадцать лет назад это считалось серьезным проступком). Директор был в шоке — а с Хилби вышло еще хуже. В это трудно поверить, но он, такая размазня с виду, пытался изнасиловать городскую девчонку, которую пригласил на безобидное свидание. Тогда я об этом не знал. Никто из осведомленных не хотел распускать язык (родителям девицы вскоре заплатили), но одиннадцать лет спустя мне рассказал эту историю сам Хилби. В тюрьме вдоволь времени на рассказы.

Итак, тем утром в Провинстауне, когда я пытался забыть обо всем, что на меня свалилось, мне — повторю — было почти приятно вспомнить свое печальное расставание с Экзетером. Двадцать лет назад, в чудесный майский денек, я навсегда распрощался с колледжем. Я уложил свое барахло в два вещевых мешка, впихнул их вместе с собой в автобус, а отец (которому я уже позвонил — звонить матери мне не хватило духу) прилетел челночным рейсом в Бостон, чтобы меня встретить. Мы напились. Я полюбил бы его за один этот вечер. Мой отец (как вы, должно быть, поняли из нашего телефонного разговора) редко открывал рот, если это не было абсолютно необходимо, но вас успокаивало даже его молчание. Росту в нем было шесть футов три дюйма, а весил он тогда, на пятидесятом году, двести восемьдесят фунтов. Сорок из них явно были лишними. Они опоясывали его спереди, как мягкий предохранительный бампер на автомобильчике в парке аттракционов, и из-за этого он страдал одышкой. Рано поседевшая шевелюра, кирпично-красное лицо и голубые глаза делали его похожим на самого огромного, самого хитрого и самого продажного старого детектива в городе, но это впечатление было абсолютно ложным: он всегда ненавидел копов. Его старший брат, которого он никогда не любил, жил и умер полицейским.

В тот вечер, когда мы бок о бок стояли в ирландском баре (стойка перед нами уходила куда-то во тьму и была такой длинной, что, по выражению отца, хоть собак по ней гоняй), он проглотил четвертую порцию виски — как и первые три, неразбавленную — и сказал: "Значит, марихуана?"

Я кивнул.

"И как ты умудрился влипнуть?"

Он имел в виду следующее: неужели ты так глуп, что тебя застукали добропорядочные американцы? Я знал, какого он мнения об их умственном уровне. "Беда некоторых людей в том, — сказал он как-то раз в споре с моей матерью, — что они думают, будто покупают свои шмотки в одном магазине с Господом Богом". Поэтому я всегда смотрел на добропорядочных американцев его глазами. А Биг-Мак видел в них только с иголочки одетых среброволосых тупиц в серых костюмах и с таким шикарным выговором, словно и впрямь сам Господь избрал их эталонами благопристойности.

1. Уайд-ресивер — принимающий игрок в американском футболе.

"Да что-то расслабился, — ответил я. — Может, смеялся слишком много". И я описал ему утро того дня, когда меня поймали (это случилось вечером). Я участвовал в парусных гонках на озере близ Экзетера, названия которого теперь уже не помню (возмездие за траву!), и все яхты заштилели. Гонки чуть не пришлось отменить. Я ничего не смыслил в парусном спорте, но им увлекался мой товарищ по общежитию — он и привел меня в команду к старому учителю истории, вполне соответствовавшему образу добропорядочного американца, который сложился у моего отца. Он был хорошим капитаном — возможно, лучшим в школе — и отнесся к этим гонкам с таким презрением, что даже взял с собой полного профана в моем лице. Однако день был безветренный, и удача отвернулась от нас. Ветер то стихал вовсе, то слегка подгонял нас вперед слабым дуновением, то опять пропадал. В конце концов мы стали у мачты — наш пустой спинакер болтался на носу — и принялись смотреть, как нас медленно обгоняет другая яхта. У ее руля была пожилая леди. Она находилась гораздо ближе нас к берегу и рассчитала, что если ветра сегодня так и не будет, то ее вынесет вперед едва заметным прибрежным течением, которым давала о себе знать далекая река. Ее расчет оказался верным. Сначала она отставала от нас на три корпуса, а потом обошла на восемь, пока мы неподвижно стояли в пятистах ярдах от берега. Нас оттеснили на второе место — эта лисица перехитрила нашего старого лиса.

Когда нам с приятелем надоело торчать на воде без движения, мы начали обмениваться шутками. Наш капитан терпел это сколько мог, но обвисший спинакер все-таки доконал его. Он повернулся ко мне и самым что ни на есть менторским тоном сказал: "Я бы на твоем месте говорил поменьше. Ты обезветриваешь парус".

Я поведал отцу эту историю, и мы с ним так расхохотались, что нам пришлось вцепиться друг в друга, чтобы сохранить равновесие.

"Да, — заметил Биг-Мак, — если у вас там такая публика, надо радоваться, что тебя вышибли".

Это избавило меня от необходимости рассказывать, как я вернулся к себе в комнату, разбираемый одновременно смехом и яростью. Чего мне стоило промолчать и не огрызнуться. Года в Экзетере явно оказалось маловато, чтобы привыкнуть к манере здешних заправил. (Англичанин дерет нос, а ирландец ходит бос!)

"Я попробую объяснить это твоей матери", — сказал Биг-Мак.

"Спасибо". Я знал, что они с матерью уже с год как не разговаривают, но все же не мог взять объяснение на себя. Она в жизни бы меня не поняла. С моих одиннадцати до тех пор, пока мне не исполнилось тринадцать (тогда я стал возвращаться домой попозже), она каждый вечер усаживалась рядом со мной, чтобы прочесть один стих из "Поэтической сокровищницы" Луиса Антермайера[1]. К ее (и Антермайера) чести следует заметить, что, пройдя через это испытание, я не возненавидел поэзию — еще одна причина, по которой я не мог рассказать матери обо всем самостоятельно.

Конечно, мне пришлось слушать, как отец повторяет перед каждой новой порцией: "Ну, обезветрим парус". Подобно многим славным любителям выпить, он имел дурную привычку употреблять одну и ту же присказку для разных стаканов — но вдруг в этот момент мои воспомина-

1. Луис Антермайер (1885—1977) — литературный критик, поэт, составитель ставших классическими сборников англоязычной поэзии.

ния были прерваны. Телефон зазвонил во второй раз за это утро. Я поднял трубку, уже не ожидая услыхать ничего хорошего.

Это оказался хозяин "Вдовьей дорожки".

— Мистер Мадден, — произнес он, — извините, что беспокою, но у меня сложилось впечатление, что вы знакомы с той парой — помните, которые сидели на днях у нас в баре вместе с вами?

— Да-да, как же, — сказал я, — мы с ними отлично поболтали. Откуда они — с Запада, что ли?

— За обедом, — ответил он, — они сказали мне, что живут в Калифорнии.

— Верно, теперь припоминаю, — поддакнул я.

— Я звоню только потому, что их машина до сих пор стоит на нашей площадке.

— Вот странно, — сказал я. — Вы уверены, что это их?

— Да, — ответил он. — Думаю, да. Я ее запомнил, еще когда они приехали.

— Вот странно, — повторил я. Руку с наколкой вдруг сильно засадило.

— Честно говоря, — сказал он, — я надеялся, может, вы знаете, где они. — Пауза. — Стало быть, не знаете.

— Нет, — сказал я. — Не знаю.

— На его кредитной карточке стояло имя Леонард Пангборн. Если они не заберут машину через день-два, я, пожалуй, позвоню в "Визу".

— Позвоните.

— А имени леди вы не знаете?

— Она мне говорила, но простите, провалиться мне, если помню. Если вдруг вспомню, я вам сообщу. А вот мужчина — точно Пангборн.

— Извините, мистер Мадден, что побеспокоил вас с утра, но все это так странно.

Да уж. После этого звонка я утратил способность к концентрации. Все мои мысли галопом неслись в лес. Выясни! Но это порождало во мне неудержимую панику. Я был похож на человека, которому сказали, что он может излечиться от смертельной болезни, прыгнув в воду с пятидесятифутового утеса. "Нет, — отвечает он, — я останусь в постели. Уж лучше помру". Что ему беречь? А мне? Но паника побеждала здравый смысл. Меня словно предупредили во сне, что под тем деревом в трурских лесах прячется весь цвет пагубы Адова Городка. Значит, появись я там — и она проникнет в меня? Этого я боялся?

Сидя рядом с телефоном и мучаясь страхом, неотличимым от физического недомогания — мой нос был холоднее ног, а легкие точно жгло огнем, — я начал тяжелый труд по восстановлению душевного равновесия. Сколько раз по утрам, после свары за завтраком, я уходил в свою маленькую комнатку на верхнем этаже, откуда можно было смотреть на бухту, и пытался писать, но каждое утро мне приходилось заново учиться отбрасывать — этот процесс напоминал удаление из супа несъедобных кусочков — тот житейский мусор, который мог сегодня помешать работе. Так что я имел навыки сосредоточения, приобретенные сначала в тюрьме, а потом дома, когда старался ежеутренне выполнять свою норму независимо от того, насколько бурным был очередной скандал с женой; я умел обуздывать свои мысли. Если теперь передо мной бушевали вышедшие из-под контроля волны — что ж, значит, мне следовало опять сосредоточиться на думах об отце и перестать терзаться вопроса-

ми, на которые нет ответа. "Не пытайся вспомнить то, чего вспомнить не можешь" — я всегда придерживался этого правила. Память сродни мужской силе. Стараться вспомнить то, что от тебя ускользает, — пусть даже жизненно важное, — это все равно что призывать эрекцию, когда женщина лежит перед тобой разверстая, но твой член — экий капризный стервец! — решительно, упрямо, бесповоротно отказывается пошевелиться. И ты вынужден бросить. Возможно, я вспомню, что случилось позапрошлой ночью, а может, и нет — это выяснится позже, — но пока мне надо огородить свой страх стеной. И я чувствовал, как всякое воспоминанье об отце ложится в эту стену прочным камнем.

Итак, я вернулся к прежним мыслям и ощутил, что в мою душу нисходит мир, даруемый размышлениями о любви к родителю, как бы сильно ни потрепала ее жизнь. И поскольку я уже налил себе порцию виски — законного успокоительного, к которому можно было прибегнуть нынче утром, — и поднялся в свою querencia[1] на четвертом этаже, где обычно работал, глядя на море, я без помех начал думать о легендарном событии, случившемся с Дуги Биг-Маком Мадденом, и о том, чего оно стоило ему, и моей матери, и мне самому. Ибо, несмотря на весь его рост и вес, мы так и не получили его в достаточном количестве. Могу сказать вам, что добрая толика моего отца была утрачена еще до того, как он встретился с моей матерью. Я узнал об этом в детстве, слушая разговоры его старых друзей.

Я помню, как они являлись в наш дом на Лонг-Айленде, чтобы поболтать с ним, а потом вместе перебраться в его бар, и поскольку все они были докерами или бывшими докерами, как он сам, и почти такими же крупными, скромная гостиная моей матери, стоило им всем встать, начинала походить на перегруженную лодку, готовую перевернуться. Как я любил эти сборища. Тогда мне и довелось услышать — причем далеко не единожды — историю о звездном часе моего отца.

Годы спустя один юрист поведал мне, что если показания двух свидетелей совпадают во всех деталях, то можно быть уверенным: вы слушаете ложь. В таком случае предание о моем отце почти целиком правдиво. Все версии были разными. Тем не менее сходились они вот в чем: как-то раз в тридцатых годах, когда итальянцы пытались выжить ирландцев из верхушки профсоюза портовых рабочих, мой отец — один из лидеров МАПР[2] — ставил машину где-то в переулке Гринич-виллидж, и вдруг выскочивший из подъезда человек шесть раз выстрелил в него из револьвера сорок пятого калибра. (Другие говорили, что калибр был тридцать восьмой.) Сколько пуль попало в отца, я не знаю. В это трудно поверить, но чаще всего называли число шесть, а когда он мылся под душем, я сам насчитал на его теле четыре огнестрельные раны.

В ту пору он славился своей силой. Силач среди портовых грузчиков — это уже феномен, но в тот раз он повел себя не хуже кадьякского медведя[3], так как посмотрел на своего противника и сделал шаг вперед. Стрелок (чей револьвер, я полагаю, к тому моменту уже опустел) увидел, что его жертва не упала. Он бросился бежать. Это звучит неправдоподобно, но мой отец погнался за ним. Они пробежали по Седьмой авеню в Гринич-виллидж шесть кварталов (кое-кто называет восемь, кое-кто пять, а кое-кто четыре), но лишь в конце этой дистанции Дуги понял,

1. Излюбленное место, пристанище (*исп.*).
2. Международная ассоциация портовых рабочих (профсоюз).
3. Кадьякские медведи — очень крупные бурые медведи, обитающие на Аляске.

что ему не догнать нападавшего, и остановился. Только тогда он заметил кровь, льющуюся из его башмаков, и ощутил головокружение. Он развернулся прежде, чем улица развернулась ему навстречу, и обнаружил, что стоит рядом с отделением неотложной помощи больницы Св. Винсента. Итак, он осознал, что находится в плохой форме. Он ненавидел врачей и больницы, но все же пошел туда.

Дежурный по отделению, должно быть, решил, что новый посетитель пьян. Перед его столом, пошатываясь, стоял огромный смятенный человек в окровавленной одежде.

"Присядьте, пожалуйста, — сказал дежурный. — Подождите своей очереди".

Хотя обычно, пока его друзья рассказывали эту историю, отец лишь хмурился да кивал, тут он иногда заговаривал сам. В пору моего детства свирепая неумолимость, которую обретал его взгляд, так будоражила мою чувствительную юную душу, что раз или два я даже чуть смочил трусы. (Конечно, в столь мужественной компании я держал этот секрет при себе.)

Вступая в разговор, отец хватал воображаемого дежурного за рубашку: его крепкая рука вытягивалась, пальцы сгребали невидимый ворот так, словно силы его были уже на исходе, но оставшегося еще хватило бы, чтобы размазать по стенке этот образчик служебной черствости.

"Займитесь мной, — глухим, угрожающим тоном произносил отец в гостиной моей матери. — Я ранен".

И это была правда. Его продержали в больнице три месяца. Вышел он оттуда совсем седым, и с профсоюзом было покончено. То ли такое долгое лежание в постели лишило его толики мужества, которого прежде всегда было у него в достатке, то ли сдала позиции ирландская верхушка — не знаю. А может быть, его сознание перекочевало в другое место — то далекое место, полное невысказанной скорби, где он и прожил весь остаток жизни. В этом смысле он ушел на покой еще до моего рождения. Возможно, он тосковал всего лишь по своей былой влиятельности, ибо перестал быть профсоюзным лидером, сохранив за собой только физическую мощь. Как бы там ни было, он занял у родственников денег, открыл бар на Санрайз-хайуэй, в сорока милях от Южного берега, и восемнадцать лет содержал его, не богатея, но и не прогорая.

Как правило, даже таких результатов добиваются только экономные хозяева, поскольку бары в основном пустуют. Однако бар моего отца был похож на него самого — большой, щедрый и управляемый лишь наполовину, хотя Биг-Мак и производил впечатление образцового бармена.

Он провел там восемнадцать лет, в белом фартуке и с рано поседевшими волосами, осаживая взглядом своих голубых глаз чересчур буйных посетителей, и кожа его так покраснела от постоянной накачки спиртным ("это мое единственное лекарство", — говорил он матери), что он стал казаться более вспыльчивым, чем на самом деле, — свирепым, как омар, совершающий последний рывок прочь из кастрюли.

У него сложилась устойчивая клиентура — славная субботняя компания, хотя в основном любители пива, и многочисленные летние гости: влюбленные парочки, прибывающие на уик-энд с Лонг-Айленда, и заезжие рыбаки. Он мог бы стать богатым человеком, но он пропивал часть доходов, еще больше возвращал через стойку, обрушивая шквалы бесплатной выпивки на самые дальние уголки зала, открывал людям такие

огромные кредиты, что на них можно было бы похоронить всех их отцов, матерей, дядьев и теток, и одалживал деньги без всяких процентов, и не всегда получал их обратно, и отдавал их просто так, и проигрывал — короче, как говорят ирландцы (или евреи?), "пожил на славу".

Его любили все, кроме моей матери. С течением времени ее любовь угасала. Я долго гадал, с чего они вообще поженились, и пришел к выводу, что к моменту их встречи она наверняка была девственницей. Подозреваю, что их краткий и весьма бурный роман (ибо даже через много лет после развода голос матери дрожал, когда она вспоминала о первых проведенных с ним неделях) завязался не только благодаря полной несхожести их характеров, но и благодаря тому, что она была либералкой и хотела бросить вызов предубеждению своих родителей против ирландцев, рабочего класса и запаха пива в барах. Так они и поженились. Она была маленькой, скромной, миловидной женщиной, школьной учительницей из уютного городка в Коннектикуте, настолько же хрупкой, насколько он был крупным, и обладала хорошими манерами — настоящая леди, на его взгляд. По-моему, она всегда оставалась для него настоящей леди, и хотя он никогда не признался бы, что самое серьезное из его личных тайных предубеждений направлено как раз против этого, против изящной элегантности дамской ручки в длинной перчатке, он обожал ее. Его просто поразил факт собственной женитьбы на такой женщине. Увы — их семейная жизнь не удалась. По его выражению, ни один из них не смог потеснить другого ни на кунькин волосок. Кабы не мое присутствие, они вскоре погрузились бы в тоску и отчаяние. Но я был тут, и их брак держался, пока мне не исполнилось пятнадцать.

Возможно, он и вовсе не развалился бы, но мать допустила большую ошибку. Она победила в важнейшем споре с отцом и уговорила его переехать из нашей квартиры прямо над его баром в городишко под названием Атлантик-Лейнс, что оказалось тихой катастрофой. Без сомнения, этот переезд вызвал шок, сравнимый с шоком его деда, во время оно покидавшего Ирландию. Отец так и не смирился с единственной крупной уступкой, которую он сделал моей матери. Атлантик-Лейнс не понравился ему сразу же. Я знаю, что это звучит как название кегельбана; но основатели сего новоиспеченного города дали ему такое имя, поскольку от нас было две мили до океана, и улицы собирались проложить почти по линейке. Однако проектировщики, видимо, активно использовали лекала. Так как само место было плоское, точно автомобильная стоянка, крутые извивы наших улочек не служили никакой разумной цели — разве что помогали не видеть соседских домов, абсолютно неотличимых от твоего собственного. Смешно, но, напившись, Дуги не мог найти дорогу обратно. Впрочем, смешного мало. Этот город выщелочил что-то из всех нас, выросших там. Я не могу определить это, хотя в глазах моего отца мы, дети, были до предела цивилизованны. Мы не болтались на углу улицы — в Атлантик-Лейнс не было прямых углов, — не собирались в шайки (вместо этого мы заводили себе "лучших товарищей"), и как-то раз, во время драки, мой соперник сказал в самом ее разгаре: "Ладно, сдаюсь". Мы остановились и пожали друг другу руки. Моя мать была удовлетворена, ибо 1) я победил, а это, как она поняла за долгие годы, доставит радость моему отцу, и 2) я вел себя по-джентльменски. Вежливо пожал ручку. Отец же был заинтригован. Вот что значит пригороды. Ты можешь ввязаться в драку, потом сказать "сдаюсь", и враг не станет праздновать победу, колотя тебя головой о тротуар. "Сынок, там, где я

вырос, — сказал он мне (то есть на Сорок восьмой улице к западу от Десятой авеню), — сдаваться было не принято. Ты мог с тем же успехом сказать: "Умираю!"

Как-то раз, за несколько лет до конца их брака, я подслушал разговор отца с матерью в гостиной в один из тех редких вечеров, которые он проводил дома. Я делал на кухне уроки и пытался не слушать, что они говорят. Обычно, оказываясь вместе, они часами сидели молча, и их обоюдная мрачность часто достигала такого накала, что даже голос телевизионного диктора начинал вибрировать. Однако в тот вечер они, видимо, были близки, потому что я услышал мягкий голос матери: "Дуглас, ты никогда не говоришь, что любишь меня".

Это была правда. За всю жизнь я лишь пару раз видел, как он целует ее — да и то словно скупец, вынимающий единственный дукат, который он решил потратить в этом году. Бедная моя мать. Она была такой ласковой, что все время целовала меня. (В его отсутствие.) Она не хотела, чтобы он заподозрил во мне неженку.

"Ни разу, Дуглас, — повторила она тогда, — ни разу ты не сказал, что любишь меня".

С минуту он не отзывался, а потом ответил с уличным ирландским акцентом — так он выражал свою любовь: "Я ж здесь, верно?"

Конечно, такая аскетическая позиция снискала ему восхищение друзей. Я слыхал легенды о том, сколько женщин он мог увлечь в свою бытность грузчиком и каким молодцом (в смысле количества раз) проявлял себя по ночам. Тем не менее он никогда не снисходил до поцелуев — этому противилась его мужская гордость. Кто знает, в каком ледяном чертоге души взрастила его моя сухощавая бабка-ирландка? Он никогда не целовался. Однажды, вскоре после того как меня выгнали из Экзетера, я выпивал с Дуги и его старинными приятелями, и они все подшучивали над ним на эту тему. Пускай его друзья были покрыты шрамами и наполовину беззубы — многим перевалило за пятьдесят, и мне, двадцатилетнему, они казались уж вовсе древними, — но мысли их были грязны по-прежнему. Их разговоры вертелись вокруг этого дела, как у сексуально озабоченных юнцов.

К тому времени отец не только развелся с матерью, но и пережил тяжелый период других потерь, одной из которых стала потеря его бара. Теперь он снимал комнату, иногда заводил себе подруг, работал в буфете за зарплату и часто виделся со старыми приятелями.

Скоро я обнаружил, что у каждого из этих старых приятелей есть свои характерные черточки, которые и полагалось высмеивать в дружеской компании. Кто-то был прижимист, кто-то имел странную привычку ставить на лошадей-аутсайдеров, один неизменно блевал, когда напивался ("У меня слишком нежный желудок", — жаловался он. "А у нас нежные носы", — отвечали ему), а отца всегда подкалывали насчет поцелуйчиков.

"Знаешь, Дуги, — говорил, бывало, его старый дружок Динамит Хеффернон, — прошлую ночь я провел с девятнадцатилетней, у которой были до того пухленькие, сочненькие, славненькие губки — ты таких сроду не видел. А целовалась она! О, эта влажная ароматная улыбка. Ты хоть понимаешь, что ты потерял?"

"Верно, Дуги, — восклицал другой, — ты бы попробовал. Ну, колись! Поцелуй девчонку!"

Отец сидел спокойно. Это была игра, и он терпел, но его тонкие губы удовольствия не выражали.

Затем подачу принимал Фрэнсис Халег, иначе — Фрэнки Халявщик. "А у меня на прошлой неделе была вдовушка вот с таким язычищем, — говорил он нам. — Совала мне его в уши, в рот, глотку вылизывала. Кабы я согласился, она б мне и в ноздрю его запустила".

При виде отвращения на лице моего отца они ржали, точно мальчишки из церковного хора — высокими, пронзительными ирландскими тенорками, высмеивающими пунктик Дуги Маддена.

Он все это глотал. Потом, когда они утихали, качал головой. Он не любил, когда его вышучивали в моем присутствии, — так повлияло на него разорение — и потому говорил: "Дурачье вы. Да ни один из вас и с бабой-то не спал за последние десять лет, — и после нового приступа веселья, вызванного его гневом, поднимал ладонь. — Ладно, — говорил он, — хоть бы и так. Допустим, вы знаете пару колотух. И им нравится целоваться. Может, они даже и вам дали. Хорошо. Случалось и такое. Только спросите себя: вот сейчас девка обслуживает вас, а чей прибор она лизала вчера? Что было у нее во рту? Подумайте об этом, недоноски. Потому что если она способна поцеловать вас, значит, она может есть собачье дерьмо".

Эта тирада возносила всю шайку на вершину блаженства. "Ну с кем ты была, целовалася с кем?" — мурлыкали они в ухо Дуги.

Он никогда не улыбался. Он знал, что прав. Такова была его логика. Я понимал это. Я с нею вырос.

Однако тут мои размышления об отце оборвались — вновь навязчиво засвербела наколка. Глянув на часы, я обнаружил, что уже почти полдень, и встал с намерением отправиться на прогулку, но тут же сел снова: при одной мысли о выходе из дома на меня опять обрушился ужас.

Но теперь я ощутил угрозу полного распада личности, натурального превращения из человека в дворнягу. Больше дрожать здесь было нельзя. Поэтому я надел куртку и шагнул из дому в ноябрьскую сырость с бодрым чувством, что совершаю едва ли не геройский поступок. Так искажает восприятие чистая паника. Волей-неволей скатываешься до фарса.

Тем не менее, очутившись на улице, я по крайней мере начал осознавать причину этой новой волны страха. Впереди, в миле от моего дома, торчал Провинстаунский обелиск — каменный шпиль в двести с лишним футов, слегка напоминающий башню Уффици во Флоренции. Именно его первым замечали те, кто ехал к нам по шоссе или входил на корабле в гавань. Он стоял на приличной высоты холме недалеко от набережной — буквально в фокусе нашего существования, так что мы видели его каждый день. Избежать его взглядом было нельзя. Это творение человеческих рук было самым высоким во всей округе, вплоть до Бостона.

Конечно, местные жители не стремились убедиться, что он на месте. Я не глядел на него, наверное, уже дней сто, но сегодня, едва повернув к центру города, опять почувствовал зуд: наколка, этот датчик уровня моего беспокойства, словно поползла у меня по коже. Если обычно я смотрел на Обелиск, не видя его, на сей раз он прямо-таки лез в глаза. Одной пьяной ночью, почти двадцать лет назад, я сделал попытку влезть на эту вертикальную башню и забрался очень высоко — до самого козырька парапета футах в тридцати от ее вершины. Я лез вертикально вверх, нащупывая руками и ногами стыки гранитных блоков — лишь бы

зацепиться за что-нибудь пальцами да поставить носок ботинка. Воспоминание об этом подъеме часто будило меня среди ночи в последующие годы, ибо не один раз мне пришлось подтягиваться только на руках, а в самых худших местах я опирался носками на выступы шириной в два пальца и шарил ладонями по гладкой поверхности вверху, — это невероятно, но хмель не позволял мне остановиться вплоть до самого карниза.

Потом я беседовал со знакомыми альпинистами; двое-трое из них даже ходили со мной взглянуть на Обелиск и на вопрос, могли бы они одолеть этот козырек, ответили: "Запросто", причем совершенно искренне. Один даже объяснил, как это делается, хотя я мало что понял. Сам я никогда скалолазом не был. В ту ночь я единственный раз в жизни оказался на стене в двухстах футах от земли, но завершилось все это так печально, что у меня уже не хватило пороху попробовать снова.

Ибо я безнадежно застрял под этим карнизом. Видимо, мне надо было отклониться назад и достать парапет одной рукой, используя имевшуюся опору, — карниз был очень маленький! — но я не мог понять, как сделать это, и стоял, вжавшись в углубление под самым выступом, спиной к одной из несущих колонн, ногами на другой; я втиснулся в эту нишу под самым парапетом и торчал там, покуда мои силы не начали иссякать, и тогда я понял, что упаду. Между прочим, я решил, что спуститься оттуда уже невозможно, и был прав. Позже мне сказали, что без веревки всегда легче подняться по стене, чем спуститься с нее. Так я и стоял, прилипнув к этим камням, и мужество, сообщенное мне выпитым, медленно испарялось. Наконец я совсем протрезвел и так испугался, что стал кричать, а потом, пожалуй, даже вопить, — в общем, чтобы поскорее закончить с этой неприятной историей, скажу только, что спасла меня посреди ночи добровольная пожарная команда в лице здоровенного рыбака с боцманской повадкой (а именно Бочки Коста собственной персоной), которого спустили на канате с карниза наверху (туда можно было забраться по лестнице внутри башни) и которому удалось сгрести меня в охапку, после чего нас обоих подняли наверх, хотя к тому времени я был похож на кошку, неделю просидевшую на дереве, — я почуял свою смерть, — говорят, я отпихивал его и даже хотел укусить, когда он ко мне приблизился. Подозреваю, что это правда, так как утром я обнаружил у себя над ухом огромную шишку — видимо, он разок приложил меня к стене, чтобы убавить мне прыти.

Ну а еще я готовился в то утро сесть в автобус и уже собрал саквояж, думая покинуть Провинстаун навсегда, но тут пришли друзья и стали восхищаться моей доблестью. Похоже, меня не сочли дураком. Поэтому я остался и начал понимать, отчего Провинстаун — самое подходящее для меня место: ведь никому и в голову не пришло, что мой поступок ненормален или даже немного странен. Каждый вынужден избавляться от того, что кипит в нем, только и всего. Делайте это как вам угодно.

Однако сумка с вещами простояла у меня под кроватью всю ту зиму, и не было, пожалуй, такой минуты, когда я не был готов мгновенно отчалить — любая некстати отпущенная шуточка решила бы дело. В конце концов, я впервые в жизни обнаружил, что не могу полностью полагаться на свое душевное здоровье.

Конечно, у меня были кое-какие соображения насчет того, что за этим кроется. Годы спустя, читая Джонсову биографию Фрейда, я наткнулся на комментарий Фрейда относительно явления, которое он назвал "безусловно, неконтролируемой вспышкой латентной гомосексу-

альной паники в себе самом", и мне пришлось отложить книгу, ибо на меня мгновенно нахлынули мысли о той ночи, когда я покорял Обелиск. Теперь моя наколка вновь зачесалась. Неужели эта "неконтролируемая паника" живет во мне до сих пор?

Действительно, разве не правда, что около таких памятников всегда собираются гомосексуалисты? Я подумал о тех мужчинах и мальчиках, что фланируют вокруг обелиска в Центральном парке, и о приглашениях с указанием размера рядом с перечнями телефонных номеров в кабинках общественных туалетов у подножия мемориала Джорджа Вашингтона. От чего же я пытался избавиться, решившись на это безумное восхождение? "В нашей глуши — портреты здравомыслящих" Тимоти Маддена.

В городе был еще один человек, который мог бы назвать себя моим единомышленником, поскольку он тоже пробовал взобраться на Провинстаунский обелиск. Как и я, он застрял под козырьком и был снят пожарниками-добровольцами, хотя на сей раз (симметрия имеет свои пределы) на конце спасательного троса оказался не Бочка.

Он предпринял свою попытку всего четыре года назад, но в пене огромной стиральной машины, в которую Провинстаун обращается летом, мельтешит столько чудаков и психопатов, что никто ничего не помнит. Легенда моего отца путешествовала по жизни вместе с ним, но здесь, к тому времени как Хэнк Ниссен совершил свой сомнительный подвиг, все уже забыли о моем — слишком много народу перевидали! — и в общем, наверное, один только Ниссен и помнит, что я пытался сделать это до него.

Честно говоря, я сожалел о возникшей между нами параллели, поскольку терпеть не мог этого малого. Довольно ли будет сказать, что его прозвали Пауком? Паук Ниссен. Генри Ниссен, он же Хэнк Ниссен, он же Паук Ниссен, — и последнее имя было неотделимо от него, как дурной запах. Коли на то пошло, в нем было что-то от гиены — обращали вы внимание, что во взгляде гиены, сидящей за решеткой, проскальзывает некая гнусная доверительность: нам, мол, обоим по вкусу протухшее мясцо? Вот так же смотрел на меня Паук Ниссен — и похихикивал, точно мы в два смычка трахали одну девчонку и по очереди сидели у нее на голове.

Он раздражал меня невероятно. Возможно, причиной тому были разделенные нами слава и стыд на стене Обелиска, но стоило мне увидеть его на улице, как мое настроение портилось на весь день. В его обществе я испытывал физическую тревогу, словно он держал в кармане нож и всегда был готов сунуть его мне под ребро — да он и впрямь ходил с ножом. Собственно говоря, он был из тех людей, что способны продать вам отравленную гербицидом марихуану, когда им не хватает бабок на кокаин. Паршивый тип, но зимой — и каждую зиму — один из двух десятков моих городских друзей. Зимой мы вынуждены были приносить дополнительные жертвы подобно жителям Аляски: друг был человеком, с которым можно на часок объединиться против Великого Северного Владыки. В пору зимнего затишья скучные знакомые, пьяницы, зануды и отщепенцы могли быть возведены в ранг тех, кого именуют друзьями. Да, я недолюбливал Паука, но мы были близки, мы оба испытали то, чего никто больше не испытал, хотя наши звездные часы и были разделены промежутком в шестнадцать лет.

Вдобавок он был писателем. Зимой мы были нужны друг другу пусть лишь ради того, чтобы на пару покритиковать современников. Бывало, в один вечер мы искали недостатки у Магуэйна, а на следующий переходили к Делилло. Роберт Стоун и Гарри Крус придерживались нами для особых случаев. Наша ненависть к таланту тех, кто был нашего возраста и имел успех, составила начинку множества вечеров, хоть я и подозревал, что моя продукция Пауку не нравится. Мне-то его писанина не нравилась определенно. Однако насчет этого я помалкивал. Он был мой грязный, подлый, мерзопакостный друг-приятель. Кроме того, в некотором роде его манера мыслить заслуживала восхищения. Он пытался начать серию романов о частном сыщике, который никогда не покидал своей комнаты, — паралитике в кресле-каталке, способном решать все преступления с помощью компьютера. Он внедрялся в гигантские коммуникационные сети, устраивал сбои на внутренних линиях связи ЦРУ, лез в дела русских, но не обходил своим вниманием и интимные тайны, подглядывая в личные компьютеры. Он вычислял убийц по их магазинным счетам. Этот герой Паука был самым настоящим пауком. Как-то я сказал ему: "Мы развивались от ползающих к прямоходящим. А ты хочешь сделать из нас мозгошевелящих". Говоря это, я видел головы с усиками вместо торса и конечностей, но его глаза засверкали, точно я выбил главную мишень в игровом автомате.

Достаточно будет просто описать его наружность — она ясно представлялась мне теперь, когда я шел к его дому. Он был высокий и тонкий, с очень длинными руками и ногами и длинными, жидкими светлыми волосами — немытые, они казались какими-то сине-зелеными, а его вытертая голубая джинса — наоборот, почти грязно-желтой. У него был длинный нос, который не вел никуда — то есть не имел кульминации, а просто завершался двумя рабочими ноздрями и невнятным кончиком. У него был широкий, плоский, крабий рот и темно-серые глаза. Потолки в его доме были слишком низки для него. Обнаженные стропила отстояли от пола всего на восемь футов — вот что такое сарай из Адова городка! — и весь дом представлял собой четыре маленькие комнатки, куда можно было попасть по узкой кейп-кодской лестничке, над четырьмя маленькими комнатками внизу, причем везде царила какая-то тоскливая затхлость, воняло капустой, давно пролитым вином, диабетическим потом — у его подруги, кажется, был диабет — и старыми костями, псиной, прогорклым майонезом. Это напоминало нищету старушечьей комнаты.

Однако зимой мы ютились по своим домам, словно жили не в нынешнем, а в предыдущем веке. Его домишко стоял в одном из узеньких переулков меж двумя нашими длинными улицами и был обнесен высокой живой изгородью, так что снаружи вы даже крыши его не видели. Сразу за изгородью был вход. Дворика не было — кусты примыкали к дому вплотную. Из всех окон первого этажа были видны только эти кусты и ничего больше.

По дороге я гадал, зачем иду к нему сегодня, и вскоре вспомнил, что во время моего последнего посещения он вырезал из дыни затычку, налил внутрь водки, а затем подал нам ее с домашним печеньем. Было что-то особенное в том, как он резал дыню, — высокая хирургическая точность в повороте лезвия, отчего меня тоже потянуло к радостям орудования ножом: так вид человека, смакующего изысканное блюдо, пробуждает аппетит у того, кто сидит напротив.

Итак, шагая по улице и размышляя о памятнике и своей наколке, я подумал не только о Пауке Ниссене, но и о том полном ужаса вопле, который он издал на спиритическом сеансе больше месяца назад, и о странном событии вслед за этим: сразу после сеанса у Пэтти Ларейн случился истерический припадок, чего с ней в жизни не бывало. Всего лишь вспомнив, как он работал ножом, и ощутив мгновенную, но непоколебимую уверенность (снизошедшую на меня подобно ангельскому дару), что он может знать, где я приобрел наколку, я неожиданно пришел к убеждению, что именно нож Паука отделил голову блондинки от ее туловища.

И все это сразу. Прежде я испытывал мучительное напряжение — сейчас меня отпустило. Невыносимо жить без ключа к разгадке, когда не можешь даже постичь степень угрожающей тебе опасности. Но теперь я кое-что понял. А конкретно: надо последить за моим другом Пауком. Боюсь, что, несмотря на все критические замечания, отпущенные мной выше в его адрес, у меня таки достало безрассудства пару раз свозить его на мою лесную делянку. Как я уже говорил, зимним одиночеством диктуется половина наших поступков.

Подруга Ниссена, Бет, открыла мне на стук дверного молотка. Я уже упоминал, что в Провинстауне нет места снобизму, и готов подтвердить это снова, но тем не менее у нас хватает людей, которые могут оскорбить ваши чувства. К примеру, многие из моих зимних приятелей, находясь дома, всегда держали двери открытыми. Не надо было ни звонить, ни стучать. Вы просто входили, и все. Если дверь была заперта, это могло значить только одно: ваши друзья трахаются. А кое-кто из моих друзей любил заниматься любовью при открытых дверях. Если вы появлялись в это время, у вас был выбор — смотреть или, в зависимости от фазы луны, присоединиться. Зимой в Провинстауне не так уж много развлечений.

Однако Пэтти Ларейн считала это пошлым. Я никогда не думал, что понимаю ее мораль, так как, по-моему, она согласилась бы повязаться и со слоном — но только ради того, чтобы выиграть спор, причем очень серьезный спор. Там, где она родилась, белая шушера вечно шастала по чужим койкам. И потому, хоть моя славная жена и готова была рассматривать многие предложения, некий элемент аристократизма был ей необходим. И этот провинстаунский обычай лезть под обтерханное одеяло к паре нечистых придурков вызывал у нее отвращение. Прочие, возможно, шли на это из-за того, что выросли в добропорядочных семьях среднего достатка и теперь пытались, как выразилась однажды Пэтти Ларейн, "отомстить своей родне за то, что на свете бывает рак!". Пэтти в такие игры не играла. Она гордилась своим телом. Она любила нудистские пикники на дальнем берегу и обожала стоять (со своим коричневым от загара пахом в медово-золотых завитках) в двух футах от лица какого-нибудь потенциального любовника на песке, жующего хот-дог: один глаз на красной сосиске с горчицей, подносимой ко рту, другой — на холмике меж ее бедер.

Она барахталась с голой задницей в море — руки обнимают двух других обнаженных женщин, скупые, прижимистые пальцы южанки теребят их соски, — этакая веселая возня девчонок-спортсменок, которые крутят друг дружке титьки и шлепают друг дружку по попке, плюхнувшись туда, где поглубже, с подвешенных к суку над обрывом качелей.

Еще она любила расхаживать по комнатам на высоких каблуках и ни в чем больше, и это было как наждачок для ее самых чувствительных тканей, когда какая-нибудь старая парка с мужиком внутри распахивала нашу дверь, осведомляясь: "Тим дома?"

"Слушай, ты, тупица, кретин чертов, — говорила она, — а стучать тебя никогда не учили?"

Так что наши друзья подчинялись правилу: прежде чем войти, позвони. И мы — то есть она — следили за тем, чтобы это правило выполнялось неукоснительно. Всем остальным такая чопорность была не слишком по вкусу, но, как я уже замечал, зимой в нашем городе процветал снобизм навыворот.

Поэтому я аккуратно постучал в дверь Паука и кивнул его подруге Бет, впустившей меня внутрь. Она с такой готовностью подчинялась всем капризам Ниссена, что на нее махнули рукой даже наиболее великодушные женщины города. Ирония заключалась в том, что Бет содержала их обоих; сам этот дом принадлежал ей, ибо был куплен на деньги ее обеспеченных родителей (служащих какой-то корпорации в Висконсине). Однако Паук царствовал здесь безраздельно. А то, что ее же деньгами были оплачены его "хонда" с движком в 1200 куб. см, телевизор "Тринитрон", видеокамера "Сони", магнитофон "Бетамакс" и компьютер "Эппл", похоже, только усиливало его власть. Она поддерживала в себе слабый огонек гордости, предоставляя ему распоряжаться капиталами; она была тихой, бледной, неразговорчивой, замкнутой, бесцветной молодой женщиной в очках, и когда мы с ней кивали и робко улыбались друг дружке, у меня возникало впечатление, что она намеренно изгоняет из себя последние крохи данного ей природой обаяния, каким бы малым оно ни было. Она походила на сорняк. И тем не менее сочиняла хорошие стихи. Прочтя то немногое, что она показывала, я открыл, что в идеях она безжалостна, как насильник из гетто, в метафорах — ловка, как акробат, и от случая к случаю способна пронзить ваше сердце острием чувства столь же нежного, как веточка жимолости во рту ребенка. Однако я был только удивлен, но не огорошен. Она была из тех сорняков, что вырастают на радиоактивных отходах.

Хочу предупредить вас, что ее половая жизнь с Пауком — и это ни для кого не составляло тайны — была омерзительна даже по нашим меркам. Когда-то в прошлом Ниссен повредил себе спину и заработал смещение межпозвоночного диска. Каждые несколько месяцев он был вынужден проводить пару недель на полу: сочинять там, есть там и блудить там же. Думаю, что чем больше донимала его спина, тем сильнее он ударялся в разврат, а это, соответственно, влекло за собой дальнейшее усугубление болезни. Сначала он смолол в порошок плоть, затем кости и наконец всю требуху их взаимного влечения, как если бы, прикованный к полу — а еще говорят, будто можно победить время! — дергал единственную оставшуюся ему струну на банджо, покуда либо не лопнет его спина, либо не улетит с воплем в космос его рассудок, либо она не вскроет себе вены. Он делал видеозаписи этих сеансов. Потом показывал их не менее чем дюжине приятелей. Она сидела среди нас тихо, как монашенка, а он демонстрировал технику, призванную беречь его позвонки. Как правило, Паук укладывался на спину, в то время как она (и он хвастался гибкостью ее костей, когда она извивалась над ним) делала все остальное. Обычно под занавес его джойстик оказывался у нее во рту, его кривой хребет начинал дрожать, как собачий хвост, и он кончал перед

видеокамерой в одно мгновение, одним спазмом, не больше, извергая последнюю струйку последнего видимого семени человека, который за неимением других развлечений трахался целый день напролет. Смотреть на это было ужасно. Вдобавок он имел привычку мочиться на нее, чтобы потом показывать нам по видику и это. Он отрастил жидкие, желтоватые д'артаньяновские усы и, поливая ее, подергивал себя за них с видом записного злодея. Вы можете спросить, зачем я вообще глядел на экран, и я отвечу вам: мне известно, что широкие небесные просторы предназначены для ангелов, но в небесах есть и потайные туннели, а под землей — железные дороги для демонов, и у меня давно возникло чувство, что дом Ниссена (хотя юридически им владела она — Уайт, Бет Дитрих Уайт) был очередной станцией на такой подземной линии. Поэтому я оставался и глядел, ощущая себя то ли приспешником, то ли шпионом, пока наконец, хвала богу, его позвоночник не пошел на поправку и он не сбавил темпа в этой дикой порногонке на грани безумия. Разумеется, в качестве компенсации он принялся сочинять длинные описания своих упражнений с Бет и подсовывать их вам, и вы читали и обсуждали с ним их достоинства. Получались образцовые литературные семинары.

Я мог бы терпеть его, этого Паука, этого монстра, разделившего со мной подвиг покорения семи восьмых каменного фаллоса высочайшего обелиска отсюда до Вашингтона, округ Колумбия, если бы только он верил в Бога, или в Дьявола, или в обоих. Если бы душа его страдала, если бы он хотел убить Господа или поцеловал Сатану под хвост и был теперь его рабом, я мог бы смириться с ересью, ложной аргументацией, клятвопреступлением, имморализмом, арианством, эманационизмом, гностицизмом, манихейством, даже монофиситством или катаризмом, но не с этим паршивым атеистом, верящим в духов, которые переносятся электронными пучками. Думаю, вся его теология сводилась к следующему: может, Бог когда-то и был, но теперь, не важно, по какой причине, Он исчез и оставил нам этот космический склад, по которому мы можем шляться, тыкая пальцами в товары и подключаясь ко всем системам. Да, он поистине был в авангарде мозгошевелящих.

Когда я вошел к нему в тот день, в гостиной было темно, занавески задернуты. Паук и еще двое мужчин, чьих лиц я поначалу не разглядел, смотрели, как "Пэтриотс" пытаются взять очко с десяти ярдов. Видимо, сегодня было воскресенье — это показывало, как я оторвался от всего окружающего. Я об этом даже не помнил. В любое другое воскресенье ноября я, как следует поразмыслив, уже сделал бы свои ставки и торчал бы здесь с самого начала матча, ибо признаюсь: хоть я и не любил Ниссена и редко смотрел телевизор часами, поскольку это опустошало меня не хуже дозы слабительного, но уж коли идти на такое времяпрепровождение, то места лучше маленькой ниссеновской гостиной было не сыскать. Аромат грязных носков и давно пролитого пива мешался с тонкими запахами видеоаппаратуры — нагретых проводов и пластмассы. Я чувствовал себя так, словно находился в пещере на краю будущей цивилизации — там, далеко, в компании новых пещерных людей, передовиков тысячелетнего царства мозгошевелящих. Пусть же воскресные дни проходят в покойной, хотя и гнетущей атмосфере убиения времени: по ходу дела один сезон сменяется другим, и я познаю скучное счастье, глядя на игру "Пэтриотс", "Селтикс", "Бруинс", а потом, в апреле, — "Ред Сокс". Однако к маю все менялось. Зима заканчивалась, наши мысли ус-

тремлялись к лету, и гостиная Ниссена переставала походить на пещеру — она превращалась в душную конуру. Впрочем, сейчас наша зимняя спячка только начиналась. Если бы эта осень не была для меня такой необычной, я, пожалуй, с удовольствием (не лишенным оттенка мрачности) притащил бы сюда в качестве своего взноса ящик пива или кварту бурбона, бездумно плюхнулся на один из двух диванов или трех шатких стульев (все это втиснуто в гостиную меньше чем двенадцать футов на шестнадцать!) и вытянул ноги в ботинках, заляпанных под стать ковру, влившись таким образом в здешнюю цветовую гамму — ибо стены, ковер и мебель здесь давно вытерлись, потемнели и запакостились тем, что на них проливали, обретя единый бесцветный цвет, который был ни пепельно-серым, ни тускло-красным, ни грязно-зеленым, ни блекло-коричневым, но смесью всего этого. Да кого волнует обстановка? Нашим светящимся алтарем был экран телевизора, и все мы смотрели туда, изредка отпуская невнятные замечания или прихлебывая пиво.

Не могу и сказать вам, как утешительно это подействовало на меня сейчас. Для человека, прожившего последние дни подобно мне, было истинным облегчением усесться рядом с гостями Паука, двумя субъектами, без которых в лучшие времена я прекрасно обошелся бы — но сегодня их компания была кстати. Одним из них был Поляк Пит, наш букмекер, чью фамилию никто, включая его самого, не мог произнести дважды совершенно одинаково (на письме что-то вроде "Петер Петрарциевич"); я не любил этого гнусного типа за жадность и очковтирательство, потому что он драл с каждой проигранной ставки по двадцать процентов вместо десяти, как было принято у бостонских жучков ("Звоните в Бостон", — говорил он, зная, что там его клиенты кредита не получат), и вдобавок сдвигал соотношение не в вашу пользу, если догадывался, на кого вы будете ставить, — угрюмый детина с кислой физиономией, этнически универсальной: вы могли бы принять его за итальянца, ирландца, поляка, венгра, немца или украинца в зависимости от того, что вам скажут. Он тоже меня не любил. Я был среди немногих, кому открывали кредит в Бостоне.

Если сегодня Поляк Пит сидел здесь, это могло значить только одно: Ниссен поставил большую сумму на "Пэтриотс". Что внушало тревогу. Хотя Ниссен бестрепетно мочился на рабски покорную ему женщину, он стал бы лизать шнурки любому спортсмену, у которого хватило богоподобия на то, чтобы войти в эту команду. Пусть его паралличный сыщик проникал в компьютерные сети ЦРУ и с равным щегольством сокрушал врагов и друзей — сам Ниссен был так метафизически предан своим любимцам, что Питу удавалось изобразить их фаворитами, идущими шесть к одному, когда в Бостоне за них давали только три. Как часто Паука ловили на этой разнице! Я подумал, что сегодняшняя ставка, видимо, особенно велика и Пит рассчитывает сразу получить ее, если выиграет, и через пять минут убедился в своей правоте: Паук начал орать на телевизор. Вскоре я уверился, что он поставил на кон по меньшей мере стоимость своего мотоцикла и Пит уедет на нем, если Ниссену не повезет.

Имеет смысл заметить, что Пит был вполне способен предоставить Пауку отсрочку в обмен на обещания: "Дай мне еще недельку, и я отвезу тебя туда, где Мадден хранит свой урожай". Мои запасы стоили как минимум пару тысяч долларов, и Ниссен понимал это: он запросто мог предложить их Питу в качестве бонуса.

Второго из гостей Ниссена я едва знал. Он смахивал на судового кочегара. Его руки пестрели татуировками — сплошь орлы да русалки, — у него были прямые черные волосы, низкий лоб, выщербленный нос, усы и не хватало пары зубов. Все звали его Студи, поскольку в молодости он крал по всему Кейп-Коду только "студебекеры". Так гласила легенда, но это было неправдой: он крал разные машины, хотя попался именно на "студебекере", чему и был обязан своим прозвищем. Теперь он собирал у проигравших деньги для Пита, а еще, как я слышал, был достаточно хорошим слесарем и металлообработчиком (все навыки приобретены в Уолполской тюрьме), чтобы менять серийные номера на двигателях автомобилей, украденных другими. Впрочем, он, по моим прикидкам, не должен был знать о тайнике в трурских лесах.

Я упоминаю об этом потому, что, подобно Джону Фостеру Даллесу[1], который — каковы бы ни были его грехи — подарил нам эту фразу, я проходил через мучительную переоценку. Я привык считать себя писателем, ищущим более широкий взгляд на человека. И мне совершенно не нравилось примитивное деление всех встречных и поперечных на тех, кто знает, и тех, кто не знает, где Тимоти Мадден хранит свою марихуану.

Однако сейчас мои мысли были заняты только этим списком. Ниссен знал, а стало быть, могла знать и Бет; знала Пэтти, знал мистер Черняшка. По моим ощущениям, я сам возил туда Джессику и Пангборна. Для Ридженси местонахождение тайника явно не было секретом. Наверняка имелись и другие. Я мог бы даже добавить к списку своего отца. В течение многих лет он пытался заменить спиртное травкой и таким образом бросить пить. Однажды, больше года назад, когда он приезжал к нам с Пэтти последний раз, я взял его с собой на поляну, надеясь, что он заинтересуется видом посадок. Мне казалось, что если он посмотрит на сами растения, то станет уважать их не меньше хмеля. Поэтому у меня были все основания занести отца в список подозреваемых.

Но это было все равно что мочиться на Бет. Я вдруг осознал всю чудовищность занимавших меня соображений. Каждый человек воспринимался лишь как очередной пункт в некоем компьютерном реестре. Неужто я тоже становлюсь мозгошевелящим? Мои мысли так упорно вертелись на одном месте, что я почувствовал себя компьютером, поколебленным в самой своей основе. Я то включал отца в список, то выбрасывал его оттуда. Уж лучше отправьте меня в море в штормовую погоду.

Я следил за футбольным матчем, пока хватало сил. Наконец во время тайм-аута в начале второй пятнадцатиминутки Ниссен отправился к холодильнику за пивом. Я пошел за ним.

Обращаться с ним можно было единственным способом, а именно — без церемоний. Поскольку он способен был демонстрировать себя и жену в конфетти электронных точек или спросить человека, кусающего сандвич, нет ли у него запора, я не опасался ранить его чувства прямым вопросом. А потому сказал:

— Паук, помнишь тот спиритический сеанс?

— Забудь о нем, приятель, — ответил он. — Я не могу.

— Странно тогда вышло.

— Чистая жуть. — Он погонял пиво через дырку на месте отсутствующего коренного, проглотил его и добавил: — Хотите — занимайтесь этим с Пэтти на пару. А я пас. Для меня это чересчур.

1. Джон Фостер Даллес (1888—1959) — американский политик, госсекретарь США времен "холодной войны".

— Что ты увидел?

— То же, что и твоя жена.

— Я тебя спрашиваю.

— Слушай, не дави на меня. Все ведь в порядке, точно?

— Уж куда лучше.

— Ну вот, — произнес он.

— Так почему бы тебе не сказать?

— Не хочу лезть в это снова.

— Слушай, — сказал я, — тебе сегодня темнить нельзя. Ты много поставил.

— Ну?

— Я прошу тебя об одолжении. Не темни со старыми друзьями. Тогда твоя команда себя оправдает.

— Иди ты со своей мистикой. Она вышла из моды вместе с ЛСД. Тебе чего-то надо, а я, видите ли, темнить не должен. Не засирай мне мозги, парень, ищи дураков в другом месте. Я ставлю на этих ребят, потому что они играть умеют.

— Сегодня тебе нужна моя помощь, — сказал я, в упор глядя на него.

— Псих ты, — ответил он. — Сколько сот тыщ человек заключили пари на этот матч — может, даже два миллиона, — а результат, по-твоему, зависит от того, буду я с тобой темнить или нет? У всех у вас, курилок, крыша набекрень. Переключайся на кокаин. — Он захлопнул дверцу холодильника. Он был готов вернуться к экрану.

— Ошибаешься, — сказал я. — Мы с тобой можем помочь им выиграть, если я направлю свои мысли в параллель твоим.

— Мое входное устройство на тебя не рассчитано.

— Вот что, — сказал я, — не хотел я это вспоминать. Но у нас с тобой есть кое-что общее, чего нет у остальных двух миллионов.

— Ну?

— Мы оба побывали в одном особенном месте.

Когда я сказал это, произошла чрезвычайно странная вещь. Я никому в этом не признавался, явным образом даже самому себе, но в тот час, когда я висел под козырьком памятника, моего носа достиг наимерзейший запах — не знаю, то ли камней, то ли моего собственного пота, — однако откуда-то взялся этот невыносимый дух разложения, который мог-ло бы источать усеянное трупами поле брани, или — чего я опасался — это означало близость Дьявола, ожидающего, что я вот-вот ему достанусь? Как бы там ни было, этот аромат был до того жуток, что после моего возвращенья на землю память о нем мучила меня едва ли не каждый день, пока я наконец не сказал себе (и это звучало вполне правдоподобно), что обонял всего лишь старый птичий помет, запах коего вырос в моем одуревшем мозгу до смрада сатанинского зверя. Но теперь, когда я произнес слова, которых лучше было бы не произносить — "мы оба побывали в одном особенном месте", — от Ниссена вдруг потянуло тем страшным запахом, и мы, я уверен, сразу поняли, что испытали тогда одно и то же.

— Что ты увидел, — повторил я, — на том сеансе?

Я чувствовал, что он почти решился ответить мне, и у меня хватило ума не напирать. Он пробежал по губам кончиком языка, и уже в этот момент я ощутил готовую прозвучать правду.

На том сеансе мы вшестером сидели за круглым дубовым столиком — руки на столешнице ладонями вниз, большие пальцы каждого из участ-

ников касаются друг друга, а мизинцы — мизинцев соседей справа и слева. Сосредоточившись, мы ждали, пока столик застучит. Теперь я не хочу даже упоминать о нашей цели, но тогда, в темной комнате на берегу залива (ибо мы собрались у одного богатого знакомого из Труро, и океанские волны мерно шумели, накатываясь на песок не далее чем в двухстах ярдах от дома), мне казалось, что с каждым новым произнесенным вслух вопросом в столике действительно зреет некая слабая дрожь, и тут — совершенно внезапно — наши объединенные чувства были потрясены испуганным воплем Ниссена. Припомнив все это сейчас, я, наверное, разбудил те события и в его памяти, поскольку он сказал:

— Я увидел ее мертвой. Увидел твою жену мертвой и с отрезанной головой. А через секунду она увидела то же самое. Мы смотрели на это вместе.

Во время произнесения этих слов исходящий от него запах многократно усилился, и я ощутил отзвук ужаса, пережитого под козырьком. И сразу же понял, что, как бы я ни сопротивлялся, выбора у меня нет: я должен вернуться к дереву на песчаном взгорке и узнать, чья голова лежит в тайнике.

Однако в это мгновение на лице Ниссена промелькнула гримаса невероятной ненависти, он подался вперед и схватил меня за правую руку пониже плеча: его пальцы впились в меня, точно шипы.

Я моргнул, и он засмеялся.

— Да, — сказал он, — у тебя и впрямь наколка. Гарпо не соврал.

— Откуда Гарпо о ней знает?

— Гарпо-то? Я гляжу, ты без жены совсем улетаешь. Лучше бы ей вернуться. — Он с шумом втянул носом воздух, словно загоняя обратно вывалившиеся крупинки кокаина. — Эй, — сказал он, — парень, — сказал он, — ну вот, я не темню. Давай и ты не темни.

— Откуда Гарпо знать? — повторил я. Гарпо был приятелем Ниссена: они вместе гоняли на мотоциклах.

— Ну как же, корешок, — сказал Паук, — он ведь тебе ее сделал.

Свен Вериакис по прозвищу Гарпо. Это был светловолосый коротыш, греко-норвежец по отцу, португалец по матери, сложенный как пожарный гидрант. Когда-то он играл в НФЛ (хотя продержался всего один сезон) и был третьим из самых маленьких футболистов Лиги за всю ее историю. Потом Гарпо переехал в Уэлфлит, и мы, местные, видели его редко, но я вспомнил, что тот спиритический сеанс проводил именно он.

— Что он говорит? — спросил я.

— А кто его знает, — ответил Ниссен. — Его ж не поймешь. У вас с ним один базар, как у юных космонавтов.

Тут из гостиной донеслись крики и проклятия. "Пэтриотс" забили очередной гол. Паук ликующе завопил и повлек меня обратно.

Когда наступил перерыв в середине матча, Студи нарушил свое молчание. Раньше я ни разу не слышал, чтобы он столько говорил.

— Я люблю просыпаться ночью и слушать уличные шумы, — сказал он Бет. — Тогда все кажется таким значительным. Если настроишься особым образом, все сразу наполняется пустотой. То есть красотой, — поправился он, и кивнул, и отхлебнул пива. Я припомнил кое-что об этом Студи, слышанное мной прежде. Он привязывал жену за лодыжки к крюкам, вбитым в перекрытие. Потом ласкал ее. По-своему.

— Очень здорово расположен Кейп-Код в смысле географии, — снова заговорил он, обращаясь к Бет. — Обожаю бабье лето — самое лучшее время. Гулял недавно по нашим дюнам и увидел кого-то, мужчину или женщину, — далеко, за полмили, на других дюнах, но они все были в солнечном свете. Они тоже полны восхищения всей этой золотой прелестью, чувствуют то же, что и мы. У нас тут благодать Божья. От нее не спрячешься. Неумолимая красота. — Он перевел дух. — Я хотел сказать, невыразимая.

Именно в этот миг я принял решение включить Студи в свой список.

Глава четвертая

Я так и не узнал, кто тогда победил в матче, потому что ушел от Ниссена во время перерыва посередине игры ("Пэтриотс" вели) и поехал за пятнадцать миль в Уэлфлит повидаться с Гарпо, который жил над мануфактурной лавкой в одном из мелких переулков. Я говорю "переулок", но вообще-то ни одна улица в Уэлфлите не казалась хоть как-то связанной с другими, словно в день закладки города две с лишним сотни лет назад пятеро моряков, каждый со своим бочонком рома, побрели от берега бухты вдоль ручьев и вокруг болотцев, а кто-то шел вслед за ними и старательно заносил на карту их причудливые маршруты, которые и стали здешними дорогами. В результате никто из моих провинстаунских знакомых не был способен найти кого бы то ни было в Уэлфлите; впрочем, не очень-то мы и старались. Уэлфлит давно превратился в типовой город, и среди местных жителей не было ни одного янки, чей нос не мог бы сойти за винтовочный ствол, мгновенно берущий вас в перекрестие волосков в своих подозрительных дулах-ноздрях. Поэтому некоторые из нас частенько спрашивали Гарпо, как он мог променять Провинстаун на Уэлфлит, на что он отвечал: "Не смог привыкнуть к вашим заворотам. Они меня достали. Пришлось переехать".

Так что кое-кто начал звать его Заворотом. Но поскольку его спутанные белые кудри обрамляли лицо, такое же резиновое, как и у великого комика (хотя со значительно большим количеством отметин: после профессионального футбола он играл полупрофессионалом без шлема), кличка "Гарпо" за ним осталась.

Впрочем, получил он ее не в честь Гарпо Маркса[1] — это было производное от слова "гарпун". Гарпо Вериакис часто говаривал: "Глянь, какая симпатичная девчонка. Вот бы ее загарпунить". Некоторые так и звали его — Гарпуном. Я упоминаю обо всем этом, чтобы дать вам понять, как трудно было найти его дом. Зимой на Кейп-Коде никто не попадал в нужное место с первой попытки.

Однако я нашел его переулок, и он оказался дома — два сюрприза сразу, — хотя я все еще не верил, что он сделал мне наколку, ибо даже не знал за ним такого умения, а кроме того, не мог понять, как мне удалось бы найти его жилище пьяному, в темноте, но когда я забрался по наружной лесенке к нему на верхний этаж, мои сомнения исчезли. Он поднял голову от кошачьей миски, куда как раз выкладывал еду (Гарпо жил с пятью кошками вместо одной прелестной девушки), и первым, что он спросил, было:

1. Гарпо Маркс (1887–1964) — комедийный актер, один из знаменитого комедийного трио братьев Маркс.

— Нарывает?

— Не знаю. Чешется.

Больше он не произнес ни слова в мой адрес, пока не опорожнил банку, хотя пару раз обратился к своим питомицам, которые влюбленно терлись об его лодыжки, точно ожившие меховые образцы; однако, покончив с этим, он вымыл руки, снял с меня повязку, достал пластиковую бутылочку с каким-то дезинфицирующим средством и оросил им мой бицепс.

— На вид не слишком воспаленная, — сказал он. — Это хорошо. Я беспокоился. Не люблю браться за иглы, когда атмосфера на меня давит.

— Что-нибудь было не так? — спросил я.

— Ты был в полной отвязке.

— Ну и что? Я пью и отвязываюсь. Идея не нова.

— Мак, ты нарывался на драку.

— Я, наверно, совсем с ума сошел. — Он запросто мог поднять сзади машину. — Неужто я и впрямь лез драться с тобой? — спросил я.

— Во всяком случае, грубил.

— Со мной была женщина?

— Не знаю. Может, внизу, в машине. Ты орал из окна.

— И что я говорил?

— Орал из окна: "Сейчас ты проиграешь пари".

— Ты слышал, чтобы мне отвечали?

Один из плюсов людей, которые меня окружают, состоит в том, что они никогда не удивляются неспособности друга вспомнить нужный момент.

— Уж больно ветер шумел, — сказал Гарпо. — Если там была женщина, то она хохотала, как злой дух.

— Но ты все-таки думаешь, что в моей машине была женщина?

— Не знаю, — мрачно сказал он. — Иногда леса смеются надо мной. Я много чего слышу. — Он убрал бутылочку с дезинфектантом и покачал головой. — Мак, я тебя просил не делать наколку. Такая кругом жуть была. До того как ты вошел, я чуть на крышу не залез. Если б ударила молния, точно полез бы.

Некоторые утверждали, что Гарпо наделен особой чувствительностью, некоторые — что он съехал с катушек, играя без шлема, а я всегда думал, что тут налицо обе причины и одна усиливает другую. Коли на то пошло, он воевал во Вьетнаме, и его лучший товарищ — так гласила легенда — подорвался на мине в двадцати ярдах от Гарпо. "Я от этого сдвинулся", — поведал он немногим приятелям. Теперь он жил в поднебесье, и главными событиями были для него слова ангелов и демонов. Несколько раз в году, когда кланы, угрожающие человечьему существованию, скоплялись на грядах облаков подобно средневековым армиям и разражался ливень с ударами молний, Гарпо залезал на конек крыши и бросал вызов злым силам.

— Когда они видят, что я там стою, они смирнеют. Боятся, что я могу заколдовать их. Но я начинаю плакать как ребенок. Это страшно, Мак.

— А я думал, ты подымаешься на крышу только в грозу.

— Иногда правила необходимо нарушать, — хрипло сказал он.

Я редко бывал уверен, что понимаю смысл его речей. У него был низкий и глухой голос с такими подземными перекатами эха (словно голова его до сих пор гудела от потрясений, которых никому больше не

вынести), что обычная просьба дать сигарету звучала в его устах афоризмом. Кроме того, он был способен на шокирующие откровения. Он походил на тех спортсменов, что говорят о себе в третьем лице. ("Хьюго Блэктауэр — центровой из НБА, который стоит миллион долларов", — сообщает Хьюго Блэктауэр.) Гарпо тоже обладал способностью почти приравнивать первое лицо к третьему. "Очень симпатичная у тебя жена, — сказал он на одной из наших летних вечеринок, — но я ее боюсь. У меня на нее просто не встал бы. Ты молодец, что справляешься". Шокирующее выкатывалось из него, как кости из стаканчика. Теперь он сказал:

— Когда надвигался ураган, я простоял на крыше три часа. Поэтому он и обошел нас.

— Ты ему помешал?

— Я знаю, от этого мне худо будет. Пришлось дать клятву.

— Но ты сдержал ураган?

— До некоторой степени.

Посторонний решил бы, что следующий мой вопрос — насмешка. Гарпо знал, что это не так.

— Как ты считаешь, — спросил я, — "Пэтриотс" сегодня выиграют?

— Да.

— Это твое профессиональное мнение?

Он покачал головой.

— У меня такое чувство. Я слушал ветер.

— А ветер часто ошибается?

— В обычных вещах один раз из семи.

— А в необычных?

— Раз на тысячу. Тогда он более сосредоточен. — Гарпо схватил меня за руку. — Почему, — спросил он, словно мы уже не обсуждали этого раньше, — почему ты собрал свою коноплю прямо перед ураганом?

— Кто тебе сказал?

— Пэтти Ларейн.

— А ты что ответил? — спросил я. Он был как ребенок. Если уж начал говорить, все выложит.

— Я сказал ей, чтобы она тебя предупредила, — самым серьезным тоном сообщил он. — Лучше было бы потерять урожай, чем собирать его в такой спешке.

— А она что?

— Сказала, ты не послушаешь. Я ей поверил. Потому и не обиделся два дня назад, когда ты приехал сюда очумевший. Я понял, что ты курил свою траву. В твоей траве есть *зло*. — Он произнес это слово так, точно зло было высоковольтным проводом, который упал на землю и извивается, рассыпая искры.

— Я приехал сделать наколку? — спросил я.

— Нет. — Он решительно помотал головой. — Никто не знает, что я это умею. Я работаю только для тех, кого уважаю. — Он мрачно поглядел на меня. — Тебя я уважаю, — промолвил Гарпо, — потому что у тебя хватает мужества харить жену. Я перед красивыми женщинами робею.

— Значит, — повторил я, — мне не наколка была нужна?

— Нет, — снова сказал он. — Иначе я бы тебя выставил.

— Так чего я хотел?

— Чтобы я провел сеанс. Ты сказал, что хочешь узнать, почему на последнем сеансе с твоей женой случилась истерика.

— И ты не стал мне помогать?

— Ну нет, — ответил он. — Хуже ночи было не придумать.

— То есть ты сказал "нет"?

— Я сказал "нет". Ты стал говорить, что я фуфло. И так далее. Потом увидел мой набор. Мои иглы лежали на столе. И сказал, что хочешь наколку. "Не уезжать же с пустыми руками", — заявил ты.

— И ты согласился?

— Не сразу. Я сказал, что это с бухты-барахты не делают. Но ты все выглядывал в окно и кричал: "Еще минутку!" Я подумал, если там нет людей, значит, ты говоришь с *ними*. Потом ты заплакал.

— Фу, черт!

— Ты сказал мне, что раз я отказываюсь проводить сеанс, то я должен сделать тебе наколку. "Я перед ней в долгу, — повторял ты. — Я виноват. Я должен носить на себе ее имя". — Он кивнул. — Это я понял. Ты умолял кого-то, чтобы тебя простили. И я сказал, что сделаю. Тогда ты подбежал к окну и заорал: "Сейчас ты проиграешь пари". Тут я засомневался в твоей искренности. Но ты вроде и не заметил, что я сержусь. Ты сказал: "Наколи мне имя, которое я называл тебе на сеансе в Труро". — "Какое это?" — спросил я. И ты вспомнил, Тим.

— Разве на сеансе я не говорил, что хочу связаться с Мэри Хардвуд, кузиной моей матери?

— Другим ты сказал так, но мне прошептал: "Настоящее имя — Лорел. Скажи им, что это Мэри Хардвуд, но думай о Лорел".

— Это были мои слова?

— А еще ты сказал: "Лорел умерла. Я хочу услышать ее, но она мертва".

— Не мог я такого сказать, — возразил я, — потому что как раз надеялся выяснить, где она.

— Если ты думал, что она жива, стало быть, ты хотел перехитрить духов.

— Пожалуй что.

— Из-за этого, наверно, и каша заварилась. — Он вздохнул под бременем всей человеческой извращенности. — Две ночи назад, как только я начал колоть, ты сказал: "Не могу тебе врать: по-настоящему ее зовут не Лорел. Ее имя Мадлен". Это здорово выбило меня из колеи. Когда я берусь за иглу, я стараюсь войти в контакт с силами вокруг меня. Это главная защита. А ты нарушил мою концентрацию. Потом, через минуту, ты сказал: "Я передумал. Пиши все же Лорел". Ты сам испортил себе наколку. Два раза испортил.

Я помолчал в знак уважения к его словам. Потом, когда прошло вроде бы достаточно времени, спросил:

— А еще что я говорил?

— Ничего. Заснул. Когда я кончил работу, ты проснулся. Пошел вниз, сел в машину и уехал.

— Ты со мной не спускался?

— Нет.

— А из окна не выглядывал?

— Тоже нет. Но кто-то, по-моему, с тобой был. Потому что внизу ты расшумелся. Кажется, я слышал, как тебя пытались утихомирить мужчина и женщина. Потом вы все уехали.

— Все трое на моем "порше"?

Гарпо различал автомобили по шуму мотора.

— Там была только твоя машина.

— Как же я усадил двоих на одно маленькое сиденье?

Он пожал плечами.

Я уже собрался уходить, когда он сказал:

— Девушка, которую ты называешь Лорел, скорее всего еще жива.

— Ты уверен?

— Похоже, она на Кейп-Коде. Пострадавшая, но не мертвая.

— Если тебе это ветер принес, можно считать, что за это шесть шансов против одного.

Снаружи стояла темень, и шоссе, по которому я ехал через лес обратно в Провинстаун, хлестали последние сухие листья. Ветер ярился, словно моя последняя убогая шутка и впрямь рассердила его; он бухал в борт автомобиля с силой, способной опрокинуть яхту.

Как-то раз, пару лет назад, я присутствовал на другом сеансе. Один приятель Гарпо погиб в аварии на этом самом шоссе; Гарпо пригласил меня вместе с двумя мужчинами и двумя женщинами, которых я не знал, и мы уселись в полумраке вокруг маленького столика с тонкими ножками. Наши ладони лежали на столе, растопыренные пальцы соприкасались. Потом Гарпо отдал столику свои команды. Он говорил с ним, точно ни капли не сомневаясь, что его голос будет услышан, и велел ему чуть наклониться в сторону, а затем опуститься опять — это будет значить "да". Если столик захочет сказать "нет", ему следует наклониться и опуститься дважды. Стукнуть по полу два раза. "Все ясно?" — спросил Гарпо.

Столик встал на две ножки с готовностью вышколенного пса, которому скомандовали: "Служи". Потом опустился на пол. Отсюда мы и начали. Гарпо задал простой код. Один легкий удар по полу означает "А", два — "Б", и так далее.

Поскольку он хотел убедиться, что разговаривает с другом, погибшим неделю назад, первый вопрос его был таким: "Ты здесь, Джон?" — и столик, после паузы, стукнул один раз. Для проверки Гарпо спросил: "С какой буквы начинается твое имя?" Столик неторопливо отстучал столько раз, сколько требовалось для буквы "Д".

Мы двинулись дальше. Все это тоже происходило ноябрьским вечером. Мы сидели в маленькой уэлфлитской квартирке Гарпо, ни разу не встав из-за столика с девяти вечера до двух пополуночи, — все чужие друг другу, если не считать хозяина. Времени было довольно, чтобы обнаружить любой обман. Но я ничего такого не обнаружил. Наши колени были на виду, а руки лежали на столешнице, причем никто явно не надавливал на нее сильнее, чем следовало. Мы сидели так тесно, что, если бы чей-то сосед напрягся, этого нельзя было бы не заметить. Нет, столик постукивал в ответ на наши вопросы совершенно естественно, как если бы воду переливали из одного стакана в другой. Ничего пугающего в этом не было. Скорее это было утомительно. Уж очень много времени уходило на каждое слово.

"Как тебе там, — спросил Гарпо, — где ты сейчас?"

Столик отстучал шестнадцать раз. Мы получили "О". После паузы началась новая серия постукиваний: столик наклонялся, поднимая две ножки на добрый фут от пола, но медленно, очень медленно, как половина разводного моста, а затем так же неспешно опускаясь для подачи сигнала. Следующая серия состояла из двадцати ударов и заняла несколько минут. Теперь у нас было "Т". Таким образом, вышло "ОТ"...

"Отлично?" — спросил Гарпо.

Столик стукнул дважды: “Нет!”

“Извини, – сказал Гарпо. – Продолжай”.

На этот раз мы услыхали семнадцать ударов. Теперь у нас имелись буквы “О”, “Т” и “П”.

И только когда мы добрались до “О-Т-П-А”, Гарпо произнес: “Отпад?” – и столик ответил одним ударом.

“Джонни, там и правда отпад?” – спросил Гарпо.

И вновь столик поднялся, и вновь опустился. Это мало чем отличалось от общения с компьютером.

Так мы просидели пять часов и получили приличное количество информации о нынешнем положении Джона в потустороннем мире. Среди этих сведений не было ничего, могущего поколебать основы эсхатологии или теории кармы. И лишь в начале третьего часа ночи, возвращаясь домой – тогда дул примерно такой же ветер, как сегодня, – я осознал, что видел обычный столик, который вопреки многим физическим законам умудрялся подыматься и опускаться сотни раз, дабы передать нам словечко-другое через ущелье, чьей глубины я не мог и представить. Лишь тогда, очутившись в одиночестве на шоссе, я ощутил, как волосы топорщатся у меня на загривке, и понял, что был свидетелем жуткого, невероятного события. И силы, сделавшие это возможным, наверное, до сих пор витали вокруг меня. Я был наедине с ними на продуваемом ветром шоссе, неподалеку от морской пучины – да, таким одиноким я не чувствовал себя никогда в жизни. Трепет, который я едва ли испытывал, сидя за столиком у Гарпо, вдруг охватил меня на пустынной дороге.

Однако на следующий день я встал таким апатичным, словно мою печенку часами лупили о цементную стену; я погрузился в такую депрессию, что избегал дальнейших сеансов до того самого вечера в Труро, когда мы потерпели наше знаменательное фиаско. Я созрел для веры в возможность бесед с духами. Все дело было только в том, что у меня недоставало на это мужества.

Вернувшись домой, я затопил камин, налил себе выпить и уже собрался напрячь память, чтобы вспомнить что только можно о своем путешествии в Уэлфлит два дня назад – путешествии с двумя другими людьми в одном маленьком “порше”, – как вдруг кто-то стукнул дверным молотком (во всяком случае, я могу в этом поклясться) и дверь распахнулась настежь.

Я не знаю, что проникло внутрь и осталось ли оно в доме после того, как я запер дверь, но я воспринял это явление как призыв. На меня снова пахнуло невыносимым запахом разложения, впервые почуянного под карнизом обелиска, и я чуть не вскрикнул, поняв всю неумолимость забрезжившей передо мной логики. Ибо мне было велено – и я не мог не подчиниться этому распоряжению – вернуться к делянке в трурских лесах.

Я сопротивлялся до последнего. Допил стакан и налил еще, но я понимал, что через час или через три дня, останься я трезвым или напейся до огнеупорного состояния, я все равно отправлюсь туда и проверю тайник. Пока я этого не сделаю, меня не отпустят. Та сила, что повелевала столиком, теперь держала меня – за кишки и за самое душу. Выбора не было. Возможно, хуже всего было бы запереться здесь и пережить еще одну ужасную ночь.

Я знал это. Однажды я уже побывал в тисках императива, большего, чем я сам, и это было двадцать лет назад, когда я ежедневно в течение целой недели ходил к Провинстаунскому обелиску с холодной тяжестью в легких и сосущей пустотой под ложечкой, смотрел на его бока и думал с обреченностью, равной потере рассудка, что восхождение неизбежно. Насколько хватало глаз, я видел опоры — щербины в цементе и небольшие горизонтальные уступы меж гранитными блоками. Это можно сделать, и я сделаю это — вы не поверите мне, но я так пристально разглядывал основание, что ни разу не вспомнил о карнизе наверху. Я чувствовал лишь одно: полезу. Не предприми я этой попытки, мне грозило бы нечто худшее, чем страх. Может быть, те приступы ужаса посреди ночи, когда я вскакивал и садился на кровати, и не научили меня ничему больше, но я, по крайней мере, обрел — как назвать это? — малую толику сострадания ко всем, кто сдается перед необходимостью выйти и совершить вещь абсолютно недопустимую — будь это совращение маленького мальчика или изнасилование девочки-подростка, — я ощутил жар того огня, что гложет изнутри людей, опасающихся срыва и потому не отваживающихся близко подойти к самим себе. И на протяжении целой недели, когда я боролся с этой странной, такой противоестественной для меня тягой и пытался убедить проникшую в меня чуждую волю, что мне нет необходимости взбираться на Обелиск, я узнал и то, сколь многообразны бывают виды человеческой изоляции. Ибо для того, чтобы предотвратить встречу с демоном, обитающим в логове кундалини нашего позвоночника, мы прибегаем к своему спиртному, к своей траве, к своему кокаину, к своим сигаретам, к своему снотворному и своим транквилизаторам, к своим привычкам и своим церквям, своим предрассудкам и своему фанатизму, своей идеологии, к самой своей глупости — надежнейшему из изоляторов! — и прежде чем совершить попытку восхождения на Обелиск и вновь обуздать воспрявшую во мне инородную силу, я перепробовал почти все эти средства. Затем, с мозгом, воспламененным скоростью, перекошенным в одну сторону выпивкой, в другую — травой, внутренне визжа, точно еще не рожденный младенец, ищущий света под угрозой удушения, чувствуя себя кровожадным, как самурай, я атаковал эту стену и обнаружил — каким бы дурацким ни оказался исход, — что мне стало лучше: по крайней мере, я больше не мучился по ночам безысходным ужасом.

Итак, в тот раз игра стоила свеч. Я знал, что и на этот раз дело обстоит так же. Я должен был вернуться и посмотреть в лицо мертвой блондинке. Причем мне следовало сделать это независимо от того, кто оборвал ее жизнь — я или другой. Но, надеюсь, вы поймете меня, если я скажу, что простое желание выяснить этот ключевой для моего самосохранения факт — ведь я не знал, кого мне бояться: закона или всего, что вне закона? — играло для меня меньшую роль, чем ощущение неотвратимости повторной поездки, ибо наиболее глубокой из постигнутых мною истин была такая: важность мероприятия пропорциональна страху, который оно мне внушает.

Не стану описывать свои долгие колебания. Скажу только, что ближе к полуночи мне удалось подавить ужас настолько, чтобы начать путешествие в мыслях; таким образом, я приготовился к тому, чтобы, пускай лишь в воображении, выйти из дома, сесть в машину и отправиться на просторы шоссе, по которому и в этот час гулял ветер и, словно сонмища призраков, неслись сухие листья. И вот, представляя себе каждую де-

таль этой поездки, выстраивая ее в уме еще до старта, я почувствовал в самом сердце своей паники спокойствие трезвого расчета. Итак, я наконец собрался с духом и подошел к порогу, готовый ступить в настоящую ночь, но вдруг дверной молоток стукнул снова — гулко, как по моей могильной плите.

Бывают вмешательства, чересчур серьезные для того, чтобы нарушить ваше спокойствие. Человека не бросает в дрожь при встрече с палачом. Я отодвинул засов и распахнул дверь.

Вошел Ридженси. В первый миг, увидев его напряженное лицо и сердитый блеск в глазах, я решил, что он пришел меня арестовать. Он остановился в прихожей и уставился на мебель в гостиной, чуть наклоняя голову то в одну сторону, то в другую, но продолжалось это так долго, что я успел понять: эти сокращения шейных мускулов вызваны его собственными душевными проблемами.

— Я не выпивать пришел, дружище, — наконец сказал он.

— Все равно, могу налить.

— Потом. Сначала потолкуем. — Он ткнулся своими сердитыми блестящими глазами в мои, но потом в изумлении — поскольку ему вряд ли когда-либо приходилось замечать во мне такую решимость — отвел взгляд в сторону. Не мог же он знать, к чему я только что подготовился.

— Неужто вы работаете по воскресеньям? — спросил я.

— Вы ведь сегодня не были в Уэст-Энде?

Я покачал головой.

— И не знаете, что происходит?

— Нет.

— Сегодня у "Вдовьей дорожки" побывали все городские копы. Все как один. — Он поглядел мимо меня. — Не возражаете, если я сяду?

Я и возражал, и нет. Я сделал жест, который можно было понять двояко.

Он сел.

— Слушайте, Мадден, — сказал он, — я знаю, вы человек занятой, но может, вы помните утренний звонок Мервина Финни?

— Хозяина "Вдовьей дорожки?"

— Вы же столуетесь там постоянно — и что, не помните его имени?

— Эй, — сказал я, — не гоните волну по мелочам.

— Ладно, — ответил он. — Почему бы вам тоже не присесть?

— Потому что я сейчас ухожу.

— Финни звонил насчет машины, верно?

— Она еще там?

— И вы сказали Мервину Финни, — произнес Элвин Лютер, — что не можете вспомнить имя женщины, которая была с Пангборном.

— Не могу. А это важно?

— Может, и нет. Если она не его жена.

— Мне так не показалось.

— Ну хорошо. Вы ведь здорово разбираетесь в людях.

— Все же у меня не хватает смекалки понять, что произошло.

— Ну, это-то я мог бы вам объяснить, — сказал он, — но не хочу, чтобы вы судили предвзято. — Он снова взглянул мне в глаза. — Что вы думаете о Пангборне?

— Юрист из какой-нибудь корпорации. Смышленый. Отдыхает с блондиночкой.

— Ничего из ряда вон?

— Да нет, разве что малосимпатичный.

— Почему?

— Потому что я хотел развить отношения с Джессикой, а он мешал. — Я замолк. Ридженси был очень неплохим полицейским. Он умел незаметно оказывать давление, причем постоянное. Рано или поздно ты ошибался. — Ох, — сказал я, — вот как ее звали. Только что вспомнил. Джессика.

Он записал это.

— А фамилия?

— Пока не получается. Может, она мне ее и вовсе не называла.

— Какое от нее впечатление?

— Дамочка из высоких кругов. Я бы сказал, южнокалифорнийский тип. Но не аристократка. Просто денежная.

— Однако вам приглянулась?

— Я подозревал, что в спальне она ведет себя как порнозвезда. — Этим я хотел его шокировать. И преуспел больше, чем ожидал.

— Не люблю порнухи, — сказал он. — И не хожу на нее. Честно говоря, охотно перестрелял бы десяток-другой этих порносветил.

— Вот в чем прелесть органов охраны порядка, — ответил я. — Надень на убийцу форму, и он уже не сможет убивать.

Он поднял подбородок.

— Дешевая философия хиппи, — сказал он.

— Не рекомендую ввязываться в дискуссию, — заметил я. — У вас в мозгах полно минных полей.

— Возможно, — весело произнес он и подмигнул. — Ладно, давайте-ка вернемся к Пангборну. Он не показался вам неуравновешенным?

— Не особенно. Даже, пожалуй, совсем нет.

— Не торопитесь.

— Не торопиться?

— По-вашему, он не голубой?

— Может, он моет руки после занятий любовью, но на голубого вроде бы не похож.

— А в Джессику он, по-вашему, влюблен?

— Я бы сказал, ему нравится то, что она может предложить, но он уже слегка устал. Похоже, для него она чересчур женщина.

— То есть вы не думаете, чтобы он был влюблен в нее до одурения?

Я хотел было сказать "вроде нет", но потом решил спросить:

— Что значит "до одурения"?

— Это когда человек влюблен настолько, что уже не контролирует свои действия.

Где-то в глубине моего сознания произошел осторожный расчет. Я сказал:

— Элвин, куда вы клоните? Пангборн что, убил ее?

— Не знаю, — ответил Ридженси. — Ее никто не видел.

— А он где?

— Сегодня после обеда Мервин Финни позвонил и спросил, нельзя ли убрать их машину с его стоянки. Но она была припаркована законным порядком. Так что я пообещал ему для начала оставить предупреждение на ветровом стекле. И сегодня же, во время обхода, решил заглянуть туда. Что-то мне в этом деле не нравилось. Бывает, что пустая тачка наводит на подозрения. В общем, я сунулся в багажник. Он был не заперт. Пангборн лежал внутри.

— Убитый?

— Любопытно, что вы это сказали, — заметил Ридженси. — Нет, приятель, это было самоубийство.

— Да ну?

— Он залез в багажник и захлопнул его. Потом накрылся одеялом, сунул в рот пистолет и спустил курок.

— Давайте выпьем, — сказал я.

— Ага.

Его взгляд застыл от ярости.

— Очень странное дельце, — сказал он.

Я не смог сдержаться. Э. Л. Ридженси умел влиять на своих собеседников.

— Вы уверены, что это самоубийство? — спросил я, понимая, что вопрос вряд ли пойдет мне на пользу.

Хуже того. Наши глаза встретились с явственно ощутимым взаимопониманием: так бывает, когда двое видят одно и то же. Я видел кровь на сиденье своего автомобиля.

Он выдержал паузу и произнес:

— Никаких сомнений. У него следы пороха вокруг рта и на нёбе. Разве что его накачали наркотиками, прежде чем убить, — Ридженси вынул блокнот и записал несколько слов, — хотя я не понимаю, как можно запихнуть человеку в рот дуло, застрелить его, а потом уложить тело так, чтобы не смазать брызги крови и не выдать себя. Пятна крови на полу и стенке багажника полностью соответствуют картине самоубийства. — Он кивнул. — Что-то я разочаровался в вашей проницательности, — заметил он. — С Пангборном вы ошиблись на все сто.

— Да, самоубийцу я в нем точно не разглядел.

— Забудем это. Он чокнутый гомик. Мадден, вы даже понятия не имеете, что тут на самом деле кроется.

Замолчав, он принялся рассматривать комнату, точно желая сосчитать двери и оценить мебель. В его глазах мой интерьер явно представлял собой малоприятное зрелище. Обстановку в основном выбирала Пэтти, а она любила дорогую безвкусицу в стиле Тампа-Бич — то есть белую мебель, разноцветные шторы, коврики и подушечки, обивку в цветочках, высокие табуреты с пухлыми кожаными сиденьями, розовые, зеленые, оранжевые и светло-желтые для своего будуара и гостиной, — в общем, этакую леденцовую пестроту, совсем неуместную зимой в Провинстауне. Охарактеризует ли это мое внутреннее состояние, если я признаюсь, что редко испытывал душевный подъем, позволяющий заметить разницу между цветовой гаммой своего дома и дома Ниссена?

Ридженси изучал нашу мебель. Слова "чокнутый гомик" еще курились у его губ. Я не мог оставить этого так.

— Почему вы решили, что Пангборн был гомосексуалистом?

— Я бы сказал иначе. Я бы назвал его *голубком*. — Это прозвучало издевательски. — В таких случаях надо говорить "синдром Капози". — Он вынул из кармана какое-то письмо. — Называют себя голубками, а сами только и знают, что заражать друг друга. Валяются в дерьме, как свиньи.

— Ну-ну, — сказал я. — Все мы свиньи — и вы, и я. — Его слова разбудили во мне боевой пыл, и я охотно поспорил бы с ним на эту тему — ядерное загрязнение на моей стороне, герпес на его, — но не сейчас.

— Посмотрите, что в этом конверте, — сказал он. — Кем был Пангборн — голубым или синим? Прочтите, прочтите!

— А это точно написал он?

— Я проверил почерк по его записной книжке. Он, кто же еще. С месяц назад. Там стоит дата. Правда, так и не отослал. Наверное, сделал глупость — перечитал свое письмецо. Этого достаточно, чтобы сунуть себе в рот дуло и вышибить мозги.

— Кому он писал?

— Вы же знаете этих гомиков. Они друг с другом такие ласковые, именами себя не утруждают. Изливают душу, и все. Может, под конец и назовут разок имя. Чтобы цветочек, которому адресовано послание, знал, что грязь попала в нужный горшок. — Он визгливо захихикал по своему обыкновению.

Я прочел письмо. Оно было написано яркими фиолетовыми чернилами, круглым твердым почерком:

Только что перелистал томик твоих стихов. Я вряд ли умею по-настоящему ценить поэзию и классическую музыку, зато знаю, что́ я люблю. Я люблю, когда симфонии рождаются в интимных органах. Люблю Сибелиуса, и Сен-Санса, и Шуберта, и всех остальных на букву "Ш". Я знаю, что люблю твои стихи, поскольку меня тянет ответить тебе письмом, чтоб заставить тебя задрожать, блядь. Знаю, ты ненавидишь мою вульгарность, но давай не будем забывать, что Лонни — уличный мальчишка, которому пришлось-таки поднапрячься, чтобы охомутать вожделенную богатую невесточку. Впрочем, кто кого охомутал?

Мне понравилось твое стихотворение "Растраченный", потому что оно вызвало у меня сочувствие к тебе. Вот он ты, насосавшийся, как клоп, борющийся со своими комплексами, запертый в этой ужасной камере; ну что же, ты ведь тянул срок, а я был во Вьетнаме, ходил дозором по Китайскому морю[1]. Знаешь, какие там закаты? Ты так чудесно описываешь радугу, встающую перед твоими глазами после того, как ты "растратился", но я-то жил этими радугами. Как ясно вспоминаются благодаря твоим строчкам роскошные месяцы, растраченные мною в Сайгоне на секс, да, милый, "растраченные"! Ты пишешь о громилах вокруг себя и говоришь мне, читателю: "У них не души, а костры; к ним близко не подходи — иначе обожжешься". Вот что, дружок: это верно не только для твоих криминальных типов. Я думал то же самое о многих своих приятелях-моряках. У многих костерков погрел я лицо и руки. Ты чуть не свихнулся, не позволяя себе делать что хотел, но ты-то ведь у нас джентльмен. В некотором роде. Но я искал и *нашел*. Я соблазнял всех без разбору, я — потаскуха мужского пола. Как цирковой поросенок, насыщался из огромной бутыли с длинной резиновой соской. Нет, Лонни не рехнулся, спасибо. У него хватило ума выжать из своего порока все до последней капли.

Как много ты потерял, не побывав в этих китайских морях. Я помню черноглазого вьетнамца, который подходил к нашему бараку под Данангом и ласково звал: "Лонни, детка, вылезай!" Помню высокого тонкого блондина из Бомонта, Техас, который принес мне свои письма к жене. Она собиралась его бросить, а я должен был прочесть письмо, я был его *цензором*, и как он томился у входа в офицерский отсек, ожидая темноты, и это было так здорово, что он все говорил о своей птицеферме, пока я не протянул руку и не начал ласкать его, и он улегся и затих, и знаешь ли, милый, у него пропала охота спрашивать про свою ферму до следующего вечера, когда он бродил у офицерского отсека, пока опять не стемнело и я, голодный, не утолил его голода. Помню и славно-

1. Имеется в виду Южно-Китайское море.

го паренька из Ипсиланти по имени Тори и вкус напоенного любовью хереса у него во рту, эти прелестные глаза, его застенчивость и нежный, неуклюжий, жалкий стиль его милого письма с ошибками шестиклассника — он написал его в тот день, когда я покидал корабль, и поднялся на мостик с конвертом.

Или связист из Мэриона, Иллинойс, который просигналил мне первое любовное послание флажками, не ожидая, что я разберу его на такой скорости: "Эй, лапка, как насчет нас с тобой сегодня на моей лодке?" И мой ответ: "Во сколько, лапка?" До сих пор помню его удивленное лицо. И его восхитительный аромат — запах пота и "Аква-велвы".

Как много приводят на память твои стихи. Волшебная была пора! Ни тебе адвокатских бумаг. Ни мальчиков-мажоров — не прими на свой счет, — которым надо лизать жопу. Только адмиралы да морская пехота. Жаль, что ты никогда не знал моряка. Или "зеленого берета". Они зеленые, душка, но не стреляй, пока не увидишь их розовые приборчики! У меня сто лет не было досуга, чтобы подумать об этих вещах, но теперь наконец-то. Спасибо твоим стихам. Я думаю о санитаре из Центрального госпиталя, которого встретил в "Синем слоне" на Сайгонском бульваре, и вспоминаю номер в одной полуразграбленной гостинице, куда я затащил его потом, и его великолепное извержение, — а потом он принял меня, чтобы глотнуть немного самому и утолить великую жажду, вызванную этим залпом. И как он искал имя на моей шляпе, чтобы увидеться со мной снова, но я не хотел этого и так ему и сказал. Зарылся носом в его постель, и ее безумный аромат снова вышиб из моей головы всякое разумение.

Да, в них пылали костры, и атмосфера была полна жаркой истомы. Легионы огромных, призывных, истекающих каплями красавцев, яростно-алых, как борода индюка, чудные, чудные, славные деньки, пока ты отдыхал в Рединг-ской тюрьме[1], бедняжка Уодли, и старался не съехать с катушек, борясь с желанием сделать то, к чему звала тебя твоя душа.

Пожалуй, я больше не стану читать твои прекрасные стихи. Ты видишь, какую печаль они вызывают. Никогда не отталкивай такого дорогого друга, как я, а то смотри, потеряешь меня навсегда. Впрочем, уже потерял!!! На сей раз это не мальчишка из Военно-воздушных сил, подцепленный на один уик-энд, и не баптист-голуба, которого я обхаживаю ох как осторожно, хоть он всем сердцем жаждет неосторожности; нет, у меня сюрприз всех времен, Уодли. Я теперь с блондинкой. Думаешь, я пьян вдребезги? Ну да.

Но не бойся. Эта милка выглядит женщиной до мозга костей, как Лана Тернер, хотя, может, это и не совсем так. Может, она сменила пол. Поверишь ли? Один из наших общих приятелей увидел ее со мной и имел наглость сказать: она так великолепна, что похожа на подделку. Может быть, в прошлом это не она, а он? — спросили меня. Нет, вынужден вас огорчить, сказал я; ничего подобного. Это самая натуральная женщина, хрен тебе! Вот что ответил я нашему общему другу. Честно говоря, это *первая* моя женщина с тех пор, как я окрутил свою богатую наследницу с ее цепью дешевых магазинов. Поэтому я знаю, что такое цепи. Терпел их много лет. И скажу тебе, Уодли, это рай — освободиться от них. С этой новой самкой упоительно, как на Сайгонском бульваре: настоящий плотско-блядско-адско-развратнейший рай для петуха — или надо сказать, бывшего петуха? — вроде меня. Какое наслаждение преодолеть великую пропасть. Уодли, для этой женщины я — мужчина. Она говорит, что не знала никого лучше. Детка, ты не поверишь, какие силы во мне проснулись. Завод

1. "Редингская тюрьма" — поэма Оскара Уайльда; он отбывал в этой тюрьме срок по обвинению в гомосексуализме.

есть завод, но я заведен до отказа. Если кто-нибудь попытается отбить мою блондинку, я и прикончить могу.

Понимаешь, о чем я? Вот оно, счастье! Но с чего бы тебе расстраиваться? Ты ведь тоже прошел через это, правда, Уодли? Жил со своей светловолосой красавицей. Ладно, проехали. Раньше мы были братьями по духу, так останемся же добрыми старыми друзьями. Подписываюсь: мечта женщин, всегда твой Лонни.

P. S. Ты видел рекламу электробритвы под названием ...? Оставляю здесь пустое место, потому что не отваживаюсь назвать тебе имя фирмы. В конце концов, я их представитель. Но ты знаешь, о чем речь. Поищи ее в рекламе на ТВ. Там показывают мальчишку 21 года — этакого красавчика! Он бреется, а вид у него при этом счастливый, как у угодившего в бардак херувима. Открыть секрет? Он мне сказал. Вместо бритвы он представляет себе здоровенный елдак. Представляет, будто это его дружок водит по его лицу своим славным толстым ласкунчиком. Рекламщики в восторге — таким удачным оказался этот ролик. Но стоп — я теперь женолюб, так что прощай все это.

P. P. S. Я отлично знаю того паренька из рекламы. Хочешь верь, хочешь нет, но это сын моей чудо-блондинки. Собственно, как раз обо мне он и думает. Как ты считаешь, он не ревнует меня к своей мамочке?

P. P. P. S. Имей в виду — обо всем этом никому ни полслова.

Я отдал письмо. Кажется, мы оба старались не смотреть собеседнику в глаза, но наши взгляды все равно встретились. Правда, сразу оттолкнулись друг от друга, как одноименные полюса двух магнитов. Гомосексуализм стоял между Ридженси и мной — его присутствие было столь же ощутимо, как запах пота, когда рядом совершается насилие.

— "Мне отмщение, и аз воздам, сказал Господь", — произнес Ридженси. Он положил письмо обратно в нагрудный карман и тяжело перевел дух. — С удовольствием поубивал бы этих гомиков, — сказал он. — Всех до единого.

— Выпейте еще.

— От этого письма такой гнусный осадок, — промолвил он, похлопав себя по груди, — что выпивкой его не смоешь.

— Конечно, мое дело маленькое, — сказал я, — но вы когда-нибудь спрашивали себя, надо ли вам быть шефом полиции?

— К чему это вы? — он мгновенно насторожился.

— Вам следовало бы знать. Вы ведь здесь бывали. Летом у нас в городе всегда уйма гомосексуалистов. Пока португальцы не откажутся от их денег, вам придется мириться с их поведением.

— Между прочим, я больше не и. о. шефа полиции.

— С каких же пор?

— А с сегодняшнего дня. С того момента, как прочел это письмо. Слушайте, я обыкновенный деревенский парень. Знаете, что такое для меня Сайгонский бульвар? По две шлюхи в ночь, и так десять ночей подряд — вот и все.

— Бросьте.

— На моих глазах убили много славных людей. Я не знаю никаких "зеленых беретов" с розовыми приборчиками. Хорошо, что Пангборн мертв. А то я бы его убил.

Ему можно было поверить. В воздухе словно пахло электричеством.

— Вы уволились официально? — спросил я.

Он вытянул руки, точно ограждая себя от любых вопросов.

– Я не хочу в это влезать. Меня никогда не сделали бы шефом полиции. Фактически он уже есть – португалец, который служит под моим началом.

– Что вы говорите? Так ваша должность – прикрытие?

Он достал платок и высморкался. Одновременно помотал головой вверх-вниз. Это у него значило "да". Ну и деревенщина. Наверняка и впрямь служил в Бюро по борьбе с наркотиками.

– Вы верите в Бога? – спросил он.

– Да.

– Хорошо. Я знал, что у нас получится разговор. Давайте в ближайшее время. Будем пить и беседовать.

– Ладно.

– Я хочу служить Богу, – сказал он. – Люди не понимают, что, если хочешь служить, ты должен иметь крепкий хребет, иначе ничего не сделаешь. Есть, например, тяжелая обязанность – мстить.

– Мы еще поговорим, – сказал я.

– Ага. – Он поднялся. – Не догадываетесь, кем может быть этот малый, Уодли?

– Старый дружок, наверно. Какой-нибудь богатый индюк из провинции.

– Какая проницательность. Ха-ха. Ха-ха. А я это имя где-то слышал. Такое необычное – захочешь, не забудешь. Кто-то упоминал имя "Уодли", причем недавно. Не ваша ли жена?

– Спросите ее.

– Когда я ее увижу, я ее спрошу. – Он вынул блокнот и записал туда что-то. – Где, по-вашему, эта дамочка, Джессика?

– Может, вернулась в Калифорнию.

– Мы это сейчас проверяем.

Он обнял меня рукой за плечи, словно утешая непонятно по какому поводу, и мы вместе прошли через гостиную к двери. Мой рост позволяет мне никогда не чувствовать себя коротышкой, но он был заметно больше.

У двери он повернулся ко мне и сказал:

– Кстати, передаю вам привет. От моей жены.

– Я ее знаю?

– Ее зовут Мадлен.

– Ох, – сказал я. – Мадлен Фолко?

– Она самая.

Каков главный закон улицы? Если хочешь получить в спину пулю, заведи шашни с женой полицейского. Много ли знал Ридженси о ее прошлом?

– Да, – сказал я, – она иногда заходила выпить коктейль в заведение, где я работал барменом. Сколько лет прошло. Но я ее помню. Она была очень симпатичная – настоящая леди.

– Спасибо, – ответил он. – У нас двое симпатичных малышей.

– Интересно, – сказал я. – Я не знал... что у вас есть дети. – Это была почти осечка. Я еле удержался, чтобы не сказать: "Я не знал, что Мадлен может иметь детей".

– Есть, есть, – сказал он, извлекая на свет бумажник, – вот наше общее фото.

Я посмотрел на Ридженси, на Мадлен – со времени нашей последней встречи она постарела лет на десять – и на двух светловолосых

мальчишек, которые были немного похожи на него и совершенно не похожи на нее.

— Очень славные, — сказал я. — Передайте привет Мадлен.

— Сайонара[1], — отозвался Ридженси и вышел.

Теперь я уже не мог отправиться в трурские леса. Чтобы поехать туда, мне надо было достичь прежней степени концентрации. А этого я сделать не мог — по крайней мере пока. Мои мысли метались, как ветер в холмах. Я не знал, о ком думать — о Лонни Пангборне, об Уодли, о Джессике или о Мадлен. Затем меня охватила печаль. Это была тяжкая печаль воспоминаний о женщине, которую я любил, и эта любовь ушла, хотя ее никак нельзя было терять.

Я размышлял о Мадлен. Наверное, час спустя я поднялся на верхний этаж, отомкнул один из ящиков в своем кабинете, нашел в пачке старых рукописей страницы, которые искал, и перечел их снова. Они были написаны почти двенадцать лет назад — кажется, мне было тогда двадцать семь? — и за ними явственно проступал образ молодого нахала, каким я тогда пытался быть, но это не вызывало досады. Если ты уже больше не один человек, а коллекция не сочетающихся друг с другом осколков, то взгляд обратно, на слова, написанные, когда ты был цельной личностью (пусть и дутой), может опять ненадолго собрать тебя вместе — что и произошло, пока я перечитывал эти страницы. Тем не менее, дойдя до конца, я бесповоротно подпал под власть давней скорби. Ибо я сделал ошибку, показав свою рукопись Мадлен, и это ускорило наш разрыв:

Лучшее из известных мне описаний женского органа принадлежит Джону Апдайку — это отрывок из его рассказа "Соседская жена":

Каждый волосок драгоценен и индивидуален, вносит в общую гармонию свой вклад: светлые, почти невидимые у той складки, где начинается бедро, темные и непрозрачные там, где взывают о защите нежные губы, жесткие и ядреные, как борода лесника, под округлостью живота, редкие и темные, словно усы Макиавелли, рядом с ныряющей к анусу промежностью. Моя игрушка меняется в зависимости от времени дня и фактуры ткани, из которой сделаны трусики. У нее есть свои сателлиты: та капризная дорожка, что поднимается к моему пупку и моему загару, шерстяные отметины на внутренней стороне моих бедер, искристый пушок, обрамляющий черту, где сходятся мои ягодицы. Янтарный, эбеновый, золотистый, каштановый, ореховый, рыжеватый, бежевый, табачный, кунжутовый, платиновый, бронзовый, персиковый, пепельный, огненный и светло-серый – вот лишь несколько цветов моей игрушки.

Это чудесное описание леса, которое заставляет задуматься о тайнах масштаба. Кто-то однажды написал о Сезанне: он сместил наше представление о величине настолько, что белое полотенце на столе оказалось похожим на снег, голубеющий в тени горных ущелий, а маленький участок обнаженного тела превратился в пустынную долину. Любопытная мысль. После нее я начал видеть в Сезанне гораздо больше — точно так же как Апдайк заставил меня совсем по-другому взглянуть на главную женскую прелесть. Уже за одно это Джон попал бы в число моих любимых писателей.

Говорят, что Апдайк писал картины, и это заметно по его стилю. Никто не изучает поверхности пристальнее, чем он, а прилагательные он выбирает придирчивее любого другого автора, сочиняющего сегодня по-английски. Хемин-

1. До свидания (*яп.*).

гуэй советовал не использовать их, и Хемингуэй был прав. Прилагательное — это всего лишь мнение автора о происходящем, не более. Когда я пишу "В дверь вошел сильный мужчина", это значит только, что он силен по отношению ко мне. Если я не представил читателю себя, может оказаться, что я единственный посетитель бара, на которого вошедший произвел впечатление. Лучше сказать: "Вошел человек. В руках у него была трость, и по какой-то причине он переломил ее пополам, точно прутик". Конечно, времени на подобное описание уходит немало. Так что прилагательные обеспечивают возможность говорить кратко и при этом еще учить жизни. На чем и держится вся реклама. "Сверхэффективная, бесшумная, чувственная пятискоростная коробка". Поставь перед существительным двадцать прилагательных, и никто не догадается, что ты описываешь полное дерьмо. Прилагательные зовут в круиз.

Поэтому следует подчеркнуть: Апдайк — один из немногих писателей, у которых прилагательные работают на пользу, а не во вред. У него редкий дар. И все же он меня раздражает. Даже его описание женской прелести. Это с равным успехом могло быть дерево. (Плюшевый мох в развилинах моего тела, одеянье из водорослей на уступах моей коры и т. д.) Хотя один раз мне было приятно совершить с ним экскурсию по заповеднику женских гениталий.

В настоящий же момент я размышляю о разнице между апдайковским описанием цветка жизни и реальной менжой — то есть той, о которой я сейчас думаю. Она принадлежит Мадлен Фолко, а так как последняя сидит рядом со мной, мне стоит только протянуть правую руку, чтобы коснуться соответствующего объекта кончиками пальцев. Но я предпочитаю грезить — для писателя это проще. Имея если не талант, то уж во всяком случае амбиции — а какой зеленый писун их не имеет? — я хочу облечь манифест ее прелести в тщательно выбранные слова и таким образом укоренить на великом поле литературы свой маленький прозаический саженец. Поэтому я не стану задерживаться на ее волосяном покрове. Эти волосы черные, такие черные на кладбищенски-белом фоне ее кожи, что при одном взгляде на эту поросль мои кишки и яйца начинают звенеть, точно цимбалы. Но и любит же она ее демонстрировать! У нее один маленький розовый ротик внутри другого, побольше, и это воистину цветок, дремлющий в своей благоуханной свежести. Однако в минуты возбуждения менжа Мадлен словно вырастает прямо из ее ягодиц, и этот маленький ротик остается розовым независимо от того, как широко она расставляет ноги, хотя внешняя плоть ее вагины — большой рот — покрывается мрачными разводами смазки, а промежность (которую ребята с Лонг-Айленда называют зазором — не пойти ли мне дозором у соседки под зазором, хо-хо) превращается в блестящую плантацию. И ты не знаешь, то ли глодать, пожирать ее, то ли благоговеть перед нею, то ли закопаться в нее. Я всегда шепчу: "Не шевелись, не двигайся, я убью тебя, я сейчас кончу". И она распускается передо мной еще больше.

Стоит мне очутиться внутри Мадлен, как другая ее ипостась, та милая брюнетка, под руку с которой я прогуливаюсь по улице, перестает существовать. От нее остаются лишь живот и утроба — только эта жирная, мыльная, сальная, трясинная, вазелинная дрожь сладострастного плотского восторга. Не заставляйте меня отказываться от прилагательных, когда речь идет о медитации над менжой! Трахая Мадлен, я точно сливаюсь в одно со всеми обнаженными танцовщицами и темноволосыми шлюхами мира — я вбираю в себя всю их похоть, их алчность, их тягу к сумрачным закоулкам вселенной. Один Бог знает, в какие хитросплетения кармы втягивает ее чрево мою начинку. В эти минуты ее менжа для меня реальнее, чем ее лицо.

Дочитав до этого места, Мадлен сказала: "Как ты смеешь писать обо мне такие вещи?" – и заплакала. Я не мог вынести ее плача. "Это же просто слова, – сказал я. – Чувствую-то я совсем другое. Я не настолько хороший писатель, чтобы передать мои настоящие чувства". Однако я был зол на нее за это вынужденное отречение от своего текста. Впрочем, к тому времени мы ссорились уже постоянно. Она прочла эти страницы всего за неделю до того, как мы решили принять участие в маленькой оргии с обменом женами (я не могу описать это более коротко), – я уговорил Мадлен нанести визит ее инициаторам, причем слова "нанести визит" были, наверное, отзвуком моего экзетерского французского; в результате нам пришлось ехать из Нью-Йорка до самой Северной Каролины. Мы располагали только объявлением из одного желтого журнальчика, где вместо адреса был указан номер почтового ящика:

Молодые, но хорошо развитые белые супруги (мужчина – гинеколог) ищут развлечения на уик-энд. Никаких "золотых дождей", наручников и с.-м.[1]. Пришлите фото и конв. с обр. адр. Вы должны состоять в браке.

Я ответил на объявление, ничего не сказав Мадлен, и отослал фотографию – мы были сняты на улице в модной одежде. От них пришел "полароид". Они были в купальных костюмах. Мужчина был высокий, почти лысый, с длинным грустным носом, шишковатыми коленями, маленьким брюшком и похотливым лицом.

Поглядев на этот снимок, Мадлен сказала: "У него, должно быть, самый огромный болт во всем христианском мире".

"С чего ты взяла?"

"А как иначе объяснить его вид?"

Молоденькая жена длинноносого была в затейливом купальнике и выглядела шикарно. Что-то зашевелилось во мне, едва я увидел ее на фотографии. У меня непроизвольно вырвалось: "Поедем".

Мадлен кивнула. У нее были большие темные глаза, блестящие и полные трагического знания: члены ее семьи занимали приличное положение в мафии и обрушили на ее голову парочку-другую проклятий, когда она сменила родину (то есть Куинс) на Манхэттен. Эти раны, полученные при расставании, она носила словно бархатный плащ. Чтобы уравновесить ее серьезность смехом, я пускался на все, даже пробовал ходить на руках по нашей меблированной комнате. Секунда ее веселья была для моей души бальзамом, чье действие растягивалось на целые часы. Благодаря этому я и влюбился. В ней имелась какая-то нежная сердцевина, которой не было в других женщинах.

Но мы были слишком близки. Я начал чувствовать пресыщение. Должно быть, и она стала видеть во мне только грубого ирландца. Прожив вместе два года, мы вступили в тот период, когда либо женятся, либо расходятся. Мы начали видеть в других людях потенциальных партнеров. Я время от времени погуливал на стороне, и она имела полную возможность ответить мне тем же, поскольку я работал в баре четырежды в неделю с пяти до пяти, а за двенадцать часов можно вдоволь насладиться любовью.

Поэтому когда она кивнула, соглашаясь ехать на Юг, мне не понадобилось иного подтверждения. Одним из ее талантов было умение выра-

1. "Золотой дождь" – вид полового извращения, с.-м. – садомазохизм.

зить все одним-единственным легким, ироническим кивком. "А теперь выкладывай плохие новости", — сказала она.

Итак, мы отправились в Северную Каролину. Мы уверяли друг друга, что та пара вряд ли понравится нам настолько, что будет иметь смысл остаться. Тогда мы выгадаем пару лишних ночей на пути обратно. "Остановимся в Чинкотиге, — сказал я. — Попробуем прокатиться на чинкотигских пони", — и объяснил ей, что это чуть ли не последняя порода диких лошадей к востоку от Миссисипи.

"Чинкотиг, — ответила она. — Хорошее дело". У нее был звучный хрипловатый голос особого тембра — он резонировал у меня в груди, и во мне отозвался каждый слог произнесенного ею слова "Чинкотиг". Таким образом мы как бы накладывали целебную мазь на те надрезы, которые только что сделали на природе нашей будущей плоти. И ехали дальше.

Тогда-то я и повстречался впервые с Пэтти Ларейн. (Это было задолго до ее знакомства с Уодли.) Она оказалась женой Сутулика (как она его называла), а Сутулик оказался 1) обладателем и впрямь огромного прибора и 2) лгуном, потому что он был отнюдь не самым преуспевающим гинекологом округа, а хиропрактиком. И кроме того, рьяным обожателем интимных женских прелестей. Можете представить себе, как глубоко нырнул он в копилку Мадлен?

В соседней спальне (ибо он соблюдал в этих обменных мероприятиях все правила гигиены — никаких трио или квартетов!) мы с Пэтти Эрлин — которая еще не переименовала себя в Пэтти Ларейн — и начали свой собственный уик-энд. Возможно, я еще соберусь с силами, чтобы описать его, но пока скажу только, что думал о ней на обратном пути в Нью-Йорк и что мы с Мадлен так и не остановились в Чинкотиге. В те дни я к тому же и не курил. Это была моя первая попытка бросить. Так что я прошел через несколько быстрых взлетов и свободных падений эго, проведя два дня и ночь с другой партнершей взамен своей (Сутулик так и не узнал, что мы с Мадлен никогда не были женаты, хотя, если судить по понесенному ущербу, вполне можно считать, что были) и не выкурив ни единой сигареты даже в те моменты, когда я чувствовал себя *насаженным на кол* — именно эти слова лучше всего дают понять, что ты ощущаешь, когда твоя женщина за стеной кричит от наслаждения (а как Мадлен умела стонать!), принимая в себя другого мужчину. Ни одно мужское эго не может остаться прежним после того, как его обладатель вволю наслушается женских криков наслаждения, даримых чужому, новому (и очень длинному) инструменту. "Лучше быть мазохистом, чем голубым", — говорил я себе не один раз в течение этих двух дней, однако и на мою долю выпало много славных часов, ибо у жены хиропрактика, прежней его помощницы, этой самой Пэтти Эрлин, было упругое тело девятнадцатилетней модели из "Плейбоя", волшебным образом материализовавшейся перед тобой, и мы пережили по-настоящему бурный школьный роман, то есть я заставлял ее работать ртом в таких местах, куда, по ее клятвенному заверению, ей раньше и в голову не приходило соваться; мы лезли друг другу под мышки, непрерывно изобретали друг для друга такие низости, интимности и гнусности, что получали от этого, как говорят в Калифорнии, натуральный суперкайф. Да, Пэтти Ларейн оказалась чудом, ее можно было трахать до скончания века. Даже теперь, одиннадцать лет спустя, та первая ночь лежала близко к поверх-

ности моего сознания, но я не хотел ее вспоминать, словно хорошо думать о Пэтти Ларейн значило в очередной раз предавать Мадлен Фолко.

Вместо этого я с болью вспомнил наше с Мадлен долгое возвращение в Нью-Йорк. Оно и впрямь было очень долгим. Мы ссорились, и Мадлен кричала на меня (что было абсолютно ей не свойственно), когда машину заносило на поворотах, пока в конце концов — думаю, тут виновата моя попытка обойтись без курева — я не потерял управления на одном особенно крутом вираже. У нас был большой "додж", или "бьюик", или "меркури" — кто теперь помнит? На крутых поворотах они все ведут себя как губчатая резина, и мы с визгом и скрежетом проскользили по шоссе больше сотни ярдов, а потом врезались в дерево.

Мое тело было примерно в том же состоянии, что и автомобиль. Что-то было смято, что-то растянуто, а в уши колотился изнутри страшный грохот, как от волочащегося по асфальту глушителя. Снаружи — тишина. Та самая тишина сельского типа, когда над полями вибрирует гудение насекомых.

Мадлен пришлось еще хуже. Она так и не сказала мне об этом, но позже я выяснил, что она повредила себе матку. И действительно, из больницы она вышла с пугающим шрамом на животе.

Мы протянули еще год, с каждым месяцем все больше отдаляясь друг от друга. Мы увлеклись кокаином. Сначала это заполнило трещину в наших отношениях. Затем обратилось в привычку, а привычка расколола глыбу нашего союза; трещина стала шире. Именно после нашего разрыва я и угодил в тюрьму за торговлю наркотиками.

Теперь я сидел в кабинете своего провинстаунского дома, потягивая неразбавленный бурбон. Неужели те прошлые муки вкупе с несколькими глотками бурбона сыграли роль успокаивающего средства, в котором я так нуждался после трех дней, наполненных ударами, потрясениями, внезапными поворотами и породивших в моих мыслях столь невероятную сумятицу? Сидя в кресле, я ощутил, как на меня благословением нисходит сон. Меня баюкали отзвуки былого; цвета прошлого стали ярче цветов настоящего. Может быть, сон — это вход в пещеру?

В следующий миг я был выдернут из сна обратно. Что я мог поделать, если простейшая метафора возвращала меня ко входу в лесной тайник? Мне так и не удалось выбросить его из головы.

Однако я снова взялся за бурбон, и кое-какие ресурсы были восстановлены. Похоже, я почти переварил ошеломляющее известие о самоубийстве мистера Пангборна. Теперь казалось вполне правдоподобным, что Пангборн и есть тот маньяк, чьих рук это дело. В его письме можно было усмотреть намек на готовящееся преступление. "Если кто-нибудь попытается отбить мою блондинку, я и прикончить могу". Но кого? Ее нового любовника или саму блондинку?

Эти соображения, взятые в качестве рабочей гипотезы и подкрепленные бурбоном, и послужили нужным мне лекарством: я наконец погрузился в глубокий сон, чувствуя себя совершенно измочаленным, словно до сих пор играл уайд-ресивером за экзетерскую команду, где не умели отдать пас, и ушел в такие бездны небытия, что, проснувшись, даже не услыхал голосов Адова городка. Вместо этого я очнулся с ясным воспоминанием о том, что три ночи назад — абсолютно точно! — Джессика, Лонни и я вышли из "Вдовьей дорожки" примерно в одно и то же время, они из ресторана, а я из бара, и там, на стоянке, возобновили — к вящему неудовольствию Пангборна и явному восторгу его компаньон-

ки — свой разговор, причем мы с Джессикой так хохотали, что вскоре было решено заглянуть ко мне домой и опрокинуть там еще по стаканчику.

Они начали спорить насчет автомобиля. На двух нам ехать или на одном? Джессика стояла за две машины — Лонни в их взятом напрокат "седане", а мы с ней в моем "порше", — но он видел ее насквозь и не хотел, чтобы его бортанули, а потому решил вопрос, усевшись в мой "порше" на сиденье для пассажира, после чего ей пришлось устроиться поверх него и положить ноги мне на колени, так что я должен был переключать скорости, запуская руку под ее бедра или меж них, но, в конце-то концов, до моего дома было всего две мили с небольшим, и, добравшись туда, мы долго толковали о ценах на недвижимость в Провинстауне и о том, почему наша с Пэтти развалюха в такой цене, хотя собрана только из двух типовых домиков и двух сараев, да еще башенки четвертого этажа, которую мы добавили, чтобы сделать там мой кабинет, но самое главное, объяснил им я, это ширина по фасаду. У нас был стофутовый палисадник вдоль набережной, и дом тоже был выстроен параллельно берегу, а это в нашем городе редкость. "Да, — сказала Джессика, — замечательно", — и, клянусь, ее колени еще немного раздвинулись.

Теперь дальше: я не могу сказать, было ли это воспоминанием или сном, ибо при всей ясности реального события логика случившегося скорее отвечала законам того театра сна, в котором возможны лишь поступки, абсолютно неприемлемые для яви. А именно, я вспомнил, что, когда мы сидели у меня в гостиной и пили, я начал ощущать во всей повадке Лонни нечто подозрительное. Чем больше он пьянел, тем понятнее становилось, что Ассоциация торговцев спиртным не способна подпереть его мужской фасад, и, проснувшись в кресле на третье утро после их исчезновения, я готов был заявить под присягой, что в ту ночь, глядя на нее и на него в своей гостиной, обнаружил у себя колоссальную эрекцию — одну из тех, какие мы вспоминаем с особенной городостью, — и осознание этого достижения оказалось таким настойчивым, что я рискнул расстегнуть ширинку и вывалить свой инструмент прямо в уток и основу долгой и напряженной — правильным словом будет "чреватой" — тишины. Да, я вынул его и продемонстрировал им, точно шестилетний ребенок или счастливый псих, и сказал: "Ну, кто возьмет первый?" — катастрофическая выходка, так как, скорей всего, взорваться грозило не моему фаллосу, а нашей вечеринке, но если память не подводит меня, она встала с места, опустила свою белокурую голову мне на колени и взяла мой член своими красными губами, а Лонни испустил возглас, в котором было столько же восторга, сколько и чистой муки.

Затем мы, похоже, снова очутились в "порше" — нас вдруг понесло в Уэлфлит. По дороге я остановил автомобиль в лесу (дом Гарпо был уже близко) и занялся с ней любовью на переднем крыле — да-да, потому что в это утро, проснувшись у себя в кабинете на четвертом этаже и вспомнив все это, я словно вновь ощутил, как смыкаются вокруг моего чудовищно разбухшего в ту ночь члена стенки ее влагалища. Как я, должно быть, ее отхарил! Прочь память о Пэтти Ларейн! Нас с Джессикой будто сделали в какой-то небесной мастерской: наши интимные части были идеально пригнаны друг к другу, прямо-таки неразделимы, а бедняге Лонни оставалось только смотреть! Если не ошибаюсь, он плакал, а я никогда раньше не чувствовал себя таким зверем. Его страдания были

точно кровь для моего пещеристого тела. Вот как я жаждал любви через три с половиной недели после ухода своей жены.

Потом мы втроем опять разговаривали в машине. Он сказал, что ему надо остаться с Джессикой наедине, что ему надо поговорить с ней — дам я им поговорить? Он взывал к моей порядочности: позволю я им поговорить?

"Да, — ответил я, — но после этого мы проведем спиритический сеанс". Не знаю, почему это взбрело мне в голову. "Спорим, — сказал я, — она все равно будет моя после вашего разговора". И я помню, как взбирался по лестнице к Гарпо, помню и наколку — да, Гарпо мурлыкал себе под нос, орудуя иглами, и его славное помятое лицо было сосредоточенным, как у белошвейки, а потом... нет, я не мог вспомнить, как останавливался в трурском лесу, чтобы показать им свою делянку с коноплей, но это должно было произойти; да, теперь невозможно было представить, чтобы я этого не сделал.

Что же случилось потом? Оставил я ее наедине с ним или нет? В это утро мои любовные амбиции явно перевешивались соображениями личной выгоды. Теперь я надеялся, что оставил ее с ним и что это была ее голова — тут и кончалось мое настоянное на марихуане преклонение перед чудо-сиповкой! — да, именно ее голову желал я найти в лесном тайнике. Потому что если убита Джессика — а я был в этом почти уверен, — тогда я мог бы обнаружить и другие следы. Если он убил ее в каком-нибудь мотеле и притащил тело (или только голову?) обратно на мой участок, то на обочине песчаной дороги должны были остаться следы колес. Можно проехать мимо его машины, где бы она сейчас ни стояла, и взглянуть на шины — наконец-то я стал рассуждать как сыщик; и все это, как я начал вскоре осознавать, было стремлением втащить мою душу вверх по высокой отвесной стене моего страха, благодаря чему я ощутил-таки себя достаточно сильным — да, достаточно собранным для того, чтобы мысленно предпринять свою вылазку во второй раз, а затем, по-настоящему, — в первый. Таким образом, проснувшись в кресле в восемь часов утра, освеженный воспоминаниями о плотских радостях с Джессикой, я обращал каждый вызванный очередной похотливой мыслью выброс адреналина на службу своей силе воли, призванной вытащить меня из трясины. И это заняло весь день, до самого вечера. Мне совсем не хотелось ехать туда в темноте, но я не мог ничего поделать. В течение долгих часов моя воля молчала, и я сидел в кресле или бродил по пляжу во время отлива, маясь так, словно мне вновь предстояло лезть на Обелиск. Однако вечером я снова принудил себя вернуться на то место, где был почти двадцать четыре часа назад, когда в мою дверь постучался Ридженси, а потом снова сел в "порше", хотя меня глодала мысль, что, избавившись от Джессики, Пангборн залез в мою машину и испачкал сиденье остатками ее крови — удастся ли мне когда-нибудь доказать это? — и поехал туда, в лес, поставил машину у дороги, пошел по тропе и с сердцем, бухающим, как таран во врата собора, залитый потом, который бил из меня несякнущими ключами, разыскал в туманном вечернем сумраке свой камень, отвалил его в сторону, запустил внутрь руку и вынул ее ни с чем. Не могу описать вам, как я обыскивал этот тайник. Я едва не прожег своим фонарем дырку в земле, но там был только сундучок и ничего больше. Голова пропала. Остался лишь сундучок с банками марихуаны. Я сбежал из этих лесов прежде, чем собирающиеся вокруг призраки взяли меня в кольцо.

Глава пятая

Однако к тому времени, как я выбрался на шоссе, моя паника улеглась. Хотя, просыпаясь наутро после попойки, я частенько думал, что пора связать себя обещанием вовсе не выходить из дому (так мало я помнил о том, что делал накануне), на сей раз мне казалось, что с того вечера во "Вдовьей дорожке" я — несмотря на все мое смятение — больше не лишался памяти. А если так, значит, голову блондинки вынул из тайника не я. Это совершил кто-то другой. Вполне могло быть, что и убийство — не моих рук дело.

Конечно, я не мог поклясться, что провел все ночи, не вылезая из постели. С другой стороны, никто никогда не замечал, чтобы я ходил во сне. Словно шорох моря, когда прилив сменяется отливом (если ваше ухо способно его расслышать), ко мне начала возвращаться уверенность — или, если угодно, даже вера — в то, что я еще не растерял остатки везения (именно такое чувство притягивает человека обратно к игорному столу).

В моем случае было бы нахальством рассчитывать на то, что я смогу вернуться домой и заснуть относительно трезвым. Однако мне это удалось, что поутру было воспринято мною как маленькое чудо. Конечно, я лег в постель с определенной целью — а именно решить (в самых глубоких областях сна), стоит мне пытаться увидеть Мадлен или нет. Готовность, с которой я отправился на диван, и то, каким крепким был мой сон, свидетельствовали о моем желании получить ответ на этот вопрос.

К утру проблема была решена. Сегодня, на Двадцать восьмой день после ухода Пэтти Ларейн, я должен увидеться с Мадлен. Все прочее может обождать. Я позавтракал и вымыл миску своего пса, заметив, что его страх передо мной сменила величайшая настороженность. На этой неделе он держался от меня поодаль. Однако прежде чем позволить себе задуматься над потерей его дружбы и тем рискнуть испортить себе настроение, я взял телефонную книгу Кейп-Кода и нашел номер Элвина Лютера Ридженси в городе Барнстабле.

Было девять часов, подходящее время для звонка. Ридженси либо уже одолел пятьдесят миль дороги до Провинстауна, либо был еще в пути.

Я не ошибся. Трубку взяла Мадлен. Я понял, что она одна.

— Алло, — сказала она. Да, больше там никого не было. Ее голос звучал ровно. Когда с ней в комнате находился кто-то еще, это всегда чувствовалось по ее интонации.

Я помолчал, давая ей время подготовиться. Затем сказал:

— Говорят, ты передавала мне привет.

— Тим.

— Да, это Тим.

— Герой моей жизни, — сказала она. Это было произнесено с насмешливой ноткой, которой я уже давненько не слышал. Вместо этого она вполне могла бы сказать: "Ну да — вроде припоминаю тот маленький эпизод". Ее голос всегда был богат оттенками.

— Как дела? — спросил я.

— Нормально, — сказала она. — Но привета я тебе, по-моему, не передавала.

— И все же я его получил.

— Да, это Тим, — сказала она, — о господи! — словно поняла это только теперь, со второго раза. Да, Тим — звонит по телефону через столько лет. — Нет, пусик, — сказала она, — никаких приветов я не передавала.

— Я слышал, ты замужем.

— Да.

Мы помолчали. Был миг, когда я почувствовал, как в ней зреет желание положить трубку, и у меня на загривке выступил пот. Если бы она это сделала, были бы разбиты все надежды, возлагаемые мной на этот день, но инстинкт велел мне не нарушать тишины.

— Где ты живешь? — наконец спросила она.

— Ты хочешь сказать, что не знаешь?

— Эй, дружок, — отозвалась она, — у нас что, игра в вопросы? Да, не знаю.

— Пожалуйста, душа моя, не груби.

— Пошел ты. Я здесь сижу, собираюсь с мыслями, — по всей видимости, я оторвал ее от первой утренней сигареты с марихуаной, — и тут нате вам, звонит, точно мы вчера расстались.

— Погоди-ка, — сказал я, — ты разве не знаешь, что я живу в Провинстауне?

— Я там никого не знаю. И судя по тому, что каждый день слышу, не много потеряла.

— Это верно, — сказал я. — С каждым боем часов твой муж берет за хобот еще одного из твоих старых друзей-торговцев.

— Ну не ужас ли? — откликнулась она. — Как по-твоему?

— Зачем ты вышла за легаша?

— У тебя монетки еще не кончились? Попробуй перевести оплату на меня. — Она повесила трубку.

Я сел в машину.

Я должен был увидеть ее. Дуть на тлеющие угольки старого романа — это одно, а чувствовать обещание ответа — совсем другое. В это мгновенье я прозрел самую суть неодолимой тяги. Неудивительно, что мы не выносим вопросов, на которые нет ответов. Они чернеют в мозгу, словно огромные котлованы для так и не воздвигнутых зданий. В них скапливается все мокрое, гнилое и мертвое. Сосчитайте дупла у себя в зубах — их будет столько же, сколько навязчивых мыслей, заставляющих вас уходить в запой. А потому сомнений не было. Я должен был увидеть ее.

Какую скорость я развил на шоссе! Этот день был создан для меня. Сразу за околицей Провинстауна начались дюны — тусклое ноябрьское солнце освещало их своими бледными лучами, и они походили на райские холмы. Ветер взметал песок, осеняя гряды дюн ангельской светлой дымкой, а с противоположной стороны дороги, вдоль залива, выстроилась череда маленьких белых домишек для летней публики — они лепились друг к другу, как конуры в собачьем питомнике. Заколоченные окна придавали им молчаливый и несколько обиженный вид, но и деревья тоже стояли голые, а их выдубленная кора напоминала цветом шкуру зверей, переживших долгую зиму на очень скудном пайке.

Я решил сделать ставку на везение и разогнался так, что непременно угодил бы в тюрьму, попадись мне на пути коп с радаром. Однако как следует насладиться этой гонкой мне не пришлось, поскольку довольно скоро я сообразил, что Барнстабл городок маленький и человека в "порше", спрашивающего дорогу к дому Ридженси, обязательно запомнят, а я не хотел, чтобы нынче вечером соседи поинтересовались у Элвина

Лютера, кто из его приятелей оставлял свою спортивную машину в трехстах ярдах от его двери. Зимой в этой части полуострова люди подозрительны и чутки, как птицы, дисциплинированны, как продавцы в магазине, — они записывают номера незнакомых автомобилей. Чужаков они опасаются. Поэтому я остановился в Хайянисе и взял в прокат безымянный пузырь мышиного цвета, кажется, "галакси", а может, "катласс"? — да, наверное, "катласс", но не важно, — и моего приподнятого настроения даже хватило на то, чтобы пошутить с дурехой за стойкой "Херца"[1] насчет вездесущности наших американских авто. Она, похоже, решила, что я накачался ЛСД. Долго разглядывала мою кредитную карточку, заставила меня перетерпеть потогонную десятиминутную паузу, добывая сведения по телефону, и лишь потом отдала карточку обратно. Это дало мне шанс поразмыслить о состоянии своих финансов. Уезжая, Пэтти Ларейн сняла с нашего текущего счета все деньги и аннулировала мою "Визу", "Мастер-кард" и "Американ-экспресс", что я обнаружил на следующей же неделе. Но у мужей моего сорта бывают источники, которые не под силу заткнуть наглухо даже женам вроде Пэтти Ларейн, и она проглядела мою "Дайнерс клаб", которую я регулярно продлевал, но никогда не использовал. Теперь эта карточка обеспечивала меня едой, выпивкой, бензином, дала возможность снять эту машину, и — ведь миновал уже почти месяц — рано или поздно Пэтти Ларейн должна была получить из нашего захолустья стопку-другую счетов. Затем, когда она перекроет и это русло, мне придется задуматься о том, где взять денег. Пока меня это не волновало. В крайнем случае продам мебель. Деньги были игрой, которой увлекались другие и участия в которой я всегда старался избегать, имея их ровно столько, чтобы можно было себе это позволить. Обычно подобным заявлениям никто не верит, но знаете ли — я себе верю.

Впрочем, все это отклонение от темы. Чем ближе я подъезжал к Барнстаблу, тем больше опасений вызывали у меня мысли о том, куда я денусь, если Мадлен не впустит меня к себе. Однако эти страхи вытеснила необходимость решить, как разыскать нужное место. В здешних районах это не такая уж простая задача. За последний десяток лет окрестности Барнстабла превратились в сеть свежеасфальтированных дорог и жилых кварталов, недавно выстроенных среди равнин, которые прежде были сплошь покрыты зарослями карликовой сосны. Даже старожилам не всегда бывают известны названия новых улиц, расположенных в двух шагах от их собственного дома. Поэтому я предусмотрительно заглянул в контору по продаже недвижимости в Хайянисе, где висела большая современная карта округа, и отыскал улицу с домом Элвина Лютера. Как я и подозревал, ее длина (если судить по карте) не превышала и сотни ярдов; это была одна из шести параллельных, почти одинаковых улочек, вырастающих из основной дороги, как соски у свиноматки, или, если подобрать более мягкое сравнение, как шесть цилиндров рядного двигателя, которым была оснащена моя взятая напрокат машина. Тупичок, ведущий к его дому, завершался круглой площадкой — мимо не проедешь, — где как раз хватило бы места развернуться. Вокруг нее стояли пять идентичных, высокомодернизированных деревянных домов стандартного для Кейп-Кода типа, каждый со своей сосной на лужайке, асбестовой кровлей и комплектом пластмассовых сточных желобов, выкра-

1. "Херц" — одна из крупнейших общенациональных фирм по прокату автомобилей.

шенных в разные цвета почтовых ящиков, мусорных баков, трехколесных мотоциклов на траве — я остановился чуть не доезжая до этой площадки.

Сделать пятьдесят ненужных шагов до ее двери значило неизбежно привлечь к себе внимание. Мне вряд ли удалось бы дойти туда, позвонить, а потом вернуться к машине, не попавшись никому на глаза. Однако еще хуже было бы поставить автомобиль перед другим домом и тем возбудить подозрения владельца. Каким одиночеством веяло в этом оазисе среди печальных карликовых сосен! Я подумал о старых индейских могилах, которые когда-то, наверное, были разбросаны по этим густо заросшим равнинам. Конечно, Мадлен всегда хорошо принимала мрачное окружение, соответствующее ее упадкам духа, — оно помогало ей воспрянуть снова. А вот жить в доме вроде нашего, где иногда болезненно диссонируешь с веселой пестротой интерьера, — нет, для Мадлен вряд ли можно было придумать что-нибудь хуже.

Я нажал кнопку звонка.

Только заслышав ее шаги, я позволил себе твердо поверить в то, что Мадлен дома. Она задрожала, едва увидев меня. Я ощутил ее волнение так ясно, как будто она выразила его словами. Она была обрадована, разгневана, но не удивлена. Она успела накраситься, благодаря чему я понял (поскольку обычно она не накладывала на лицо косметику до самого вечера), что она ждала посетителя. Несомненно, этим посетителем был я.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы меня приняли с распростертыми объятиями.

— Вот дурень, — сказала она, — примерно такой выходки я от тебя и ожидала.

— Мадлен, если ты не хотела, чтобы я приезжал, не надо было вешать трубку.

— Я тебе перезвонила. Никто не ответил.

— Нашла мое имя в справочнике?

— Не твое, а *ее*. — Она оглядела меня. — Жизнь на чужих харчах тебе явно не на пользу, — сказала она, закончив осмотр.

Мадлен несколько лет проработала хозяйкой в хорошем нью-йоркском бар-ресторане и не любит, когда ее выводят из равновесия. Дрожать она перестала, но голос ее звучал так, словно не совсем ей подчинялся.

— Прими, пожалуйста, к сведению, — сказала она, — что, если ты проведешь здесь больше пяти минут, соседи начнут звонить друг другу и выяснять, кто ты такой. — Она бросила взгляд в окно. — Ты пришел пешком?

— Моя машина на дороге.

— Гениально. Лучше уходи сразу. Ты просто спрашивал, как проехать, о'кей?

— Что это за соседи, которых ты так уважаешь?

— Слева живет семья полицейского, а справа двое пенсионеров, мистер и миссис Язва.

— А я думал, может, тут рядом твои старые друзья из мафии.

— Да, Мадден, — сказала она, — десять лет прошло, а воспитания у тебя не прибавилось.

— Я хочу с тобой поговорить.

— Давай лучше снимем номер в Бостоне, — сказала она. Это был вежливый вариант пожелания, чтобы я катился ко всем чертям.

— Я тебя до сих пор люблю, — сказал я.

Она заплакала.

— Негодяй, — сказала она. — Подлец чистой воды.

Я хотел обнять ее. Хотел, коли уж говорить правду, сразу же затащить ее в постель, но момент был неподходящий. Уж это я за десять лет научился различать.

— Входи, — сказала она. — Садись.

Ее гостиная была под стать дому. Потолок, как в соборе, фабричная панельная облицовка, ковер из какой-то синтетики и уйма мебели, явно перекочевавшей сюда из торгового пассажа в Хайянисе. Ничего ее собственного. Что ж, понятно. Она уделяла много внимания своему телу, одежде, косметике, голосу и мимике своего лица, похожего формой на сердце. Легчайшим изгибом губ она могла выразить любой нужный ей оттенок сарказма, презрения, таинственности, нежности или осведомленности. Среди брюнеток она была произведением искусства, созданным ею самой. Все это касалось лично Мадлен, но не ее окружения. Когда мы встретились впервые, она жила в такой унылой квартире, что описать ее значит повторить рассказ о доме Ниссена. Это было здорово. Мне досталась женщина, остающаяся королевой и в чертоге, и в шалаше. Однако это же было и одной из причин, по которым через несколько лет я устал от нее. Жить с итальянской королевой не легче, чем с еврейской принцессой.

Теперь я сказал:

— Все это покупал Элвин?

— Ты его так зовешь? Элвином?

— А ты как?

— Может, я зову его молодчиной, — сказала она.

— Вот молодчина и сообщил мне, что ты передаешь привет.

Она не успела скрыть удивление.

— Я никогда не называла ему твоего имени, — сказала она.

Пожалуй, это было правдой. В пору нашей совместной жизни она никогда не упоминала о тех, кто был до меня.

— Ага, — сказал я, — так от кого же твой муженек узнал, что мы знакомы?

— Подумай. Может, догадаешься.

— По-твоему, от Пэтти Ларейн?

Мадлен пожала плечами.

— Откуда ты знаешь, — спросил я, — что Пэтти Ларейн знает его?

— Он рассказал мне, как познакомился с вашей парочкой. Иногда он мне много чего рассказывает. Тут ведь жизнь скучная.

— Выходит, ты знала, что я в Провинстауне.

— Я забыла.

— Почему ты скучаешь? — спросил я.

Она качнула головой.

— У тебя двое сыновей. С ними наверняка хватает возни.

— О чем это ты?

Инстинкт не обманул меня. Я и не верил, что те дети живут в этом доме.

— Твой муж, — объяснил я, — показал мне снимок с тобой и двумя детьми.

— Это дети его брата. Своих у нас нет. Ты же знаешь, я не могу их иметь.

— Зачем он мне наврал?

— Он врун, — сказала Мадлен. — Чему удивляться? Копы есть копы.

— Ты говоришь так, будто он тебе не нравится.

— Он жестокий, нахрапистый сукин сын.

— Понятно.

— Но он мне нравится.

— Ага.

Она засмеялась. Потом заплакала.

— Извини, — сказала она и ушла в ванную, куда вела дверь из прихожей. Я оглядел гостиную. Здесь не было ни картин, ни гравюр, но одну стену занимали штук тридцать фотографий в рамках. На всех красовался Ридженси в разной форме: "зеленого берета", патрульного — других мундиров я не знал. На некоторых снимках он жал руку политикам и людям, похожим на государственных чиновников; среди них были двое, которых я отнес бы к птицам высокого полета из ФБР. Кое-где Ридженси принимал спортивные и памятные кубки, а кое-где, наоборот, вручал. Посередине была большая глянцевая фотография: Мадлен в бархатном платье с глубоким вырезом. Глаз не отвести.

На противоположной стене была коллекция оружия. Не знаю, насколько хорошая, — я не специалист, — но в нее входили три дробовика и десять винтовок. С одной стороны стоял стеклянный ящик, затянутый спереди железной сеткой, а в нем — подставка с двумя шестизарядными револьверами и тремя массивными пистолетами, которые я счел за "магнумы".

Поскольку она все не возвращалась, я быстро сбегал наверх и заглянул в хозяйскую спальню и спальню для гостей. Нашел там еще мебель из торгового пассажа. Везде порядок. Кровати застланы. Для Мадлен это было странно.

К уголку зеркала был прилеплен листок бумаги. На нем я прочел:

Месть – это блюдо, которое люди со вкусом едят холодным.

Старая итальянская поговорка

Почерк принадлежал ей.

Я успел спуститься за секунду до того, как она вышла из ванной.

— С тобой все в порядке? — спросил я.

Она кивнула. Села в одно кресло. Я устроился в другом.

— Привет, Тим, — сказала она.

Я не знал, можно ли ей доверять. Я только сейчас понял, как мне необходимо выговориться, но если бы Мадлен не оправдала своей репутации лучшей из тех, с кем можно разделить бремя, она почти наверняка оказалась бы худшей. Я сказал:

— Мадлен, я люблю тебя до сих пор.

— Дальше что? — отозвалась она.

— Почему ты вышла за Ридженси?

Зря я назвал его по фамилии. Она напряглась, точно я затронул самое существо их брака, но мне уже надоело звать его молодчиной.

— Ты сам виноват, — сказала она. — В конце концов, не надо было знакомить меня с Сутуликом.

Продолжать было не обязательно. Я знал, что она хочет сказать, и внутренне съежился. Однако удержаться она не смогла. Ее губы выпяти-

лись, неубедительно имитируя Пэтти Ларейн. Она была слишком зла. Подражание вышло утрированным.

— Вот так-то, — сказала Мадлен, — после Сутулика у меня появилась тяга к веселым крепким ребятам со слоновьими членами.

— Может, смешаешь выпить? — спросил я.

— Тебе пора идти. Я еще могу выдать тебя за страхового агента.

— Признайся уж, что боишься Ридженси.

Когда все было сказано, ею нетрудно становилось манипулировать. Ее гордость должна была остаться нетронутой. Поэтому она ответила:

— Он обозлится не на меня, а на тебя.

Я помолчал, пытаясь оценить степень ее гнева.

— По-твоему, он может здорово разойтись?

— Дружочек, он — не ты.

— То есть?

— Он *может* разойтись.

— Я не обрадуюсь, если он оттяпает мне голову.

На ее лице появилось изумление.

— Он тебе об этом рассказывал?

— Да, — соврал я.

— Вьетнам?

Я кивнул.

— Что ж, — сказала она, — если человек может обезглавить вьетконговца одним ударом мачете, с ним нельзя не считаться. — Сам этот поступок ее совершенно не ужасал. Отнюдь. Я вспомнил, каким всепоглощающим бывало у Мадлен чувство мести. Один или два раза знакомые задевали ее по поводам, которые казались мне пустяковыми. Она им этого так и не простила. Да, казнь во Вьетнаме гармонировала с глубинными очагами ее ненависти.

— Я так понимаю, что Пэтти Ларейн тебя не осчастливила, — сказала мне Мадлен.

— Да.

— Ушла от тебя месяц назад?

— Да.

— Ты хочешь, чтоб она вернулась?

— Я боюсь того, что могу натворить.

— Ну, ты сам ее выбрал. — На буфете стоял графинчик с виски; она взяла его, принесла два стакана и налила нам обоим по полдюйма напитка без воды и льда. Это был ритуал из прошлого. "Наше утреннее лекарство", — говорили мы тогда. Как прежде, так и теперь — она содрогнулась, отхлебнув из стакана.

"Как ты мог, черт побери, предпочесть ее мне?" — вот что Мадлен хотела сказать. Я слышал эти слова яснее, чем если бы она их произнесла.

Однако она никогда не задала бы этого вопроса вслух, и я был ей благодарен. Что я мог ответить? Следовало ли мне сказать: "Назови это вопросом сравнительной фелляции, моя дорогая. Ты, Мадлен, брала в рот с рыданием, со сладким стоном, точно обрекая себя на посмертные муки ада. Это было прекрасно, как Средние века. А Пэтти Ларейн, заводила болельщиков на школьных матчах, чуть не проглатывала тебя. Хоть и с врожденным мастерством. Все свелось к тому, чтобы решить, какая дама лучше — скромная или ненасытная. Я выбрал Пэтти Ларейн. Она была ненасытна, как старая добрая Америка, а я хотел натянуть на болт свою страну".

Впрочем, теперь у моей давно утраченной средневековой подруги появилась сердечная склонность к мужчинам, которые могут одним махом снести тебе голову.

Самым большим преимуществом жизни с Мадлен было то, что иногда мы сидели в одной комнате и слышали мысли друг друга так отчетливо, словно черпали их из общего колодца. Поэтому она все равно что услыхала мою последнюю непроизнесенную тираду. Я понял это, увидев, как сердито дрогнули ее губы. Когда Мадлен снова посмотрела на меня, она была полна ненависти.

— Я про тебя Элу не говорила, — сказала она.

— Так вот как ты его зовешь? — спросил я, чтобы немного охладить ее. — Элом?

— Заткнись, — сказала она. — Я не говорила ему о тебе, потому что в этом не было нужды. Он просто выжег тебя из меня. Ридженси — настоящий *самец*.

Так хлестнуть этим словом не смогла бы никакая иная женщина. Куда там Пэтти Ларейн.

— Да, — сказала Мадлен, — мы с тобой любили друг друга, но когда у меня завязался романчик с мистером Ридженси, он ставил мне по пять палок за ночь, и пятая была не хуже первой. Даже в твои лучшие дни тебе было далеко до мистера Пятерки. Вот как я его называю, дурак ты несчастный.

Эта речь причинила мне такую боль, что на глазах у меня помимо всякой воли выступили слезы. Это было все равно что терпеть, когда из твоей раны вычищают песок. Тем не менее в тот же миг я почувствовал, что снова бесповоротно влюбился в нее. Ее слова точно дали мне понять, где я должен искать опору на весь остаток жизни. Кроме того, они разбудили во мне гордость, которую я считал уже мертвой. Ибо я поклялся, что однажды ночью, дай только бог дожить, я сотру из ее памяти восхищение мистером Пятеркой.

Однако прежде чем я покинул Мадлен, наш разговор принял другое направление. Некоторое время мы сидели молча, и эта пауза затянулась. Может быть, только спустя полчаса на глазах у нее появились слезы и стали смывать тушь. Вскоре ей пришлось вытереть лицо.

— Тим, я хочу, чтобы ты ушел, — сказала она.

— Ладно. Я вернусь.

— Сначала позвони.

— Хорошо.

Она проводила меня до двери. Там она остановилась и сказала:

— Есть еще одна вещь, о которой тебе надо знать. — Она кивнула самой себе. — Но если я о ней скажу, ты захочешь остаться и поговорить.

— Обещаю, что не сделаю этого.

— Нет, ты нарушишь слово. Подожди, — сказала она, — подожди здесь, — она отошла к стоящему в гостиной двухтумбовому столу, торгово-пассажной подделке под колониальный стиль, написала на листке бумаги несколько слов, запечатала его и вернулась.

— Одно обещание ты уже дал, — сказала она. — Теперь я хочу, чтобы ты не читал этой записки, пока не проедешь больше половины пути до дома. Потом вскрой ее. Обдумай ее. Не звони мне, чтобы ее обсудить. Я говорю тебе то, что знаю. Не спрашивай, откуда я знаю.

— Это уже шесть обещаний, — заметил я.

— Мистер Шестерка, — сказала она, подошла ближе и прильнула своими губами к моим. Это был один из самых потрясающих поцелуев в моей жизни, хотя в нем было мало страсти. Однако мне передались вся ее глубокая нежность и весь кипящий в ней гнев — признаюсь, что я был ошарашен этой комбинацией, точно хороший боксер поймал меня на неожиданный хук слева и добавил крепчайший хук справа; это не слишком удачное описание для поцелуя, не дающее понятия о том, какой бальзам он пролил на мою душу, зато теперь вы можете себе представить, на каких резиновых ногах я шел обратно к машине.

Я сдержал шесть своих обещаний и вскрыл записку только после того, как отдал обратно арендованный в Хайянисе пузырь, сел в родной "порше" и доехал до самого Истема. Там я остановился на шоссе, чтобы прочесть ее сообщение, и это заняло три секунды. Я не стал звонить ей — просто перечитал записку снова. Вот ее текст: "У моего мужа роман с твоей женой. Поговорим об этом, когда ты будешь готов их убить".

Что ж, я снова завел "порше", но вас вряд ли удивит, что я не мог сконцентрировать внимание на дороге, а потому, завидев указатель Службы национальных парков — "Пляж Маркони", свернул на шоссе номер шесть и выехал к обрыву над Атлантическим океаном. Я оставил свои колеса на стоянке у конторы, добрел до невысокой дюны, сел там и, играя песком, задумался о колонистах: может быть, именно напротив этого мыса они повернули на север, чтобы обогнуть кончик Кейп-Кода и приплыть к Провинстауну? Разве нашел бы Маркони лучшее место, чтобы отправить через океанские просторы первое беспроволочное сообщение? Однако это были слишком далекие предметы, и я ощутил, как мои мысли расплываются; тогда я вздохнул и стал думать об иных беспроволочных сообщениях, которыми обменивались Жанна д'Арк и Жиль де Ре, Елизавета и Эссекс, царица и Распутин и, более скромным и умеренным образом, мы с Мадлен. Я сидел на вершине этого небольшого взгорка, и пересыпал песок из руки в руку, и пытался понять, что же изменила в общей ситуации моя встреча с Мадлен. Неужели все сводилось к Элвину Лютеру Ридженси?

Мне пришло в голову, что я лишь кое-как могу управиться с винтовкой и вряд ли — с пистолетом. А на кулаках я и вовсе дрался в последний раз пять лет назад. Из-за алкоголя и, в последнее время, курева мою печень, наверное, разнесло вдвое. Однако при мысли о схватке с Ридженси я почувствовал прилив старого боевого духа. Я не начинал уличным бойцом и полагал, что вряд ли кончу таковым, но несколько лет в промежутке, когда я работал в баре, научили меня кое-каким приемам, а в тюрьме эти знания удвоились — я хранил в памяти огромный перечень подлых уловок, — хотя это, собственно говоря, роли не играло. В уличных драках я стал под конец так звереть, что меня всегда приходилось оттаскивать. В моих жилах текла кровь отца, и я, кажется, унаследовал суть его кодекса. Крутые парни не танцуют.

Крутые парни не танцуют. На этой странной фразе моя память, словно корабль, огибающий маяк, чтобы войти в гавань, вернулась к моей юности, и я снова перенесся в год, когда мне исполнилось шестнадцать и я принял участие в турнире "Золотая перчатка". Это было очень далеко от той точки, где я находился сейчас с запиской Мадлен. Или не так уж далеко? В конце концов, именно в "Золотой перчатке" я впервые попытался причинить кому-то серьезный вред, и, сидя здесь, на истемском пляже, я заметил, что улыбаюсь. Ибо я снова увидел себя таким,

как раньше, а в шестнадцать лет я считал себя крутым парнем. Между прочим, мой отец был круче всех в нашем квартале. Хотя я даже тогда понимал, что с ним мне не сравняться, однако говорил себе, что достаточно похожу на него: ведь на втором году учебы меня уже взяли в университетскую футбольную команду. Это было большим достижением! И именно той зимой, после конца футбольного сезона, я стал испытывать по отношению к миру гордую враждебность, которую мне едва удавалось сдерживать. (Как раз в том году развелись мои родители.) Я стал ходить на занятия боксом поблизости от отцовского бара. Это было неизбежно. Будучи сыном Дуги Маддена, я не мог не записаться на матчи "Золотой перчатки".

Один мой экзетерский приятель, еврей, рассказывал, что худшим в его жизни был год перед его тринадцатилетием. Тогда он напряженно готовился к бар-мицве[1] и никогда не знал, ложась в постель, то ли он заснет, то ли будет бодрствовать, повторяя речь, которую ему полагалось следующей зимой произнести в синагоге перед двумя сотнями друзей семьи.

Это еще не так худо, поведал я ему, как первое выступление в "Перчатке". "Во-первых, — сказал я, — ты выходишь полуголый, а ведь никто тебя к этому не готовил. Там сидят пятьсот человек. И не всем ты нравишься. Они болеют за другого. Они смотрят на тебя критически. Потом ты видишь противника. Он кажется тебе сущим дьяволом".

"Что заставило тебя пойти туда?" — спросил мой приятель.

Я сказал ему правду. "Мне хотелось порадовать отца".

Руководимый таким похвальным намерением, я тем не менее здорово нервничал в раздевалке. (Кроме меня, там было еще пятнадцать ребят.) Все остальные, как и я, должны были выступать в синем углу. Рядом, за перегородкой, была раздевалка для пятнадцати выступающих в красном углу. Примерно каждые десять минут кто-то из нас выходил в зал, а кто-то возвращался. Ничто не сплачивает так быстро, как боязнь унижения. Мы не были знакомы, но по очереди желали друг другу удачи. Искренне. Каждые десять минут, как я уже сказал, один парень выходил, и сразу после этого входил предыдущий. Он был в восторге, если победа досталась ему, и в отчаянии, если проиграл, но по крайней мере для него все было уже кончено. Одного внесли на руках и вызвали врачей. Его послал в нокаут черный боксер с крепкой репутацией. В эту минуту я чуть не удрал с соревнований. Меня удержала только мысль об отце, сидящем в первом ряду. "Ладно, папа, — сказал я себе, — умру ради тебя".

Едва выйдя на ринг, я обнаружил, что для овладения культурой бокса требуются годы (в этом он не отличается от прочих культур), и немедленно потерял те незначительные навыки, которые у меня были. Я был так испуган, что не переставая молотил противника. Противник же мой, толстый негр, был испуган не меньше и тоже не останавливался. К первому удару гонга мы оба совершенно выдохлись. Сердце мое, казалось, вот-вот разорвется. Во втором раунде мы уже ничего не могли сделать. Мы стояли неподвижно, испепеляли друг друга взглядами, блокировали чужие выпады головой, так как слишком устали, чтобы уворачиваться, — легче было выдержать удар, чем нырнуть. Наверное, со стороны мы походили на двух докеров, которые так напились, что просто не могут драться. У обоих из носа текла кровь, и я слышал запах

1. Бар-мицва — обряд инициации у евреев, которому подвергаются мальчики в тринадцать лет.

его крови. Тем вечером я открыл, что кровь каждого человека пахнет по-своему, как и его пот. Это был кошмарный раунд. Возвращаясь в свой угол, я чувствовал себя перегруженным двигателем, который может заклинить в любой момент.

"Тебе надо поднажать, а то не выиграем", — сказал тренер. Он был приятелем моего отца.

Когда мне удалось совладать со своим голосом, я произнес как можно официальнее, словно уже учился в частной школе: "Если вы хотите прекратить бой, я это переживу". Однако его взгляд сказал мне, что он будет вспоминать эту фразу до конца жизни.

"Сынок, иди и вышиби из него мозги", — ответил мой тренер.

Прозвучал гонг. Он вставил мне капу и вытолкнул на середину ринга.

Теперь я дрался с отчаянием. Я хотел вытравить все следы своего предложения. Отец кричал так громко, что мне даже почудилось, будто я побеждаю. Бум! я налетел на бомбу. Это было похоже на полновесный удар по уху бейсбольной битой. Наверное, меня повело по всему рингу, потому что я видел соперника лишь урывками. Сначала я был в одном месте, потом сразу в другом.

Однако эта затрещина, видимо, раскупорила во мне новый источник адреналина. Мои ноги налились жизнью. Я принялся кружить и наносить удары по корпусу. Я прыгал, я нырял и бил по корпусу (с чего и надо было начинать). Наконец-то мне стало ясно: мой партнер понимает в боксе меньше, чем я! Как раз когда я примерялся, чтобы провести хук (ибо я заметил, что он неизменно опускает правую руку, стоит мне сделать ложный выпад левой ему в живот), — именно тут, разумеется, и прозвенел гонг. Бой кончился. Подняли его руку.

После этого, когда доброжелатели ушли и мы с отцом остались одни в соседнем кафе (у меня начинался второй прилив боли), Биг-Мак пробормотал: "Ты должен был победить".

"Если по-честному, то я и победил. Все так говорят".

"Это друзья, — он покачал головой. — Ты отдал последний раунд".

Ну нет — теперь, когда все кончилось и я проиграл, я считал, что выиграл. "Все сказали, что я здорово выдержал тот удар и не перестал двигаться".

"Друзья". Он повторил свой ответ похоронным тоном; можно было подумать, будто национальное проклятие ирландцев — это именно друзья, а не выпивка.

Меня никогда так не тянуло спорить с отцом. Нет ничего тоскливей, чем сидеть с измочаленным рассудком, торсом и конечностями, чувствовать во всем теле жаркий свинец, а в душе — цепенящий холод при мысли о том, что ты проиграл бой, который, по словам друзей, у тебя украли. Поэтому я сказал своими распухшими губами (наверное, ни разу больше я не изображал из себя перед ним такого петуха): "Моя ошибка была в том, что я не танцевал. Мне надо было выскочить с ударом гонга и сунуть ему. Потом уйти: Бац! Бац! Уход, — продолжал я, показывая руками, — и обойти кругом. Потом опять джеб, и танцевать, чтобы не достал, кружить и танцевать, и по корпусу! По корпусу! — я кивнул, вдохновленный этим тактическим планом. — А когда бы он вымотался, я бы его свалил".

Лицо моего отца оставалось бесстрастным. "Помнишь, кто такой Фрэнк Костелло?" — спросил он.

"Главарь мафии", — восхищенно ответил я.

"Однажды вечером Фрэнк Костелло сидел в ночном клубе со своей подружкой, славной блондинкой, а еще за его столиком сидели Роки Марсиано, Тони Канцонери и Грузовик Тони Галенто. В зале сплошь итальянцы, – сказал мой отец. – Играет оркестр. И вот Фрэнк говорит Галенто: "Эй, Грузовик, – я хочу, чтобы ты потанцевал с Глорией". Галенто нервничает. Кому охота танцевать с девушкой большого человека? А если ты ей понравишься? "Слушайте, мистер Костелло, – говорит Грузовик Тони, – вы же знаете, я не танцую". "Поставь пиво, – говорит Фрэнк, – и двигай. У тебя все получится". Тогда Грузовик Тони встает и водит Глорию посреди зала на расстоянии вытянутой руки, а когда он возвращается, Костелло говорит то же самое Канцонери, и тому приходится выйти с Глорией. Потом настает очередь Роки. Марсиано считает, что он тоже фигура и имеет право называть Костелло по имени, а потому говорит: "Мистер Фрэнк, мы, тяжеловесы, не очень-то хороши на балу". – "Иди, поработай ногами", – отвечает Костелло. Пока Роки танцует, Глория улучает момент, чтобы шепнуть ему на ухо: "Чемпион, сделай одолжение. Упроси дядюшку Фрэнка выйти со мной на круг".

Ну вот, номер кончается, и Роки ведет ее назад. Он чувствует себя получше, и остальные уже не так нервничают. Они начинают подшучивать над боссом, очень осторожно, понимаешь, просто легкое безобидное поддразнивание. "Эй, мистер Костелло, – говорят они, – мистер К., выходите, станцуйте со своей девушкой!" – "Прошу вас, – говорит Глория, – пожалуйста!" – "Ваша очередь, мистер Фрэнк", – продолжают они. Костелло, – сказал мне отец, – качает головой. "Крутые парни, – говорит он, – не танцуют".

У моего отца было в запасе примерно пять таких фраз, и он никогда не произносил их, если в этом не было нужды. "Inter faeces et urinam nascimur" стала последней и самой печальной, тогда как "Не болтай – обезветришь парус" всегда была наиболее жизнерадостной, но в пору моей юности доминантой была фраза "Крутые парни не танцуют".

В шестнадцать лет я, ирландец-полукровка с Лонг-Айленда, ничего не знал о мастерах дзэна и об их коанах[1], иначе я назвал бы это отцовское выражение коаном, так как не понимал его, но оно оставалось со мной; взрослея, я находил в нем все больше смысла, и вот теперь, сидя на истемском пляже и наблюдая за волнами, разбивающимися о берег после трехтысячемильной пробежки, задумался о странной эрозии своего характера, вызванной жизнью с Пэтти Ларейн. Вполне естественно, что я ощутил прилив жалости к себе и решил, что надо либо взглянуть на мой коан под новым углом, либо вовсе перестать думать о нем.

Конечно, отец имел в виду нечто более глубокое, чем просто совет крепко стоять на ногах в минуту опасности, нечто более тонкое, чего он не мог или не хотел выразить, но его девиз остался со мной. Пожалуй, это было даже что-то вроде клятвы. Не упустил ли я какой-нибудь важный принцип, на котором могла выкристаллизоваться его философия?

Именно в этот миг я заметил человека, идущего ко мне вдоль пляжа. Чем ближе он подходил, тем больше я его узнавал, и моя поглощенность собой начала отступать в тень.

Это был высокий, но не угрожающего вида мужчина. Откровенно говоря, он был толстоват и рисковал в ближайшем будущем стать похожим на грушу, так как его узкие плечи и солидное брюшко остались бы с ним

1. Коан – парадоксальная фраза, служащая в дзэн-буддизме объектом медитации.

при любом весе. И шел он по песку как-то комично. Он был хорошо одет: темно-серый фланелевый костюм, полосатая сорочка с белым воротником, клубный галстук, в нагрудном кармане — маленький красный платочек, а на руке сложенное пальто из верблюжьей шерсти. В другой руке он держал туфли, снятые во избежание повреждений, и ступал по ноябрьскому песку в одних пестрых носках. Из-за этого шаг у него получался легким, гарцующим, как у скакуна-медалиста на мокрой мостовой.

— Как поживаешь, Тим? — сказал мне этот человек.

— Уодли! — Я был вдвойне ошеломлен. Во-первых, потому что он так пополнел — когда я видел его в последний раз, на бракоразводном процессе, он был худощав, — а во-вторых, из-за того, что мы встретились на истемском пляже, куда я не забредал уже лет пять.

Уодли наклонился и сунул руку примерно в том направлении, где я сидел.

— Тим, — сказал он, — ты, конечно, вел себя как последний подонок, но имей в виду, я на тебя зла не держу. Друзья, знаешь ли, не дают забыть, что жизнь для этого чересчур коротка.

Я пожал ему руку. Раз он выразил такое желание, я не видел возможности отказаться. В конце концов, его жена наткнулась на меня в одном из баров Тампы, когда я крепко сидел на мели, дала мне работу шофера, уложила с собой в постель прямо под его носом, возобновив таким образом романтическую связь, возникшую между нами в Северной Каролине, а потом довела дело до того, что я стал всерьез обдумывать, как его прикончить. Избежав этого, я тем не менее дал показания против него на суде, заявив под присягой (и это было отчасти правдой), что он уговаривал меня свидетельствовать против нее за приличную мзду. Я добавил, что он предлагал мне увезти Пэтти Ларейн в дом в Ки-Уэсте, куда он собирался нагрянуть с сыщиком и фотографом. Это было не совсем так. Он просто рассматривал вслух такую возможность. Еще я сообщил, что он просил меня соблазнить ее, чтобы потом дать показания в его пользу, и это было уже чистое лжесвидетельство. Пожалуй, мое выступление помогло Пэтти Ларейн не меньше, чем ее адвокат со своим видеотренингом. Защитники Уодли определенно считали меня главным свидетелем другой стороны и сделали все, чтобы очернить меня как бывшего заключенного и пляжного тунеядца. Этого следовало ожидать, но разве это искупало мою собственную вину? Все время, пока я работал у него шофером, Уодли обращался со мной как с приятелем по Экзетеру, переживающим черную полосу. Я же отплатил ему явно не лучшим образом.

— Да, — сказал он, — сначала я и впрямь обиделся, но Микс частенько говорил мне: "Уодли, никогда не жалей себя. Это чувство не для нашей семьи". Надеюсь, что теперь Микса вымачивают в котлах с дегтем, но какая разница. Когда тебе дают хороший совет, к нему надо прислушаться.

У Уодли был совершенно невообразимый голос. Позже я опишу этот голос, но сейчас надо мной нависло его лицо. Подобно многим неуклюжим людям, он имел привычку нагибаться к сидящему собеседнику, так что его физиономия маячила прямо перед вашей и вы начинали опасаться, что он вот-вот оросит вас своей патрицианской слюной. На солнце, особенно с близкого расстояния, он выглядел как щедрая порция застывшей овсянки. Если бы не его одежда, он казался бы придурковатым, потому что его жидкие темные волосы были прямыми, а чертам лица недоставало четкости, силы и завершенности, но глаза у него были

поразительные. Очень блестящие, они обладали странным свойством вспыхивать в ответ на чужую реплику, чуть не вылезая из орбит, точно сам Сатана тыкал в Уодли корявым пальцем.

Так что взгляд его завораживал. У него была манера упорно смотреть вам в лицо, словно он впервые нашел на белом свете хотя бы отдаленно родственную себе душу.

И потом, голос. Мой отец возненавидел бы его сразу. Голос Уодли был эталоном божественной благопристойности. Все, что Бог недодал ему в других отношениях, восполнялось его дифтонгами. Эти дифтонги вогнали бы в краску любого сноба.

Если я так долго описываю своего старого школьного приятеля, то в этом виноват испытанный мною шок. Всю жизнь я верил в необъяснимые совпадения и даже впадал в крайность, считая, что их всегда следует ожидать в необычных или тяжелых обстоятельствах, — это странное, но глубокое убеждение я прокомментирую после. Однако то, что Уодли вздумал появиться на этом пляже... нет, для начала я поискал бы какую-нибудь рациональную причину.

— Просто чудо, что ты здесь, — помимо воли вырвалось у меня.

Он кивнул:

— Я верю в случайные встречи. Будь у меня свое божество, его звали бы Интуитивным Прозрением.

— Ты вроде как рад видеть меня.

Он поразмыслил над этим, глядя мне прямо в глаза.

— Знаешь, — сказал он, — в общем и целом, пожалуй что да.

— Хороший у тебя характер, Уодли. Садись.

Он послушался, что принесло мне облегчение. Не мог же я смотреть на него в упор до бесконечности. Однако его ляжка, раздувшаяся, как и все остальное, приткнулась к моей — большой, мягкий, приятный на ощупь физический объект. По правде говоря, если бы на моем месте оказался человек с соответствующей склонностью, он схватил бы его за эту ляжку и т. д. В его плоти ощущалась особого рода зрелая пассивность, которая прямо-таки провоцировала на насилие. В тюрьме, вспомнил я, его прозвали "герцогом Виндзорским". Я слыхал, как заключенные говаривали об Уодли: "А, герцог Виндзорский. У него очко с помойное ведро".

— Ты какой-то замотанный, — пробормотал Уодли.

Я пропустил это мимо ушей и в свою очередь спросил:

— И давно ты в этих краях? — Под "этими краями" могли подразумеваться пляж Маркони, Истем, Кейп-Код, Новая Англия и, коли на то пошло, даже весь Нью-Йорк и Филадельфия, но он только отмахнулся.

— Давай потолкуем о вещах поважнее, — сказал он.

— Это проще.

— Проще, Мак, тут ты прав. Я сколько раз говорил... то есть повторял Пэтти Ларейн: "У Тима в крови тяга к хорошим манерам. Как и ты, он рубит правду-матку. Но всегда придает ей самое благопристойное обличье". Пытался, понимаешь, исподволь воспитывать эту упрямицу. Намекал ей, как надо себя вести. — Он рассмеялся с наслаждением, свойственным богачам, которые всю жизнь смеются вслух наедине с собой; смех этих людей выдает не только их одиночество, но и их глубокий индивидуализм, точно им наплевать, сколько ужасающих каверн и пробок в их душевной системе может открыться постороннему взору. Свобода быть самими собой для них дороже всего остального.

Когда он кончил смеяться, а я начал думать, что́ могло его так развеселить, он сказал:

— Поскольку для тебя, меня и Пэтти такие вопросы уже не внове, позволь мне быть кратким. Как ты смотришь на то, чтобы ее пришить? — Он произнес это с восторгом, словно предлагал мне украсть бриллиант "Кохинор".

— Совсем?

— А как же.

— Да уж, на обиняки ты времени не тратишь.

— Это мне тоже советовал отец. Говорил: "Чем важней дело, тем скорее надо выносить его на обсуждение. Иначе на тебя начнет давить сама его важность. Тогда и до сути не доберешься".

— Наверно, твой отец был прав.

— Разумеется.

Он явно полагал, что реализацию его идеи я должен взять целиком на себя.

— Интересно, — сказал я, — какова же цена?

— Сколько ты хочешь?

— Пэтти Ларейн обещала мне золотые горы, — сказал я. — "Только избавься от этого чертова гомика, — говорила она, — и получишь половину всего, что мне достанется". — Своей грубостью я хотел задеть его за живое. Меня разозлил его комплимент насчет моих хороших манер. Слишком откровенная лесть. Поэтому я решил проверить, затянулись ли его старые раны. Мне думалось, что нет. Он быстро сморгнул, точно удерживая короткую эмоциональную дистанцию перед возможными непрошеными слезами, и сказал:

— Любопытно, не говорит ли она сейчас чего-нибудь столь же приятного и в твой адрес.

Я засмеялся. Не совладал с собой. Я всегда считал, что после того, как мы расстанемся, Пэтти будет относиться ко мне лучше, чем прежде, но это и впрямь могло быть чересчур вольным допущением.

— Она тебе что-нибудь завещала? — спросил он.

— Не имею понятия.

— Ты достаточно ее ненавидишь, чтобы сделать дело?

— В пять раз сильнее.

Я сказал это немедля. Пустой пляж позволял говорить все что хочешь. Но потом меня озадачило произнесенное число. Выразил ли я свои настоящие чувства, или это было лишь эхом оскорбительного заявления Мадлен Фолко о том, что ее муж Ридженси каждую ночь пятикратно извергается в некогда обожаемый мною храм? Подобно боксеру, я страдал от обмена свирепыми ударами, состоявшегося несколько часов тому назад.

— Я слышал, — произнес Уодли, — что Пэтти дурно с тобой обошлась.

— Можно сказать и так, — ответил я.

— У тебя побитый вид. Не верится, что тебе это по силам.

— Ты абсолютно прав.

— Лучше бы я ошибался.

— А почему бы тебе *самому* этого не сделать? — спросил я.

— Тим, ты мне в жизни не поверишь.

— Все равно ответь. Может, я вычислю правду, сравнивая ложь разных людей.

— Красивая мысль.

— Это не моя. Льва Троцкого.

— Надо же. А я бы скорей погрешил на Рональда Фербэнка[1].

— Где теперь Пэтти Ларейн? — спросил я.

— Недалеко. Можешь быть уверен.

— Почем ты знаешь?

— Мы с ней боремся за покупку одной и той же недвижимости.

— Так ты хочешь убить ее или обойти в бизнесе?

— Как получится, — сказал он, шутовски блеснув белками. Уж не пытался ли он подражать Уильяму Ф. Бакли-младшему[2]?

— Но ты хотел бы, чтобы она умерла? — настаивал я.

— Не от моей руки.

— Почему?

— Ты мне просто не поверишь. Я хочу, чтобы она взглянула в глаза своему убийце и все поняла не так. Не хочу, чтобы в последний миг она увидела меня и сказала: "А, старина Уодли пришел получить должок". Уж больно это было бы для нее легко. Она умерла бы спокойно. Зная, кого пугать по ночам, когда наладит свой быт по ту сторону. А меня ведь найти нетрудно. Поверь мне, я предпочитаю, чтобы она рассталась с жизнью в полном смятении. "Как Тим мог на это решиться? — спросит она себя. — Неужто я его недооценила?"

— Ты прелесть.

— Ну вот, — сказал он, — я знал, что ты меня не поймешь. Впрочем, это неудивительно, если учесть, как давно мы не виделись.

Он уже повернулся ко мне настолько, что его глаза снова уперлись в мои. Вдобавок ко всему его дыхание было не слишком ароматным.

— Но если ты обскачешь ее на покупке недвижимости, — сказал я, — она догадается, что это ты ей мстишь.

— Догадается. Я этого хочу. Хочу, чтобы мои живые враги обо мне помнили. Чтобы каждую секунду у них в голове свербило: да, да, это Уодли нам такое устроил. Смерть — другое дело. Туда они должны отправляться в смятении.

Я вряд ли отнесся бы к его словам серьезно, если бы в тюрьме он не убрал человека, который угрожал ему. Я был рядом, когда он нанимал убийцу, и его речи в тот день не особенно отличались от нынешних. Заключенные смеялись над ним, но только за его спиной.

— Расскажи мне об этой сделке, — попросил я.

— Поскольку твоя жена и я положили глаз на одну и ту же усадьбу, я не уверен, что стоит тебе рассказывать. Никто не знает, когда Пэтти Ларейн вернется и прижмет тебя к груди.

— Да, — сказал я, — в таком случае мне будет трудновато, — и подумал, как от Пэтти, наверное, будет разить и. о. шефа полиции Элвином Лютером Ридженси.

— Не надо бы тебе говорить. — Он помолчал, затем добавил: — Но меня тянет на откровенность, и я расскажу.

Теперь мне пришлось посмотреть в эти отталкивающе огромные, пытливые глаза.

— Я не хочу оскорблять твои чувства, Тим, но, по-моему, ты не до конца понял Пэтти Ларейн. Она прикидывается, будто ей плевать на то,

1. Рональд Фербэнк (1886–1926) — английский писатель, автор юмористических рассказов.
2. Уильям Ф. Бакли-младший — американский актер.

что мир о ней думает, но должен сказать тебе, что на самом деле она из того же теста, из какого слеплены флагманы человечества. Просто она слишком горда, чтобы упорно лезть по общественной лестнице. Вот и делает вид, что ее это не интересует.

Я думал о первом сборище, на которое взял Пэтти Ларейн пять лет назад, когда мы приехали в Провинстаун. Мои друзья вытащили на дюны мехи с вином, а женщины принесли пироги и "Акапулько Го́лд", "Джамайка Прайм" и даже горсть таиландских косяков. Мы отдыхали при луне. Перед началом вечеринки Пэтти заметно нервничала — мне еще предстояло узнать, что она всегда нервничает перед вечеринками, — и это было трудно понять, поскольку она всегда была душой общества, но, с другой стороны, рассказывают, будто Дилана Томаса рвало перед каждым выходом на публику, хотя стихи он читал великолепно. Так и Пэтти — на первом же вечере она покорила всю компанию, а под конец даже сыграла на горне, согнувшись и просунув его между ног. Да, она блистала и на той попойке, и на многих других.

И все равно я понимал Уодли. Она давала так много, получая взамен так мало. В ней часто угадывалась печаль великого художника, расписывающего подарочные пепельницы под Рождество. Поэтому я внимательно отнесся к его словам; я даже усмотрел в них толику истины. В последнее время Пэтти явно не сиделось в Провинстауне.

— Секрет Пэтти Ларейн в том, — сказал Уодли, — что она считает себя грешницей. Безнадежно падшей. Обреченной. Что женщина в таком случае будет делать?

— Сопьется до смерти.

— Только если она дура. Я бы сказал, что практический выбор Пэтти — самоотверженно вкалывать на дьявола. — Он сделал зловеще-торжественную паузу, точно отпуская мне целую вечность для усвоения этой мысли. — Я наблюдал за ней, — сообщил он. — За последние пять лет редкий ее поступок не стал мне известен.

— У тебя друзья в городе?

Он развел руками.

Конечно, у него были друзья. Половина нашего зимнего населения сидит на пособии, так что за информацию много платить не надо.

— Я поддерживал связь с агентами по недвижимости, — сказал он. — Тоже по-своему не слезал с кончика Кейп-Кода. Мне нравится Провинстаун. Это самый привлекательный рыбацкий городишко на Восточном побережье, и если бы не португальцы, благослови их боже, он бы давным-давно захирел.

— Значит, Пэтти Ларейн хочет заняться недвижимостью?

— Нет-нет. Только провернуть выгодное дельце. Она присмотрела себе сказочный дом на холме в Уэст-Энде.

— Кажется, я знаю, о чем ты говоришь.

— Еще бы. У меня и сомнений нет! Ты ведь выпивал во "Вдовьей дорожке" с моими посредниками. На следующий день они должны были пойти в контору по торговле недвижимостью и купить дом, в который ты меня по доброте душевной уже поселил. — Он присвистнул. — Провинстаун — заколдованное место. Уверен. Как иначе объяснить, что ты заговорил с ними обо мне?

— Да, странно.

— Не странно, а страшно.

Я кивнул. Мой череп под волосами покрылся гусиной кожей. Неужто Пэтти Ларейн действительно расшевелила оркестр Адова городка? Когда трубила в горн на луну?

— Да ты понимаешь, — сказал Уодли, — что в тот самый вечер, посредине ужина с этой белокурой секс-бомбой, бедняга Лонни Пангборн встал и пошел звонить мне? Он был почти уверен, что я веду двойную игру. Как ему обстряпать дело тишком, спросил он, если мое имя не сходит с языка у аборигенов?

— Тут он тебя уел, — заметил я.

— Так всегда бывает с самыми лучшими планами, — сказал Уодли. — Чем лучше план, тем меньше надежды на то, что все пройдет без сучка без задоринки. Когда-нибудь я расскажу тебе правду о том, как был убит Джек Кеннеди. Они должны были промахнуться! Какая цепь случайностей! В ЦРУ после этого никому кусок в горло не лез.

— Ты хочешь купить усадьбу, чтобы она не досталась Пэтти Ларейн?

— Именно.

— И что ты с ней будешь делать?

— Найму сторожа, чтобы присматривал за всем этим безлюдным великолепием. Мне будет очень приятно таким образом окунуть Пэтти Ларейн головой в парашу.

— А если победит она?

Он поднял пухлую белую руку.

— Это только мое предположение, — сказал он.

— Ага.

— Ньюпорт есть Ньюпорт, и его можно оставить в покое. Мартас-Виньярд и Нантакет стали не лучше недвижимости. Хэмптон — чистый убыток! Лефрак-Сити притягательнее по воскресеньям.

— В Провинстаун набивается больше народу, чем в любой из них.

— Да, летом он безнадежен, но то же самое можно сказать и обо всех других точках на Восточном побережье. Суть в том, что Провинстаун красив сам по себе. Все остальное — ошибки природы. Осенью, зимой и весной ни один курортишко не переплюнет наш старый добрый Питаун. И я подозреваю, что Пэтти хочет открыть прямо в этой усадьбе новый шикарный отель. Если все сделать толково, через несколько лет он станет самым стильным в округе. В межсезонье туда потянутся толпы богачей. Вот как, по-моему, рассуждает Пэтти. А при наличии хороших помощников хозяйка из нее выйдет потрясающая. В общем, Тим, прав я или нет, я знаю одно. Она за этот дом душу отдаст. — Он вздохнул. — Теперь, после того как Лонни сыграл в ящик, а блондинка исчезла, мне надо срочно подыскивать другого представителя или идти торговаться самому. Тогда цена сразу взлетит вверх.

Я засмеялся.

— Ты меня убедил, — сказал я. — Лишить Пэтти недвижимости тебе приятней, чем замочить ее.

— Точно. — Он тоже посмеялся со мной за компанию. Я не знал, чему верить. Его легенда показалась мне сомнительной.

С минуту-другую мы смотрели на волны. Потом он сказал:

— Я обожал Пэтти Ларейн. Не хочу плакать тебе в жилетку, но какое-то время она помогала мне чувствовать себя мужчиной. Я всегда говорил: если ты работаешь в двух режимах, не теряй драйва ни там, ни там.

Я улыбнулся.

— Между прочим, это было действительно важно. Напомню тебе, что всю жизнь я старался восстановить право собственности на свою прямую кишку.

— Не вышло?

— Теперь я единственный, кого волнует ответ на этот вопрос.

— В пору моего шоферства Пэтти Ларейн донимала меня рассуждениями о том, как тебя шлепнуть, Уодли. Она говорила, что успокоится только после твоей смерти. Что если мы не убьем тебя, ты наверняка убьешь нас. Говорила, что повидала на своем веку злобных типов, но ты самый мстительный из всех. У тебя, говорила она, куча времени на то, чтобы строить планы.

— И ты ей поверил?

— Да нет, пожалуй. Я все вспоминал тот день, когда нас вместе вышибли из колледжа.

— Поэтому ты и не попытался меня прикончить? А я-то гадал — в чем дело? Знаешь, у меня ведь тогда не было никаких подозрений. Я всегда доверял тебе.

— Уодли, ты должен войти в мою ситуацию. Я был на мели. Представь: я стою на учете в полиции и не могу устроиться в хорошее место барменом, а самая богатая женщина, которую я когда-либо знал, ведет себя так, словно с ума по мне сходит, и обещает мне любую дурь и выпивку и все, что можно купить за деньги. Я вполне серьезно обдумывал, как тебя убрать. Настраивался на это. Но так и не смог нырнуть в это дерьмо. Знаешь почему?

— Нет, конечно. Я спрашиваю.

— А потому, Уодли, что я вспоминал о том случае, когда ты собрался с духом и прополз по карнизу четвертого этажа, чтобы попасть в комнату твоего отца. Эта история меня тронула. Ты был размазней, но у тебя хватило мужества на такой поступок. И в конце концов я отказался от своего намерения. Можешь мне не верить.

Он рассмеялся; потом рассмеялся снова. Заслышав звуки его веселого карканья, морские чайки стали подлетать ближе к нам, словно он был их вожаком, выкликающим: “Сюда! Я нашел еду!”

— Прелестно, — сказал он. — Пэтти Ларейн остается с кукишем, потому что у тебя не хватает духу убить любопытного мальчишку на карнизе. Что ж, приятно было поговорить с тобой, и я рад, что мы, старые однокашники, наконец-то начинаем понимать друг друга. Дай-ка я расскажу тебе, каким я был лгуном. Я не прополз по этому карнизу ни дюйма. Я все наврал. В тюрьме каждый должен иметь за душой боевое приключение, и мне пришлось изобрести свое. Я хотел дать всем понять, что я малый отчаянный и шутить со мной не надо. Но на самом деле меня пустил в отцовский кабинет слуга — он же был и фотографом, помнишь? Просто вынул ключ и открыл дверь. И все за одно только обещание, что я расстегну ему ширинку — у слуг они были на старомодных пуговицах, а не на молнии, — и сделаю там чмок-чмок. Что я и выполнил. Я всегда плачу долги. Любишь кататься — люби и саночки возить!

На этом он встал, высоко поднял свои туфли, точно изображая статую Свободы, и отправился восвояси. В десяти футах от меня он обернулся и сказал:

— Кто знает, когда Пэтти Ларейн вздумает у тебя появиться? Если будет настроение, кончи ее. Ее голова, коли уж нам надо обозначить какую-нибудь цифру, стоит два лимона с мелочью. — Затем он опустил руку

с туфлями и, припрыгивая на замерзших негнущихся ногах, пошел прочь.

Он был еще в пределах слышимости, когда я сказал себе, что если мне удастся найти исчезнувшую голову блондинки, ту самую голову, которая, вероятно, принадлежала Джессике Понд, ее вполне можно будет выдать за останки Пэтти Ларейн, ибо разложение наверняка зашло уже достаточно далеко. Я имел шанс провернуть великолепную аферу. Маловероятно, что меня не раскусят, зато в перспективе — два миллиона.

Потом я сказал себе: любой, кто способен на такие мысли, способен и на убийство.

Потом я сказал себе: от мыслей до дела — пропасть. Лучшее доказательство моей невиновности — то, что идея такого обмана не вызвала во мне энтузиазма.

Я подождал, пока Микс Уодли Хилби Третий отойдет по пляжу на порядочное расстояние, а затем вернулся к своему "порше" и поехал в Провинстаун.

По дороге домой я узнал кое-что новое о том, сколь двуличной бывает иногда природа совпадений.

Мне показалось, что меня преследуют. Я не мог поклясться в этом, так как не видел за собой машины. Увеличивая скорость, я не замечал, чтобы кто-нибудь сзади делал рывок, стараясь удержать меня в поле зрения. Однако я не мог отвязаться от чувства, что кто-то сидит у меня на хвосте: наверное, тут действовала та же способность, которая от случая к случаю помогала мне угадать, чей голос я через секунду услышу по телефону. Какие-то люди ехали за мной, соблюдая дистанцию. Значит, на мой автомобиль поставили радиомаячок?

Я свернул на боковую дорогу и остановился ярдах в ста от магистрали. Никаких преследователей видно не было. Я вышел и осмотрел багажник спереди и мотор сзади. Под задним бампером нашлась маленькая черная коробочка размером с полпачки сигарет, держащаяся на магните.

Коробочка не издавала никаких звуков (скажем, тиканья). Взяв ее в руку, я не ощутил внутри никакого движения. Мне было не совсем ясно, что это такое. Поэтому я прилепил ее на место, вернулся на шоссе и проехал еще с милю. Потом затормозил в верхней точке длинного прямого участка. В кармашке на дверце я держал бинокль, чтобы наблюдать за чайками; я вынул его и поглядел назад. Там, еле-еле различимый даже с помощью моего бинокля, стоял на обочине коричневый фургончик. Что же — они встали одновременно со мной? И теперь ждут, когда я тронусь дальше? Я сел за руль и доехал до самой Пеймет-роуд в Труро: она ответвлялась от шоссе и шла милю на восток, затем милю на север, а потом обратно на запад, к основной магистрали. Проехав по ней три четверти пути, я встал на повороте, откуда хорошо просматривалась вся южная часть Пеймет-роуд на другом берегу Пеймет-ривер, и опять увидел затормозивший там коричневый фургон. Где-то я видел его раньше — этот коричневый фургон был мне знаком!

Я остановил машину у одного из домов и зашел в лес. Те, кто был в фургоне, подождали минут десять, но потом, видимо, решили, что я наношу кому-то визит; они подъехали взглянуть на дом, около которого стоял мой "порше", а затем вернулись на прежнее место. Я слышал шум мотора и легко проследил по нему их маневр. Зимой наши дороги пустынны. Только этот звук и нарушал тишину.

Теперь они остановились снова, ярдах в трехстах от меня. Они ждали моего возвращения. Маячок должен был сообщить им, когда я продолжу путь.

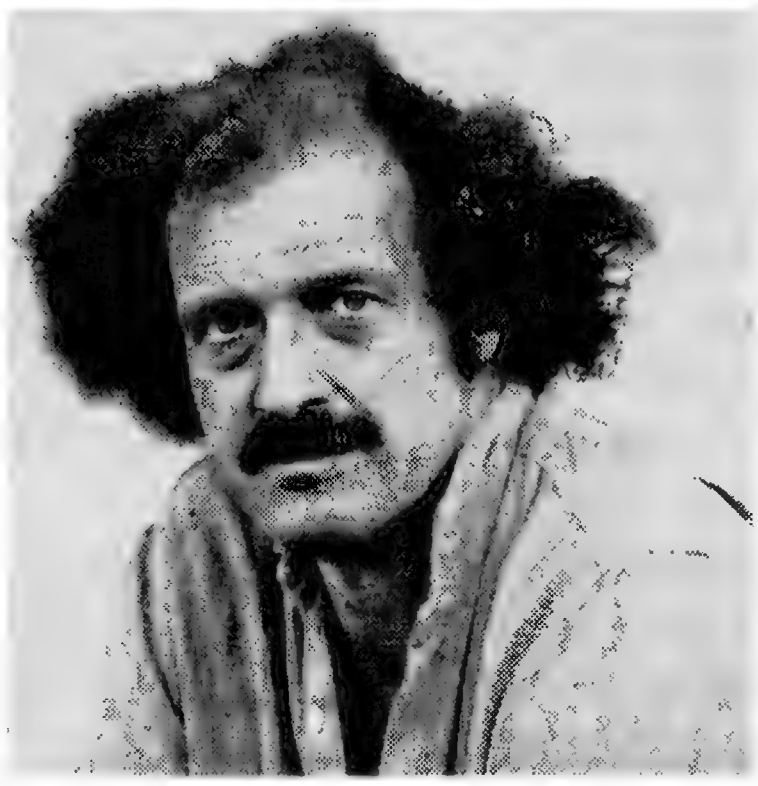
Разъяренный, я едва не поддался первому естественному порыву: меня подмывало выбросить их приборчик в лес или, еще лучше, прилепить его к какой-нибудь машине у тротуара и таким образом заставить своих преследователей торчать на Пеймет-роуд всю ночь. Но для этого я был чересчур зол. Меня оскорбляла мысль, что наша из ряда вон выходящая встреча на пляже Маркони свелась всего только к установке маяка на мой автомобиль. Это было лишним подтвержденьем того, что не все совпадения являются дьявольскими или божественными. Я вернулся в общество нормальных людей!

Однако за рулем этого фургона я увидел не Уодли, а Паука Ниссена; рядом с ним, на сиденье для пассажира, устроился Студи. Без всякого сомнения, Уодли сейчас почитывал в какой-нибудь сельской гостинице Рональда Фербэнка, держа под рукой коротковолновый передатчик, настроенный на связь с этой парочкой.

Нет, я не стану выкидывать маячок, сказал себе я. Может быть, он послужит благой цели — надо только выбрать момент. Конечно, это было слабым утешением, если учесть, какую бурю поднял в моей душе этот маленький приборчик, но я уже начал понимать, что любые грядущие события будут неуклонно приближать меня к искомой первопричине.

(Окончание в следующем номере)

Урс Видмер



Рассказы

Перевод с немецкого Е. Колесова

Тайна кавказских долгожителей

НЕСКОЛЬКО лет назад я изучал народы Кавказа. Мне хотелось узнать, почему кавказцы живут дольше всех остальных людей. В чем заключается их основная ошибка? Как так получается, что целые аулы столетних старцев могут сидеть и беседовать о пробковом дубе или о ходе ледников, невзирая ни на какие эпидемии, лавины или русских. И каждый из них помнит, как свергали последнего царя и как отбивают мясо для бифштекса, подложив его под седло. У старух — свой круг, в котором они вспоминают, как зачинали детей, по обычаю, прямо в седле и рожали там же. Трудно вообразить себе зрелище более оживленное, чем долгожители, демонстрирующие друг другу свои годичные кольца. Невероятно, немыслимо. Во всяком случае, тогда я не понимал их. Вообще я, видя, куда катится мир, не собирался жить долго. Вот почему мне так хотелось раскрыть их тайну. Чтобы найти другой путь.

Начал я, положим, с болгар. Ну, они долгожители потому, что едят йогурт, это ясно. Вот почему я давно бросил есть йогурт, как и мой друг Вольфганг Хильдесхаймер, с которым мы часто ругали этот варварский молочный продукт, сидя за бутылочкой красного вина. Ему это помогло, упокой Господи его душу. Я же сделался лишь еще здоровее, чем был, и, почувствовав, что без йогурта мне стало чего-то не хватать в этом мире, занялся кавказцами. Они живут долго (это-то я узнал довольно быстро) в результате не конкуренции, а кумуляции различных факторов, и все это в переводе на языки, которых, кроме них, не понимает никто. На Кавказе известно несколько сот народностей и столько же идиоматиче-

© 1998 Diogenes Verlag AG Zürich
© Е. Колесов. Перевод, 2001

ских выражений. Есть горные долины, где у каждой деревни свой язык. И чем выше в горы, тем больше в языке придыханий. На высоте четыре тысячи метров люди уже только придыхают, раскрывая рот, как рыбы. В Осетии свой язык уже на каждом дворе. Соседи не понимают друг друга и, хоть и занимаются меновой торговлей, однако то и дело попадают впросак. Просят овса, а им дают кирпичи. В Астраханке, это на Каспийском море, свой язык существует у каждого человека. Муж не понимает жену, ребенок — родителей. Каждый молчит в одиночку и разговаривает сам с собой. Вот гомон-то стоит, наверное! И как же быть приезжему, если ему понадобится узнать что-либо?

Вообще я сам никуда не езжу. Не люблю рисковать. Мало ли людей уезжало в здравом уме и твердой памяти, а возвращалось ногами вперед, особенно с Кавказа. Нет, я путешествую по книгам. Кто только не побывал в этом краю бездонных пропастей и неприступных вершин! Сципион Кларамонти еще в 1649 году, Дж. Рейнегс в 1796-м, Вильгельм фон Фрайгарс в 1812 году, два года спустя Юлиус Клапрот, в 1815-м М. фон Энгельгардт и Иоганн-Якоб-Фридрих-Вильгельм Паррот. Адольф-Теодор Купфер в 1830-м, Фридрих Коленати в 1858-м, Артур-Тарлоу Каннингем в 1872-м, Ялмар Шёрген в 1889-м, Дуглас У. Фрешфилд в 1896-м, Андреас Фишер в 1913-м. Даже Карл Зелиг предпринял "Прогулку по Кавказу", каковую опубликовал потом в бюллетене Швейцарского альпийского клуба. Потом он решался лишь на прогулки вместе с Робертом Вальзером, который при этом отличался истинно кавказским долготерпением. Еще позже он угодил в Бельвю под трамвай. Вот, кстати, еще одна *очевидная* причина кавказского долгожительства: на всем Кавказе сроду не было трамваев.

Однако то, что меня интересовало больше всего, я узнал не от Зелига и не от всех этих путешественников. Я имею в виду истинные причины, почему кавказцев ничем, ну решительно ничем не загонишь в могилу. При этом они делают много такого, а то и вообще делают *все*, как будто решили умереть молодыми. Пьют как звери. Прыгают с высоких скал на дно ущелий и попадают прямо в горный ручей не шире их самих, да и то удается им это только потому, что прыжок они выполняют "солдатиком", то есть строго по стойке смирно. Голыми руками укладывают медведя и ловят ядовитых змей в прыжке (кто прыгает в данном случае, кавказцы или змеи, я не помню). Добывают себе невесту, подкарауливая соперника на верхушке елки, чтобы запустить ему в голову огромным камнем, когда тот начнет целовать ее при свете луны, думая, что уже добыл ее для себя. Промахнуться и попасть в невесту считается смертным грехом. Зато чем сильнее та вымажется в крови, тем для нее почетнее. Такую невесту уважают. Поэтому свадебные платья у них ярко-красного цвета: считается, что молодым это приносит счастье. А после первой брачной ночи из окон вывешивают не простыни, а ремни, нарезанные из кожи убитых соперников. Все кавказские женщины, за исключением тех, что на лошадях, рожают во время полевых работ; прерывать сбор репы при этом не полагается. И ребенок, хоть мальчик, хоть девочка, тут же начинает помогать матери, еще вися на пуповине, перекусить которую он может, лишь забросив матери в заспинную корзину свою первую морковку. От работ освобождают только древних старух и старцев, и они гордо восседают, пьют, курят и вскакивают на коня, едва завидев русского: тогда они стелющимся галопом несутся ему навстречу. Охота на русских — не только старинный обычай, но и необходимость, потому

что русские уже много веков пытаются подчинить себе Кавказ, этот край, где свои особые взгляды на жизнь сложились столько же веков назад. "Отними у кавказца его нефть, — гласит русская пословица, — и он даст тебе прикурить".

"Не задавай вопросов татарину, — гласит в свою очередь кавказская народная мудрость, — иначе он ответит тебе". *Мне* они, то есть татары, никогда не встречались; уж я-то обязательно бы спросил их о чем-нибудь. Впрочем, этого, кажется, никто из многочисленных путешественников не пытался сделать. Они просто принимали как факт, что кругом сидят одни могучие старики.

Шли годы. Я по-прежнему не ел йогурта и испытывал разные другие способы вредить своему здоровью; хотя, честно признаться, не очень в этом усердствовал. Разгадка, сделавшая меня другим человеком, то есть добровольным кавказцем, как всегда, нашлась там, где я никак не ждал ее. Однажды, это было совсем недавно, я решил сдать свои семь писем Томаса Манна (это профессиональный жаргон, продажа культурных ценностей, когда нужны деньги) и отправился к антиквару, который считался номером один в своем деле. То есть к самому дорогому. Договорились мы быстро. Я получил чек и разрешение порыться в подвале, где хранились сокровища фирмы. Там я сначала, немного скучая, полистал драгоценные рукописи Моцарта и Гёте, а потом наудачу вытянул из-под кипы старых журналов связку бумаг, довольно небрежно перевязанных грубой бечевой (хозяин был человек скаредный). Ее покрывал сантиметровый слой пыли. Разрезав веревку, я обнаружил у себя в руках путевые заметки о Кавказе. Дата на них стояла — 1860, а автором был Карл Май. Находка еще и потому была сенсацией, что эта работа, у Мая вообще первая, была сугубо научной. Таблицы, графики, пословные записи бесед.

А надо сказать, что Карла Мая я с юности люблю так, что не только прочитал пятьдесят девять из его шестидесяти четырех книг, но даже женился на женщине — его тезке. Я имею в виду фамилию, а не имя. Кроме того, я ведь и сам писал путевые заметки. Схватив пачку, я прикрыл рукой имя автора и вернулся в контору. Антиквар уже забыл обо мне и сидел теперь, подправляя утюгом и тушью подлинное письмо Лютера к Меланхтону. Мы опять немного поторговались, после чего он получил обратно свой чек, а я завладел рукописью Карла Мая, неизвестной не только науке, но и самому антиквару.

Написана она была, конечно, совершенно не так, как, скажем, "В дебрях Курдистана" или "Махди". Трезво, ясно. Никакого Хаджи-Халефа Омара, только толмач из местных (своего рода проводник), по имени Сталин, но на Кавказе это имя настолько распространено, что тот достойный юноша вряд ли был предком знаменитого впоследствии советского убийцы-маньяка. Самым же главным было то, что эта первая работа Мая сильно отличалась от любых других путевых заметок. Настолько сильно, что мне показалось даже, будто все прочие путешественники на самом деле никуда не ездили, а приключения свои высосали из пальца. У Мая не было ни вымазанных кровью невест, ни прыжков с высоких скал. Ничего подобного. Этому юному исследователю, которому и двадцати лет-то не было, первому бросилось в глаза очевидное. То, что на Кавказе долгожители каждый второй и каждая вторая. Он стал искать разгадку и нашел ее.

Она поразительно проста. Кавказцы живут так долго, потому что им это *нравится*! Ясно, почему им не хочется умирать; ясно также, почему они и не умирают. В отличие от нас с нашей культурой, они радуются каждому новому дню и встают вместе с солнцем, полные радужных надежд, каждый день, за исключением тех, когда предыдущей ночью было полнолуние и они проводили одно из своих хмельных празднеств. Тогда они спят до полудня или дольше, мужчины и женщины вместе, тесно сплетясь, губы к губам, и улыбаются во сне, и рассказывают друг другу свои сны сразу же после пробуждения. У них тридцать семь обозначений для слова "вода", которая и в самом деле бьет из множества источников. Они поют чистыми, металлическими голосами. Или сидят на лугу, полном маков, и глядят на мотыльков, роящихся над цветами и травами. На зверей они не охотятся, разве только ради развлечения; пойманного в прыжке медведя тут же отпускают на волю. А вот бифштексы они действительно отбивают под седлом, покатавшись пару часов. Некоторые рестораны специально держат до десяти джигитов или даже больше, и те целыми днями носятся вокруг кабака с мясом под седлами. Монотонный цокот их копыт создает постоянный шумовой фон, которого уже не замечаешь, как мы у себя дома не замечаем шума машин или небольшой перестрелки. Старики любят рассказывать что-нибудь из прошлого, но никогда не говорят, что раньше было лучше. И никто из кавказцев не путешествует. Да и зачем, собственно. Им всем нравится там жить. Лишь завидев русского, они вскакивают на коня. И йогурта они не едят никогда.

Рассказ Карла Мая сделал меня иным человеком. С тех пор мне тоже хочется жить, я имею в виду — нравится жить. Даже видя, куда катится мир, то есть *наш* мир. Может быть, это пойдет ему на пользу, думаю я с тех пор: пусть он поглядит на человека, который попадает *не во все* расставляемые им ловушки. Я стараюсь быть кавказцем, хотя и на свой лад. Кое с чем, конечно, приходится мириться. Так, у меня нет лошади, а ем я, если вообще хожу обедать, обычные натуральные бифштексы из Аргентины. И русских не трогаю, по крайней мере до тех пор, пока они не трогают меня.

Пия и Хунь
(Китайская история)

Не знаю, помните ли вы, что я побывал в Китае. Хотя я точно рассказывал и даже писал об этом, но это произошло давно, очень давно. Китай был совсем не тот, что сейчас, а я и подавно. Я был молод и неотесан, оброс, как леший, и полон сил, как берсеркер. У меня была девушка, пианистка, ее звали Пия, я любил ее, а она меня, я так и говорил тогда, и это была чистая правда, а потом она бросила меня, чтобы начать в Китае новую жизнь. И вообще я про все это уже рассказывал — только не про самую кошмарную часть истории. Пока свою драму переживаешь, как про нее расскажешь?

Ну, и там был, конечно, один китаец, который тоже сыграл свою роль — раз уж мы заговорили о драме, тем более что это и в самом деле была драма, а то и вообще трагедия, потому как сердце у меня обливалось кровью, а мне приходилось делать хорошую мину при плохой игре,

причем очень долго и очень хорошую, вместо того чтобы взять да и набить Пии морду. Или ему, то есть этому китайцу. И мне никто слова бы не сказал. Да тогда никто и не подумал бы, что это расизм. До Китая тогда было дальше, чем до Луны.

Пиин китаец был, естественно, из Китая — из Шанхая, если уж говорить точно, — и изъяснялся языком образованного мандарина, а уж писал он на этом языке так, что его разрисованные тушью письма напоминали занавески, по которым как птицы порхали его любовные излияния. А переводить их приходилось мне, потому что Пия не понимала по-китайски, а я понимал — только не спрашивайте меня, как я этому научился, расскажу потом, — и еще видеть при этом, как моя Пия прямо-таки тает от счастья, слыша, как я перевожу прямо с листа: "я люблю тебя" или "очертания твоей груди воспламеняют жар моего сердца". Лицо у нее делалось отрешенным, точно ей слышался зов неба, а взгляд не отрывался от моих губ, пока я излагал по-немецки эти чертовы поэтические откровения китайской души.

Тем более что меня раздирал мой собственный внутренний конфликт: с одной стороны, мне хотелось не читать вслух многого в этих письмах, то есть, вообще говоря, не читать из них *ничего*, с другой же стороны, гордость китаиста требовала максимально точной передачи нюансов. О, это были еще те нюансы! У нас так не пишут. Мы говорим: Эльза, я хочу тебя, пойдем в постель, и дело в шляпе. У китайцев же ничего не в шляпе, у них все в тумане, сплошь намеки да экивоки, так что иногда я сам рыдал, опустив письмо на колени, готовый влюбиться в этого старика из Шанхая, умолявшего Пию приехать к нему — вот сволочь, да еще старик к тому же, мудрец, проклятый желтый мудрец. Он был ученый, западовед, как это у них называется, то есть изучал нас, хотя, так сказать, больше теоретически. Приват-доцент в университете. С Пией у него был первый практический опыт, и я уж не знаю, как далеко зашла у них вся эта практика. И вот в один прекрасный день Пия исчезла — думаю, села на самолет "Чайна эйрлайнс", хотя я понятия не имею, откуда она взяла деньги на билет. Денег у нее не было, у меня тоже, да и старый китаец ходил всегда в одном и том же синем наряде вроде халата и никак не был похож на человека, у которого есть какие-то доходы на этой грешной земле. Хотя, возможно, тут я ошибаюсь, ведь по китайцам никогда ничего не поймешь. Правители у них в любой момент могут вызвать палача, и никогда не знаешь, полетит ли сейчас твоя голова или соседа. Ты вякнул что-то против режима, сосед родил лишнего ребенка или попался с наркотиками — опять же не знаешь, что в Китае сегодня считается преступлением, а что нет. Потому у китайцев и глаза такие узкие, как щелочки, чтобы никто — то есть вообще никто! — не догадался, о чем они на самом деле думают. Вы как-нибудь возьмите и присмотритесь к китайцам, приезжающим сюда, на свободный Запад: тут-то у них глаза раскрываются и делаются все шире и шире от нашей свободной рыночной экономики, тут-то они сами пролезут в любую щелочку.

Ну и вот, значит, Пия исчезла. Я говорил, что она была пианистка? Так вот, в Китае на пианино не играют, не говоря уже о роялях. Там днем с огнем не сыщешь ни "Стейнвея", ни даже какого-нибудь "Бехштейна". Пию, наверное, все-таки огорчало, я так думаю, что ей теперь придется выражать свои чувства при помощи бамбуковых палочек на ксилофонах, издающих одни пентатонические звуки. Хотя этому китайцу, любовнику, ее игра нравилась. Он мог слушать ее день и ночь. Я даже не знаю,

вступили ли они в брак по-настоящему. Я слышал, что китаянки в первую брачную ночь устраивают перезвон, как на Страсбурской колокольне. Нет, Пия с перезвоном — это было для меня уже слишком. Ночи напролет я торчал в саду перед их любовным гнездышком, приложив ухо к бумажной стенке спальни, но так и не услышал ничего, совсем ничего, и подозреваю, то есть я скорее даже уверен, что никакой Пии там не было. Да и самого синего мандарина тоже. Правда, я всегда затыкал уши ватой. Хотя временами я видел тени. Поднятые ноги, задницы, развевающиеся волосы, и все в полной тишине. По теням нелегко узнать лица любовников, особенно когда они движутся и сливаются в поцелуе, причем не по-нашему. Я имею в виду не язык, а страну, другую культуру, где никогда не знаешь, не прогонит ли тебя садовник и не разорвут ли собаки. Их еще едят у них в ресторанах, знаете, да?

А дальше все было как обычно: я, наверное, опять все перепутал. Может быть, я тогда и не был в Китае, во всяком случае в том Китае и в то самое время. То есть в 1970 году, когда все это случилось. Помню только, я сидел дома, раздумывая, как проще добраться до этих прелюбодеев, и вспомнил про музеи, где есть картины, в которые можно войти — если ты китаец, конечно, и если сама картина китайская. Я, правда, не китаец, но все-таки понимаю по-китайски — помните, я обещал рассказать, как я этому научился? А вот так и научился, глядя в рот этому красноречивому кандидату в любовники, пока не начал понимать все, что он говорит. Способности к языкам у меня были лучше, чем у Пии. Так что мне было вовсе не трудно найти нужную картину и дать ей понять, что я свой. И вошел в нее. Она изображала предместье Шанхая — так было написано на табличке, — и я очутился среди китайцев и китаянок, выписанных по-старинному, среди цветов лотоса и павлинов. Было душно. Я сразу взмок, потому что на мне были теплые брюки и свитер с высоким горлом. В Европе была зима. Сняв свитер, я пошел прямо по дороге, ведущей в Шанхай. Я не знал ни как зовут того человека, который увел у меня Пию, ни где он живет. Его письма не имели обратного адреса, а подписывался он разными цветистыми прозвищами, которых оказалось так много, что можно было подумать, будто за Пией ухаживает не один китаец, а все Срединное царство. Уже после четвертого письма — оно было подписано "Душа синего селезня" — она готова была повиноваться ему или всем китайцам сразу, причем настолько, что даже не слышала меня, когда я кричал на нее. О, как я кричал! Так же, как все мужчины, когда бесятся от ревности. Сука, дрянь, проститутка. А она лишь улыбалась, потому что уже жила в другом мире, в китайском.

В Шанхае самой главной проблемой оказалось то, что я, не подумав, вошел в картину XVI века — вот дурак-то! — и попал в эпоху ранней Мин вместо позднего Мао. Разница была, пожалуй, не слишком велика — что в то, что в это время кого-нибудь казнили чуть ли не на каждом углу, — однако мне от этого было не легче, потому что та женщина за бумажной стенкой с перезвоном, которую я решил отбить, никак не могла быть Пией. И это несмотря на то, что мужчина, которому она так звонила, — вату-то из ушей я вынул, так что слышал даже малейший шепот, — называл ее "Пией", хотя и по-китайски. В китайском языке, как известно, "П" выговаривается как "Х", "И" как "У", а "Я" как "Нь". Хунь — о, какое сладостное имя! Хунь была сильно влюблена, она прямо-таки пылала страстью, и я как раз собирался проломить эту бумажную стенку, когда на меня бросились собаки. И не просто собаки, а огромные псины метрового

роста, целая свора метровых доберманов, причем ни одной суки, — они лаяли, лязгая мокрыми пастями, или как это называется, когда жуткие челюсти доберманов так и ходят вверх-вниз, — я был так ошарашен, что не мог толком сформулировать ни одной мысли. У меня просто не было слов — у меня, у китаиста! — я просто мчался сломя голову через парк. "К ноге" — пытался крикнуть я. Или "место". Но из глотки вырывались одни хрипы, и меня бы, наверное, разорвали на части, если бы в последний момент не отодвинулась бумажная ширма, на пороге которой, точно во сне, возникла прекрасная китаянка, одетая в шелковое платье. "К ноге! — крикнула она. — Место!" Вслед за ней вышел китаец, без шелкового платья и во всяком случае безо всякого ко мне интереса. Однако ему просто больше ничего не оставалось. Меня пригласили в дом. Мы вежливо сидели на циновках и пили чай. Эта женщина, конечно, была не Пия, — год-то на дворе был 1556! — а Хунь, и в тот замечательный вечер Хунь влюбилась в меня так, — и я в нее тоже, — что она последовала за мной ранним утром к выходу из сада, лавируя между собаками, которые теперь лежали смирно и взъелись лишь тогда, когда за нами погнался хозяин, так что ему пришлось остановиться и кричать издалека все то, что обычно кричат мужчины, когда их жены растворяются в утреннем тумане вместе с другим мужчиной. Сука, дрянь, проститутка. Мы же радовались и целовались. Почти бегом одолели дорогу и оказались среди нарисованных лотосов. Там была еще пагода, которой я не разглядел вначале. Легко найдя выход из холста, я помог Хунь перейти в музей. В двадцатый век. В мой город.

Тут ее имя, разумеется, стали произносить как "Пия", так что с тех пор я опять живу вместе с Пией. Я люблю ее. Правда, она не играет на пианино, — наш "Бёзендорфер" без толку пылится в гостиной, — зато рисует очаровательные пейзажи, воспоминания о родном Шанхае. Висячие мосты, мягкие очертания гор, бамбуковые рощи. Я счастлив, и единственное, что меня беспокоит: чтобы она когда-нибудь не ушла в одну из этих картин. Я так и вижу, как она, стоя перед своей миниатюрой, вдруг уменьшается и уходит к нарисованному горизонту, твердым шагом, ни разу не оглянувшись, чтобы хотя бы помахать мне рукой, пока не превратится в точку и наконец не исчезнет совсем.

“Столетье бьют часы...”

Стихи французских символистов в переводе Романа Дубровкина

От редакции

“Символ венчает целый ряд мысленных операций, который начинается с простого слова, проходит ступени образа и метафоры, включает в себя эмблему и аллегорию. Он самое совершенное, самое законченное воплощение Идеи. Современные поэты уже не раз пытались выразить ее посредством Символа и добивались успеха. Это высокое и требующее изрядного труда дерзание служит к их чести. <...> Быть может, они переоценивают свои возможности, но никому не возбраняется стремление ввысь...”[1] Так сформулировал свое литературное кредо Анри де Ренье, чьи стихи привлекли некогда внимание Иннокентия Анненского, Валерия Брюсова, Бенедикта Лифшица.

Французский символизм интересен не только своими вершинами. В тени таких гигантов, как Бодлер, Верлен, Рембо, Малларме, в России оказались практически забыты десятка полтора поэтов, чьи стихи можно найти лишь в антологиях, хотя каждый из них бесспорно заслуживает отдельного сборника на русском языке. В их числе — представленные ниже А. де Ренье, Э. Рейно и А. Самен.

Анри де Ренье

***

Мы плыли по морям отчаянья и гнева
Вдали от Вечного Цветения Земли,
И волосы твои, от прошлого вдали,
Шумели всходами единственного сева.

С тоской смотрели мы, как ширился и рос
За убегающей кормой разрыв зловещий,
И, плача, думали, что брошенные вещи
Пропахли памятью изгнаннических роз.

© Р. Дубровкин. Перевод, 2001

1. А. де Ренье. Современные поэты. В кн.: Поэзия французского символизма. Перевод Н. Мавлевич. М., 1993.

Но полудетский рай, разграбленный капризом,
Зарею первою вставал в тумане сизом
Из несчастливых чар и злобной тьмы ночной.

Таинственная нить наперекор надежде
Мне преградила путь, и для Тебя одной
Цветочною резьбой фонтан играл, как прежде.

Ш*импанзе*

В привычном обществе болонки, попугая
У ванны мраморной полулежит она,
Служанка спину ей спешит накрыть, черна,
И оттого еще белее плоть нагая.

Но тут ей в голову приходит мысль другая:
Шутить, капризничать, повелевать вольна,
Велит переписать две трети полотна,
Смешного шимпанзе в углу располагая.

Совсем как человек, серьезен, важен, лыс,
С ужимками орех мускатный он надгрыз,
Уселся весело на полотенце банном.

Приплюснут нос, глаза сощурены хитро,
И над плешивым лбом, над золотым тюрбаном,
Победно красное колышется перо.

Б*еседка*

Корзина, белый гипс, где лентой голубой
К свирели пастуха простой привязан посох,
Над чьим-то профилем виньетки в крупных росах,
Овальный медальон, украшенный резьбой.

Поспешный маятник и запоздалый бой
Работы двойственной часов медноголосых,
В усталом зеркале покой прудов белесых, —
Кто дверь незапертой оставил за собой?

Кто вышел? Чьим шагам дорожки сада внемлют?
Уснула Память здесь, Воспоминанья дремлют,
Возврата долгого старинный минул срок.

Окно распахнуто и веет над боскетом
Пропахший розами хрустальный ветерок,
Играя люстрою над лаковым паркетом.

Любитель прекрасного

В Бургундии, в своем поместье родовом,
Где пенится вино в давильнях век за веком,
Он подставлял бокал шипучим винным рекам,
Скучая эдаким провинциальным львом.

Пописывал стихи с отменным мастерством,
Среди соседей слыл ученым человеком,
Дружил с природою и рассуждал о неком
Фамильном дереве, старинном, но живом.

Он в жестком парике по улицам Дижона
Шагал, и трость его стучала раздраженно,
И кланялись ему почтительно весьма
Префект и депутат, но не за титул пэра,
Не за богатство, нет! — от самого Вольтера
Счастливец получил когда-то три письма.

Сад под дождем

Окно раскрыто, шум дождя
Опять стихает — реже, реже,
О чем-то мелочно твердя
Листве проснувшейся и свежей.

Деревья ожили, влажны:
Покой ветвей пуглив и тонок,
Потягиваясь у стены,
Зевает виноград спросонок.

Скрипит песок, шуршит трава,
По саду точно бродит кто-то,
И различаются едва
Шаги без умысла, без счета.

А дождь все шепчется, лукав,
С деревьями о тайне важной,
Из неба и земли соткав
Нерасторжимый полог влажный.

Стою с дождем наедине,
И капли падают на землю:
Порывам, что шумят во мне,
С закрытыми глазами внемлю.

Версаль

Вечернюю листву дурманом напитала
Душа омытых роз, но даль еще светла,
И розовеет фриз дворцового портала,
И нескончаем звон дрожащего стекла.

На груды мрамора облокотясь устало,
Здесь Слава слушает, как лиственная мгла
Над золотом прудов прощально зашептала,
Как, плача, влажные ей вторят зеркала.

Какой помпезностью заброшенною веет
От этих сумерек, от парка, что вдовеет
В предсмертных отблесках тускнеющих огней!

Докучливая ночь опять сидит у края
Пруда, и верный плющ торопится, стирая
Героев имена, величье прежних дней.

Сплин

Как много я провел унылых воскресений,
И на толпу гуляк, на пестрое пятно
Как часто я смотрел в мансардное окно
Сквозь сумрак лиственный почти могильной сени!

Как бесконечен дождь, как долог день осенний,
Когда ничто тебя не радует давно —
Ни книги, ни стихи: так на душе темно,
Что даже помечтать нельзя без опасений...

Тоска воскресных дней, пустые вечера,
Другая комната, но та же, что вчера,
Измученной души бесплодная забота:

Увлечься чем-нибудь, зажечься, полюбить,
Тягучие часы, в конце концов, убить —
Для сердца чахлого чрезмерная работа!

Альбер Самен

Октябрь

Последних ласточек испуганная стая
Мелькает в небесах. Давно в пути зима.
Давай мечтать... очаг потух, завыла тьма.
Давай мечтать... очаг в отливах го́рностая.

Трепещет абажур, как роза вырастая.
И ду́ши мертвого трюмо, сводя с ума,
"Remember" нежное сожженного письма
Твердят за осенью, и сеть дождя густая

Висит над городом, и окон свет белёс,
В тяжелых складках штор смолкает шум колес...
Мечты миниатюр туманней наших слез.

Душа стремится ввысь, где в листьях гаснут крыши,
Столетье бьют часы, с ударом каждым тише,
И медный маятник по гулкой ходит нише...

Из цикла "Версаль"

I

Версаль, как объяснить, что чахнущее лето
Торопит воскресить тебя из забытья?
Лазурный гаснет пыл, печали не тая, —
Природной дряхлости последняя примета.

На прозелень прудов, цветных от пятен света,
На листья красные весь день смотрел бы я!
А ветер бы шептал, что красота твоя
Куда тревожнее, чем увяданье это.

Тритон под тисами надулся, веселя
Аллеи, где уже не встретишь короля,
Ни шлемов, ни карет, ни праздничных султанов...

Версаль, как лилия, неслышно гибнешь ты.
И, кажется, не плеск разрушенных фонтанов,
А чей-то плач всю ночь звучит из темноты.

II

[150]
ИЛ 3/2001

Какие имена! Изящество какое!
А церемониал гигантского дворца!
Изысканность манер, поклоны без конца
И кружевных манжет кипенье фатовское.

Аббатов словеса в разубранном покое
Дофина юного и короля-отца,
Пустые, как пастух фарфоровый, сердца,
Блистательных балов веселье мотовское...

И "австриячки" двор, и россыпи острот,
И споры герцогов: чей утонченней род?
И голубая кровь принцесс, и принцы крови.

Как славный этот мир галантен был и глуп!
Отчаянный бретер со шпагой наготове,
Приветствующий смерть усмешкой гордых губ.

Оливер Сакс
Случаи из практики

С английского

Встреча с Саксом интересна и во многом неожиданна. Врач-невропатолог, родившийся в Лондоне, учившийся в Оксфорде, в Калифорнии и в Нью-Йорке, сначала был исследователем, а затем занялся клинической практикой, давшей ему богатейший материал для наблюдений над человеческой психикой и подтолкнувшей к писательству, которое принесло ему славу одного из лучших авторов современной зарубежной документальной прозы, и не только в США, где он живет и практикует, но и далеко за пределами страны. Его ставшие бестселлерами книги издаются и переиздаются огромными тиражами, продаются практически в каждом американском книжном магазине и встречаются на полках у людей вполне благополучных и по роду занятий весьма далеких от медицины.

Книги Сакса отражают его профессиональный опыт, но этот опыт — лишь отправная точка для путешествия или скорее даже антропологической экспедиции в глубь человеческой психики, он так и говорит о себе: "нейроантрополог", а один из своих сборников назвал "Антрополог на Марсе". Как естествоиспытателя его больше всего восхищают безграничные приспособительные возможности мозга, а как врача — то, что даже в болезни наибольшей сохранностью обладает созидательная — профессиональная и художественная — сторона личности: то, что человек наработал и развил в себе в процессе жизни.

Проза Сакса, выстроенная на канве документальности, выходит далеко за пределы жанра. Динамичность триллера — в рамке спокойного обыденного существования; магия увеличительного стекла, укрупняющего детали неповторимой жизни; и вот уже сквозь упорядоченное, несмотря на трагизм, существование в мире, который простукивается невропатологическим молоточком и просвечивается новейшими медицинскими приборами, вдруг невесть откуда начинает мерцать душа. Формально очерки Сакса не что иное, как жизнеописания, биографии тех, кто поставлен болезнью в особые условия, ведущие к сужению — порою крайнему, беспощадному — жизненных возможностей. Но это не описание медицинских случаев как таковых. Входя в мир непреодолимого одиночества Другого, завороженный тайной автор вглядывается в нее сквозь обманчивую понятность случая. Тайна же в том, что психика и мозг каждого человека действуют особым образом. В мире нет единой нормы, в мире много норм, и поиски каждой — волнующее путешествие. Не выравнивать их и тем более не ломать границ между ними — просто взглянуть без предвзятости и понять. Когда человек страдает, от него не отворачиваются, а вглядываются в него и *видят* — не это ли и есть милосердие и культура?

Леонид Кроль, психиатр

Человек, принимавший жену за шляпу

ПРОФЕССОР П. был выдающимся музыкантом, хорошо известным в прошлом певцом, а затем — преподавателем музыки в местной консерватории. Именно здесь, в общении со студентами, впервые обнаружились у него некоторые странности. Случалось, что к профессору П. приходил студент, а он его не узнавал — вернее, не помнил его лица. Но стоило студенту начать говорить, как профессор немедленно узнавал его по голосу. Подобные случаи множились, порождая недоумение, смущение, страх, а иногда и смех. Ибо профессор П. не только все хуже различал лица; он начинал видеть их там, где их не было вовсе. Он нежно, покровительственно поглаживал, выходя на улицу, скругленные части пожарных кранов и счетчиков на парковке, принимая их за детские головки; не раз приветливо заговаривал с узорными шишечками на мебели и поражался тому, что они не отвечали. Поначалу эти несуразные промахи казались розыгрышами, и профессор смеялся не меньше других. Разве не отличался он всегда необычным чувством юмора и не был привержен шуткам и парадоксам в духе дзен-буддизма? Его музыкальный талант по-прежнему сверкал всеми гранями, профессор чувствовал себя здоровым и бодрым как никогда, а ошибки его, столь смехотворные — и столь остроумные, — никак не могли предвещать беду. Ощущение "неблагополучия" появилось три года спустя, когда у П. начался диабет. Прекрасно зная, что диабет может отразиться на зрении, профессор обратился к офтальмологу, который внимательно изучил историю болезни и тщательнейшим образом обследовал его глаза. "Глаза у вас в полном порядке, — сказал врач в конце осмотра, — но нарушена деятельность зрительных зон мозга. В моей помощи вы не нуждаетесь, вам нужно обратиться к невропатологу". Следуя этому совету, профессор П. пришел на прием ко мне.

С первых же секунд нашего общения стало очевидно, что у него нет ни малейших признаков слабоумия в обычном смысле слова. Это был человек большой культуры, незаурядного обаяния, с прекрасной и связной речью, наделенный воображением и чувством юмора.

Но что-то *было* не так. Он сидел напротив меня, смотрел на меня, говорил со мной, но что-то — трудно сформулировать, что именно, — было не в порядке. Я чувствовал, что он воспринимает меня не глазами, а ушами. Он не смотрел на меня, не изучал, не вглядывался, как это обычно бывает, когда люди разговаривают: глаза его блуждали, неожиданно останавливаясь то на моем носе, то на правом ухе, спускались к подбородку, поднимались к правому глазу, как бы отмечая — даже исследуя — эти разрозненные детали, но не видели целиком моего лица, его меняющегося выражения, меня как целое. Вряд ли тогда я это понимал, было лишь дразнящее ощущение разлада, какой-то странной рассогласованности мимики и взгляда. Он видел меня, "сканировал" меня, но при этом...

— В чем же все-таки дело? — спросил я его наконец.

— Не знаю, — ответил он с улыбкой, — но люди, кажется, грешат на мои глаза.

— Но *вы* на зрение не жалуетесь?

— Я вижу хорошо, хотя, бывает, обознаюсь.

© Oliver Sacks, 1985
© Р. Шапиро. Перевод, 2001

Я ненадолго вышел из комнаты, чтобы поговорить с его женой. Когда я вернулся, профессор П. безмятежно сидел у окна, но не смотрел в него, а скорее внимательно к чему-то прислушивался.

— Транспорт, — сказал он, — звуки улицы, далеких поездов — они похожи на симфонию, не правда ли? Вы знаете "Пасифик 231" Онеггера?[1]

Что за прелестный человек, сказал я себе. Разве может он быть серьезно болен?

— Вы позволите мне осмотреть вас?

— Разумеется, доктор Сакс.

Я успокоился сам и, возможно, успокоил его, приступив к размеренной процедуре неврологического обследования — мышечная сила, координация, рефлексы, тонус... Во время исследования рефлексов, несколько нарушенных слева, впервые обнаружилась некоторая странность. Я снял с его левой ноги ботинок и пощекотал ступню ключом — манипуляция на первый взгляд игривая, но совершенно необходимая для проверки определенного рефлекса, — а затем, сказав, что мне нужно собрать офтальмоскоп, попросил его надеть ботинок. К моему удивлению, минуту спустя он его еще не надел.

— Вам помочь? — спросил я.

— Помочь? Кому помочь?

— Помочь вам надеть ботинок.

— Ах, — воскликнул он, — я забыл про ботинок, — и продолжал вполголоса: — Ботинок... Ботинок? — Он, казалось, растерялся.

— Ваш ботинок, — повторил я. — Наденьте его, пожалуйста.

Он продолжал глядеть вниз, причем очень внимательно, но не на ботинок, а мимо него. Наконец он остановил свой взгляд на ноге:

— Это мой ботинок, правда?

Может быть, я ослышался? Или он не разглядел?

— Это все глаза, — объяснил он и прикоснулся к ноге. — Это мой ботинок, правильно?

— Нет, это ваша нога. А это — ваш ботинок.

— Ах, а я-то думал, что это нога.

Он шутит? Сумасшедший? Слепой? Если это один из его "странных промахов", то это самый странный промах, какой я только встречал в жизни.

Я помог ему надеть ботинок (то есть "ногу") во избежание дальнейших осложнений. Сам профессор П. казался безмятежным, безразличным, возможно, все это даже его позабавило. Я продолжил осмотр. У него было хорошее зрение: он без труда различал булавку на полу, хотя иногда пропускал ее, если она лежала слева.

Видел он прекрасно, но что́ он видел? Я раскрыл номер "Нэшнл джэогрэфик мэгэзин" и попросил П. описать несколько иллюстраций. Его описания были очень необычны. Взгляд его метался от одного предмета к другому, выхватывая мелкие, разрозненные детали, — так же он до этого рассматривал мое лицо. Яркое пятно, цвет, форма могли привлечь его внимание и вызвать отклик, но ни разу он не увидел всю сцену целиком. Он видел не целое, а отдельные детали, так же как на экране радара видны лишь пятнышки, а не весь предмет целиком. Столь же фрагментарно он воспринимал иллюстрации: перед ним, так сказать, не вставала их "физиономия". Он не различал, что́ перед ним, сценка или пейзаж.

1. Онеггер Артюр (1892–1953) — французский композитор. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)

Я показал ему изображенные на обложке бескрайние просторы Сахары.

— Что вы видите? — спросил я его.

— Я вижу реку, — ответил он. — И маленькую гостиницу с террасой, выходящей к воде. На террасе, на свежем воздухе, обедают люди. Тут и там видны разноцветные зонтики.

Он смотрел, если это слово тут применимо, мимо обложки, в пространство, и сочинял несуществующие подробности; очевидно, отсутствие деталей на настоящей фотографии заставляло его воображать реку, террасу и разноцветные зонтики.

На лице у меня, вероятно, был написан ужас, но ему, судя по всему, казалось, что он справился с заданием весьма неплохо. Он чуть заметно улыбнулся. Видимо, он решил также, что осмотр окончен, и стал искать глазами свою шляпу. Он протянул руку, ухватил за голову жену и попытался снять ее и надеть на себя. Он, несомненно, принял свою жену за шляпу! Жена, казалось, привыкла к подобным недоразумениям.

Я не мог объяснить произошедшее в рамках традиционной невропатологии или психоневрологии. Психика П. в ряде отношений была совершенно сохранна, но в других непостижимым образом полностью разрушена. Как мог он путать жену со шляпой и в то же время до сих пор преподавать в консерватории?

Мне необходимо было поразмыслить и увидеть его еще раз — причем у него дома, в привычной обстановке.

Несколько дней спустя я навестил профессора П. и его жену; у меня в портфеле лежали ноты "Любви поэта" (я знал, что он любит Шумана) и целый набор предметов для проверки восприятия. Миссис П. провела меня в роскошно обставленную комнату в стиле Берлина fin-de-siècle[1]. В центре ее размещался старинный парадный "Безендорфер", окруженный другими музыкальными инструментами, пюпитрами, нотами... Были и книги, и картины, но царила здесь музыка. Вошел профессор П. и в рассеянности направился с протянутой рукой к высоким напольным часам, но, услышав мой голос, скорректировал курс и пожал мне руку. Мы обменялись приветствиями, немного поболтали о последних концертах и спектаклях; я робко попросил его спеть.

— "Любовь поэта"! — воскликнул он. — Но я больше не могу читать ноты. Вы ведь проаккомпанируете мне, правда?

Я сказал, что попробую. Чудесный рояль профессора пел даже под моими пальцами, а сам профессор П. был состарившимся, но бесконечно сладкозвучным Фишером-Дискау, сочетавшим прекрасный слух и голос с тонкой музыкальностью. Было ясно, что в консерватории его держат не из милости.

У профессора П., очевидно, не были затронуты височные доли: музыкальные зоны коры его мозга функционировали превосходно. Что же происходит в его теменных и затылочных долях, думал я, особенно в зонах обработки зрительной информации? В моем диагностическом наборе имелись платоновы тела, и я решил начать с них.

— Что это такое? — спросил я, вытащив одно из них.

— Куб, разумеется.

— А это? — продолжил я, демонстрируя следующее. Он попросил разрешения изучить предмет, причем сделал это быстро и систематически.

1. Рубежа веков (*франц.*).

— Разумеется, додекаэдр. И не трудитесь — икосаэдр я тоже узна́ю.

Абстрактные формы, очевидно, не представляли никаких затруднений. А лица? Я вынул колоду карт. Он определял их мгновенно — включая королей, дам, валетов и джокеров. Но это, в конце концов, всего лишь стилизованные изображения, и невозможно было сказать, видит он лицо или только схему. Я решил показать ему сборник карикатур, лежавший у меня в портфеле. С этим заданием он тоже справился неплохо. Сигара Черчилля, нос Шнозеля[1] — как только он вычленял ключевую деталь, он узнавал лицо. Но карикатуры, опять же, формальны и схематичны. Оставалось проверить, как он воспринимает настоящие, реалистически изображенные лица.

Я включил телевизор и заглушил звук; показывали ранний фильм с Бетти Дэвис[2]. Любовная сцена была в самом разгаре. Профессор П. не узнал актрису — возможно, потому, что она никогда не была частью его мира. Удивительнее было то, что он не различал выражений лиц — ни ее, ни ее партнера, хотя в ходе одной лишь знойной сцены они переходили от жгучей тоски к страсти, изумлению, отвращению, гневу и, наконец, трогательному примирению. Профессор П. ничего этого не видел. Он не понимал, что происходит, не узнавал персонажей и даже не мог сказать, какого они пола. По тому, как он комментировал происходящее, можно было подумать, что имеешь дело с марсианином.

Не исключено, что его затруднения отчасти объяснялись нереальностью целлулоидного мира Голливуда, и мне пришло в голову, что, наверное, ему будет проще распознать лица окружавших его людей. На стенах комнаты висели фотографии, изображавшие его родственников, коллег, учеников, его самого. Я собрал их в стопку и, испытывая дурные предчувствия, показал ему. То, что было комедией или фарсом, когда дело касалось кино, стало трагедией, когда речь пошла о реальной жизни. Он, в общем, не узнавал никого: ни родственников, ни коллег, ни учеников, ни себя самого. Он угадал Эйнштейна по характерной прическе и усам; точно так же он узнал одного-двух других людей.

— А, Пол! — воскликнул он, увидев портрет своего брата. — Квадратная челюсть, большие зубы, — я везде его узна́ю.

Неизвестно, однако, узнал ли он Пола или же его характерные особенности, на основании которых мог делать правдоподобные предположения. Отсутствие "отличительных признаков" приводило его в полное замешательство. Но нарушена была не только его познавательная способность, не только gnosis. Было что-то принципиально неправильное в самом образе его действий. Даже на лица родных и близких он смотрел, как если бы это были абстрактные задачи или головоломки. У него не было сложившегося отношения к ним, он не "читал" их. Ни одно лицо не было для него живым, не обладало своим "я", он видел лишь набор признаков: "оно". Ему было доступно формальное, но не личностное познание. Этим и объяснялись его безразличие и невосприимчивость к выражению лица. Для нас лицо — это отражение личности, мы на самом деле видим личность сквозь ее личину, ее маску. Но для профессора П. никакой маски в этом смысле не существовало — ни внешней маски, ни личности, скрывавшейся под ней.

1. Шнозель ("шнобель") — прозвище Джимми Дюранте (1893–1980), известного американского джазового музыканта и комика, обладавшего крупным носом.
2. Бетти Дэвис (1908–1989) — выдающаяся американская актриса.

По дороге к нему я зашел в цветочный магазин и купил роскошную алую розу в петлицу. Теперь я вынул ее и вручил ему. Он взял ее, как ботаник или морфолог, которому дали образец, а не как человек, которому дали цветок.

— Около шести дюймов в длину, — отметил он. — Красное тело извилистой формы с зеленым линейным отростком.

— Да, — сказал я ободряюще. — А как вы думаете, что это такое?

— Не так-то это просто. — Он, казалось, пришел в замешательство. — В нем нет простой симметрии платоновых тел, хотя, вероятно, присутствует симметрия более высокого порядка... Может быть, это соцветие или цветок.

— Может быть? — уточнил я.

— Может быть, — подтвердил он.

— Понюхайте, — предложил я, и он опять смутился, словно я попросил его понюхать "симметрию более высокого порядка". Тем не менее он вежливо повиновался и поднес ее к носу. И вдруг пришел в себя.

— Изумительно! — воскликнул он. — Первая роза. Божественный аромат! — Он начал напевать "Die Rose, die Lillie..."[1] Окружающий мир, оказалось, можно воспринимать не на слух, а на запах.

Я предпринял последнюю попытку. Весна только начиналась, день выдался холодный, и на мне были пальто и перчатки — раздеваясь, я бросил их на софу.

— Что это? — спросил я, подняв перчатку.

— Можно посмотреть? — спросил он и, взяв ее у меня, стал исследовать, как до того исследовал геометрические формы.

— Непрерывная складчатая поверхность, — объявил он наконец, — с пятью, — он заколебался, — мешочками, если можно их так назвать.

— Да, — сказал я осторожно. — Вы описали ее. А теперь скажите мне, что же это такое?

— Какая-то емкость?

— Да, — подтвердил я. — А как ее используют?

— Используют как емкость, — ответил профессор П. со смешком. — Возможностей немало. Это может быть кошелек для мелочи, например для монет пяти размеров. Это может быть...

Я прервал его бред.

— Разве вы никогда раньше ее не видели? Вам не кажется, что туда можно спрятать некую часть вашего тела, надеть на нее эту емкость?

Его лицо не озарилось догадкой[2].

Ни один ребенок не сможет определить перчатку как непрерывную складчатую поверхность, но любой ребенок, даже младенец, сразу же увидит, что перчатка — это перчатка, узнает ее, поймет, что ее надевают на руку. Профессор П. этого не понимал. Живя в мире мертвых абстракций, он не узнавал ничего. Не было никакого сомнения, что он не видел реального мира и не имел реального представления даже о своей собственной внешности. Он мог говорить о разных предметах, но не видел их непосредственного облика. Хьюлингс Джексон[3] говорит, что у пациентов, страдающих афазией и поражениями левого полушария, утрачено

1. Песня Р. Шумана.

2. Позднее он случайно надел ее и воскликнул: "Господи, да это же перчатка!" Это напомнило мне пациента Курта Гольдштейна, Ланути, который опознавал предмет только после попыток им воспользоваться. (*Прим. авт.*)

3. Х. Джексон (1835—1911) — выдающийся английский невролог и психиатр, один из основоположников современной неврологии.

"абстрактное" и "логическое" мышление, и сравнивает их с собаками (или, вернее, собак с пациентами, страдающими афазией). Профессор П., напротив, действовал в точности как машина. Дело не только в том, что он проявлял такое же безразличие к внешнему миру, как компьютер. Еще поразительнее было то, что он анализировал его так же, как компьютер, основываясь на ключевых признаках и схематических связях. Схема опознавалась как фоторобот, без обращения к действительности.

Опыты, которые я проводил до сих пор, ничего не говорили мне о внутреннем мире профессора П. Может быть, болезнь пощадила зрительную память и воображение? Я попросил его представить себе, как он входит с северной стороны на одну из площадей нашего города, вообразить или вспомнить, как он пересекает ее, и сказать, мимо каких зданий он проходит. Он перечислил все здания по правую руку, но не назвал ни одного, стоящего слева. Затем я попросил его представить себе, как он входит на площадь с южной стороны. Он вновь перечислил здания, располагавшиеся справа от него, хотя это были те самые здания, которые он до этого пропустил. Те, что он "видел" прежде внутренним взором, теперь не упоминались; по всей вероятности, он их больше не "видел". Стало ясно, что сужение поля зрения и затруднения, связанные с левой стороной, были у него не только внешними, но и внутренними и рассекали надвое его зрительную память и воображение.

Какова же была, на более высоком уровне, его внутренняя способность порождать зрительные образы? Вспомнив о почти галлюцинаторной осязаемости, которой Толстой наделяет своих героев, я начал задавать доктору П. вопросы по "Анне Карениной". Он с легкостью пересказывал эпизоды, имел целостное представление о сюжете, но неизменно опускал зрительные характеристики, зримое повествование, зримые сцены. Он помнил слова героев, но не их лица. И хотя по моей просьбе он, при своей необыкновенной, почти стенографической памяти, цитировал целые куски зрительных описаний, они, очевидно, были для него пустыми и не обладали ни чувственной, ни образной, ни эмоциональной реальностью. Таким образом, налицо была и внутренняя агнозия[1].

Но вскоре выяснилось, что восприятие зрительных образов было только частичным. Зрительное восприятие лиц и сцен, повествования и действия было почти полностью разрушено, но способность к восприятию *схем* была сохранена, может быть, даже усилена. Когда я предложил ему шахматную партию вслепую, он с легкостью представлял себе и доску и ходы — и с той же легкостью разбил меня в пух и прах.

Лурия писал, что Зазецкий совершенно разучился играть в игры, но "живое воображение" было у него сохранено[2]. Зазецкий и профессор П. жили в зеркально противоположных мирах. Но самое грустное различие между ними заключается в том, что Зазецкий, как писал Лурия, "боролся за свои утраченные способности с одержимостью обреченного", а профессор П. не боролся, не знал, чего он лишился, и вообще не подозревал об утрате. Но чья судьба трагичнее и кто из них более обделен — знавший или пребывавший в неведении?

1. Агнозия — расстройство способности узнавания вследствие поражения коры головного мозга.
2. А. Р. Лурия (1902–1977) — выдающийся советский психолог, изучавший, в частности, различные формы нарушения психических функций при локальных поражениях мозга. Зазецкий — пациент А. Р. Лурия, о котором он написал книгу "Потерянный и возвращенный мир".

После осмотра миссис П. позвала нас к столу, пить кофе с необыкновенно вкусными пирожными. Проголодавшийся профессор П. энергично за них принялся, одновременно что-то напевая. Он стремительно, небрежно, свободно, ритмично придвигал к себе тарелки, пробуя то одно, то другое; гудящие звуки текли бурным потоком и сливались в настоящую музыку еды. Неожиданно ее прервал громкий, настойчивый стук в дверь. Испуганный, удивленный, ошеломленный профессор П. перестал есть и замер за столом с выражением бессмысленного изумления. Он видел стол и в то же время не видел его, не понимал, что это стол, уставленный пирожными. Жена налила ему кофе — и запах, щекотавший ноздри, привел его в чувство. Мелодия еды возобновилась.

Как же он живет? — спрашивал я себя. Как он одевается, ходит в уборную, принимает ванну? Я прошел за его женой на кухню и спросил, как он, например, одевается.

— Так же, как и ест, — ответила она. — Я раскладываю его одежду в определенном порядке, и он спокойно одевается, тихонько напевая. Он все делает напевая. Но когда его прерывают, он теряет нить, останавливается и не узнает ни одежды, ни своего собственного тела. Он всегда поет — у него есть песни для еды, одевания, купания и так далее. Он ничего не делает без пения.

Во время беседы я обратил внимание на висевшие на стенах картины.

— Да, — сказала миссис П., — он был не только певцом, но и одаренным художником. Его работы ежегодно выставлялись в консерватории.

Я стал с любопытством их рассматривать — они были развешаны в хронологическом порядке. Все ранние работы были реалистичны и даже натуралистичны, они верно передавали атмосферу и настроение, но в то же время им были присущи детальность и конкретность. Картины, написанные годы спустя, были менее живыми, конкретными и реалистичными; живопись стала более абстрактной — геометричной и даже кубистической. Последние же полотна были бессмысленными, во всяком случае для меня, — одни лишь беспорядочные линии и случайно расположенные мазки. Я поделился впечатлениями с миссис П.

— Ах, вы, врачи, такие обыватели! — воскликнула она. — Неужели вы не видите художественной эволюции от реализма раннего периода к абстрактному, беспредметному искусству?

Нет, тут другое, сказал я себе (но не бедной миссис П.). Он, безусловно, эволюционировал от реализма к абстракционизму, но развивался не художник, а его недуг, — развивался в направлении глубокой зрительной агнозии, разрушавшей воображение, чувство конкретного, ощущение реальности. Картины, висевшие на этой стене, являли собой трагическую выставку плодов болезни, а не произведений искусства.

И тем не менее, думал я, не права ли она отчасти? Болезнь и талант обычно вступают в схватку, но иногда и в сговор. Не исключено, что его кубистические работы были созданы под влиянием и патологии, и дарования; ибо, потеряв в конкретном, он мог выиграть в абстрактном, обостренно чувствуя составные элементы: границу, линию, контур — и почти сравнявшись с Пикассо по силе восприятия и отображения абстрактных структур, входящих в конкретное, но обычно растворенных в нем. Впрочем, в картинах последнего периода, боюсь, царили лишь хаос и агнозия.

Мы вернулись в великолепную музыкальную комнату, посредине которой красовался "Безендорфер"; профессор П. напевая дожевывал последнее пирожное.

— Итак, профессор Сакс, — обратился он ко мне. — Вы, насколько я понимаю, находите мой случай заслуживающим внимания. Не могли бы вы сказать, что со мной не так, дать рекомендации?

— Я не могу сказать вам, что не так, но могу сказать, что так. Вы замечательный музыкант, музыка — ваша жизнь. В вашем случае жизнь должна состоять исключительно из музыки. Музыка всегда была центром вашего существования, сделайте ее теперь его единственным содержанием.

Это было четыре года назад; с тех пор я не видел его, но много о нем думал. Я часто задавался вопросом, каким он видит мир, потеряв образное и зрительное мышление, но полностью сохранив при этом музыкальность. Думаю, музыка для него стала заменой образу. Для него не существовало образа тела, для него существовала музыка тела; вот почему он был так непринужден в действиях и движениях, но застывал в замешательстве, когда "внутренняя музыка" умолкала. Так же он воспринимал и внешний мир...[1]

В своем сочинении "Мир как воля и представление" Шопенгауэр говорит о музыке как о "чистой воле". В какой восторг пришел бы он от человека, потерявшего образ мира, но сохранившего его музыку — или волю!

К счастью, так продолжалось до самого конца — ибо, несмотря на постепенно прогрессировавшую болезнь (обширную опухоль или дегенеративный процесс в зрительных зонах мозга), профессор П. преподавал музыку до конца своих дней.

Постскриптум

Как следует интерпретировать специфическую неспособность профессора П. идентифицировать, или распознать, перчатку как перчатку? Он, очевидно, не мог сделать когнитивное умозаключение, хотя выдвигал множество когнитивных гипотез. Умозаключение интуитивно, личностно, конкретно и исчерпывающе — мы "видим", как вещи соотносятся друг с другом и сами с собой. Профессор П. был лишен именно этой способности видеть и сопоставлять (хотя в других аспектах его суждения были быстрыми и адекватными). <...>

Как ни странно, психология и неврология, говоря о чем угодно, никогда не говорят об "умозаключении"; и все же именно неспособность к умозаключениям составляет существо многих психоневрологических нарушений. Способность делать умозаключения и отождествлять объекты может пострадать в результате заболевания, но психоневрология никогда этим не занимается.

Тем не менее именно способность к умозаключениям — в философском (кантовском) ли или эмпирическом и эволюционном смысле — это важнейшая из наших способностей. И животное, и человек прекрасно

1. Например, как я впоследствии узнал от его жены, хотя он и не узнавал своих студентов, пока они не двигались, будучи лишь "образами", он мог неожиданно их узнать, стоило им двинуться с места. "Это Карл, — кричал он, бывало, — я узнаю его движения, музыку его тела". (*Прим. авт.*)

могут обойтись без "абстрактного восприятия", но неминуемо погибнут, лишившись способности делать умозаключения. Эта способность должна быть присуща высокоорганизованным формам жизни (или сознания) в первую очередь, и при этом в классической неврологии она либо игнорируется, либо неверно интерпретируется. И если мы зададимся вопросом о причинах столь абсурдной ситуации, мы найдем их в исходных предпосылках и становлении самой неврологии. Ибо классическая неврология (так же как и классическая физика) всегда была механистической — начиная с механистических аналогий Хьюлингса Джексона и заканчивая современными сравнениями с компьютером.

Мозг, безусловно, можно сопоставить и с механизмом, и с компьютером — точка зрения классической неврологии совершенно оправданна. Но психические процессы, определяющие нашу жизнь и наше бытие, не ограничиваются исключительно абстрактным и механическим — это еще и личностные процессы, подразумевающие, следовательно, не только классификацию и категоризацию, но и постоянное ощущение и распознавание. Если этого нет, мы уподобляемся компьютерам, как профессор П. А это значит, что, выведя ощущение и распознавание из сферы рассмотрения когнитивных наук, мы и их сведем к чему-то столь же неполноценному, ограниченному, обедненному, как личность профессора П., и ограничим наше собственное восприятие реального и конкретного.

Как это ни страшно и ни смешно, современные когнитивные неврология и психология больше всего напоминают бедного профессора П.! Мы нуждаемся в реальном и конкретном так же, как и он. И так же, как и он, мы не видим ни того, ни другого. Наши когнитивные науки страдают, в сущности, той же агнозией, что и профессор П. Его случай, таким образом, может служить наставлением и предостережением — предостережением о том, что случается с наукой, когда она избегает субъективного, частного, личного и становится исключительно абстрактной и формальной.

Перевод Р. Шапиро

Документальная проза

Последний хиппи

Детство Грега Ф. пришлось на пятидесятые годы. Он рос в обеспеченной семье в Квинсе, был привлекательным и довольно одаренным мальчиком; казалось, ему, как и отцу, предстояло сделать профессиональную карьеру — возможно, композитора-песенника; у него были к этому способности, и они рано проявились. Но в конце шестидесятых, когда Грег был подростком, он стал упрям, начал относиться ко всему скептически, возненавидел упорядоченную жизнь родителей и соседей и циничную агрессивную политику правительства. Его потребность в бунте и, в равной мере, стремление найти идеал и ориентиры, а также обрести лидера, окончательно сформировалось в 1967-м, в "Лето люб-

© Oliver Sacks, 1995
© В. Кулагина-Ярцева. Перевод, 2001

ви"[1]. Он имел обыкновение уезжать в Виллидж и слушать ночами напролет декламацию Аллена Гинсберга; любил рок-музыку, в частности "кислотный" рок, и больше всего группу "Грейтфул дэд".

Грег все больше расходился с родителями и учителями: с родителями был агрессивен, с учителями держался замкнуто. В 1968-м, когда Тимоти Лири[2] призывал американскую молодежь: "Вруби, закайфуй, выпади в осадок", Грег отрастил длинные волосы и "выпал" из школы, хотя и был хорошим учеником. Он оставил дом и переехал жить в Виллидж, где бросил "кислоту" и приобщился к наркотическим обычаям Ист-виллидж — как и многие его сверстники, он искал утопии: внутренней свободы и "высшего сознания".

Но "закайфовать" Грегу оказалось недостаточно, ему хотелось более индоктринированного обучения и образа жизни. В 1969-м его, как и множество молодых наркоманов, потянуло к свами Бхактиведанта и созданному им международному Обществу сознания Кришны на Второй авеню. Под влиянием свами Грег, как и многие другие, перестал принимать наркотики, заменив наркотические озарения религиозной экзальтацией. ("Единственное радикальное средство от алкоголизма, — сказал как-то Уильям Джеймс, — это религиемания".) Философия, чувство товарищества, пение, ритуалы, суровая харизматическая фигура самого свами стали для Грега откровением, и он мгновенно превратился в истово верующего неофита[3]. Религия стала центром, средоточием его жизни. В первые недели своего обращения он в восторге бродил по Ист-виллидж в шафрановом одеянии, распевая мантры "Харе Кришна", а в начале 1970-го переселился в главный храм в Бруклине. Родители Грега сначала возражали, затем смирились. "Возможно, это пойдет ему на пользу, — философски заметил отец. — Кто знает, возможно, это путь, который ему и следовало избрать".

Первый год жизни Грега в храме прошел благополучно, он был послушен, чистосердечен и благочестив. "Он святой, — сказал о нем свами, — он один из нас". В начале 1971 года Грега, уже как полноценного члена общины, послали в храм Нового Орлеана. Пока он жил в Бруклинском храме, родители время от времени виделись с ним, но теперь связь практически оборвалась. На втором году пребывания среди кришнаитов Грег заметил, что у него слабеет зрение, но свами и другими верующими это было истолковано в религиозном ключе: ты стал "посвященным", сказали они, это усилился "внутренний свет". Поначалу Грег волновался из-за глаз, но объяснения свами его успокоили. Хотя зрение становилось все слабее, он больше не жаловался. Действительно, день ото дня он все более укреплялся в вере — на него снизошло удивительное спокойствие. Исчезло прежнее нетерпение и жадность к жизни, временами он пребывал в каком-то оцепенении, при этом на губах у не-

1. "Лето любви" — такое название в прессе получило лето 1967 г., когда внимание газет было приковано к жизни хиппи в районе Хайт-Эшбери в Сан-Франциско. В июне 1967-го в Монтерее состоялся фестиваль поп-музыки, после его окончания около пятидесяти тысяч его участников отправились в Сан-Франциско и собрались в районе Хайт-Эшбери, превратив его в "рай для хиппи" — царство любви, наркотиков и музыки.
2. Тимоти Лири (1920—1996) — психолог, философ контркультуры, "гуру" наркоманов, занимался экспериментами по "расширению сознания" с помощью наркотиков типа ЛСД.
3. Необычные взгляды свами в обобщенном виде представлены в книге "Easy Journey to Other Planets", Tridandi Goswami A. C. Bhaktivedanta Swami, опубликованной League of Devotees, Vrindaban (без даты, цена одна рупия). Этот тоненький учебник в зеленой бумажной обложке, который в огромных количествах раздавали одетые в шафранные одежды последователи свами, сделался в тот период библией Грега. (*Прим. авт.*)

го играла странная (некоторые говорили "трансцендентная") улыбка. "Это благословение, — сказал свами, — ты становишься святым". В храме полагали, что Грега нужно удерживать в таком состоянии: его никуда не выпускали, вели за ним постоянное наблюдение, контакты с внешним миром не поощрялись.

Родители не имели прямой связи с сыном, но время от времени получали сообщения из храма: о его "духовном продвижении", его "просветлении" — все это излагалось так туманно и было так непохоже на Грега, каким они его помнили, что они встревожились и написали свами, от которого пришел успокоительный, ободряющий ответ.

Прошло еще три года, прежде чем они твердо решили, что должны увидеть Грега собственными глазами. Здоровье отца пошатнулось, он боялся, что, если будет откладывать свидание, то может никогда больше не увидеться со своим "блудным" сыном. Свами разрешил им приехать, и в 1975-м, после четырех лет разлуки, они посетили Грега в Новоорлеанском храме. Увиденное привело их в ужас: их тощий длинноволосый сын стал толстым и безволосым, на лице у него постоянно блуждала "дурацкая" улыбка (так, во всяком случае, выразился отец), он то и дело произносил строки из песен и стихов, а когда проявлял какие-либо эмоции, делал это "по-идиотски" ("Как будто он изнутри выдолблен. Пуст", — сказал его отец). Грег потерял интерес ко всему происходящему, не ориентировался в реальной жизни — и был совершенно слеп. Как ни удивительно, в храме согласились на его отъезд — возможно, даже там почувствовали, что "просветление" зашло слишком далеко, и начали беспокоиться о его состоянии. Грега положили в больницу, исследовали и перевели в нейрохирургию. Просвечивание выявило огромную опухоль мозга, разрушившую гипофиз и смежную с ним хиазму — перекрестие зрительных нервов, а также сами нервы. Опухоль распространилась на обе лобные доли, она доходила до височных долей и до промежуточного, или переднего, мозга. При операции выяснилось, что опухоль доброкачественная: менингиома, но она разрослась до размеров небольшого грейпфрута или апельсина, и хотя ее удалось убрать почти полностью, хирурги не могли исправить причиненный ею вред.

Теперь Грег был не только слеп, но и тяжко болен — и со стороны неврологии, и психически. Если бы его первые жалобы на ухудшение зрения были услышаны и к нему допустили врача или просто здравомыслящего человека, несчастье можно было бы предотвратить. Поскольку, как ни печально, не то что выздоровления, но даже небольшого улучшения ожидать не приходилось, Грега, двадцатипятилетнего парня, для которого активная жизнь кончилась навсегда, определили в Уильямсбридж — больницу для хроников.

Я познакомился с Грегом в апреле 1977 года, когда его привезли в больницу. Без растительности на лице, ребячливый, он казался моложе своих двадцати пяти лет. С бессмысленным выражением на нежном лице, со слепыми блуждающими глазами, он сидел неподвижно в своем кресле на колесиках — толстый, смахивающий на Будду. Он был пассивен и сам не вступал в общение, но если я с ним заговаривал, отвечал быстро и толково, хотя иногда его внимание отвлекалось: услышав какие-то необычные слова, он начинал порождать по ассоциации словесные гибриды или произносить обрывки песен и стихов. Когда с ним не заговаривали и его время ничем не было заполнено, вокруг него как будто сгущалась тишина, а если молчание длилось более минуты, он порой на-

чинал распевать "Харе Кришна" или тихо бормотал мантры. Он все еще оставался, по собственным его словам, "истово верующим", преданным доктринам и целям группы.

Я не мог добиться от него никакого связного рассказа: прежде всего, он не вполне понимал, почему оказался в больнице, и приводил различные причины, когда я его об этом спрашивал. Сначала сказал: "Потому что я плохо соображаю", затем: "Потому что я раньше принимал наркотики". Он помнил, что жил в главном храме кришнаитов ("большой красный дом, номер 439 по Генри-стрит, в Бруклине"), но не помнил, что потом жил в их храме в Новом Орлеане. Он также не помнил, что именно там у него появились первые симптомы ухудшения зрения. Казалось, Грег воистину не осознает никаких своих бед: ни того, что слеп, ни того, что плохо держится на ногах и вообще болен. Не осознает — и значит, ему все равно. Он казался расслабленным, спокойным, свободным от любых чувств — именно это неестественное спокойствие его собратья-кришнаиты, очевидно, и называли "блаженством" — один раз даже сам Грег употребил этот термин. "Как ты себя чувствуешь?" — я вновь и вновь возвращался к этому, и однажды он ответил: "Я чувствую себя блаженным. Я боюсь вернуться в материальный мир". В начале пребывания Грега в больнице многие его друзья-кришнаиты часто приходили навестить его, я не раз видел в коридорах их шафрановые одежды. Целой толпой приходили они к бедному, слепому, опустошенному Грегу, ибо видели в нем достигшего "отрешенности", просветленного.

Когда я расспрашивал Грега о текущих событиях и наших современниках, мне открывалась вся глубина его дезориентированности и расстройства сознания. Когда я спросил его, кто сейчас президент, он ответил "Линдон", затем "тот, кого застрелили". Я подсказал: "Джимми...", и он продолжил: "Джими Хендрикс"[1], а когда я засмеялся, заметил, что, возможно, идея музыкального Белого дома не так уж плоха. Еще несколько вопросов убедили меня в том, что Грег, в сущности, не помнит событий после 1970 года — у него, безусловно, отсутствовала последовательная, хронологическая память об этом времени. Казалось, он застрял в шестидесятых, когда отключилась его память и остановилось его развитие, его внутренняя жизнь. Опухоль Грега росла медленно: когда в 1976 году ее наконец удалили, она, хотя и была огромной, лишь на последней стадии своего роста уничтожила зону памяти, которая находится в височной доле мозга, именно тогда в сознании Грега и прекратилась фиксация новых фактов. Но трудности, правда не принципиального, а частичного характера, Грег испытывал, даже вспоминая события конца шестидесятых — события, которые он должен был прекрасно запомнить. То есть, помимо неспособности фиксировать новые события, наблюдалось также и разрушение некоторых прошлых воспоминаний (ретроградная амнезия), относившихся к нескольким годам, предшествовавшим развитию опухоли. Провести абсолютно четкую временную грань было невозможно: числа и события 1966-го и 1967-го остались у него в памяти полностью, события 1968-го или 1969-го — частично, а события после 1970-го почти совсем не запомнились.

1. Джими Хендрикс (1942—1970), настоящее имя Джеймс Маршал Хендрикс. Одна из наиболее заметных фигур контркультуры, рок-музыкант, считался лучшим гитаристом рок-н-ролла. Выступал на известных концертах во время "Лета любви" в Сан-Франциско в 1967 г., на Вудстокском фестивале в 1970-м, где произвел фурор виртуозным и авангардистским исполнением гимна США. Умер в Лондоне от чрезмерной дозы наркотиков.

Глубину амнезии Грега продемонстрировать легко. Если я называл ему с десяток слов подряд, он уже через минуту не мог повторить почти ни одно. Когда я рассказывал ему историю и просил повторить ее несколько раз, он с каждым разом все больше путался, у него возникало все большее количество "контаминаций" и нарушений связей — иногда забавных, иногда крайне странных — и минут через пять его история нисколько не походила на ту, которую рассказал я. Так, выслушав сказку о льве и мыши, он скоро отошел от сюжета, его мышь грозилась, что съест льва, — она превратилась в гигантскую мышь, а лев стал крошкой. Оба были мутантами, объяснил Грег, когда я посмеялся над этими несообразностями. Или, возможно, сказал он, это были звери из сновидения или "альтернативной истории", где мыши действительно цари джунглей. Через пять минут он уже не помнил эту сказку.

Я слышал от социального работника больницы, что Грег страстный любитель музыки, в особенности рок-н-ролльных групп шестидесятых годов. Войдя в палату Грега, я увидел кипы пластинок и лежащую на кровати гитару, и как только я спросил о его увлечении, произошло полное превращение — он утратил свою отрешенность, свое безразличие и с большим воодушевлением заговорил о любимых рок-группах и песнях, прежде всего о "Грейтфул дэд": "Я ходил на них в "Филлмор-Ист" и Центральный парк". Он вспомнил их программу во всех подробностях, но добавил, что "самая любимая вещь — "Табачная дорога". Название пробудило в памяти мелодию, и Грег спел всю песню с большим чувством и проникновенностью — такой эмоциональной глубины он до сих пор не выказывал ни разу. Во время пения он, казалось, преобразился, стал совсем другим, целым человеком.

— Когда ты их слышал в Центральном парке? — спросил я.

— Уже давно, больше года назад, — ответил он, хотя на самом деле группа играла там в последний раз восемью годами раньше, в 1969-м: "Филлмор-Ист", известный театр рок-н-ролла, где Грег также слушал в свое время музыкантов, не пережил начала семидесятых. А он рассказывал дальше, как однажды слышал Джими Хендрикса в Хантер-Колледже, и "Крим" с Джеком Брюсом, игравшим на бас-гитаре, и Эрика Клэптона, ведущего гитариста, и Джинджера Бейкера, "фантастического ударника". "Джими Хендрикс, — задумчиво добавил он, — что он делает? Что-то я о нем не слышу в последнее время". Мы поговорили о "Роллинг стоунз" и о "Битлз". "Замечательные группы, — сообщил Грег, — но они не высвобождают меня так, как "Дэд". Какая группа! — продолжил он. — Таких больше нет. Джерри Гарсиа — он святой, он гуру, он гений. Микки Харт, Билл Кройцман, прекрасные ударники. Есть Боб Уэйр, есть Фил Леш; но я люблю Пигпена".

Когда речь шла о музыке, его амнезия становилась менее глубокой. Он живо помнил песни с 1964-го по 1968-й. Помнил всех членов-основателей "Грейтфул дэд" с 1967-го. Но не знал, что Пигпен, Джими Хендрикс и Дженис Джоплин умерли. Его память обрывалась на 1970-м или чуть раньше. Он застрял в шестидесятых и не мог двинуться дальше. Он был ископаемым, последним хиппи.

Мне не хотелось, чтобы Грег осознал свою огромную потерю — время — и свою амнезию, не хотелось даже невольно дать ему это понять (такой намек он, без сомнения, уловил бы, потому что был весьма чувствителен к изменению тона), поэтому я переменил тему и сказал: "Давай я тебя посмотрю".

Как я уже отметил, его конечности были ослаблены и подвержены спазмам — больше с левой стороны, и больше ноги, чем руки. Стоять сам он не мог. Зрение было утрачено полностью — он ничего не видел. Но удивительно, Грег, казалось, *не сознавал*, что слеп. Он "угадывал" предметы, которые я ему показывал: синий мяч, красную ручку, — хотя на самом деле я показывал зеленую расческу и карманные часы. В действительности он и "не смотрел" в мою сторону, даже не особенно старался обернуться ко мне, и во время беседы ему зачастую не удавалось повернуться ко мне лицом, "посмотреть" на меня. Когда я спросил о его зрении, он признал, что у него "не совсем хорошо" с глазами, но добавил, что получает удовольствие, "смотря" телевизор. Смотреть телевизор значило для него, как я заметил впоследствии, внимательно следить за звуковым рядом фильма или шоу и придумывать подходящие зрительные образы — часто даже не поворачиваясь в сторону телевизора. Казалось, он действительно считает, что это и есть "смотреть телевизор" и что именно так все мы и делаем. Возможно, он утратил само понятие о зрении.

Меня глубоко озадачил этот аспект слепоты Грега: его своеобразная "слепота" относительно собственной слепоты, его теперешнее незнание того, что значит "смотреть" и "видеть". Очевидно, это указывало на что-то более странное и более сложное, чем просто отсутствие зрения, указывало скорее на какие-то глубокие изменения в личности, в самой структуре знания, в сознании и самоидентификации.

Сходное ощущение осталось у меня и от исследования памяти Грега: оказалось, что он, в сущности, ограничен одним настоящим временем и что его сознание ни в каком смысле не содержит понятия прошлого или будущего. Обнаружив полное отсутствие связности и целостности его внутренней жизни, я понял, что у него вообще *нет* внутренней жизни как таковой, ибо нет постоянного диалога прошлого и настоящего, опыта и смысла, который является неотъемлемой частью сознания и внутренней жизни каждого из нас. Все указывало на то, что он не понимает смысла слова "затем" и что у него нет того нетерпеливого, беспокойного предвкушения будущего, того стремления вперед, которое ведет нас по жизни.

Какое-то ощущение непрерывного движения, ощущение, что будет какое-то "потом", у нас есть всегда. Но Грег утратил его; казалось, что он заточен, не осознавая этого, в лишенном движения времени настоящем моменте. Если для всех нас настоящее обретает значение и глубину через прошлое (становясь, по выражению Джералда Эдельмана[1], "вспоминаемым настоящим"), если будущее придает нашему настоящему ощущение потенциальной возможности и напряженность, у Грега настоящее было плоским и — в этом ограниченном виде — полным. Эту явно патологическую *жизнь-только-в-данный-момент* в храме расценивали как достижение высшего сознания.

Для молодого человека, которому, вероятнее всего, предстояло пребывать в больнице для неизлечимо больных до конца своих дней, Грег приспособился к жизни в Уильямсбридже удивительно легко. Не было ни яростного протеста, ни сетований на судьбу, не было, по-видимому, и ощущения унижения или отчаяния. Покорно, безразлично Грег позволил упрятать себя в тихую заводь Уильямсбриджа. Когда я спросил его

1. Джералд Морис Эдельман (р. 1929) — биохимик, доктор медицины, профессор Рокфеллеровского университета, работает в области иммунологии. В 1972 г. получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине (совместно с Р. Портером).

об этом, он ответил: "У меня не было выбора". Произнесенные слова казались мудрыми и правильными. Казалось, он относится к своей участи в высшей степени философски. Но то была не философия, ответ Грега был обусловлен его безразличием, вызванным повреждением мозга.

Родители, которые так отдалились от него, когда он бунтовал и был здоров, теперь, когда он был беспомощен и болен, не чаяли в нем души и приходили ежедневно; они могли быть уверены: когда бы они ни заглянули к нему, он будет на месте и обрадуется их визиту. Если Грег не "ожидал" их, тем лучше — если они куда-нибудь уезжали, они могли пропустить день или несколько дней, он не замечал этого, но обыкновенно бывал рад, когда они появлялись в следующий раз.

Грег вскоре устроился на новом месте — со своими рок-пластинками, гитарой, кришнаитскими четками, аудиозаписями книг и расписанием занятий: физиотерапия, трудотерапия, музыкальные занятия, игровая терапия. В больнице Грега определили в отделение для молодых, и благодаря открытому и веселому характеру он стал там всеобщим любимцем. Правда, в течение нескольких месяцев он не мог запомнить никого из пациентов и персонала, однако был неизменно (возможно, безразлично) мил со всеми. Но у него было по крайней мере двое друзей, с которыми его связывало хотя и не глубокое, но все же подлинное чувство: они принимали друг друга целиком и полностью, такими как есть. Его мать вспоминает: "Это Эдди, у него был рассеянный склероз... они оба любили музыку, их комнаты были рядом, они часто сидели вместе... и Джуди, с церебральным параличом. Она тоже просиживала с ним часами". Эдди умер, Джуди перевели в больницу в Бруклине; таких близких друзей у него больше не было в течение многих лет. Миссис Ф. их помнила, а Грег нет. Он никогда не искал их, не спрашивал о них после того, как они исчезли, но, как считает мать Грега, стал печальнее, во всяком случае был менее оживлен, потому что они стимулировали его: разговаривали с ним, слушали пластинки, вместе с ним придумывали лимерики, шутили и пели, они выводили его из "бесчувственного состояния", в которое он иначе был бы погружен.

Больница для хроников, где пациенты и персонал живут вместе годами, до какой-то степени схожа с деревней или маленьким городком: все знакомы друг с другом, все то и дело встречаются. И я часто видел, как Грега везут в кресле-каталке на занятия или забирают из патио, — у него было все то же странное, слепое, но какое-то ищущее выражение лица. Он мало-помалу начал узнавать меня, во всяком случае настолько, что помнил мое имя и при встрече каждый раз спрашивал: "Как поживаете, доктор Сакс? Когда выйдет следующая книга?" (то было время между выходом "Пробуждения" и "Встать на ноги" — промежуток составил бесконечные одиннадцать лет, и вопрос звучал для меня довольно мучительно).

При частом общении он мог заучить имена и собрать в единое целое некоторые подробности о каждом новом человеке. Так, он запомнил Конни Томейно, музыкального терапевта: научился моментально узнавать ее голос, ее шаги, — но не помнил, где и как с ней познакомился. Однажды Грег начал рассказывать о "другой Конни", девушке по имени Конни, которую он знал в средней школе. Удивительно, что другая Конни, говорил он нам, была тоже очень музыкальна. "Как это все вы, Конни, так музыкальны?" — подшучивал он. Другая Конни вела музыкальные группы, сказал он, издавала музыкальный листок, играла на аккордеоне

на школьных концертах. Тут до нас дошло, что "другая" Конни на самом деле наша Конни, и все окончательно прояснилось, когда он добавил: "Знаете, она тоже играла на трубе" (Конни Томейно была профессиональной трубачкой). Такие вещи часто происходили с Грегом: он либо помещал информацию не в тот контекст, либо не мог увязать с настоящим.

Путаница с двумя Конни ("раздвоение" Конни) была для него очень характерна: он нуждался в гипотезе о дополнительных личностях, поскольку не мог постичь или удержать тождество человека во времени. При постоянном повторении ему удавалось запомнить несколько фактов, они сохранялись в его памяти, но в изолированном виде, без контекста. Человек, голос, место мало-помалу становились "знакомыми", но он не мог запомнить, где познакомился с этим человеком, где слышал этот голос и когда видел это место. Связанная с конкретным контекстом — "эпизодическая" — память была у Грега серьезно нарушена, как и у большинства страдающих амнезией.

Другие виды памяти были у него не затронуты, так, он мог без труда вспомнить, а при случае и применить знания по геометрии, усвоенные в школе. Например, он сразу понимал, что гипотенуза треугольника меньше суммы его катетов — то есть его так называемая "семантическая память" не была повреждена. К тому же он не только сохранил умение играть на гитаре, но потом и расширил свой музыкальный репертуар, изучив с помощью Конни новые приемы и аппликатуры; в Уильямсбридже он также научился печатать на пишущей машинке — следовательно, его оперативная память тоже не была затронута. Кроме того, можно было наблюдать своеобразное медленное привыкание, освоение пространства — за три месяца Грег научился ориентироваться в больнице: заезжать в кафе, кинозал, аудиторию, патио, посещать свои любимые места. Этот вид запоминания проходил чрезвычайно долго, но усвоенное держалось стойко. Следует отметить также, что Грег мог совершенно точно и осмысленно повторить сложную фразу в момент, когда слышал ее, но если отвлекался хоть на секунду, три минуты спустя или даже меньше не помнил ни ее содержания, ни основной мысли, ни даже того, что она вообще была произнесена.

Ларри Скуайр, нейропсихолог Калифорнийского университета в Сан-Диего, давший объяснение переключающей функции системы памяти, которая находится в височной доле, говорит о непрочности, ненадежности кратковременной памяти каждого из нас; все мы, случается, вдруг теряем слово, образ или мысль, которые только что помнили ("Черт возьми, — говорим мы, — забыл, что хотел сказать!"), но у человека, страдающего потерей памяти, такая ненадежность достигает высшей степени. Хотя Грег и утратил способность трансформировать свои новые представления и свою кратковременную память в долговременные и хотя он не мог запоминать новую информацию, из-за чего крепко "засел" в шестидесятых, он тем не менее в какой-то мере адаптировался к жизни и пусть очень медленно и несовершенно, но все же осваивал окружающую среду.

Грег не испытывал (или не проявлял) сексуального интереса, не думал о еде или не выказывал никакого желания поесть, пока ему не приносили еду. Казалось, он существует только в настоящем, реагирует только на непосредственные раздражители. Если его никак не стимулировали, он впадал в оцепенение. Оставаясь один, часами сидел в палате,

ничего не делая. Поначалу медсестры воспринимали это инертное состояние как "размышление", а в храме считали это "медитированием", мне же оно казалось глубоко патологической "праздностью" мозга, почти лишенного разумного содержания и активности. Трудно дать определение этому состоянию, столь не похожему ни на живое, внимательное бодрствование, ни на сон; его отличительная черта — бессодержательность. Когда с Грегом заговаривали или когда его мозг стимулировали звуковыми раздражителями (особенно музыкой), он удивительным образом "приходил в себя", "пробуждался".

Расстройство индивидуальности больше, чем слепота, слабость, дезориентированность и амнезия, ужаснуло родителей Грега, когда они наконец увиделись с ним в 1975 году. Не то, что он был калека, а то, что изменился до неузнаваемости и от него, по словам отца, осталась одна видимость — тень, у которой сохранились голос Грега, его поведение, юмор, душевный строй, но не его "дух", не "истинность", не "глубина" — осталась одна маска; острословие и неуместная веселость Грега ужасающе контрастировали со случившимся.

Такого рода поведение характерно для больных с глазнично-лобными расстройствами, и оно настолько поразительно, что даже получило специальное название: Witzelsucht, или "болезнь острословия". Ряд ограничений, предостережений, запретов перестает существовать, и пациенты с такими синдромами стремятся немедленно, тотчас реагировать на все, что они видят или слышат, — в сущности, на каждый предмет, каждого человека, каждое ощущение, каждое слово, мысль, эмоцию, оттенок или тон. У таких больных наблюдается непреодолимая тяга к игре слов и остротам. Как-то, когда я был в палате Грега, мимо прошел другой пациент. "Это рыжий Берни", — сказал я. "Рыжий-грыжа", — съязвил Грег. На другой день я встретил его в столовой, где он ждал ланча. Едва медсестра объявила: "Вот и ланч", он тут же откликнулся: "Теперь не плачь"; когда она его спросила: "Снять кожу с цыпленка?", он немедленно ответил: "Может, тебе хочется снять кожу и с меня?" — "Оставить кожу?" — удивилась она. "Да нет, — сказал он, — это просто так говорится". Грег был в каком-то смысле необычайно чувствителен, но это была пассивная чувствительность без избирательности и фокусировки. При такой чувствительности больной не различает великое, банальное, возвышенное, смешное, все перемешано и равнозначно.

Для подобных пациентов характерна детская спонтанность, мгновенность, непосредственность (а зачастую и шутливость) реакций. Однако в конечном итоге во всем этом есть нечто тревожное и странное, потому что мозг (все еще обладающий высокой степенью реактивности) теряет связность, лишается своей сущности, своей самостоятельности, своего "я" и становится рабом любого мимолетного ощущения. Французский невропатолог Франсуа Лермитт говорит о "синдроме зависимости от окружения", об отсутствии психологической дистанции между такими пациентами и их окружением. С Грегом происходило именно это: он "хватался" за свое окружение, а окружение "вбирало" его, он не мог отделить себя от окружения.

Спать и бодрствовать для нас обычно разные состояния: спать значит быть заключенным в состояние сна и пользоваться некой особой "свободой", потому что сон изолирует, освобождает нас от восприятия внешней реальности, тогда как во время бодрствования восприятие ограничено реальностью. Но у Грега граница между бодрствованием и

сном была разрушена, его состояние было "открытым сном", в котором похожие на сновидение фантазии, ассоциации и символы разрастаются и переплетаются с бодрствующим восприятием мозга. Такие ассоциации обычно имеют самый неожиданный, а нередко и сюрреалистический характер. Они демонстрируют силу воображения и его конкретные механизмы (смещение, сгущение, множественность причин одного и того же явления и так далее), согласно Фрейду присущие сновидениям. Все это наблюдалось у Грега; он часто пребывал в неком переходном, похожем на сон состоянии, для которого одновременно с утратой контроля над мышлением и его избирательной функцией характерны отчасти свободные, отчасти непроизвольные проявления фантазии и остроумия. Хотя это, конечно, патология, такой оценки недостаточно, к таким проявлениям примешиваются и элементы примитивности, детскости, шутливости. Афористичные абсурдные высказывания Грега наряду с его внешним спокойствием (а на самом деле вялостью) свидетельствовали, казалось, о его невинности и мудрости, что придавало ему в больнице особый статус, двусмысленный, но почетный — статус блаженного.

Как невропатологу мне следовало бы говорить о "синдроме" Грега, об "отклонениях", но я ощущал, что это неадекватно описывает моего пациента. Я, да и любой другой, чувствовал, что у него сложился иной тип личности и что, хотя в результате повреждения лобных долей он в какой-то мере лишился своей индивидуальности, но в то же время обрел некую другую индивидуальность или личность, правда странную и, возможно, довольно примитивную.

Грег, когда он оставался один в коридоре, казался едва живым, но в компании совершенно преображался. Он приходил в себя, бывал забавен, мил, остроумен, общителен. Все любили его: он отвечал на любую реплику быстро, находчиво, с юмором, бесхитростно и не ведая сомнений; и если в его ответах проскальзывало нечто чересчур легкомысленное, дерзкое или наивное и даже если через минуту он совершенно забывал о собеседниках, что из того, бывает и хуже — это одно из следствий его болезни. Каждому понятно, сколь ценен в больнице для хроников, где царствуют печаль, ярость и безнадежность, такой пациент, как Грег, у которого не бывает дурного настроения и который неизменно бодр и беспричинно радостен, стоит с ним заговорить.

Казалось, что в результате болезни он парадоксальным образом приобрел некую жизнеспособность и здоровье, а его бодрость, находчивость, непосредственность, жизнерадостность находили восхитительными — правда, в небольших количествах — и другие пациенты, и мы, врачи. И если до своего кришнаитства он был таким "трудным", сердитым, бунтующим, теперь и его гнев, и раздражение, и тревоги исчезли — казалось, он преисполнен покоя. Его отец, в свое время тяжело переносивший бурную юность сына, "успокоившегося" сначала под действием наркотиков и религии, а потом вследствие разрушительного действия опухоли, сказал мне как-то в минуту откровенности: "Ему как будто сделали лоботомию, — а затем добавил с иронией: — Лобные доли — зачем они нужны?"

Одна из самых поразительных структур человеческого мозга — высокоразвитые лобные доли, у других приматов они гораздо менее развиты, а у остальных млекопитающих едва различимы. Эта часть мозга растет и развивается по большей части после рождения ребенка — развитие лобных долей заканчивается примерно к семи годам. Но наши

представления об их функции, о роли, которую они играют, запутанны, неоднозначны и до сих пор далеко не ясны. Эту неоднозначность ярко продемонстрировал широко известный случай Финеаса Гейджа и то огромное количество верных и неверных интерпретаций, которые он получил начиная с 1848 года и до наших дней. Гейдж был довольно опытным десятником, строившим железную дорогу около Берлингтона в штате Вермонт. В сентябре 1848-го с ним произошел удивительный несчастный случай. Когда он с помощью металлической трамбовки (это инструмент вроде лома весом тринадцать фунтов и длиной более ярда) забивал в землю заряд взрывчатки, произошел взрыв, и Гейджу пробило голову взлетевшей в воздух трамбовкой. Он упал, но, как ни странно, не скончался — его лишь на время оглушило. Он сумел встать на ноги, и его отвезли в город. Гейдж казался совершенно разумным, спокойным и понятливым, местного врача он приветствовал словами: "Доктор, тут для вас найдется работенка". Вскоре после травмы у Гейджа поднялась температура, начался абсцесс лобной доли, но через несколько недель рассосался, и к началу 1849-го Гейджа сочли "полностью выздоровевшим". То, что он вообще выжил, расценивалось как чудо, а отсутствие видимых перемен в его поведении после страшной травмы лобных долей служило подтверждением гипотезы, что лобные доли либо не имеют никаких функций, либо их функции могут успешно выполняться остальной неповрежденной частью мозга. Если френологи в начале прошлого века рассматривали каждую часть поверхности мозга как "центр" определенной интеллектуальной или нравственной способности, то в 1830–1840-х возобладала теория, утверждавшая, что мозг столь же недифференцирован, как и печень. Действительно, великий психолог Флуренс говорил: "Мозг выделяет мысль, как печень выделяет желчь". Видимое отсутствие каких-либо перемен в поведении Гейджа подтверждало эту теорию. Влияние теории было так велико, что, несмотря на неопровержимые свидетельства (содержащиеся в некоторых источниках) о радикальных изменениях личности Гейджа, которые наблюдались в течение нескольких недель после несчастного случая, его врач Джон Мартин Харлоу лишь через двадцать лет (по-видимому, руководствуясь уже новыми теориями о "высшем" и "низшем" уровнях сознания, согласно которым высший уровень подавляет или сдерживает низший) дал яркое описание того, чего не замечал или не упоминал в 1848 году:

"[Гейдж] порывист, неадекватен, временами позволяет себе грубейшее сквернословие (чего прежде за ним не замечалось), не проявляет должного уважения к товарищам, нетерпим к запретам или советам, противоречащим его намерениям. Временами неуправляем; своенравен и нерешителен, строит множество планов на будущее, которые чаще всего остаются невоплощенными. Интеллектуальные способности и реакции ребенка сочетаются с животными страстями сильного мужчины. До ранения отличался взвешенным умом и пользовался уважением всех, кто знал его как практичного, умного работника, очень энергично и настойчиво претворявшего в жизнь все свои планы. В этом отношении ум его изменился столь радикально, что его друзья и знакомые утверждают: "Это больше не Гейдж".

По-видимому, "растормаживание", которое произошло из-за травмы лобных долей, высвободило в Гейдже нечто животное и ребяческое, и он стал рабом своих прихотей и порывов. Он действовал самым решительным образом, не думая ни о прошлом, ни о будущем, без всякой за-

боты о других людях, столь свойственной ему прежде, и о последствиях своих поступков[1].

В 1880 году стало ясно, что опухоли лобных долей могут вызывать разнообразные симптомы: иногда — апатию, тупоумие, замедление умственной активности, иногда — определенные изменения в характере и потерю самоконтроля, иногда, как считает Говерс, — даже "хроническое помешательство". Первые наблюдения над опухолью лобных долей были сделаны в 1884-м, а первая операция по удалению лобных долей в связи с чисто психическими отклонениями была произведена в 1888-м. Дело было в том, что у этих (вероятно, шизофренических) больных навязчивые идеи, галлюцинации, бред и возбуждение зависели от сверхактивности, или патологической активности, лобных долей.

Подобные попытки не повторялись в течение сорока пяти лет. В 1930-х португальский невропатолог Эгас Мониц решился сделать операцию, которую назвал "префронтальной лейкотомией" и немедленно подверг ей двадцать больных, часть из которых страдала тревожностью и депрессией, часть — хронической шизофренией. Полученные результаты, которые он представил в монографии, вышедшей в 1936 году, пробудили огромный интерес, и в порыве врачебного энтузиазма мир не заметил безответственности, возможно даже бесчестности, хирурга, отсутствия необходимой осторожности. Работа Моница привела к взрыву "психохирургии" (это его термин) во многих странах — в Бразилии, на Кубе, в Румынии, Великобритании, она была весьма распространена и в Италии, но самый большой резонанс вызвала в Соединенных Штатах, где невропатолог Уолтер Фримен придумал новый ужасный вид хирургического вмешательства, названный им трансорбитальной лоботомией. Он описывает эту процедуру следующим образом:

"Она состоит из оглушения пациента с помощью шока, и пока он находится под этой "анестезией", между глазным яблоком и веком через свод глазницы фактически в лобную долю мозга вводится нож для колки льда и производится поперечный разрез путем поворота его из стороны в сторону. Я сделал такую операцию двум пациентам на обеих лобных долях и еще одному — одностороннюю без малейших осложнений, если не считать очень большого кровоподтека в одном из случаев. Затем могут возникнуть осложнения, впрочем небольшие, хотя, безусловно, неприятные. Остается только ожидать, что будет дальше, но до сих пор у пациентов отмечалось значительное сглаживание симптомов; после лоботомии наблюдаются лишь небольшие отклонения в поведении. Пациенты могут даже встать и отправиться домой примерно через час после операции".

Легкость психохирургической операции как амбулаторной процедуры, производимой с помощью ножа для колки льда, возбудила не ужас, как следовало ожидать, а стремление к подражанию. К 1949 году в Соединенных Штатах было произведено более десяти тысяч таких операций, а за следующие два года еще десять тысяч. Мониц был повсеместно провозглашен "спасителем" и в 1951-м получил Нобелевскую премию, что, по словам Макдоналда Критчли, было верхом "этой летописи позора". Результатом операции было отнюдь не "излечение", а покорное,

1. Роберт Луис Стивенсон написал "Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда" в 1886 г. Неизвестно, знал ли он о случае с Гейджем, хотя тот был знаменитостью в начале 1880-х. Зато можно с уверенностью сказать, что на писателя произвела впечатление теория Джексона о высшем и низшем уровнях сознания, о том, что только наши высшие (и, возможно, непрочные) интеллектуальные центры сдерживают звериные склонности низшего уровня. (*Прим. авт.*)

пассивное состояние, столь же далекое (а может быть, и более далекое) от здоровья, как и первоначальные активные симптомы, и не обещавшее ни коренных перемен, ни выздоровления в будущем.

Роберт Лоуэлл в "Воспоминаниях о Вест-стрит и о Лепке"[1] пишет о лоботомированном Лепке:

> Вял, обрит, лоботомирован,
> он дрейфует по дремотному штилю,
> где никакие судороги переоценок
> не мешают созерцать электрический стул,
> образом спасения парящий в его разорванном сознании...[2]

Работая в 1990 году в психиатрической лечебнице, я видел десятки жалких лоботомированных пациентов, некоторые из них были искалечены сильнее, чем Лепке, — настоящие живые мертвецы, чья психика была разрушена таким "лечением"[3].

Даже если в лобных долях и могут возникать разнообразные патологические процессы, которые причиняют муки при душевных заболеваниях, это лишь оборотная сторона их огромной положительной мощи. Сознание и самосознание, добросовестность, долг, обязательность и ответственность иногда давят на нас с такой невыносимой силой, что нам хочется избавиться от их запретов, от здравого смысла и рассудительности. Нам хочется отдыха от собственных лобных долей, хочется дионисийских пиршеств чувства и свободы порывов. Такова потребность нашей неестественной, цивилизованной, гиперболизированно фронтальной природы — это признавали во все времена и во всех культурах. Каждому из нас нужно бывает немного отдохнуть от наших лобных долей; трагедия в том, что в результате тяжелой болезни или ранения возвращение из такого "отпуска" становится невозможным, как в случаях Финеаса Гейджа или Грега.

В марте 1979 года я писал: "Игры, песни, стихи, общение и т. п. мобилизуют Грега... потому что им присущ естественный ритм и плавность, это течение, которое несет и поддерживает его". Грег не только прекрасно помнил песни 60-х годов, но и легко заучивал новые, несмотря на то что его память с трудом удерживала какие-либо "факты". Казалось, здесь задействованы совершенно разные виды — и механизмы — памяти. Грег также мог с легкостью подхватить лимерик и рекламный текст (он действительно запоминал их сотнями из радио— и телепередач — радиоприемник и телевизор в отделении всегда были включены). Вскоре после поступления Грега в больницу я проверил его при помощи следующего стишка:

1. Стихотворение "Воспоминания о Вест-стрит и о Лепке" опубликовано в автобиографической книге Роберта Лоуэлла "Страницы жизни" ("Life Studies"), 1959, в нем отражено пребывание автора в нью-йоркской тюрьме во время Второй мировой войны за отказ идти на военную службу.
2. Перевод Г. Шульги.
3. Весь этот позор с лейкотомией и лоботомией закончился в начале шестидесятых, но не из-за того, что медики усомнились в этом методе и отвергли психохирургию, а благодаря появлению нового средства — транквилизаторов, которые (как раньше сама психохирургия) должны были оказывать целебное действие без вредных побочных эффектов. Велико ли различие в неврологическом и этическом смысле между психохирургией и транквилизаторами — вопрос неудобный, его предпочитают не задавать. Разумеется, транквилизаторы, применяемые в больших дозах, могут воздействовать, как и хирургическое вмешательство, успокаивающе, могут прекратить галлюцинации и бред психотика, но спокойствие, которое они дают, похоже на спокойствие смерти, и — жестокий парадокс — они не дают больному возможности естественного излечения (что иногда происходит с психотиками), приговаривая их к долгой болезни, вызываемой приемом лекарств. (*Прим. авт.*)

Ну-ка тихо, детка!
Замолчи, пострел.
Если кто взбесился,
Всех их — на отстрел[1].

Грег тут же повторил его точно, без ошибок, посмеялся, спросил, сам ли я его придумал, сравнил стишок с чем-то "ужасным, наподобие Эдгара Аллана По". Но две минуты спустя он смог его повторить, только когда я напомнил ему основной ритм. После еще нескольких повторений он выучил стишок наизусть и с тех пор читал его всякий раз, как встречался со мной.

Была ли способность заучивать рекламные тексты и песни реактивной или перформативной или же могла означать эмоциональную глубину и способность делать какие-то обобщения, обычно недоступные Грегу? Казалось несомненным, что какие-то виды музыки глубоко трогают его и способны дать ему доступ к эмоциональным и смысловым глубинам, в остальное время недосягаемым. Тогда Грег явственно становился другим человеком. Он больше не казался пациентом с синдромом лобных долей, но был (если можно так сказать) временно "исцелен" музыкой. Даже его электроэнцефалограмма, большую часть времени замедленная и некогерентная, под воздействием музыки становилась спокойной и ритмичной. Простейшую информацию можно легко зарифмовать, таким образом мы каждый день сообщали Грегу дату в стихотворной форме, и он без труда выделял ее и, если ему задавали вопрос, отвечал уже без рифмы. Но что значат слова "Сегодня, 9 июля 1995 года", когда ты пребываешь в глубочайшей амнезии, когда для тебя потерян смысл времени и истории и ты существуешь от момента к моменту в лишенном протяженности безвременье? При таких обстоятельствах дата ничего не значит. Но может ли человек, используя силу музыки и ее способность вызывать воспоминания, скажем, с помощью песен — их мелодий и текстов, в которых сообщается нечто ценное о самом человеке и окружающем его мире, — достичь чего-то более прочного, более глубокого? Как дать Грегу не только "факты", но и ощущение времени и истории, связности событий, цельную (хотя и искусственную) основу для мыслей и чувств?

В ту пору нам в клинике казалась естественной мысль, что Грегу, сохранившему способность к обучению, нужно дать возможность овладеть системой Брайля. Мы договорились с Еврейским институтом слепых о том, что Грег будет посещать интенсивный курс четыре раза в неделю, но не испытали ни особого разочарования, ни даже удивления, узнав, что Грег не пожелал изучать систему Брайля — он пришел в волнение и замешательство, поняв, что́ ему предлагают. Он восклицал: "Что происходит? Вы считаете, что я слепой? Зачем меня привезли сюда, где кругом одни слепые?" Когда Грегу попытались объяснить суть дела, он ответил с неопровержимой логикой: "Будь я слепым, я бы первый знал об этом". Сотрудники Института признались, что еще не сталкивались с таким трудным больным, и было решено потихоньку отказаться от обучения. После провала программы обучения по Брайлю мы почувствовали безнадежность; Грег, возможно, тоже. Мы понимали, что ничего не можем сделать, он не способен измениться.

1. Перевод Г. Шульги.

К этому времени Грег прошел несколько психологических и нейропсихологических тестов. Результаты тестирования памяти и внимания свидетельствовали, что он человек ограниченный, инфантильный, склонный к эйфории, лишенный проницательности. Легко понять, почему для характеристики были выбраны именно эти слова — бóльшую часть времени он таким и казался. Но, возможно, за болезнью, за поверхностными последствиями потери лобной доли и за амнезией крылось нечто более глубокое — какой-то другой человек? В начале 1979 года на мой вопрос он ответил, что "несчастен... во всяком случае, в физическом отношении", и добавил: "Это не совсем жизнь". В подобных случаях становилось ясно, что он способен глубоко меланхолически оценивать свое состояние. В то время в новостях довольно часто обсуждался случай впавшей в кому Карен Энн Кинлан, и при каждом упоминании ее имени, Грег становился тревожен и молчалив. Он никогда не говорил мне прямо, почему этот случай так задевает его, но я чувствовал, что причина тому некая идентификация ее трагедии с его собственной. А может, это было просто ничем не сдерживаемое сочувствие, мгновенное погружение в настроение, вызванное любым раздражителем, любой новостью, — может, как существо беспомощное, он просто перенимал чужое настроение?

Первое время я не мог разрешить этот вопрос; скорее всего, мне мешало сложившееся у меня предубеждение: ведь нейропсихические исследования отрицали существование у него духовной жизни. Но эти исследования основывались на кратких тестах, а не на длительном наблюдении и на тех единственно возможных в больнице для хроников отношениях, когда делишь с пациентом весь мир, всю жизнь... Характеристики "лобной доли" Грега — его легкомыслие, его молниеносные ассоциации — были любопытны; сквозь них проступали лежащие в основе характера порядочность, чуткость и доброта. Чувствовалось, что Грег, хотя и искалечен, все же обладает личностью, индивидуальностью, душой.

Когда он только появился в Уильямсбридже, мы все оценили его ум, веселый нрав, остроумие. Сразу же были пущены в ход разные виды терапевтических программ и занятий, но все они — как изучение Брайля — кончились провалом. Нарастало ощущение, что Грег безнадежен, и мы стали меньше стараться, меньше надеяться. Постепенно Грега предоставили самому себе. Он перестал быть центром внимания, центром интенсивной врачебной деятельности — его больше не включали в программы, никуда не водили, потихоньку оставляли на произвол судьбы.

Даже не страдая амнезией, нетрудно утратить связь с реальностью, если ты никогда не покидаешь палату больницы для хроников. Все равно, в течение двадцати или пятидесяти лет, повторяется один и тот же неизменный цикл: больного будят, кормят, ведут играть в бинго, кормят ужином и укладывают спать. В общей комнате ярко светится включенный телевизор — но большинство пациентов не обращает на него внимания. Грег, правда, получал удовольствие от своих любимых мыльных опер и вестернов и знал наизусть огромное количество рекламных текстов. Новости, как правило, казались ему утомительными и чем дальше, тем все более непонятными. В этом лишенном времени чистилище долгие годы могут пройти незаметно, остается лишь несколько запоминающихся событий-вех. Прошло около десяти лет, у Грега не наблюдалось никакого прогресса, его речь постепенно превратилась в знакомый набор фраз, поскольку ничего нового ни в ней, ни в личности Грега не по-

являлось. Казалось, трагедия его амнезии с годами становится сильнее, хотя сама амнезия, его неврологический синдром, не меняется.

В 1988-м у Грега случился эпилептический припадок — прежде у него не было припадков (хотя со времени операции его из предосторожности держали на противосудорожных средствах), во время которого он сломал ногу. Он не пожаловался, даже не заметил случившегося. Перелом обнаружили на следующий день, когда Грег попытался встать с постели. По всей видимости, он забыл о случившемся, как только нашел удобную позу и боль утихла. Его непонимание того, что он сломал ногу, казалось мне схожим с его непониманием собственной слепоты, с неспособностью из-за амнезии удержать в памяти *отсутствие* чего бы то ни было. Когда нога болела, он — недолго — знал, что что-то случилось, но как только боль прекратилась, это выпало у него из памяти. Когда у него случались зрительные галлюцинации, или фантомы (как бывает у слепых, по крайней мере, в первые месяцы и годы после потери зрения), он, бывало, говорил: "Посмотрите!", но без непосредственного зрительного воздействия не мог удержать в памяти ничего о собственном зрении или его отсутствии, то есть полной утрате зримого мира. В своей личности, в своем мире Грег знал только наличие, а не отсутствие. Казалось, он не способен заметить утрату чего бы то ни было — утрату какой-то собственной функции, или предмета, или человека.

Отец Грега, который каждое утро перед работой заходил на часок повидаться, пошутить и поболтать с сыном, в июне 1990 года неожиданно умер. Я в это время не бывал в клинике из-за траура по собственному отцу и, узнав по возвращении об утрате Грега, поспешил его проведать. Разумеется, ему сообщили о смерти отца. И все же я не совсем представлял, что ему сказать, — сумел ли он постичь этот факт?

— Думаю, ты скучаешь без отца, — рискнул я.

— Что вы хотите сказать? — отозвался Грег. — Он приходит каждый день. Я вижусь с ним ежедневно.

— Нет, — сказал я, — он больше не приходит... Он уже какое-то время не приходит. Он умер месяц назад.

Грег вздрогнул, побелел, замолчал. У меня было впечатление, что он потрясен, вдвойне потрясен внезапной ужасной новостью о смерти отца и тем, что сам он не знал этого, не зафиксировал, не запомнил.

— Я думаю, ему, должно быть, лет пятьдесят, — сказал он.

— Нет, Грег, — возразил я. — Ему было за семьдесят.

Грег снова побледнел при этих словах. Я быстро вышел из комнаты, чувствуя, что ему надо остаться одному и пережить это известие. Но когда я через несколько минут вернулся, Грег не помнил ни о нашем разговоре, ни о новости, которую я ему сообщил, он утратил представление о том, что его отец умер.

Как бы то ни было, Грег совершенно явно проявил способность любить и горевать. Если я когда-либо сомневался в его способности на глубокое чувство, сейчас эти сомнения исчезли. Грег был явно подавлен смертью отца — в тот раз он не проявил неуместной веселости. Но мог ли он переживать скорбь сколько-нибудь долго? Скорбь предполагает, что человек ощущает утрату, а мне отнюдь не было ясно, что Грег способен ее ощутить. Можно было бы еще раз сказать ему, что отец умер, повторять это снова и снова. И каждый раз это было бы шоком, и новостью, и причиной безмерного страдания. Но затем в течение

нескольких минут он забывал бы об этом и вновь веселел и, таким образом, не узнал бы труда горя и скорби. В следующие несколько месяцев я взял себе за правило часто посещать Грега, но больше не касался темы смерти его отца. Я был не в состоянии обрушивать это на него снова и снова — возвращать его к этому было бы бессмысленно и жестоко, жизнь сама это сделает, потому что Грег вынужден будет заметить отсутствие отца.

26 ноября 1990 года я сделал следующую запись: "У Грега нет осознания того, что его отец умер, — если спросить, где отец, он может ответить: "О, он пошел вниз, в патио", или: "Он не смог зайти сегодня", или еще что-нибудь правдоподобное. Но Грегу больше не хочется съездить домой на уик-энд или на День благодарения, как раньше, — наверное, он чувствует что-то печальное или враждебное в доме, где больше нет отца, хотя и не может (осознанно) вспомнить или артикулировать это. Очевидно, что дом ассоциируется у него с печалью".

К концу года Грег, у которого всегда был прекрасный сон, начал плохо спать, он просыпался среди ночи и часами бродил ощупью по своей палате. "Я что-то потерял, я ищу одну вещь", — отвечал Грег, если его спрашивали, что с ним, но никогда не объяснял, что именно потерял, что ищет. Нельзя было отделаться от чувства, что Грег ищет своего отца, хотя он не отдавал себе отчета в том, что делает, и не знал точно, что потерял.

После смерти отца Грег казался очень печальным. Я чувствовал, что он заслуживает праздника, и, услышав в августе 1991-го, что его любимая группа "Грейтфул дэд" через несколько недель будет играть в Мэдисон-сквер-гарден, понял: это то, что надо. Немного раньше, тем же летом, я познакомился с одним из ударников этой группы, Микки Хартом, когда мы оба выступали в Сенате с докладами о терапевтическом воздействии музыки. Харт помог достать билеты. Для Грега было забронировано место у акустических колонок, где лучше всего слышно. Мы организовали все это в последний момент, и я ни о чем не говорил Грегу, чтобы он не разочаровался, если билетов не будет. Когда я забрал его из больницы и сказал, куда мы поедем, он пришел в сильное возбуждение. Мы быстро одели его и сунули в машину. Мы добрались до центра города, я опустил оконные стекла, и машина наполнилась звуками и запахами Нью-Йорка. Ехали вниз по Тридцать третьей улице, и его вдруг поразил запах горячих претцелей[1], он глубоко вдохнул и засмеялся: "Это самый нью-йоркский запах в мире".

Огромная толпа направлялась к Мэдисон-сквер-гарден, большинство в "вареных" футболках — я двадцать лет не видел "вареных" футболок и готов был поверить, что мы вернулись в шестидесятые, а может, так и оставались в них.

Мне было жаль, что Грег не видит этой толпы, он бы чувствовал себя в ней как дома. В состоянии возбуждения Грег начал спонтанно вспоминать шестидесятые — что было для него совсем необычно:

— Да, вот это были сборища в Центральном парке. Уже давно не было ни одного — наверное, больше года, не помню точно... Концерты, музыка, "кислота", травка, все... Первый раз я был там на День всемогущества детей-цветов... Хорошее время... Много чего началось в шестидесятых — "кислотный" рок, сборища, марихуана... Сейчас такого

1. Претцели — изделия из теста, похожие на наши бублики.

не увидишь... Аллен Гинсберг, он часто бывал в Виллидже или в Центральном парке. Я давно его не видел. Наверное, больше года...

Грег говорил в настоящем — или недавнем прошлом — времени, он ощущал все эти события не как далекое и необратимое прошлое, а как случившееся "наверное, больше года назад" (подразумевалось, что в любой момент оно может повториться); и все то, что казалось патологическим, анахроничным при клиническом тестировании, стало почти нормальным и естественным сейчас, когда мы были частью этой толпы "шестидесятников", устремившейся к Мэдисон-сквер-гарден.

Внутри зала, около акустических колонок, мы нашли специальное место, зарезервированное для кресла-каталки Грега. Грег с каждой минутой приходил во все большее волнение, его возбуждал шум толпы ("Похоже на гигантского зверя", — сказал он) и сладковатый, пахнущий марихуаной воздух. "Потрясающий запах, — сказал он, глубоко вдыхая. — Самый дурацкий запах в мире"[1].

К тому времени, как музыканты вышли на сцену и рев толпы усилился, Грег уже был вне себя от возбуждения. Он принялся хлопать изо всех сил и громко выкрикивать: "Браво! Браво!", затем "Начинай!", затем "Давай ширнемся", затем стал скандировать вместе со всеми "Травка! Травка!". Сделав небольшую паузу, Грег спросил меня: "Видите вон тот надгробный камень за ударными? Видите Джерри Гарсиа с прической "афро"?" — так уверенно, что я принялся высматривать за ударными "надгробный камень", пока не осознал, что это одна из фантазий Грега, и не увидел поседевшие волосы Джерри Гарсиа, падавшие на плечи прямыми прядями.

Тут Грег воскликнул:

— Пигпен! Видите Пигпена?

— Нет, — замялся я, не зная, что сказать. — Его здесь нет... Знаешь, его уже нет в группе.

— Нет в группе? — удивился Грег. — Что случилось? Арестовали или еще что?

— Нет, Грег, не арестовали. Он умер.

— Это ужасно, — отозвался потрясенный Грег, качая головой. А минуту спустя он снова стал легонько подталкивать меня локтем: — Пигпен! Видите Пигпена? — И весь разговор повторился слово в слово.

Но затем ритмичное, вибрирующее возбуждение толпы захватило его — хлопанье в такт, и топот, и пение, — и он начал нараспев выкрикивать "Дэд! Дэд!"; затем ритм изменился: "Мы хотим "Дэд"!" — с легким ударением на каждом слове; затем: "Табачную дорогу!", "Табачную дорогу!" (то была одна из его любимых песен) — и уже не замолкал до самого начала концерта.

Группа начала со старой песни "Айко, Айко", и Грег стал подпевать, самозабвенно, с наслаждением; было совершенно ясно, что он знает песню наизусть и находит особое удовольствие в звучащем на африканский манер припеве. Весь огромный зал был захвачен музыкой, восемнадцать тысяч человек реагировали слаженно, нервы у всех были настроены в унисон.

В первой половине концерта было много ранних вещей, песен шестидесятых, и Грег знал их, любил и подпевал исполнителям. Он все вре-

1. На самом деле Жан Кокто сказал это об опиуме. Не знаю, цитировал ли Грег его и было ли это осознанно или неосознанно. Запахи иногда обладают большей способностью пробуждать воспоминания, чем музыка. (*Прим. авт.*)

мя хлопал в ладоши и пел; поразительно было видеть его энергию и радость — ни следа обычной слабости или усталости. Он проявлял редкую и удивительную сосредоточенность, все это настраивало его на бодрый лад, мобилизовало. Глядя на преображенного Грега, я не замечал никакой амнезии, никакого поражения лобной доли — в эти минуты он казался совершенно нормальным, словно музыка вдохнула в него свою силу, свою слитность, свой дух.

Я раздумывал, не стоит ли нам уйти в антракте, — все же он был калекой, больным, прикованным к креслу на колесах, и не посещал рок-концерты больше двадцати лет. Но Грег сказал: "Нет, я хочу остаться, хочу пробыть до конца". Мне приятно было видеть его уверенность, самостоятельность, какой он ни разу не проявил за все время своей жизни в больнице. Мы остались и в антракте отправились за кулисы, где Грег получил большой горячий претцель, встретился с Микки Хартом и обменялся с ним несколькими словами. К концу первого отделения Грег казался слегка усталым и бледным, но теперь щеки его горели, он был возбужден удивительной встречей и стремился вернуться на свое место, чтобы снова слушать музыку.

Но вторая часть выступления группы оказалась для Грега неожиданностью: большинство песен относилось к середине или к концу семидесятых годов, их слова были ему неизвестны, хотя он узнавал их по стилю. Песни ему нравились, он хлопал в ладоши и подпевал без слов либо придумывал свои слова. Но затем последовали более новые песни, совершенно другие, вроде "Луны Пикассо", с глубокими мрачными аккордами и электронной инструментовкой, невозможной, невообразимой в шестидесятых. Грег был заинтересован, но совершенно сбит с толку. "Фантастическая вещь, — сказал он. — Не слышал ничего подобного". Он внимательно слушал, его музыкальное восприятие было обострено, но сидел со слегка испуганным, недоуменным видом — так смотрят на неизвестное животное, на новое растение, на только что обнаруженный мир. "Я думаю, это какая-то новая, экспериментальная вещь, — сказал он, — такого они раньше не играли. Звучит футуристически... возможно, это музыка будущего". Услышанные им только что песни выходили за рамки любой эволюции, какую он мог себе представить, они были настолько за пределами того, что у него ассоциировалось с этой группой, что он "чуть с ума не сошел". Грег не сомневался в том, что музыка, которую он слышит, принадлежит "Грейтфул дэд", но испытывал почти невыносимое чувство, что он слышит будущее, — так поклонник Бетховена был бы поражен его поздней музыкой, если бы ее сыграли на концерте в 1800 году.

— Фантастика, — сказал Грег, когда зрители толпой выходили из Гарден. — Я никогда этого не забуду. Самое потрясающее событие в моей жизни.

Всю обратную дорогу я ставил диски с музыкой "Грейтфул дэд", чтобы как можно дольше удержать у Грега память о концерте. Я боялся, что, если перестану ставить музыку "Дэд" или говорить о них, все воспоминания о концерте мгновенно исчезнут. Грег восторженно пел весь обратный путь и, когда мы расставались в больнице, пребывал в воодушевленном, "концертном" настроении.

Придя на следующее утро в больницу, я застал Грега в столовой, он сидел один, лицом к стене. Я спросил его о "Грейтфул дэд" — что он о них думает.

— Отличная группа, — сказал он. — Я их люблю. Я слушал их в Центральном парке и в "Филлмор-Ист".

— Да, — сказал я, — ты мне говорил. Но разве ты не видел их с тех пор, разве ты не слышал их только что в Мэдисон-сквер-гарден?

— Нет, — ответил он. — Я ни разу не был в Гарден.

Жизнь одного хирурга

Синдром Туретта можно встретить у представителей любого народа, любой культуры, любого слоя общества; привычный человек распознает его с первого взгляда — случаи отрывистой, "лающей" речи, подергиваний, гримасничанья, странных жестов, непроизвольно вырывающихся проклятий и богохульств были описаны Аретеем из Каппадокии почти две тысячи лет назад. Но научного описания заболевания не существовало до 1885 года, пока Жорж Жиль де ла Туретт, молодой французский невропатолог — ученик Шарко и друг Фрейда — не свел исторические сведения и собственные наблюдения над некоторыми пациентами воедино. Согласно описанию, болезнь характеризуется прежде всего конвульсивными тиками, непроизвольным имитированием, или повторением чужих слов и действий (эхолалией и эхопраксией), и непроизвольным или непреодолимым влечением к произнесению проклятий и непристойностей (копролалией). Для одних больных характерна удивительная беззаботность и бесшабашность; у других наблюдается тенденция к неожиданным, зачастую остроумным фантастическим ассоциациям; третьи отличаются крайней импульсивностью и возбудимостью и постоянно "проверяют на прочность" физические и социальные нормы поведения; четвертые слишком активно реагируют на окружающую обстановку, бросаясь ко всему и ко всем, обнюхивая или внезапно швыряя предметы; есть и такие, у которых наблюдается чрезмерная стереотипизованность поведения и навязчивости — двух одинаковых пациентов не бывает.

Любая болезнь вносит в жизнь двойственность — у больного появляется некое "оно", со своими собственными нуждами, запросами, ограничениями. При синдроме Туретта "оно" приобретает вид явно выраженного непреодолимого влечения, вернее, множества явно выраженных побуждений и влечений: человек делает то или другое вопреки собственной воле, подчиняясь воле своего "оно". Между этими волями может происходить конфликт, компромисс и даже тайный сговор. Таким образом, для больного с такими симптомами, как при синдроме Туретта, состояние "одержимости" может оказаться не только риторической фигурой, и, несомненно, в средние века эту болезнь иногда так и трактовали как одержимость (у самого Туретта феномен одержимости вызывал глубокий интерес; он написал пьесу об эпидемии одержимости бесами в средневековом Лудене[1]).

При синдроме Туретта связь между болезнью и личностью бывает чрезвычайно сложной, особенно если человек болеет с раннего детства и болезнь растет вместе с ним, вторгаясь в его личность всеми возможными способами. Синдром Туретта и личность приспосабливаются друг

1. В XVII веке в Лудене был отмечен случай одержимости дьяволом у монахинь-урсулинок. О. Хаксли посвятил этому событию исследование "Луденские бесы" (2000), а К. Пендерецкий — оперу с тем же названием (1968).

к другу, все более и более дополняют друг друга, пока наконец, подобно давно живущей вместе супружеской паре, не станут чем-то единым. Эта связь, зачастую деструктивная, может быть и конструктивной, может придавать больному живость и непосредственность, способность совершать необычные, иногда даже поразительные действия. Вопреки всем своим тяготам синдром Туретта может способствовать творчеству.

Даже после того как синдром Туретта был описан, врачи были склонны трактовать эту болезнь не как органическое заболевание, а как "нравственное": выражение злонамеренности или слабоволия, средством от которых могло служить воспитание воли. С 1920-х по 60-е годы на синдром Туретта смотрели как на психическое заболевание, которое следует лечить с помощью психоанализа и психотерапии, что в целом тоже оказалось неэффективным. Затем, после того как в начале 60-х была доказана способность галоперидола активно подавлять проявления этой болезни, ее стали расценивать (неожиданный поворот!) как нейрохимическое заболевание мозга. Но все эти взгляды, неполные и упрощенные, не могут дать должного представления о сложности синдрома Туретта. Ни биологическая, ни психологическая, ни социально-нравственная точка зрения не дает полной картины, и синдром Туретта необходимо не только рассматривать одновременно со всех сторон, но и не забывать о внутренней, экзистенциальной точке зрения самого больного. Внутреннее и внешнее здесь, как и в других случаях, должно быть сплавлено воедино.

Можно предположить, что людям со сложными тиками и непреодолимыми влечениями или странным, шутовским поведением закрыта дорога ко множеству профессий, но, оказывается, это не так. Синдром Туретта поражает примерно одного из тысячи, и людей с этим заболеванием — иногда страдающих им в самой тяжелой форме — можно найти практически в любой сфере деятельности. Среди туреттиков есть писатели, математики, музыканты, артисты, диск-жокеи, рабочие-строители, социальные работники, механики, спортсмены. Можно решить, что некоторые профессии для туреттиков совершенно исключены, и прежде всего сложная, тонкая и требующая верной и точной руки работа хирурга. До недавнего времени я придерживался этой точки зрения. Но сейчас, как ни трудно в это поверить, я знаю *пять* хирургов с синдромом Туретта[1].

С доктором Карлом Беннеттом я познакомился на научной конференции по синдрому Туретта в Бостоне. Он выглядел безукоризненно: пятидесятилетний человек, среднего роста, с каштановой бородкой и усами, тронутыми сединой, одетый в скромный темный костюм, — правда, иногда он вдруг стремительно бросался вперед или наклонялся до земли, подпрыгивал и подергивался. Меня поразили как его причудливые тики, так и достоинство и спокойствие, с которыми он держался. Когда я высказал сомнение относительно его соответствия выбранной профессии, он пригласил меня приехать и погостить у него в Брэнфорде (провинция Британская Колумбия), городе, где он живет и практикует, чтобы вместе с ним совершать обходы в больнице, мыть руки перед

1. Еще с четырьмя хирургами (один из них — хирург-офтальмолог) я познакомился после первой публикации этого очерка. Кроме туреттиков-хирургов я теперь знаю еще пять врачей-туреттиков: трех терапевтов и двух невропатологов — но ни одного туреттика-психиатра. (*Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, – прим. авт.*)

операцией, — словом, посмотреть его в деле. И вот спустя четыре месяца я на небольшом самолете подлетал к Брэнфорду, преисполненный любопытства и самых противоречивых ожиданий. Доктор Беннетт встретил меня в аэропорту и поздоровался странным, характерным для туреттика жестом: не то броском, не то тиком, — схватил мою сумку и пошел впереди меня к машине быстрой подпрыгивающей походкой, то подскакивая через каждые пять шагов, то внезапно нагибаясь, словно намереваясь что-то поднять с земли.

Брэнфорд расположен в весьма идиллическом месте, он удобно примостился в тени Скалистых гор на юго-востоке Британской Колумбии, к северу от него — Банф и горы, а к югу — Монтана и Айдахо; он лежит в зоне мягкого климата, на плодородных землях, а вокруг — горные вершины, ледники, озера. Беннетт — страстный любитель географии и геологии; несколько лет назад он прервал на год свою хирургическую практику ради того, чтобы заняться изучением этих наук в университете Виктории. По дороге он показывал мне морены, выходы пластов и обнажения пород, и то, что сначала казалось обычным пасторальным пейзажем, обретало историческую глубину, хтоническую мощь и геологическую давность. Обостренное, неистовое внимание к любой детали, постоянное вглядывание вглубь, в существо дела, проникновение и анализ характерны для неустанно работающего, вопрошающего разума туреттика. Это, можно сказать, оборотная сторона его тенденции к навязчивостям, повторениям, предрасположенности к повторяющимся действиям — прежде всего касаниям.

Действительно, как только внимание и интерес Беннетта истощались, его тики и повторяющиеся действия немедленно возобновлялись — в частности, навязчивые прикосновения к усам и очкам. Усы требовалось постоянно поглаживать и проверять, вполне ли они симметричны, очки нужно было "уравновешивать", передвигая внезапными судорожными тычками пальцев вверх и вниз, из стороны в сторону, наискосок, ближе к глазам или дальше от глаз — пока они тоже не оказывались совершенно "отцентрованы". Он то и дело вытягивал правую руку или вдруг быстрым движением выбрасывал ее вперед; непременно старался коснуться ветрового стекла указательными пальцами обеих рук ("Прикосновения должны быть симметричными", — комментировал он); неожиданно менял положение коленей относительно руля, затем возвращал их на прежнее место ("Нужно ставить колени симметрично, они должны стоять строго по центру") или вдруг каким-то высоким, чужим голосом произносил нечто вроде "Эй, Пэтти!", "Эй, там!", а несколько раз что-то похожее на "Жутко!" (Пэтти, как я потом узнал, была его прежняя любимая девушка; ее имя теперь приобрело характер словесного тика[1]).

Пока мы не въехали в город и нам не мешали передвигаться светофоры, все это проявлялось не очень сильно. Сами по себе светофоры не досаждали Беннетту — ведь мы никуда не спешили, но они то и дело пре-

1. Тики могут иметь неясный статус, нечто среднее между бессмысленными подергиваниями и звуками и значимым действием. Хотя больным с синдромом Туретта присуща склонность к тикам, специфическая их *форма* зачастую имеет личностное или биографическое происхождение. Так, имя, звук, зрительный образ, жест, возможно, замеченные несколько лет назад и забытые, могут сначала бессознательно повторяться или имитироваться, а затем сохраняться в стереотипной форме тика. Такие тики подобны таинственным древним окаменелостям и могут с течением времени стать настолько непонятными, настолько сокращенными, что оказываются неразборчивыми (как "Спаси тебя Бог" сжалось, сплющилось в течение веков в фонетически похожее, но бессмысленное "спасибо").

рывали движение, кинетическую мелодию, быстрое, плавное действие, объединявшее психику и мозг. Из-за этого наступал внезапный переход: то Беннетт был воплощенное спокойствие и действие, то вдруг он впадал в смятение и буйство. Когда Беннетт вел машину плавно, создавалось ощущение, что за рулем не туреттик, все-таки контролирующий себя так или иначе, а человек, психика и мозг которого действуют вполне согласованно.

Еще через несколько минут мы добрались до его дома, очаровательного и своеобразного, окруженного густым садом и расположенного высоко на холме, откуда был виден весь город. Как только мы въехали во двор, собаки Беннетта, похожие на волков и удивительно светлоглазые, залаяли, замахали хвостами и бросились нас встречать. Когда мы вылезли из машины, Беннетт сказал "Эй, собаки!" тем же самым быстрым, странным, высоким, "стиснутым" голосом, каким прежде произносил "Эй, Пэтти!", и судорожными, похожими на тик движениями погладил собак по головам: пять быстрых поглаживаний каждой — симметрично и синхронно. "Отличные псы, помесь лайки с маламутом, — сказал он. — Я решил, что должен завести сразу двоих, чтобы им было не скучно. Они вместе играют, вместе спят, вместе охотятся — все вместе". И, подумал я, вместе получают ласку: интересно, не завел ли он двух собак отчасти из-за собственных симметричных и "симметризующих" его навязчивостей? Услышав собачий лай, из дома выбежали два красивых подростка, сыновья Беннетта. На миг мне показалось, что Беннетт сейчас крикнет голосом туреттика "Эй, ребятки!" и погладит и их по головам — синхронно, симметрично, но он представил их по отдельности: Марк и Дэвид. А затем, когда мы вошли в дом, представил меня своей жене Хелен, готовившей для всех нас чай.

За столом Беннетта то и дело одолевали тики — он все время трогал стеклянный абажур над головой. Тихонько постукивал по стеклу ногтями указательных пальцев, извлекая резкий, довольно мелодичный щелкающий звук или короткую серию таких же звуков. Он все время отвлекался на эти тики и щелчки, от которых, очевидно, не мог удержаться. Или мог? Мог ли он, скажем, не садиться под абажуром?

— Если бы до абажура нельзя было достать, вам все равно хотелось бы постукивать по нему? — спросил я.

— Нет, — ответил он. — Это целиком зависит от места, где я сижу. Например, если я сижу здесь, у меня нет желания дотянуться вон до той кирпичной стенки, но когда я там сижу, я касаюсь ее тысячу раз.

Я взглянул на стену, на которую он указал, и увидел, что она вся рябая от его прикосновений и ударов, как луна, а дверца стоявшего чуть поодаль холодильника помята и испещрена выбоинами, напоминающими следы метеоритов и реактивных снарядов.

— Да, — сказал Беннетт, в свою очередь посмотрев туда. — Я швыряю вещи, когда впадаю в ярость: могу бросить утюг, кастрюлю, скалку — что под руку попадет.

Я воспринял эту информацию молча. Она добавляла новое измерение — тревогу, буйство — к картине, которая у меня складывалась, и как будто противоречила облику сидевшего напротив меня спокойного, добродушного человека[1].

1. У некоторых больных с синдромом Туретта отмечаются "швырятельные" тики — внезапное, ничем по видимости не мотивированное стремление бросать предметы, совершенно отличное от швыряния предметов Беннеттом в ярости.

— Если свет так беспокоит вас, зачем вы садитесь так близко? — спросил я.

— Ну да, беспокоит, — ответил Беннетт, — но еще и стимулирует. Мне нравится ощущение и звук щелчка. Конечно, иногда это очень отвлекает. Я не могу заниматься здесь, в столовой, приходится сидеть в кабинете, вдали от этой лампы.

У туреттика при контакте с разными предметами и другими людьми заметно меняется ощущение личного пространства и границ собственной личности. Я знаю многих туреттиков, которым невыносимо трудно сидеть в ресторане близко от других посетителей — скажем, на расстоянии вытянутой руки, и если им не удается избежать этой ситуации, они не могут не протягивать судорожно руки к окружающим или не касаться их. Эта чрезмерная чувствительность обостряется, если "раздражающий" человек находится сзади, за спиной. Поэтому многие туреттики предпочитают сидеть в углу, на "безопасном" расстоянии от остальных, когда за спиной никого нет и быть не может[1]. Подобные трудности иногда возникают при вождении автомобиля: туреттику может казаться, что другие автомобили оказываются "слишком близко" от его машины, или "опасны", или "приближаются слишком стремительно", в то время как, по мнению не-туреттика, они находятся на нормальном расстоянии. Парадоксальным образом может возникать и тенденция "притягиваться" к другим автомобилям или сворачивать к ним — хотя осознание ситуации и высокая скорость реакции обычно позволяют водителю предотвратить неприятное происшествие. (Подобные иллюзии и побуждения, связанные с нарушением границ персонального пространства, иногда наблюдаются и при болезни Паркинсона.)

Еще одно проявление болезни, наблюдавшееся у Беннетта, совершенно не похожее на внезапные импульсивные или навязчивые касания, — это медленные, почти сладострастные надавливания ногой на землю: очерчивание вокруг себя круга. "По-моему, это что-то инстинктивное, — сказал он в ответ на мой вопрос. — Так собаки метят территорию. У меня это в крови. Что-то примитивное, доисторическое — возможно, все мы неосознанно носим это в себе, и синдром Туретта лишь "высвобождает" такое примитивное поведение".

Иногда Беннетт называет синдром Туретта "болезнью растормаживания". Как он говорит, самая обычная мысль, которая может промелькнуть у каждого, но, как правило, подавляется, хранится в глубине сознания туреттика то и дело прорывается "наружу" помимо его воли. Например, если стоит хорошая погода, ему вдруг захочется пойти позагорать. Пока он осматривает в больнице пациентов, эта мысль, дремлющая у него в мозгу, может проявляться в неожиданных невольных восклицаниях. "Медсестра говорит: "У мистера Джоунса боли в брюшной полости", а я гляжу в окно и бормочу: "Самый загар, самый загар!" Это порой повторяется по пятьсот раз за утро. Люди в палате не могут не слышать меня, но, думаю, просто не обращают внимания либо понимают, что это ничего не значит".

1. Иллюстрацией этому может служить забавный случай: когда я пошел в Лос-Анджелесе в ресторан, поужинать с тремя своими друзьями-туреттиками, все трое одновременно кинулись к стулу, стоявшему в углу, — думаю, что не из-за соперничества, а потому, что для каждого из них это была жизненная потребность. Тот, кому повезло, мог тихонько сидеть на месте, в то время как двое остальных то и дело стремительными движениями касались других посетителей, сидевших позади них.

Иногда синдром Туретта проявляется в навязчивых мыслях и беспокойстве. "Если я чем-то обеспокоен, — рассказывал мне Беннетт, когда мы сидели за столом, — скажем, я услышал, что покалечился какой-то ребенок, я должен подойти к стенке, постучать по ней и сказать: "Надеюсь, со мной ничего такого не произойдет". Я сам стал свидетелем подобного действия несколько дней спустя. В теленовостях рассказали о потерявшемся ребенке, сообщение взволновало и расстроило Беннетта. Он тут же стал трогать очки (сверху, снизу, слева, справа, сверху, снизу, слева, справа), яростно стараясь "уравновесить" их. Заухал, словно сова: "У-ух, у-ух", — и тихонько забормотал: "Дэвид, Дэвид — *с ним* ничего не случилось?" Затем выбежал из комнаты, чтобы в этом удостовериться. При любом упоминании о потерявшемся или пострадавшем ребенке у Беннетта проявлялись явно выраженные беспокойство и тревога, то есть происходила прямая идентификация с собой, с собственными детьми и возникало мгновенное суеверное желание убедиться, что все в порядке, и совершить какое-то ритуальное действие.

После чая мы с Беннеттом отправились гулять, прошли через небольшой сад с усыпанными яблоками деревьями и поднялись по возвышавшемуся над городом холму; сопровождавшие нас лайки весело прыгали рядом. По дороге Беннетт рассказал мне кое-что о своей жизни. Он не знал, был ли у кого-нибудь в семье синдром Туретта, — он был приемным ребенком. Его собственная болезнь проявилась, когда ему было семь лет. "Ребенком я жил в Торонто. Я носил очки, у меня были скобки на зубах, а главное — я дергался, — рассказывал он. — Это была последняя капля. Я был замкнут, сторонился всех, подолгу бродил один. У меня не было беспрерывно звонивших мне друзей, как у Марка, — ничего похожего". Но одиночество и долгие прогулки закалили его, прибавили ему духовных сил, дали ощущение независимости и самодостаточности. У него всегда были ловкие руки, его интересовало, как устроен мир природы: как образуются скалы, как развиваются растения, как двигаются животные, как, натягиваясь, уравновешивают одна другую мышцы, как "собрано" тело. Он очень рано решил, что хочет стать хирургом.

Анатомия давалась ему легко, говорил он, но медицина в целом — очень трудно, не из-за тиков и касаний, которые со временем становились все более прихотливыми, а из-за непредвиденных затруднений и навязчивых состояний, мешавших сосредоточиться при чтении. "Мне приходилось читать каждую строчку по многу раз, — рассказывал Беннетт. — Я должен был "выстроить" каждый абзац, чтобы все его четыре угла были симметричны в поле зрения". Кроме выравнивания каждого абзаца, а иногда и каждой строки, необходимо было также "уравновесить" слоги и слова, мысленно сделать "симметричной" пунктуацию, выяснить частоту употребления какой-либо буквы и повторять про себя слова, фразы, а то и строки. Все это не давало возможности бегло просматривать текст, быстро постигать его суть или получать удовольствие от тонкостей прозаического или поэтического стиля. Но это же вынуждало его внимательно читать и знать почти наизусть медицинские тексты.

После окончания университета Беннетт, которого тянуло в дальние края, в частности на Север, поехал работать врачом на Северо-Запад и Юкон; работал он и на ледоколах, курсировавших в Арктике. Беннетт обладал даром заводить дружеские связи, близко сошелся с эскимосами, которых лечил, и сделался специалистом по полярной медицине. И когда в 1968 году женился — ему было двадцать восемь лет, то отправился с

новобрачной в кругосветное путешествие и осуществил свою детскую мечту: подняться на Килиманджаро.

Из последних семнадцати лет двенадцать он проработал в небольших отдаленных поселениях Западной Канады (начинал он как терапевт в одном из тамошних городишек), а пять лет назад, еще сильнее ощутив тоску по горам, девственной природе и озерам, которые плескались бы у самого порога дома, перебрался в Брэнфорд. ("И здесь я останусь. Мне никуда отсюда не захочется, я знаю".) В Брэнфорде, сказал он мне, "все как надо". Народ здесь приветливый, но без назойливости — люди соблюдают дистанцию. Все воспитанные, вежливые. Здесь хорошие школы, есть муниципальный колледж, театры и книжные магазины (одним из них заведует Хелен), но при этом ощущается природа, воля. Хорошая охота и рыбная ловля, но Беннетт предпочитает ходить в походы, взбираться на горы и бегать на лыжах по холмам.

Когда он только приехал в Брэнфорд, к нему, как ему кажется, отнеслись с предубеждением. "Хирург, который дергается. Кому он нужен? Вот еще!" Сначала пациентов у него не было, и он не знал, появятся ли они когда-нибудь, но постепенно добился приязни и уважения горожан. Практика Беннетта стала расти, и его коллеги, поначалу смотревшие на него с тревогой и недоверием, скоро поверили в него и безоговорочно приняли в медицинское сообщество. "Но довольно слов, — заключил он, когда мы вернулись домой; уже темнело, и внизу мерцали огоньки Брэнфорда. — Пойдемте со мной завтра в больницу — у нас в семь тридцать летучка. Потом я принимаю своих амбулаторных больных и делаю обход палатных. А в пятницу оперирую, и вы можете помыть руки вместе со мной".

Я прекрасно выспался в цокольном этаже у Беннеттов, но рано утром проснулся от странного жужжания, доносившегося из игровой комнаты по соседству. Туда вела дверь с полупрозрачными стеклами. Когда, еще не проснувшись как следует, я посмотрел через стекло, мне показалось, что на меня катит паровоз: большое вращающееся колесо, клубы дыма, время от времени раздававшееся уханье. В испуге я приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Беннетт, голый по пояс, яростно вертел педали тренажера, спокойно покуривая длинную трубку. Перед ним лежала книга по патологии, раскрытая, как я заметил, на главе, посвященной нейрофиброматозу. Так всегда начинался его день: полчаса на тренажере с любимой трубкой в зубах, с раскрытой книгой по патологии или хирургии, в зависимости от предстоящей ему днем работы. Трубка, ритмические упражнения успокаивали его. Не было ни тиков, ни навязчивых побуждений: всего лишь легкое уханье, не более того. (Казалось, он воображает себя идущим по прерии поездом.) Успокоившись таким образом, он мог читать без обычных навязчивых состояний и нервного возбуждения. Но как только ритмическое вращение педалей прекратилось, на Беннетта накатила целая лавина тиков и навязчивых движений; он принялся ударять себя по втянутому животу, бормоча: "Жир, жир, жир... жир, жир, жир... — а затем, совершенно неожиданно: — Жир и кусок титьки". (Иногда "титька" опускалась.)

— Что это значит? — спросил я.

— Понятия не имею. И не знаю, откуда взялось; как и "жутко" — оно вдруг возникло года два назад и когда-нибудь исчезнет, а вместо него появится что-то другое. Когда я устаю, оно превращается в "джутко". Эти слова не всегда осмысленны, часто дело в одном только звучании. Я мо-

гу начать повторять любой странный звук, любое странное имя, они меня "заводят". Слово прилипает ко мне на два-три месяца. Затем в один прекрасный день исчезает, и появляется другое.

Сыновья Беннетта, зная о его пристрастии к необычным словам и звукам, постоянно высматривают странные фамилии — фамилии, непривычно звучащие для английского языка, по большей части иноязычные. Они просматривают газеты, выискивают слова в книгах, прислушиваются к радио и телевидению и, найдя "заковыристое" имя, прибавляют к своему списку. Об этом списке Беннетт сказал: "Наверное, это самая ценная вещь в доме". Он называл такие слова "лакомством для ума".

Список был начат шесть лет назад, после того как Беннетт "завелся" от фамилии Огинга Одинга и ее аллитераций, и теперь там более двухсот имен. Из них двадцать два "текущие", готовые сорваться с языка в любой момент, чтобы потом пережевываться, повторяться, давая возможность говорящему насладиться их вкусом. Одно из двадцати двух, Славек Джей Гурка, — имя профессора, специалиста по гармонизации трудовых отношений, из Саскачеванского университета, где училась Хелен, — восходит к самым давним временам, оно положило начало эхолалии в 1974-м и просуществовало без значительных перерывов до конца семидесятых. Большинство фамилий "удерживается" не больше нескольких месяцев. Некоторые (Борис Блэнк, Флойд Флейк, Моррис Гук, Любор Джей Зинк) коротки и звучны. Для других (Челбертон Эй Титл, Бабалу Мандель) характерны многосложность и аллитерация. Эхолалия "замораживает" звуки, останавливает время, сохраняет раздражители как "инородные тела" или как эхо в сознании, они чужеродны и существуют подобно имплантантам. Только звуки, их "мелодия", как говорит Беннетт, "вживляются" в его мозг, а происхождение, значение и связанные со словами ассоциации не важны. (В этом эхолалия похожа на "сакрализацию" собственных имен и их существование в качестве тиков.)

"То же самое с навязчивым счетом, — сказал он. — Сейчас я все делаю по три или пять раз, а еще несколько месяцев назад — по четыре и семь. И вдруг однажды утром я проснулся — *четыре* и *семь* исчезли, а вместо них появились *три* и *пять*. Как будто одна цепь включилась и заработала, а другая выключилась. Такое ощущение, будто это не имеет ничего общего со *мной*".

Странное, необычное, бросающееся в глаза всегда привлекает взгляд и слух туреттика и провоцирует его на имитацию и дальнейшую "разработку"[1]. Прекрасный пример такого рода приводится в книге Мэжа и Фэнделя (Meige and Feindel, 1902), которые цитируют одного больного:

"Я сознавал свою предрасположенность к подражанию. Чей-то забавный жест или странная поза побуждали и побуждают меня тут же повторить их. Ровно так же на меня действовали неожиданное слово, ви-

1. Фамилия выдающегося исследователя синдрома Туретта — доктора Абуззахаба — обладает почти диагностической способностью провоцировать у туреттиков гротескные стойкие повторяющиеся образования (Аббуззахуззахаб и т. п.). Необычное поражает и производит впечатление, разумеется, не только на туреттиков. Анонимный автор античного мнемонического текста "К Гереннию" описывал это явление две тысячи лет назад как естественную склонность разума, которая может быть использована, чтобы сильнее закрепить образы в памяти: "Когда мы видим в повседневной жизни вещи незначительные, обычные, заурядные, мы, как правило, не запоминаем их, поскольку память не возбуждена чем-то новым или чудесным. Но если мы слышим или видим нечто особенно грубое, бесчестное, необычное, потрясающее, невероятное или смешное, это мы, скорее всего, запомним надолго. Обычное легко ускользает из памяти, в то время как поразительное или новое остается в памяти дольше... В таком случае пусть искусство подражает природе".

тиеватая фраза, непривычное произношение или особая интонация — я умел точно передразнить любую особенность.

Лет в тринадцать я увидел человека, у которого было необычное выражение лица и глаз, и уже не давал себе передышки, пока не научился в точности копировать его...Через несколько месяцев я непроизвольно передразнивал гримасу старого джентльмена. Короче говоря, у меня начался тик".

В 7.25 мы поехали в город. Дорога до больницы заняла не больше пяти минут; наше прибытие оказалось более шумным, чем обычно, потому что Беннетт, сам того не желая, вдруг сделался знаменитостью: несколько недель назад он дал интервью одному журналу, которое только что появилось. Все вокруг улыбались и подшучивали над ним. Беннетт был слегка смущен и в то же время обрадован, шутки он принимал без обиды ("Теперь уж ничего не поделаешь — меня взяли на заметку"). В ординаторской Беннетт легко, без усилий общался с коллегами, а они с ним. Это было видно по тому, что с ними он не скрывал своего синдрома — касался их или слегка постукивал по ним кончиками пальцев, а раза два, сидя с собеседником на диване, вдруг заваливался в сторону и касался плеча коллеги пальцами ноги — подобный жест я наблюдал и у других туреттиков.

При первом знакомстве Беннетт бывал осторожен: скрывал и подавлял проявления своей болезни, пока не узнавал людей ближе. Он рассказывал мне, что, когда начинал работать, скакал по коридорам только если был уверен, что его никто не видит. Теперь же, прыгает он или скачет, никто даже не оглядывается.

Разговоры в ординаторской велись такие же, как в любой больнице: врачи обсуждали необычные случаи. Сам Беннетт, лежа на полу и дрыгая ногой в воздухе, описывал случай нейрофиброматоза у молодого человека, которого недавно оперировал. Коллеги внимательно слушали. Ненормальное поведение и совершенно нормальная речь создавали удивительный контраст. Вся сцена выглядела довольно странно, но явно была настолько привычной, что не привлекала ничьего внимания. Хотя стороннего наблюдателя она бы ошеломила.

После кофе с булочками мы отправились в отделение амбулаторной хирургии, где Беннетта дожидалось несколько пациентов. Первым был погонщик скота из Банфа, весьма ковбойского вида, в клетчатой рубахе, джинсах в обтяжку и ковбойской шляпе. Под ним упала лошадь и подмяла его, в результате чего у него образовалась огромная ложная киста поджелудочной железы. Беннетт говорил с этим человеком — тот сказал, что опухоль стала меньше, — и мягкими, плавными движениями ощупывал подвижное образование в его животе. Посмотрел вместе с рентгенологом эхограмму — она свидетельствовала, что киста уменьшается, затем вернулся и успокоил пациента: "Опухоль проходит сама по себе. Отлично рассасывается — хирургическое вмешательство не понадобится. Вы снова сможете ездить верхом. Покажетесь мне через месяц". И погонщик скота, обрадованный, ушел пружинистым шагом. Позже я перекинулся несколькими словами с рентгенологом. "Беннетт не только потрясающий диагност, — сказал он. — Я никогда не видел, чтобы хирург так сочувствовал пациентам".

Следующей была крупная женщина с меланомой на ягодице. Опухоль предстояло удалить. Беннетт вымыл руки перед операцией, надел

стерильные перчатки. Казалось, стерильность с ее запретами каким-то образом провоцировала Беннетта: он то совершал внезапные стремительные движения, то начинал тянуться стерильной правой рукой к "грязной", без перчатки, левой. Пациентка наблюдала за ним абсолютно спокойно. Мне было интересно, что она думает о странных быстрых движениях хирурга и внезапной конвульсивной дрожи его рук. Его поведение не могло быть для нее полной неожиданностью, поскольку ее врач, должно быть, сказал ей примерно следующее: "Вам нужна небольшая операция. Я рекомендую доктора Беннетта — он прекрасный хирург. Должен предупредить, что он иногда совершает странные движения и издает странные звуки — у него болезнь, которая называется синдром Туретта, но вы не волнуйтесь, это не имеет значения. Это никак не сказывается на его операциях".

Закончив подготовку, Беннетт перешел к серьезной работе и, обработав ягодицу пациентки йодом, сделал обезболивающий укол совершенно твердой рукой. Но как только ритм действий на минуту сбился — нужно было сделать еще один укол, и медсестра протянула Беннетту ампулу, чтобы он наполнил шприц, — снова начались стремительные движения и почти-касания. Сестра и бровью не повела: она все это уже не раз видела и знала, что он не дотронется до стерильной перчатки. Затем недрогнувшей рукой Беннетт сделал овальный разрез на расстоянии дюйма от меланомы и за сорок секунд удалил опухоль вместе с кожей и комком жира, похожим на бразильский орех. "Готово!" — сказал он. Затем очень быстро и ловко сшил края раны, наложив пять аккуратных швов. Пациентка, повернув голову, наблюдала, как он шьет, и пошутила: "Вы, наверное, и дома все чините?"

Он рассмеялся: "Да. Все, кроме носков. Но теперь никто не штопает носки".

Она взглянула еще раз: "Вы просто как лоскутное одеяло простегали".

Вся операция заняла менее трех минут. Беннетт воскликнул:

"Готово! Вот что там было". — Он держал на ладони комок плоти.

"Фу, — вздрогнув, воскликнула она. — Не могу смотреть! Но все равно спасибо".

Все это от начала до конца выглядело в высшей степени профессионально и, несмотря на стремительные движения и почти-касания, не походило на синдром Туретта. Но я не мог понять, зачем демонстрировать пациентке ее опухоль. Можно показать пациенту желчный камень, но окровавленный бесформенный кусок жира и плоти? Понятно, что ей не хотелось его видеть, но Беннетту почему-то хотелось его показать. Меня занимала мысль, было ли это продиктовано присущими туреттику педантичностью и точностью, желанием все рассмотреть и понять или чем-то еще. Я думал о том же, когда Беннетт осматривал старую даму, которой он недавно вставил Т-образную трубку в желчный проток. Он пространно описывал трубку и объяснял всю анатомию, но женщина прервала его: "Я не хочу ничего знать. Это ваше дело".

Было ли это побуждением страдающего синдромом Туретта больного Беннетта или же преподавателя анатомии Беннетта? (Он раз в неделю читал лекции по анатомии в Калгари.) А может, это просто было выражением его дотошности и любознательности? Или убеждения, что все пациенты разделяют его интерес и любовь к деталям? Некоторые из больных, несомненно, разделяли, но явно не эти две дамы.

Тем временем он продвигался по длинному списку пациентов. Беннетт, очевидно, был популярным хирургом, он осматривал или оперировал быстро и мастерски, полностью сосредоточившись, так что, оказавшись в кабинете, пациент понимал, что к нему отнесутся со всем вниманием. Он забывал, что ждал в очереди или что за дверью ждут другие, и чувствовал, что для Беннетта он единственный человек в мире. Как приятна, как реальна жизнь хирурга, думал я: непосредственные, дружеские отношения (это особенно заметно сейчас, при общении с амбулаторными пациентами), быстрая работа, видимые результаты, удовлетворение, причем гораздо более ощутимое, чем у терапевта, а тем паче невропатолога вроде меня. Я думал о своей матери, о том, какое удовольствие ей доставляла профессия хирурга, и о том, как я всегда любил присутствовать при ее осмотрах хирургических амбулаторных больных. Сам я не смог стать хирургом из-за своей безнадежной неуклюжести, но даже ребенком любил хирургов — мне нравилось наблюдать за их работой. Эта полузабытая любовь, это удовольствие вернулись ко мне с новой силой, когда я наблюдал за Беннеттом и его пациентами; мне хотелось быть не только зрителем, хотелось что-то делать, скажем держать ретрактор, каким-то образом участвовать в операции.

Последним пациентом Беннетта был молодой механик с обширным нейрофиброматозом, причудливым, а иногда и злокачественным заболеванием, которое сопровождается появлением больших буроватых опухолей и бугров, обезображивающих тело[1]. У этого молодого человека свисал с груди кожный фартук, такой огромный, что им можно было бы накрыть голову, и такой тяжелый, что больной сгибался под его весом. Беннетт удалил опухоль несколько недель назад — то была большая и весьма искусно выполненная операция, — а сейчас изучал другой огромный фартук, спускавшийся с плеч, и большие коричневатые бугры в паху и под мышками. Я радовался, что, удаляя швы, Беннетт не пробормотал "жутко", потому что боялся действия этого слова, даже если оно всего-навсего давно устоявшийся стереотип. Однако "жутко" не прозвучало, вообще не было никаких словесных тиков, пока Беннетт не начал рассматривать кожный фартук на спине больного; тогда у него вылетело краткое "жу...", но конец слова оказался тактично усечен. Это, как я узнал позже, не было сознательным подавлением — Беннетт не помнит о тиках, — и все же, мне кажется, здесь проявилось если не сознательное, то подсознательное внимание и такт. "Замечательный молодой человек, — сказал Беннетт, когда мы вышли из здания. — Не смущается. Легкий, общительный. Большинство людей на его месте забились бы в чулан и не вылезали оттуда". Я не мог не подумать, что эти слова можно отнести и к нему самому. Множество людей с синдромом Туретта впадают в отчаяние, легко смущаются, отгораживаются от мира и "забиваются в чулан". Не таков Беннетт: он боролся с недугом, преодолел его и бросил вызов жизни, бросил вызов людям, бросил вызов самой недоступной для него профессии. Все его пациенты, я думаю, сознают это, и это одна из причин, по которой они ему так доверяют.

Человек с кожным фартуком был последним амбулаторным больным, но Беннетт мог позволить себе только краткий перерыв: вторую половину дня ему предстояло провести со стационарными больными в боль-

1. Так гротескно выглядел знаменитый человек-слон Джон Меррик.

ничных палатах. Я решил не принимать в этом участия и погулять по городу. Я бродил по Брэнфорду со смешанным ощущением déjà vu и jamais vu[1]: то мне казалось, что я уже видел этот город, то — что вижу его впервые. И вдруг я вспомнил — да, я видел его, я был здесь раньше, останавливался на ночь в августе 1960-го, когда ехал на попутках через Скалистые горы на запад. Тогда здесь жили всего несколько тысяч человек, а во всем городе было с десяток пыльных улиц, несколько мотелей и баров — в общем, большой дорожный перекресток, чуть больше, чем бензоколонка с мотелем, стоящая на длинном западном шоссе. Сейчас население города составляло двадцать тысяч, главная улица превратилась в проспект с сияющими витринами магазинов и множеством машин, с ратушей, полицейским участком, местной больницей, несколькими школами — все это, поразительно реальное, окружало меня, но одновременно я мысленно видел прежний пыльный перекресток и бары — Брэнфорд тридцатилетней давности, все еще удивительно живой, не изменившийся.

Пятница — операционный день Беннетта, и ему предстояло делать мастэктомию. Мне очень хотелось присутствовать на операции, посмотреть его в действии. Одно дело амбулаторные больные, каждый может сконцентрироваться на несколько минут, но как он поведет себя во время длительной и трудной процедуры, требующей напряжения и непрерывной сосредоточенности не в течение секунд или минут, а часов?

Подготовка Беннетта к операции — это было потрясающее зрелище. "Вам нужно пойти посмотреть, как он готовится к операции, — сказал мне его молоденький ассистент. — Это что-то невероятное". Он оказался прав — то, что я видел в амбулатории, сейчас усилилось многократно: беспрерывные, внезапные движения рук, никогда не завершавшиеся прикосновениями к своему нестерильному плечу, ассистенту, зеркалу; внезапные "выпады" и прикосновения к коллегам ногами; целый поток восклицаний "Ух-ух-ух! Ух-ух-ух!", напоминающих крик огромной совы.

Когда мытье рук было закончено, Беннетт и его ассистент надели перчатки и халаты и подошли к столу, где лежала пациентка; она была уже под наркозом. Они посмотрели маммограмму на негатоскопе. Затем Беннетт взял скальпель, сделал сильный, четкий разрез — не было и следа тиков или возбуждения — и сразу вошел в ритм операции. Прошло двадцать минут, пятьдесят, семьдесят, сто. Операция была довольно сложной — требовалось выделить сосуды, найти нервы, — но производилась четко, гладко, она шла в собственном ритме, без малейших отклонений из-за синдрома Туретта. Наконец через два с половиной часа сложнейшей, напряженной работы он закончил, поблагодарил всех, зевнул и потянулся. За все время операции — ни одного симптома болезни! И не потому, что Беннетт подавлял их или сдерживался — ничто не свидетельствовало о его напряжении или скованности, — а просто потому, что не было никакого побуждения к тику. "Большую часть времени, пока я оперирую, мне даже в голову не приходит, что у меня синдром Туретта", — говорит Беннетт. В это время он только хирург за работой, на это нацелена его психика и нервная система, она становится активной, сфокусированной, не-туреттической. Только если операция прерывается на несколько минут — например, когда нужно посмотреть специальную рентгенограмму, снятую во время операции, — ожидающий, ничем

1. Уже пережитого; никогда не виденного (*франц.*). (*Прим. перев.*)

не занятый Беннетт вспоминает, что он туреттик, и в тот же миг становится им. Как только операция возобновляется, синдром Туретта, туреттическая личность снова исчезают. Ассистенты Беннетта, проработав с ним несколько лет и хорошо его зная, каждый раз изумляются, когда видят это. "Просто удивительно, — говорит один из них, — как синдром Туретта исчезает". Самому Беннетту это тоже удивительно. Стаскивая перчатки, он расспрашивал меня о нейрофизиологии синдрома.

"Не всегда было так легко, как сейчас", — признался он мне позже. Случалось, что во время операции к нему приставали с какими-то посторонними просьбами: "Три пациента ждут вас в отделении скорой помощи"; "Миссис Х. хочет узнать, можно ли ей прийти десятого числа"; "Жена просила вас купить три пакета еды для собак" — это нарушало его сосредоточенность, прерывало плавный и ритмичный ход операции. И года два назад он ввел строгое правило: его нельзя беспокоить, когда он оперирует, он должен полностью сосредоточиться на операции, — и с тех пор в операционной у него не бывает тика. То, что Беннетт может оперировать, заставляет задуматься о всех загадках синдрома Туретта, включая такие глубокие проблемы, как природа ритма, мелодии и "плавного течения", равно как и природа действия, роли и реализации личности. Переход от некоординированных, судорожных тиков к плавному, оркестрованному и согласованному движению может происходить у туреттиков, находящихся под воздействием ритмической музыки или ритмичного действия, мгновенно. Я наблюдал это у человека, который мог переплыть бассейн без тиков, двигаясь ровно и ритмично, но в момент поворота, когда сбивается ритм и мелодия движения, тики накатывали на него лавиной. Многих туреттиков привлекает спорт — отчасти, видимо, из-за их необыкновенной быстроты и точности[1], а отчасти — из-за бурных, чрезмерных двигательных импульсов и энергии, которые ищут какого-то высвобождения, но высвобождения, которое, по счастью, может быть не взрывным, а выливается в поток — в ритм действия или игры.

Можно заметить, что сходное состояние возникает при игре или прослушивании музыки. Конвульсивные или искаженные моторно-речевые модели поведения, которые наблюдаются при синдроме Туретта, могут моментально нормализоваться благодаря декламации или пению (давно известно, что то же самое происходит с заиками). Сходным образом дело обстоит с заминками в движении при болезни Паркинсона (иногда называемой двигательным заиканием), движения также могут с помощью музыки или действия преобразоваться в ритмичный, мелодичный поток. Такие реакции, очевидно, затрагивают скорее двигательные системы человека, а не его личность, индивидуальность в ее высших проявлениях. Часть изменений в поведении Беннетта происходила во время операции на этом простейшем "музыкальном" уровне. На этом уровне хирургическая работа Беннетта становилась машинальной, десятки обстоятельств требовали внимания, и они были связаны, оркестрованы в едином непрерывном потоке — эта работа, как и вождение машины, со временем стала почти автоматической, поэтому он мог болтать и перешучиваться с сестрами, думать о чем-то другом, в то вре-

1. То, что большинство из нас считает поразительной или "ненормальной" скоростью движений, оказывается совершенно нормальным для туреттиков.

мя как его руки, глаза и мозг безошибочно выполняли свои сложные задачи почти без участия сознания.

Но над этим уровнем существовал и высший, личностный, который был связан с индивидуальностью Беннетта и его осознанием себя как хирурга. Анатомия (а затем и хирургия) были его любимым делом, средоточием его жизни — он более всего становился собой, когда погружался в работу. Вся его личность и поведение — иногда нервное и неуверенное — меняются, когда он надевает хирургический халат и при этом не только обретает спокойствие и уверенность в себе, но и свою иную ипостась: мастера за работой. Исчезновение болезненных симптомов кажется частью этой всеобъемлющей перемены. Я наблюдал то же самое у актеров-туреттиков. Я знаю характерного актера с тяжелой формой синдрома Туретта, но на сцене, когда он полностью погружен в роль, болезнь отступает. Здесь можно увидеть нечто гораздо более высокое, чем просто ритмический, квазиавтоматический резонанс двигательных схем организма, — это скорее основополагающий акт воплощения (хотя его нужно определять в психоневрологических терминах), вследствие которого навыки, чувства и все психические образы другого "я" начинают преобладать в мозгу, преобразуя человека, всю его нервную систему на время, пока длится театральное представление. Подобная трансформация личности, ее перестройка происходит со всеми нами, когда мы в течение дня переходим от одной роли, одной стороны своей личности к другой — от родительской к профессиональной, политической, эротической и так далее. Но эта трансформация особенно явственно протекает у тех, кому приходится то "выходить" из нервно-психических синдромов, то "возвращаться к ним", и у профессиональных исполнителей и актеров.

Эти трансформации — переключения очень сложных психических конгломератов — обычно переживаются в рамках "воспоминания"-"забывания"; так, Беннетт забывает, что он туреттик, во время операции ("Даже в голову не приходит!"), но вспоминает об этом, как только наступает перерыв. И как только вспоминает, становится туреттиком, потому что на этом уровне нет различия между памятью, знанием, импульсом и действием — все приходит вместе как единое целое. (То же самое происходит при других заболеваниях: я однажды видел больного паркинсонизмом, которому, как мне было известно, сделали укол апоморфина, чтобы помочь преодолеть ригидность и "застывание", — минуты через две его вдруг "расковало", он улыбнулся и сказал: "Я забыл, что значит страдать паркинсонизмом".)

В пятницу после обеда Беннетт был свободен. Он любит по пятницам отправляться на длинные пешие или велосипедные прогулки либо ездить на автомобиле, ощущая перед собой трассу, дорогу. У него есть ранчо с красивым озером и взлетной полосой, где он любит бродить и куда можно добраться только по неровной пыльной дороге. Это чудесное место, узкая полоса плодородной земли между озером и горами, и мы отшагали там не одну милю, разговаривая о том о сем, по дороге Беннетт собирал растения и минералы. Затем мы посидели у озера, и я немного поплавал, а выйдя из воды, обнаружил, что Беннетт улегся и заснул. Во сне он выглядел спокойным, свободным от напряжения; этот внезапный глубокий сон заставил меня задуматься над тем, сколько трудностей он вынужден преодолевать за день и как сильно приходится ему иногда

напрягаться. Я подумал, сколько всего скрывается за его добродушной внешностью, как часто он должен контролировать себя, со скольким бороться. Затем, когда мы снова гуляли по ранчо, Беннетт сказал, что я наблюдаю только внешние проявления его болезни и что они, хотя и причудливы на взгляд стороннего наблюдателя, на самом деле далеко не худшее из того, с чем ему приходится сталкиваться из-за болезни. Подлинные, внутренние проблемы — это паника и ярость, чувства столь мощные, что он не может совладать с ними, и столь внезапные, что он, в сущности, не может предотвратить их натиск. Иногда, стоит ему получить квитанцию за парковку или увидеть полицейскую машину, как в его мозгу проносятся сценарии насилия — безумная погоня, стрельба, разрушения и пожары, увечья и смерть, — сценарии, которые за считанные секунды возникают и прокручиваются в мозгу с какой-то судорожной быстротой. Одна часть его существа способна бесстрастно наблюдать эти сцены со стороны, но другая — захвачена ими и взывает к действию. Он может не допустить вспышки на людях, но напряжение, которого стоит такой контроль над собой, страшно изматывает. Дома, в частной жизни, он может дать себе волю и разрядиться, но не на других людях, а на окружающих его неодушевленных предметах. Я уже видел стену, по которой он зачастую ударяет в ярости, и холодильник, в который он запускает практически всем, что есть в кухне. В стене своего больничного кабинета он выбил углубление, так что пришлось поставить горшок с цветами, чтобы закрыть выбоину, а дома, в его кабинете, стены из кедровых досок сплошь покрыты ножевыми отметинами. "Это не игрушки, — сказал он мне, — у вас может появиться искушение романтизировать все это, но синдром Туретта приходит из глубин нервной системы и подсознания. Он затрагивает самые древние, самые сильные наши чувства. Синдром Туретта похож на подкорковую эпилепсию; когда он берет верх, остается лишь тонкая ниточка самоконтроля: между тобой и болезнью, между тобой и яростной бурей — слепой мощью, таящейся в подкорке, — лишь тонкий слой коры головного мозга. Зачастую видны лишь прелестные, забавные проявления болезни, ее творческая сторона, но у нее есть и темная сторона. И тебе приходится бороться с ней всю жизнь".

Возвращение с ранчо на автомобиле было волнующим, а иногда и пугающим переживанием. Теперь, когда Беннетт познакомился со мной поближе, он дал волю себе и болезни. Время от времени он на несколько секунд бросал руль — или так мне только казалось от страха, — чтобы похлопать по ветровому стеклу (в такт литании "Ух-ух-ух", и "Эй, там!", и "Жутко!"); поправить очки, "уравновесить" их на тысячу ладов; согнутыми указательными пальцами погладить и выровнять усы, глядя в зеркальце заднего обзора, а не на дорогу. Его потребность поставить колени ровно напротив руля сделалась почти безумной: он должен был постоянно "уравновешивать" их, дергаясь взад и вперед, так что машина двигалась по дороге неровными зигзагами. "Не волнуйтесь, — сказал он, заметив мое беспокойство. — Знаю я эту дорогу. И спиной вижу, что сзади никого нет. У меня ни разу не было дорожного происшествия".

Поразительно, до чего сильно желание Беннетта глядеть на других людей и ощущать на себе чей-то взгляд. В самом деле, как только мы вернулись домой, он поймал Марка, поставил прямо перед собой и, яростно

разгладив усы, сказал: “Смотри на меня! Смотри на меня!” Марк стоял смирно, но взгляд его блуждал по сторонам. Тогда Беннетт схватил мальчика за голову и повернул к себе, прошипев: “Смотри, смотри на меня!” И Марк застыл на месте, словно под гипнозом. Это было довольно неприятно. Другие семейные сцены показались мне трогательными: Беннетт легко поглаживал волосы Хелен, тихонько приговаривая “Ух, ух”. Она безмятежно принимала его ласку, это было трогательное сочетание нежности и абсурда. “Я люблю его таким, какой он есть, — сказала мне Хелен. — Мне бы не хотелось, чтобы он был хоть на йоту другим”. Примерно то же самое говорит Беннетт: “Забавная болезнь — я думаю о ней не как о болезни, а просто как о себе. Я говорю “болезнь”, но это не то”.

Хотя у Беннетта тики появились примерно в семилетнем возрасте, он не отождествлял их с синдромом Туретта до тридцати семи лет. «Когда мы только поженились, он говорил, что у него это просто “на нервной почве”, — рассказывала мне Хелен. — Мы часто подшучивали над всем этим и думали, что он *может* прекратить, если захочет. Когда его спрашивали: “Почему ты так делаешь?”, он отвечал: “Не знаю”. Он, казалось, не осознавал этого. Как-то в 1977-м, когда Марк был еще малышом, Карл слушал по радио программу “Квирки и кварки”. Вдруг он взволнованно закричал: “Хелен, иди послушай, тут один парень рассказывает о том, что со мной бывает”. Он был потрясен, узнав, что такое встречается и у других. А для меня это было большим облегчением, потому что мне всегда казалось, что тут что-то не так. Мы хотя бы узнали, что у этого есть имя. Карл никогда не придавал всему этому большого значения, никогда не заговаривал ни с кем на эту тему, но теперь мы сами узнали, в чем дело, мы могли объяснить людям, если они задавали вопросы. Только в последние несколько лет он стал встречаться с другими такими же больными и ездить на встречи Ассоциации синдрома Туретта». До самого последнего времени синдром удивительно часто оставался недиагностированным и был неизвестен даже профессионалам, и большинство людей ставили себе диагноз сами, либо им ставили друзья и родственники, узнавшие об этой болезни из средств массовой информации. Я знаком с хирургом из Луизианы, которому поставил диагноз его собственный пациент, видевший туреттика в шоу Фила Донахью. Даже сейчас в девяти случаях из десяти диагноз ставят не врачи, а люди, узнавшие об этой болезни из печати. В большинстве случаев особое внимание масс-медиа к туреттикам обеспечивается усилиями Ассоциации, которая в начале семидесятых насчитывала тридцать членов, а сейчас — больше двадцати тысяч.

Настало субботнее утро, мне пора было возвращаться в Нью-Йорк. “Если будет хорошая погода, я доставлю вас в Калгари на самолете, — вдруг сказал Беннетт накануне вечером. — Вы когда-нибудь летали с туреттиком?” — “Я плавал с одним на байдарке, — ответил я, — а с другим ездил по стране на автомобиле, но летать...” — “Вам понравится, — сказал Беннетт. — Это будет новый опыт. Я единственный в мире летающий хирург-туреттик”.

Проснувшись на рассвете, я понял со смешанным чувством, что, несмотря на холод, погода великолепная. До Брэнфордского аэродрома мы добрались на автомобиле, дерганая, с бросками из стороны в сторону, езда заставляла меня нервничать при мысли о полете. “В воздухе гораздо легче, там нет дороги, которой нужно держаться, и не надо все

время контролировать руки", – сказал Беннетт. На аэродроме он припарковал машину, открыл ангар и с гордостью показал мне свой аэроплан – крошечный красно-белый одномоторный "сессна-кардинал". Он вывел самолет на бетонированную площадку и проверил его, затем проверил еще раз и еще раз, прежде чем включить мотор. На летном поле подмораживало, дул северный ветер. Я наблюдал за проверкой и перепроверкой с нетерпением, но и с возрастающим доверием к Беннетту. Если болезнь заставляет его проверять все по три-пять раз, то это и безопаснее. У меня уже сложилось подобное впечатление от его хирургии: синдром Туретта, если уж на то пошло, делает его более дотошным, более точным, не подавляя при этом интуицию и свободу.

Закончив проверку, Беннетт, словно гимнаст на трапецию, впрыгнул в самолет, включил зажигание, пока я забирался внутрь, и взлетел. Когда мы набирали высоту, над Скалистыми горами на востоке поднималось солнце, заливая маленькую кабину бледным золотистым светом. Мы держали курс на горные вершины высотой в девять тысяч футов, а Беннетт подергивался, совершал рукою выпады, постукивал пальцами, касался очков, усов, верха открытой кабины. Легкие тики – детские штучки, подумал я, а что, если у него появятся сильные тики? Если ему захочется перевернуть самолет в воздухе, взмыть вверх или резко опуститься, сделать "бочку" или "мертвую петлю"? Если у него возникнет желание высунуться и потрогать пропеллер? Туреттиков часто завораживают вращающиеся объекты. Я уже видел, как он тянется вперед, наполовину высунувшись из кабины, и стремительным движением хватает вертящийся впереди пропеллер. Но его тики и навязчивости были совсем слабыми, и когда он убирал руки с панели управления, самолет спокойно продолжал лететь. К счастью, здесь не надо было держаться дороги. Поднимемся мы, или опустимся, или отклонимся от курса на пятьдесят футов, какая разница? Все небо было площадкой для игр. И Беннетт, прирожденный авиатор, великолепно знающий свое дело, был словно играющий мальчишка. Синдром Туретта частично состоит именно в этом высвобождении игрового импульса, обычно подавленного или утраченного большинством людей. Свобода, простор явно приносили Беннетту радость, у него был беззаботный мальчишеский вид – не то что на земле. Теперь, поднявшись, мы прошли над первыми вершинами, авангардом Скалистых гор; позади бледно-желтым светом сияли лиственницы. Мы летели над склонами на расстоянии в тысячу или больше футов от склонов. Я спрашивал себя, не решился ли бы Беннетт, будь он один, пролететь над вершинами в десяти футах или даже дюймах – туреттики иногда склонны к рискованным ситуациям. На высоте десяти тысяч футов мы вошли в коридор между вершинами, слева от нас горы сияли в утреннем солнце, а справа стояли силуэтами. С высоты одиннадцати тысяч футов нам была видна величественная перспектива Скалистых гор – примерно миль пятьдесят пять – и обширная золотистая прерия Альберты, начинавшаяся на востоке. Правая рука Беннетта то и дело взлетала передо мной, пальцы легко постукивали по козырьку кабины. "Взгляните, осадочные породы! – он показывал рукой на горы. – Поднялись со дна моря под углом в семьдесят-восемьдесят градусов". Он любовно посматривал на вздымающиеся скалы: среди этих гор, на этой земле он был у себя дома. На теневых склонах гор лежал снег, на солнечных сторонах его еще не было; а повернув на северо-восток, к Банфу, мы увидели ледники на горах. Беннетт непрерывно ерзал на сиденье, пыта-

ясь поставить колени строго параллельно панели управления самолета. Теперь в Альберте — мы уже летели сорок минут — под нами извивалась река Хайвуд. Держа курс прямо на север, мы начали понемногу спускаться к Калгари; на последних склонах Скалистых гор мерцали осины. Мы пошли вниз, к обширным полям пшеницы и люцерны — фермы, ранчо, плодородная прерия, — но кругом по-прежнему стояли золотые осины. За шахматной доской полей на плоской равнине внезапно поднялись вышки аэродрома Калгари. Вдруг ожило потрескивающее радио: огромный русский воздушный лайнер был на подходе; нужно было срочно открыть главную взлетно-посадочную полосу, закрытую на техобслуживание. Другой большой самолет принадлежал BBC Замбии. Со всего мира в Калгари прилетали самолеты для особого обслуживания и ремонта: техническое оснащение аэродрома, сказал мне Беннетт, одно из лучших в Северной Америке. В разгар этих важных сообщений Беннетт дал по радио наши координаты и данные ("кардинал", пятнадцатифутовой длины, с пилотом-туреттиком и его невропатологом) и немедленно получил ответ, такой полный и услужливый, как если бы он вел "боинг-747". Все самолеты, все пилоты равны в этом мире — особом мире, где есть собственное инстинктивное взаимопонимание и собственный язык, коды, мифы и обычаи. Беннетт явно был частью этого мира, диспетчер узнал его и бодро приветствовал, когда он стал выруливать.

Беннетт выпрыгнул с пугающей, судорожной поспешностью, я последовал за ним более медленным, "нормальным" шагом и на площадке перед ангаром заговорил с двумя молодыми великанами, братьями Кевином и Чаком, пилотами в четвертом поколении, летающими в Скалистых горах. Они хорошо знали Беннетта. "Он один из нас, — сказал мне Чак. — Отличный парень. Синдром Туретта — какая, к черту, разница? Он хороший человек. И чертовски хороший пилот".

Беннетт, поболтав с коллегами-пилотами, зарегистрировал маршрут обратного полета в Брэнфорд. Он должен был возвращаться сразу же: в одиннадцать ему предстояло делать доклад группе медсестер, и тема доклада на этот раз не хирургия, а синдром Туретта. Вот уже маленький самолет заправлен топливом и подготовлен к полету. Мы обнимаемся и прощаемся, и, направляясь к своему самолету на Нью-Йорк, я оборачиваюсь и смотрю, как он идет. Он подходит к самолету, выруливает на взлетную полосу и взлетает — быстро, с попутным ветром. Какое-то время я слежу за ним, потом он исчезает.

Переводы В. Кулагиной-Ярцевой

"Jelenkor"

Составление, перевод с венгерского и вступительная статья Ю. Гусева

Нет, слово "Jelenkor" читается не "Джелинкор", а просто и без затей – "Еленкор". Что по-венгерски значит: современность, наше время. Это литературно-художественный журнал, который выходит в самом южном городе Венгрии – Пече. И хотя он – не "Джелинкор", а "Еленкор", познакомиться с ним интересно, а в чем-то и полезно. Что я и попытаюсь доказать.

©. Ю. Гусев. Составление, перевод, вступление, 2001

К *югу от* Будапешта

Может быть, для европейских стран едва ли не закономерно, что спокойному, флегматичному, в духовном плане холодновато-академичному северу противостоит темпераментный, часто многоязычный, быстро подхватывающий все новое, богатый на выдумку, на изобретения юг. Подобное можно обнаружить, например, в Германии, во Франции, даже в Италии; подобное было всегда и в России. Такое же противостояние улавливается и в странах с относительно небольшой территорией.

Например, в Венгрии.

Прежде, в исторической Венгрии, роль "юга" играла Трансильвания с ее мощными культурными центрами Коложвар (ныне Клуж), Варад (ныне Орадя) и др. С тех пор как Трансильвания была отсечена от Венгрии, юг усох до масштабов одной-двух областей с городами Сегед и Печ.

Конечно, городам этим трудно было соревноваться с огромным богатым Будапештом, втягивающим в себя, как любая метрополия, все яркое и ценное из провинции. После Второй мировой войны тенденция к "однополюсности" еще более усилилась благодаря централизации, на которой строилась и социалистическая экономика, и вся государственно-административная система так называемой "народной демократии".

За десять с небольшим лет, прошедших после крушения этой системы, былая однополюсность быстро сдает позиции. Особенно важно, видимо, что исчезла материальная, финансовая зависимость от центра, от Будапешта. Стремление выжить, устоять в рыночных условиях стимулирует инициативу, и в этом смысле южная энергия оказалась очень даже востребованной. Сегед и Печ сейчас не так уж и уступают столице. И тамошние литературно-художественные журналы наглядно это доказывают: и печский ежемесячник "Еленкор", и сегедский "Тисатай".

Карл-Маркус Гаусс[1] еще в 1995 году писал в газете "Цайт": "Южная Венгрия, Печ и Сегед, города с большим историческим прошлым, в последние годы стали самыми живыми средоточиями литературной жизни страны. В Пече... выходит журнал "Еленкор", один из форумов молодой литературы..."

Основанный в 1958 году, "Еленкор" тогда являлся провинциальным журналом уже по своей программе: как сообщается в "Новом венгерском литературном лексиконе", задачу свою его создатели видели в том, чтобы "хранить и развивать традиции задунайских писателей". Но уже во второй половине 60-х годов он преодолевает региональные рамки, деятельно участвуя в процессе обновления венгерской литературы, освоения новейших художественных веяний, волнами приходящих с Запада.

Тот "Еленкор", который мы наблюдаем сейчас, во второй половине 90-х годов (главным редактором его является критик и писатель Золтан Агоштон, совсем молодой, скромно держащийся, но умеющий расположить к себе собеседника человек), можно назвать каким угодно, только не провинциальным. Тут часто публикуются авторы из Будапешта и других регионов Венгрии, представляющие новейшую венгерскую литературу. В "Еленкоре" всегда присутствует и мировая литература, причем

1. Карл-Маркус Гаусс (р. 1954) – австрийский критик и литературовед, специалист по литературам стран Центральной Европы, главный редактор журнала "Литератур унд критик" (Зальцбург). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

это, как правило, значительные имена и крупные явления. Практически в каждом номере есть рубрика, посвященная теоретическим вопросам — не отвлеченно-умозрительным, но имеющим отношение к живому литературному процессу.

В общем можно сказать, что "Еленкор" — образцовый современный литературный журнал: лишенный снобизма, ориентированный на широкого читателя, но не жертвующий ради этого уровнем, не подстраивающийся к усредненным вкусам аудитории.

Сейчас мы увидим, как все это выглядит.

В *русле отечественной духовной жизни*

Трудно найти в современной венгерской литературе яркое или просто заметное имя, которое в какой-либо степени не фигурировало бы и в "Еленкоре". Даже такая звезда уже не только венгерского, но и европейского небосвода, как Петер Эстерхази, соглашается отдать в "Еленкор" отрывок из своего нового романа (я имею в виду последнюю сенсацию, роман "Harmonia caelestis"[1], фрагмент из которого опубликован в мартовском номере журнала за 2000 год). Вообще эта практика — представление на страницах журнала готовящихся, пишущихся, еще не вышедших произведений — в печском "Еленкоре" вполне обычна. Тут уверенно, по-домашнему чувствуют себя многие писатели, имена которых (российскому читателю, к сожалению, еще практически неизвестные) в венгерской табели о рангах поднялись на самый верх; упомяну хотя бы Золтана Кёрёши, Андраша Форгача, Ласло Мартона, Ласло Гараци.

Но, наверное, еще важнее, что "Еленкор" выращивает и своих авторов, для которых этот журнал поистине родной дом. Один из самых ярких среди них — поэт, прозаик, эссеист Лайош Парти Надь (р. 1953). Это настоящий мастер языка, знаток его нюансов, играющий ими настолько виртуозно и остроумно, что его тексты практически не поддаются переводу.

Другой пример — прозаик Ласло Дарваши. Он, правда, в большей мере принадлежит Сегеду, чем Печу. Но своей репутацией он во многом обязан и "Еленкору". Уникальная для современной литературы способность этого писателя находить совершенно новые сюжеты позволила ему стремительно войти в число самых известных и — это отнюдь не тавтология — самых читаемых прозаиков Венгрии. При этом Дарваши великолепно умеет создавать и особую атмосферу. Трудно даже сказать, в чем он более силен. Вот почему он, с одной стороны, воспринимается как свой адептами постмодернизма (недаром многие критики видят в нем продолжателя Ф. Кафки, Х. Л. Борхеса, Бруно Шульца, Данило Киша[2]), а с другой стороны, дает основания с некоторым удивлением и, может быть, радостью констатировать, что им реабилитированы в современной прозе такие "старомодные" вещи, как сюжет, действие, — Дарваши тем самым "вернул читателю веру в читабельность литературы". Мне же кажется, что он сделал еще больше. Он ухитряется соединять в своих произведениях сугубо венгерский контекст, колорит с уме-

1. "Небесная гармония" (*лат.*).
2. Я опираюсь здесь на основательную статью о творчестве Л. Дарваши, принадлежащую перу критика А. Бомбица ("Jelenkor", 2000, februar, 176–187 o.)

нием выходить на некий универсальный уровень. Отчасти это обусловлено, видимо, тем, что действие его произведений развертывается как бы и не в Венгрии: порой даже нельзя сказать определенно, где именно. Чаще всего ясно одно: это — Восточная Европа. Однако, если не ограничивать свое внимание особенностями атмосферы и перипетиями, типичными для этого региона, то мы обнаружим, что главное в рассказах Дарваши — извечный конфликт между низменной, недостойной действительностью и высокими, необычными порывами, которые способны высветить в человеке нечто чистое, божественное.

Возможно, поэтому Ласло Дарваши — так же как его соотечественник Петер Эстерхази — очень быстро был замечен за пределами Венгрии. Три рассказа Дарваши, дающие представление об оригинальности его таланта, опубликовала несколько лет тому назад "Иностранная литература"[1]; а немцы нас даже опередили: еще в 1995 году берлинское издательство "Ровольт" выпустило сборник его рассказов "Der traurigste Orchester der Welt" ("Самый грустный в мире оркестр").

Пытаясь понять секрет успеха венгерского писателя у немецкой аудитории, А. Бомбиц в цитированной статье пишет: "Поэтика Дарваши... отвечала уровню немецких читательских ожиданий, которые — и это вовсе не удивительно — требуют от авторов возвращения к общечеловеческим проблемам и ценностям. Ибо общечеловеческое, пусть оно выражено сколь угодно пунктирно, фрагментарно, энигматично, по крайней мере создает иллюзию, что у нас, в общем и целом, еще есть что сказать друг другу".

Прислушиваясь к другим

Как видим, венгерский критик, говоря о диалоге между венгерской и мировой литературой, подбирает осторожные выражения: слово "иллюзия" здесь не случайное слово. У венгров давно уже выработался комплекс относительно того, что Европа и мир плохо понимают и воспринимают их. Действительно: венгры ничуть не более чужды Европе, чем, например, поляки, и тем не менее, кроме языкового барьера, до сих пор существует некоторый... не знаю, ментальный, психологический? — барьер, который как будто мешает европейскому читателю взять в руки книгу венгерского автора с таким же естественным интересом, как, скажем, книгу польского, русского (будем говорить пока о русской классике) или даже пускай японского художника слова.

Этот застарелый комплекс венгры издавна лечат самым простым способом: с трудом пробиваясь в Европу, они Европу приносят к себе — в виде переводов. Мы привыкли гордиться нашими, российскими традициями художественного перевода, нашими мастерами слова, которые всегда старались переложить для российского читателя шедевры мировой литературы. Однако я с довольно большой степенью уверенности должен сказать, что венгры в этом плане опережают нас — и по качеству (адекватности) переводов, в том числе поэтических, и по оперативности публикации переводных произведений.

В "народной" Венгрии, где культура, духовная жизнь были более или менее регламентированы, издание переводов было доверено в основ-

1. См. "ИЛ", 1997, № 2.

ном журналу "Надьвилаг" и издательству "Эуропа". Сейчас этим занимаются многие издательства и периодические органы. И тот же "Еленкор" практически не выходит без переводных произведений, без солидных критических статей или эссе, посвященных зарубежной литературе.

Если посмотреть комплект журнала за 1999 год, не может не броситься в глаза широта интересов редакции. На его страницах мы встретим стихи древнеримского поэта, друга Катулла, Гая Лициния Кальва (перевод Андраша Ференца Ковача); большую подборку стихов японского поэта второй половины XVIII – начала XIX века Рёкана, которые перевел один из крупнейших современных венгерских поэтов Имре Оравец.

В основном же "Еленкор" интересует литература Европы XX века, той Европы, к которой венгры всегда стремились принадлежать, а сейчас стремятся особенно сильно.

XX век в "Еленкоре" в 1999 году представлен, в частности, Марселем Прустом. Правда, не собственными текстами Пруста, а двумя работами Андраша Форгача: рецензией на вышедшую в Венгрии книгу Пруста "Против Сент-Бёва" и ироническим очерком о посещении в Париже квартиры-музея писателя (очерк публикуется в этом номере "ИЛ").

За Прустом, если идти в хронологическом порядке, следует назвать австрийского поэта Пауля Целана, представленного подборкой стихов. Ряд можно продолжить рассказами итальянца Стефана Бенни, швейцарца Роберта Вальзера, австрийца Кристофа Рансмайра, эссе польских писателей Ежи Стемповского и Юзефа Виттлина. Октябрьский номер журнала посвящен литературе Воеводины: подборку составили редакторы издающегося в Суботице венгерско-хорватского журнала "Юзенет" ("Послание"), и среди представленных авторов значительную часть составляют писатели Хорватии: Воислав Деспотов, Светислав Басара, Аарон Даркблум и др.

Если добавить сюда большое исследование Яноша Бороша о концепциях французского философа Лиотара (в сопровождении короткой, но емкой статьи о Лиотаре его знаменитого друга Жака Деррида), статью А. Бомбица о поэтике Петера Хандке, а также материалы, связанные с западной музыкой, – складывается внушительная (хотя и неизбежно фрагментарная) панорама.

В 2000 году, во всяком случае в первом его полугодии, эта тенденция находит свое продолжение: читатели "Еленкора" знакомятся с прозой швейцарской писательницы Мариеллы Мер и французского писателя Жана-Ноэля Блана, даются новые переводы Лициния Кальва, напечатана работа Жиля Делёза "Пруст и знаки", опубликованы многочисленные обзорные проблемные статьи.

Запад – ладно. А мы?

Вполне понятные чувства (гордости? морального удовлетворения?) я испытываю, убеждаясь, что журнал "Еленкор" – отрадно выделяясь этим на фоне венгерской культурной жизни последнего десятилетия – систематически знакомит своих читателей и с нашей новейшей литературой. По сути, миссию эту взял на себя один человек – тонкий литературовед и великолепный переводчик Йожеф Горетич.

Видимо, ни для кого не секрет, что с распадом социалистического "содружества" у народов, долгое время входивших в него, возникла стойкая неприязнь ко всему, что связано с Россией. Причины этой неприязни в общем понятны. И тем не менее часто она воспринимается как необоснованная, несправедливая – особенно когда дело доходит до неприятия русской культуры прошлого и настоящего, вообще всего *русского*.

Тем отраднее непредвзятые и при этом безусловно компетентные суждения, свидетельствующие о понимании современного состояния русской литературы и о готовности объективно ее оценить.

Йожеф Горетич в своих спокойных и вдумчивых очерках рассказывает венгерской аудитории о самых, на его взгляд, представительных фигурах нынешней российской литературы. Делает он это в серии из шести статей под общим названием "Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург": их внутренний "сюжет" – переход из советского пространства в постсоветское. Горетич в своих статьях старается понять, что этот переход дал – и дал ли? – русской литературе.

Вот писатели, творчество которых Горетич анализирует в своих статьях: Сергей Довлатов, Евгений Попов, Татьяна Толстая, Виктор Пелевин, Дмитрий Галковский, Владимир Сорокин. Список, как видим, неполный, однако во всяком случае представительный. И выводы, которые делает автор, кажутся мне достаточно аргументированными.

Й. Горетич отмечает неистребимый интеллектуализм русской прозы, который обнаруживается даже в рассказах Довлатова, как будто поставившего своей целью избавиться от интеллектуализма ("что, однако, скажем прямо, ему, слава богу, не удалось", – пишет венгерский критик). И который присутствует даже у Владимира Сорокина, при всем его демонстративном антиинтеллектуализме: конечно, Сорокин чаще всего работает с готовыми клише, но то, *как* он их сталкивает и, главное, *как* ухитряется через эти затертые, заезженные клише показывать мир, где мы живем и жили, – свидетельствует об интеллектуальном потенциале его творчества.

Другой вывод, хотя и не высказываемый Горетичем напрямую, однако подсказываемый всей логикой его рассуждений, заключается в том, что современная русская литература переняла от русской классики, может быть, больше, чем можно было надеяться. Эту связь с русской литературой XIX века, особенно с художественной манерой Чехова, Горетич обнаруживает у С. Довлатова, который "в плане конструирования текста является прямым продолжателем традиций классической литературы". Говоря о творчестве Татьяны Толстой, автор показывает ее перекличку с Гоголем и, шире, с мотивами, миром русской сказки, русской мифологии. И даже отмечая, что "в концепции Пелевина традиция русской литературы XIX века выворочена наизнанку", Горетич тем самым констатирует наличие этой связи.

А в статье о В. Сорокине, завершающей цикл и поэтому как бы итоговой, мы читаем: "...одно несомненно – в нынешней русской литературе снова найдено что-то новое, литературная жизнь снова бурлит, и, пожалуй, не будет преувеличением, если я скажу: бурлит примерно так же, как в двадцатые годы, в эпоху Хлебникова..." Приятно видеть, что венгерский автор находит в нашей современной литературной ситуации что-то общее с двадцатыми годами, когда литература в России была на взлете. Значит, ее потенциал не растрачен и по сей день.

Остается добавить, что аналитические статьи Йожефа Горетича сопровождаются его собственными, чрезвычайно тонкими и точными переводами анализируемых авторов. И выбор его работы свидетельствует о прекрасном вкусе. Рассказы "Роль" С. Довлатова, "Насчет двойников" Е. Попова, "Ночь" Т. Толстой, "Ника" В. Пелевина, "Вызов к директору" В. Сорокина, как и отрывки из работы Д. Галковского "Андерграунд", — все это хорошие иллюстрации скрытых в русской литературе возможностей.

Немного науки

"Еленкор", пусть не в каждом номере, старается давать и литературоведческие материалы: иногда доступные только специалистам, иногда рассчитанные на более широкую публику. О том, хорошо это или плохо, можно спорить. Почти идеальным сочетанием доступности и глубины анализа представляется блок статей в декабрьском номере "Еленкора" за 1999 год, в которых довольно полно характеризуется состояние венгерской прозы, драматургии и литературоведения. Одну из них мы предлагаем вниманию русского читателя.

Следует упомянуть и другую подборку, тема которой — феномен литературного успеха (февральский номер 2000 года). Входящую в эту подборку статью А. Бомбица — о Ласло Дарваши и его успехе в Венгрии и за ее пределами, я уже цитировал. Другая статья, принадлежащая Эстер Ковач, носит интригующее название "Уж такой у меня, извините, классический вкус" и посвящена сенсационному успеху романа Пала Завады (р. 1954) "Подушка Ядвиги". Этот огромный (по нынешним меркам), почти пятисотстраничный роман, вышедший в 1997 году, представляет собой смесь нескольких жанров: его можно назвать и семейным, и историческим романом, и романом-дневником. Критика интересует, почему книга пользуется такой исключительной популярностью: к осени 2000 года она выдержала уже десять изданий, по ней сделан радиоспектакль и снят фильм.

Эстер Ковач пишет, что есть два вида успеха: *профессиональный* и *читательский*. Профессиональный успех выпадает на долю книг новаторских, сложных, порой трудно доступных для восприятия и понимания. "Такие книги люди не очень покупают, такие книги не обладают большой рыночной ценностью". Другие (и вовсе не обязательно низкопробные) издаются огромными тиражами, публика за ними гоняется, а профессионалы (критики и литературоведы) относятся к ним с нескрываемым пренебрежением, иной раз просто не замечают.

Многие примеры пользующихся большой популярностью произведений показывают, что читатель любит то, что приближается — по стилю, по атмосфере, по композиции — к литературной классике. "Ибо классические признаки, грубо говоря, удовлетворяют потребности публики, в то время как нетрадиционные — потребности профессиональных литераторов; таким образом, чем более классическим выглядит современное произведение, тем больше оно нравится публике (и тем меньше — профессионалам), а чем более нетрадиционным является текст, тем больше он нравится профессионалам (и тем меньше — публике)".

Оптимальный вариант, если произведение пользуется успехом и у публики, и у критиков. Однако и в этом случае той и другой стороне нравится в одном и том же произведении далеко не одно и то же.

Стараясь докопаться до секрета успеха романа Завады и у читателей, и у профессионалов (критиков и литературоведов), автор статьи приходит к выводу, что роман этот — роман нетрадиционный, но со многими чертами классической литературы. Резонанс этого романа — еще одно напоминание, что и самой новаторской литературе не обойтись без сюжета, фабулы — без того, что на Западе называется story. Без этого компонента не могут обойтись Ласло Дарваши и Пал Завада; к нему вынужден возвращаться и такой патриарх (в свои пятьдесят лет) постмодернизма, как Петер Эстерхази. И получается, что литературный успех и сюжетность друг без друга практически не существуют.

Можно было бы еще долго рассказывать о журнале "Еленкор". Но пора уже дать читателю возможность самому познакомиться с образцами той литературной продукции — в самых разных жанрах, — которая публикуется на его страницах.

Кроме текстов, представляем нашим читателям также несколько работ венгерского фотохудожника Алены Франкль. В 1999 году она выступила в журнале "Еленкор" с серией своих фотографий под общим названием "Другой город", сопровождаемых очерками Дюлы Зеке.

Ласло Дарваши
Добыть женщину

Рассказ

У Ж не знаю, как оно у других, а Эрик Пишк зимой прошлого года третью жену схоронил, и едва миновал год траура, как в доме у него уже копошилась новая баба, которую нашли ему где-то на хуторах под Сегедом. Маленькая она такая была, щупленькая; поглядел я на нее, поглядел, и подумалось мне почему-то, что она, поди, и на землю-то ни разу в жизни не плюнула: смелости не хватало. Три жены было у Эрика Пишка, и люди говорили, что он их затрахал насмерть. Стало быть, все три: и Адриана, и Светлана, и Эржебет — померли от того, что Эрик Пишк, этот здоровенный, красномордый, вечно с трубкой в зубах мужик, трахал их ночью и днем, трахал, даже когда домой заскакивал пообедать, а уж за ночь так вообще по нескольку раз под себя подминал; не утихомирился он, даже когда война началась, когда самолеты и по утрам бомбить прилетали; он трахал себе и трахал, и не важно, тихо было или небо стонало от воя моторов, — уж такая натура была у него, он тут не виноват. Я не знаю. Не знаю, как это все получается, сам-то я никогда еще дела с женщиной не имел. Если начистоту, боюсь я их; хотя сильно я из-за этого не страдал. Коли уж очень, бывало, меня заберет и живот внизу напряжется до крайности, ну, тогда ложусь я на землю и жду, пока потеплеют подо мной комья, трава, камушки. Землю я люблю, потому что она столько всего позволяет с собою делать. Особенно же люблю за то, что она разговаривать с собой позволяет... Или вот иногда еще помогало мне небо. Смотришь, бывало, смотришь, как колышется синева, до тех пор смотришь, пока не зальет тебе низ живота та же неуверенная, ни на что не пригодная теплота. Опять же иной раз не мог я удержаться и не вздохнуть поглубже, со всхлипом, глядя на какую-нибудь красивую местность, или белградскую автостраду, или Тису, или строящуюся детскую площадку. Будто сама земля, сама страна была мне женой. Ну а если видел я настоящую, живую бабу, мне на ум всегда приходил почему-то платочек головной. Легкий такой платок, что сразу взлетает, едва только небо во сне вздохнет, и если не торчит поблизости какой-нибудь куст чертополоха, за который тот платок зацепился бы, то больше ты никогда его не увидишь, разве что на шее у Эрика Пишка.

Женщин я боялся; очень, честно сказать, боялся; может, только к женам Эрика Пишка относился я по-другому. Почему-то ни сами они, ни дыхание их, ни запах не будили во мне страха; хотя и от них я все-таки держался на расстоянии. Только вот беда — старею я потихоньку, ноги все больше болят, а родни у меня — ни единой души. Отца, еще когда я мальчишкой был, взяли статистом на съемки фильма про партизан, назывался фильм, кажется, "Белый мрак"; больше отец домой не вернулся. Мать

Ласло Дарваши (Darvasi László, p. 1962) — венгерский поэт и прозаик. Рассказ опубликован в журнале "Еленкор" (2000, № 2).

же покинула этот мир добрых десять лет назад, в те бурливые времена, когда Янош Кадар помер. Как-то раз явился с той стороны границы один знакомый венгр; Гал это был, шофер, который сыр возил; он и сказал, дескать, помер старик-то, теперь, Бобар, бездельник ты этакий, в самом деле пора бы тебе жену себе подыскать. А я так испугался, что захохотал ему в лицо: эй, Гал, матерью твоей клянусь, зря она, бедная, говорить тебя научила... А вообще рассказывают еще, что однажды, на каком-то торжественном митинге, Эрик Пишк поцеловал аж самого Иосипа Броза Тито; тот с минуту смотрел обалдело на огромного мужика с трубкой, потом безотчетно погладил губы указательным пальцем и пробормотал что-то вроде: да-а, у этого товарища, видно, темперамент дай боже. Вот какие истории можно услышать про Эрика Пишка. И еще, конечно, что он своих жен затрахал до смерти; ну, об этом я уже говорил. Вообще же я вот о чем про себя размышлял: трех жен, одну за другой, схоронить — в самом деле дело не шуточное. Три жены — это уже многовато. Ну, две — куда ни шло, две и случайно могли бы в ящик сыграть; но три — тут вроде как судьба. А теперь еще и эта бледная немочь, пичуга бессловесная; не надо очень сильно напрягаться, чтобы представить, что ждет ее в скором времени. В общем, какие-то силы на небесах прямо Синюю Бороду сотворили из этого дуболома Эрика Пишка, хотя у него просто-напросто натура такая. Зачем одному человеку три умершие жены, зачем вся эта куча воспоминаний, зачем столько вещей, которые от них остались, столько одежды в комоде, сапоги, сандалии, письма, дневники, притирания-растирания, зачем все это, размышлял я; или, лучше сказать, нарочно себя растравлял такими мыслями. Потому что — надумал я одно дело. Баб я боялся, жены у меня не было. И все ж таки не хотелось мне уходить в могилу, так и проживши весь век без женщины. Вот и появился у меня кое-какой план. Деньги у меня были: хозяйство давало сколько надо. Да и война помогла: нашлись на границе крутые парни, которые через меня торговали оружием, сыром и спиртом.

Однажды утром, еще и петух не успел охрипнуть, иду я не торопясь к Эрику Пишку, стучусь в подслеповатое окошко, что на улицу смотрит. Ждать недолго пришлось: вскоре появляется он, завязывая на животе пояс майорской шинели. Волосы на голове в разные стороны торчат, как плохо сложенная скирда; во рту, конечно, трубка. Буркнув что-то вместо приветствия, машет рукой, чтобы я в дом шел. И ведет меня в кухню, шагая впереди с таким видом, будто он надзиратель в тюрьме, а я арестант. Усаживаюсь я против него и — сразу к делу. Говорю ему: слушай, Эрик Пишк, хочу я купить у тебя одну из твоих жен. Так прямо и говорю: если, мол, так не уступишь или, положим, в подарок, то я согласен и деньги заплатить. Эрик Пишк и виду не подает, что удивлен до смерти; только трубку сосет громче, чем надо, а на лице у него в это время такое выражение, будто смотрит он на издохшую кобылу. Потом, немного откашлявшись, спрашивает: а все ж таки ты которую имеешь в виду? Мне, говорю, собственно, все равно, но если выбирать, то я бы Адриану выбрал, потому что она была самая тихая из всех и еще потому, что я, например, сам видел однажды летом, как у нее кровь течет по ногам. Ишь ты, видел, как кровь течет, переспрашивает Эрик Пишк. Не то чтобы я нарочно, объясняю я, подглядывать я не подглядывал, нет у меня такого обычая, просто нечаянно вышло. Домой она возвращалась из лавки и шагала так, что и не шагала вроде, а собственная тень ее несла, до того легко ступали по пыли ее ноги. Вино она покупала тебе, Эрик Пишк. В

корзине у нее бутылки были с вином, а еще, кажется, сыр овечий, дрожжи, масло, несколько банок с консервами. И когда прошла она передо мной, мягко покачивая усталыми бедрами, вдруг сбежала по ее ноге темная струйка крови, выбежала из-под юбки и добралась до самой до щиколотки. Ремешок сандалий тоже был в крови. Эй, эй, беспокойно бурчит Эрик Пишк, ну и что тут такого особенного? Что тут такого, если у бабы кровь? У них это часто бывает, так уж они устроены; я тебе больше скажу: знаю я баб, у которых, как ты бережно, ласково и внимательно их ни трахаешь, все равно в это время кровь течет. На том Эрик Пишк разговор и закончил. Ладно, потом помягчеет, думаю я, а сам через неплотно прикрытую дверь спальни бросаю взгляд на новую его жену, маленькую, бледную сегедскую бабу. Она в постели еще лежала. Периной закрылась до подбородка, чуть ли не вцепилась в нее, а сама от страха дрожит. Я только кивнул, но что скрывать, в эту минуту тепло стало у меня в животе... На другой день Эрик Пишк прислал за мной одного ветерана сараевского; я как раз траву косил в церковном саду. Деньги ему, наверно, нужны, подумал я, конечно, что же еще. Он ждал меня в корчме, и над головой у него целое облако дыма стояло от его трубки. А если, скажем, Светлана, то ее ты за что выбрал бы, спросил он, едва я уселся на стул рядом с ним. Однажды в клевере, рассказываю я, взяла меня внутренняя дрожь, пришлось даже на землю лечь. Лежу я в клевере, клевер зеленый, душистый, рассказываю я, не отводя глаз от его внимательного, напряженного взгляда, все у меня дрожит внутри, и вдруг слышу, плачет кто-то поблизости. Светлана это была; наверно, вот из-за этого плача я ее и купил бы, если б дошло до дела. Знаешь, Эрик Пишк, ты уж прости меня, но она так плакала, что мне от этого хорошо стало. Понимаю я, как не понимать, пробормотал под нос себе Эрик Пишк и откупорил бутылку черногорского красного вина. Зажал пробку зубами и вытащил.

Только, я думаю, зря он сказал, что понимает; ничегошеньки он не понял. Зато наживку проглотил, как пить дать. Выпили мы с ним, будто друзья закадычные. Когда баба плачет, вовсе не такое уж это большое дело, объясняет мне Эрик Пишк. Они без этого не могут. Знаю я, например, одну бабу, толкует мне дальше Эрик Пишк, так она среди ночи вдруг рыдать принимается; ревет, будто ты ее бьешь, а ей всего-навсего приснилось что-то. Хошь верь, хошь не верь, бывает, что баба плачет, даже когда ты ее трахаешь и при этом знаешь, что ей хорошо. Ей хорошо, а она ревет. Это, должно быть, здорово, киваю я. Да уж точно, разгораются угольки в трубке Эрика Пишка, еще как здорово. Чудо просто... Ну а если бы речь шла об Эржебет: она-то тебе зачем нужна, спрашивает он, немного помолчав. А она — потому, что венгерка, отвечаю я. Ну и что, что венгерка? Она не такая, говорю. Какая не такая, что у нее не такое?! И Эрик Пишк, который трех своих жен затрахал до смерти, захохотал во всю глотку, и мне даже показалось, что во рту у него блеснул приклеенный к десне маленький череп. Смейся, смейся, говорю я упрямо, только слышал я однажды, как она пела. Да и не пела даже, а просто что-то напевала Эржебет, третья твоя жена. Несколько лет назад это было, я уж и вспомнить не могу, что это была за песня, помню только, что хорошо было слушать, как взлетает к небу негромкий ее голосок. Случилось это на берегу Тисы, в зарослях кустарника. Комары кусались, как звери. А она себе пела и пела. Мне от этого так хорошо стало... Эрик Пишк все улыбался, но я-то видел, как ему неспокойно. И воздух он тянул сквозь зубы, и зубочистку туда-сюда перекидывал на кончике языка. Вздыхал.

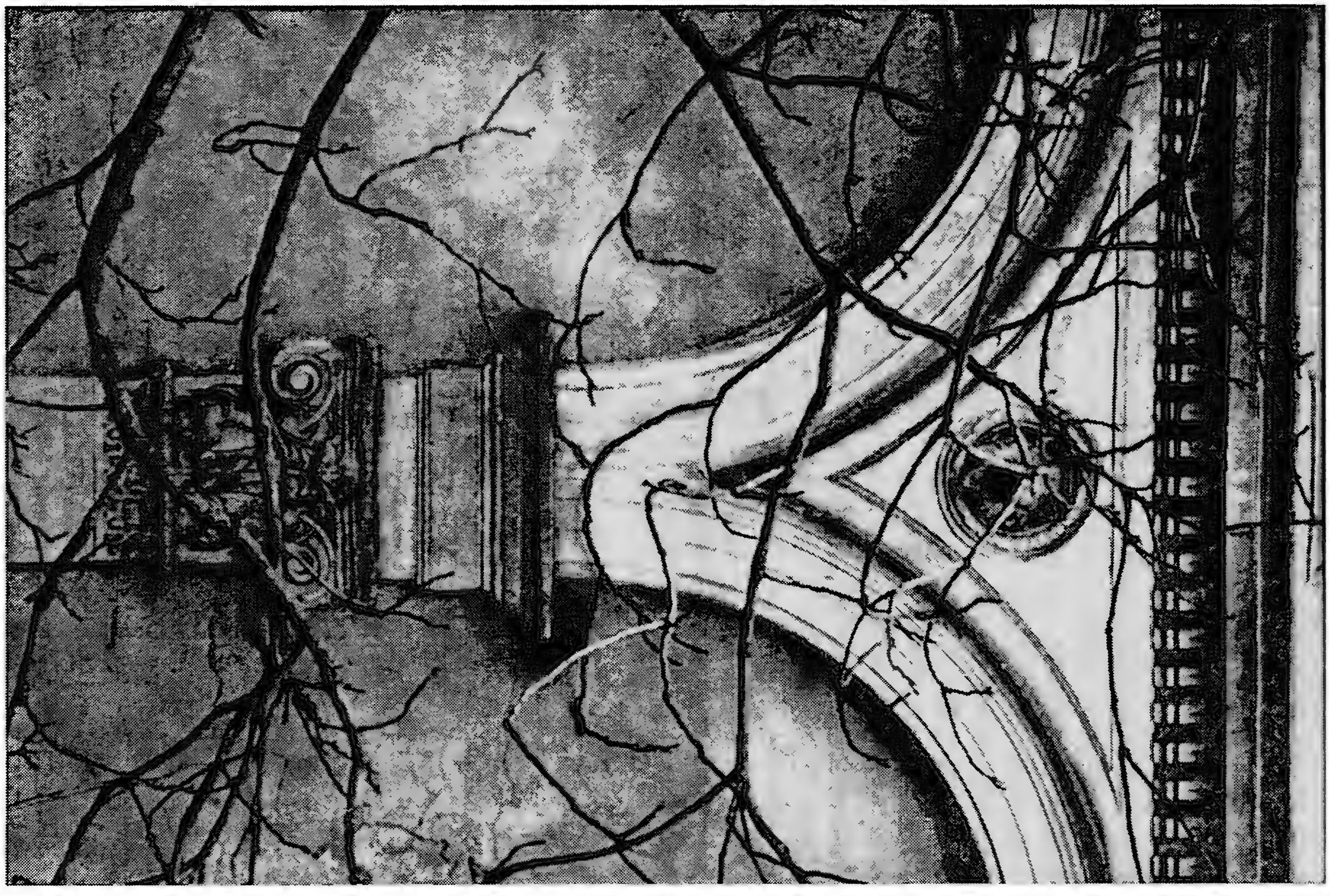
"Jelenkor"

Хмыкал. Ну ладно, проворчал он потом, это верно, есть бабы, которые много за свою жизнь поют. Утром встанут — и петь. Спать ложатся — и тоже петь. В церкви поют, на кладбище, в ратуше, и когда у корчмы стоят, мужа ждут, который долго не выходит оттуда. Да что говорить, знаю я баб, которые, только ты начинаешь их трахать, тут же петь принимаются... Тут Эрик Пишк замолчал. Потом вдруг вскочил, будто я оскорбил его чем. Взгляд у него враждебный сделался, яростный. Ладно, поговорим еще, буркнул он — и ушел из корчмы. Густая завеса серого трубочного дыма потянулась за ним, уцепившись за его бычью шею.

День проходил за днем; наверно, кто-то расходовал их с пользой. Скажу сразу: кто-то, но точно не я. Коли ты живешь один, время ты не слишком расходуешь. Иногда, правда, видел я новую жену Эрика Пишка, которая была хилая, худосочная, но кровь у нее по ногам не текла, и не вздыхала она, вытирая слезы из глаз, и петь не пела. Имени я ее не знал. Она была просто баба. Просто тень, жена Эрика Пишка... Сам он как-то окликнул меня перед церковью. А практически, говорит, ты как собираешься это сделать? И в самом деле, жены его, все три, царство им небесное, лежат в одной общей могиле, это я точно знаю, возле склепов семей Надь, Крамбергер и Петрович. Ты, спрашивает, что, выкапывать одну из них собираешься? Или как все это себе представляешь? А я, говорю, так себе это и представляю, вот как ты сказал; и еще, если надо, пускай это немного непривычно звучит, и денег дам; если ты, Эрик Пишк, не отдашь мне какую-нибудь из своих умерших жен в подарок, заплачу в немецких марках, и тогда баба — моя. Я уж и участок себе для могилы купил, и расплатился за него в ратуше, тоже немецкими марками. Вот и перенесу я Светлану, или Адриану, или Эржебет в свою могилу, и цветы посажу над гробом. И всем буду рассказывать, какой хорошей женой она была. И с родней ее помирюсь. И ранними зимними утрами, когда все покрыто инеем и трудно даже представить, что когда-нибудь наступит рассвет, буду думать о ней, и плечи мои будут вздрагивать... Эрику Пишку больше и не надо было. Затряс он башкой, потом пнул меня со злостью, да попал как раз в больную ногу. Мать твою так-перетак, Бобар; но я уже точно знал, что он у меня на крючке. Пусть я старый, но мозги у меня в голове есть. Короче говоря, Эрик Пишк, видать, совсем голову потерял. То есть заглотал наживку вместе с крючком. То на улице меня остановит, то придет ко мне, сядет в доме или в саду и задает мне всякие дурацкие вопросы. Например, какие волосы были у Адрианы? Блондинка она была, твоя жена Адриана, говорю я ему, только спереди у нее была темная прядка, которая на глаза свисала. В другой раз спрашивает: а у которой из них не было на одной ноге мизинца? На что я ему: у Эржебет, у венгерки, а видел я это по походке ее, ходила она так, будто на одной ноге у нее недостает какой-то косточки и кусочка плоти. А у Светланы был небольшой тазобедренный вывих, и потому она немного переваливалась при ходьбе; у Адрианы все зубы были здоровые, без единого дупла. Эржебет здорово рисовала; Адриана всегда выхолаживала первым снегом осеннюю грусть из лона; Светлана же так умела схватить осу, что та ее не кусала. Вот так я и рассказывал Эрику Пишку о его покойных женах, а он задавал все новые вопросы или помалкивал, терпел мою околесицу, и, конечно, слепому ясно было, что крючок он глубоко заглотал. Пускай человек я не молодой, но себе на уме. Да и ноги у меня больные.

На заре я был уже в поле или с граблями в руках приводил в порядок церковный сад. В такие минуты мне приходило в голову, что, может, как раз сейчас Эрик Пишк подминает под себя новую свою жену, эту маленькую, слабую бабу. Навалится на нее всей своей непомерной тушей и трахает, трахает... Конечно, появлялась у меня и другая мысль: а хорошо ли, нормально ли, что такое мне вообще приходит в голову? Я чуть ли не воочию видел их перед собой. Нормально ли это, не болезнь ли какая-нибудь, что я вижу, вернее, представляю себе соседа с женой, как они трахаются? Я, положим, не так чтобы очень хотел все это представлять; картины эти сами являлись, непрошено. Человек я одинокий. Ноги у меня больные. Но мозги у меня какие-никакие, а есть, вот и решил я, вернее, что-то во мне решило так, что будет еще у меня жена. Может, это и есть любовь? Это вот мое решение, которое тоже вроде как фантазия, что приходит сама собой... В самом деле, ведь не так уж сильно я хочу представлять все это, воли моей тут нету, просто я вроде как вид придаю этому своему решению, ведь мое тело, моя душа будут домом для того, что мне предстоит, не я выдумал это, не я хозяин, владелец, я просто киваю согласно и говорю: да. Да, да, да. В общем, как-то так... Если живым слишком много рассказывать о мертвых, то живые начинают беспокоиться. А я все время твердил Эрику Пишку, что куплю какую-нибудь из его жен, все равно которую из трех. И обещал за это пять тысяч немецких марок. Деньги обещал и всякое другое тоже, и Эрик Пишк клюнул. Схватил наживку с крючком и заглотал. Заглотал, да с ним и остался. Это я просто говорю, не зачем-нибудь.

Так и случилось, что однажды утром, когда еще и петухи не успели осипнуть, Эрик Пишк постучался в окошко ко мне и сказал, что тут вот эта новая баба из сегедских хуторов. И что он мне ее отдает. И даже денег не просит. Зовут ее — Бабаба. Сказал, что отдает Бабабу мне бесплатно и теперь уже ни о чем плохом больше не думает. Не хочет он больше смертей, нет, ничего не хочет. После этого затянулся трубкой и ушел. И увидел я, что он направляется в сторону кладбища. И улыбнулся я, потому что победил. По крайней мере, победил Эрика Пишка, который затрахал до смерти трех жен, но четвертую уже не затрахает. А вот сумею ли я самого себя победить, это другой вопрос. Стар я. Сижу на кухне, смотрю в полумрак, что стоит в горнице. Сижу на кухне, курю, будто человек, который счастлив. Бабаба же лежит в постели и дрожит. Петь она не умеет, крови у нее чуть, вся во рту у меня поместится, так что я только рот мог бы этой кровью прополоскать, и даже не плачет — вместо этого трясется. Тихо в доме, у меня есть баба, она моя, мне ее подарили, и даже платить за нее не пришлось. В животе у меня тепло. Теперь только взять и пойти к ней...



Андраш Форгач
Экскурсия в дом Пруста

Очерк

ЕСЛИ вы приехали в Париж и купили в газетном киоске журнал "Pariscope" (но это вполне может быть и "Officiel du spectacle"), то в разделе, посвященном музеям и выставкам, возле имени Proust вы сможете прочесть следующее: "Proust, *Banque Varin-Bernier, 102, bd Hausmann. Visite de la chambre de Marcel Proust le jeudi 14 h à 16 h. Ent. libre*". Это значит, что в любой четверг, с двух до четырех пополудни, вы можете бесплатно посетить комнату Марселя Пруста в доме № 102 на бульваре Осман, где находится в настоящее время банк Варен-Бернье. Какая удача, какая великолепная возможность! Вы именно в четверг оказались в Париже, и ваша программа, забитая до отказа, все же позволяет вам совершить паломничество в ту самую комнату, где творил великий Пруст!

Вы садитесь в метро, едете до станции "Вокзал Сен-Лазар" (можно подъехать и ближе, но почему бы не выйти на станции "Вокзал Сен-Лазар"?), а оттуда до дома Пруста — пара кварталов пешком. Господи, сколько людей в этом городе живут, понятия не имея, что совсем близко, от вокзала Сен-Лазар рукой подать, на обрамленном тенистыми кронами бульваре Осман — пускай он давным-давно не считается таким престижным, как раньше, — стоит дом, в котором находится комната, комната Пруста, комната, где он, лежа в постели, ночами писал в продолговатых тетрадках свой великий (и длинный) роман! Остается лишь удивляться, что по четвергам, с двух до четырех пополудни, не устремляются на бульвар Осман толпы паломников и армии японских туристов... Но что факт, то факт: не устремляются; подозреваю, их было бы куда больше, если бы за вход требовалось уплатить солидную сумму... Вот стеклянная дверь банка, я прохожу мимо, ищу номер дома, номера нигде нет; ничего не поделаешь, я возвращаюсь, придется войти в банк, в мраморный вестибюль, где сидит барышня точно с таким выражением лица (чуть-чуть рассеянности, большие глаза, крашеные белокурые локоны, губы в яркой помаде всегда готовы сказать больше, чем говорят, всегда готовы к небольшой словесной дуэли с проходящими мимо мужчинами-сослуживцами; конец дуэли — томный вздох или заливистый смех), как у барышень в фильмах тридцатых и шестидесятых годов, в которых мужчины (полицейские сыщики, журналисты, тайные миллионеры, прожигатели жизни) еще на удивление долго флиртовали с такими вот, сидящими за мраморным барьером, скучающими, чуть-чуть начинающими увядать, но при всем том чрезвычайно хорошенькими и привлекательными барышнями. Я тоже поворачиваюсь к ней, ведь она не просто так сидит здесь, она, по всей видимости, присматривает за вверенным

Андраш Форгач (Forgách András, p. 1952) — венгерский прозаик, эссеист. Очерк опубликован в журнале "Еленкор" (1999, № 6).

ей вестибюлем, она — вроде как швейцар, но в высшей степени симпатичный швейцар.

В вестибюле пусто, только мы с ней, она и я; да еще за пределами внимания, с папками под мышкой, проскальзывают, притворяясь невидимыми, мелкие служащие, счетоводы, курьеры, столоначальники. Барышня выжидающе смотрит на нас (на меня), мне нужно как-то обратиться к ней. А впрочем, это совершенно излишне, потому что она, взглянув на меня, уже точно знает, кто я такой и зачем пришел, и, не ожидая вопросов, пододвигает мне бланк, который я должен заполнить, словно обращаюсь в банк с просьбой о кредите. Имя, род занятий, парижский адрес. Да, говорит она, комната Пруста находится здесь, но туда пока нельзя, там сейчас группа, пока заполните это, а потом посидите (немного сбоку от входа, под фикусами, удобные кожаные кресла). "Вы подниметесь на лифте, — показывает она в сторону, — но пока подождите, i s'il vous plaît, предыдущая группа еще не спустилась, это всего двадцать минут". И возвращается к своей прежней, для меня совершенно непонятной деятельности, которая действительно поглощает ее полностью. Поглощает даже чрезмерно, так что я чувствую себя почти обиженным, ведь я был с ней так любезен, ради нее с готовностью заполнил эту дурацкую анкету, могла бы, честное слово, и уделить мне несколько минут. Или она мне не доверяет? Отвернувшись от нее, я в первый момент не могу сообразить, то ли я пришел в банк менять деньги, то ли попал на вокзале в зал ожидания для благородной публики; время идет, тянется, замирает, и я, как послушный мальчик, бреду к кожаным креслам, сажусь и терпеливо глазею по сторонам.

Я чувствую себя так, словно я — персонаж какой-нибудь старой газетной статьи, которую кто-то написал о Париже и в которой среди прочего говорится, как некий человек сидит где-то в ожидании чего-то и от нечего делать наблюдает за окружающими, которые тоже чего-то ждут. Я наблюдаю за ними. Интересно, что те, с кем вместе ты ждешь одного и того же, всегда, хочешь ты этого или нет, выглядят одинаково: среди них всегда окажется молодая, но бледная девица, по всей видимости студентка университета; будет среди них и иностранный господин, который плохо говорит по-французски. Да вот он как раз входит: он лыс, стеклянную дверь он толкает неуверенно, он довольно пожилой. Но одет в кожаную куртку и джинсы. Он словно имитирует меня: такой же нерешительный, так же вопрошающе смотрит на барышню; по лицу его видно, что во французском он не силен: слава богу, хоть в этом я от него отличаюсь; вот он уже заполняет бланк, который сунула ему барышня за стойкой, и потом, все так же нерешительно, направляется в нашу сторону и на плохом английском спрашивает, туда ли он попал, — интересно, он все еще не уверен, что правильно понял барышню. Я пытаюсь угадать, испанец он или норвежец. Тем временем за спиной у норвежца будто из воздуха возникает элегантно одетый банковский служащий: он, никуда не торопясь, в классической позе сердцееда стоит, опершись локтями на мраморный барьер, возле блондинки, и на лице у той появляется выражение то ли с трудом сдерживаемого отвращения, то ли вежливого любопытства, то ли стыдливо скрываемой симпатии. Молодой человек, видно, только что пообедал: в глазах у него — ленивое блаженство сытого человека. Номер "Монд" он небрежно бросает на барьер.

Ага, вот и статистическое равновесие восстановлено: с улицы в вестибюль входит супружеская чета американцев: на шее у них фотоаппара-

ты, в руках — зеленый путеводитель "Мишлен", одеты они в гавайские рубашки; а следом прибывает и низкорослый турист-японец, крайне довольный, но, как ни странно, один; спустя минуту, после извинений и широких улыбок, следует ослепительная вспышка, фиксируя натянутую улыбку блондинки за барьером. Мы ждем. Где-то наверху ждет и комната Пруста; мы ждем в вестибюле, который тут, очевидно, служит передней к комнате, где писал Пруст.

Не знаю почему, но, прочитав ксерокопированную листовку, в которой рассказывается о музее, я сразу чувствую себя как бы посвященным. В листовке сообщается, когда Пруст жил здесь (в 1906—1913 годах), и какие главы его книги были им здесь написаны (начальные и большинство завершающих), и почему он отсюда съехал (был выселен). Есть в листовке и даты его жизни (1871—1922), я прочитываю их несколько раз, произвожу вычитание. Как рано, оказывается, он умер (особенно если сопоставить с ... !). Когда-то здесь жила его тетка, потом недвижимость приобрел вот этот самый банк, Пруст заключил очень выгодную сделку, хотя может быть, о выгоде, как обычно, не думал. Осиротев, он стал обладателем солидного состояния, но вряд ли в полной мере отдавал себе отчет в том, богат он или беден. В этот дом он переселился без всякой охоты: он боялся шума, боялся всяческих перемен; без всякой охоты он потом и съезжал отсюда, но в этом была необходимость. Я разглядываю на буклете портрет Пруста, другие заняты тем же, кое-кто делает выписки; неизвестно почему, но чем приблизительнее портрет, тем более причастным к нему ты себя чувствуешь; ты словно бы более Пруст, чем сам Пруст. Я ощущаю, что мне определенно приятны и безликая холодная обстановка вестибюля, и затянувшееся ожидание: ты словно сидишь в приемной зубного врача, а потому готов сидеть сколь угодно долго.

Да, время теперь течет явно по его, прустовским меркам. В конце концов оказывается, что ожидание заняло несколько минут, предыдущая группа уже спускается по крутой лестнице, их тоже немного, как и нас, всего пятеро или шестеро, да и состав группы примерно такой же; отличие, пожалуй, в одном — среди нас нет такой женщины с короткими седыми волосами, с яркой шелковой косынкой на шее и доброжелательной улыбкой, играющей на губах; есть в ней что-то от хозяйки литературного салона, как я их себе представляю. Группу ведет молодая девушка, на лице у нее — специфическое отсутствующее выражение, свойственное экскурсоводам, у которых, пока они вам что-то рассказывают, мысли в голове заняты совсем другим: к предмету экскурсии они совершенно равнодушны. Во всяком случае, такое впечатление у меня складывается, когда я смотрю с расстояния добрых двадцати-тридцати метров на ее усталую послеполуденную мордашку. Она вполне могла бы быть гидом и, скажем, на выставке крупного рогатого скота. Один из членов той группы, господин с крашеными волосами, еще на лестнице заводит с девушкой серьезную беседу, потом никак не может закончить ее и направиться к выходу; девушка, изображая на лице интерес, терпеливо слушает возбудившегося отчего-то джентльмена; тот в конце концов вручает ей свою визитную карточку: наверное, посылает Прусту, до востребования, свои наилучшие пожелания. Но у меня нет времени поразмышлять об этом, девушка уже стоит перед нами и представляется: она служащая банка; и в самом деле, она похожа на бледную ученицу ремесленного училища; пригласив нас к лифту, она устало сообщает, что подниматься мы будем двумя партиями, лифт берет только четырех че-

"Jelenkor"

ловек; мы с господином в кожаной куртке вежливо пропускаем всех, потом, наверху, присоединяемся к группе.

И здесь нам преподносят первый сюрприз.

Этот дом — не совсем дом Пруста, сообщает нам словно сенсацию девушка-экскурсовод, видите, вот тут была стена, которую позже разобрали; пока что мы находимся в соседнем доме, а перешагнув эту воображаемую линию, попадаем в дом Пруста. Между двумя домами есть небольшое различие в уровнях, так что мы тут поднимаемся чуть-чуть выше, словно на помост. У стены стоит журнальный столик, как в чиновничьем кабинете, с кожаными коричневыми креслами; над столиком — громадное абстрактное полотно в серебряной раме, словно в вестибюле профсоюзного санатория. Всюду — неоновый свет.

Прошу за мной, продолжает девушка-экскурсовод. Voyez[1], здесь перед вами узенький коридор. В те времена его не было, он появился, когда два дома соединили в один, вот в этой точке коридор навсегда разделил две смежные комнаты: в той, которая напротив и куда вела дверь из комнаты Пруста, была ванная. Разумеется, улыбается девушка-гид, Прусту не нужно было выходить в коридор, чтобы попасть в ванную. Итак, в этом не существовавшем тогда коридоре справа была дверь, открывавшаяся в комнату Пруста.

Один за другим, полные жадного любопытства, мы входим в маленькую комнату; и нас охватывает странное ощущение пустоты; наша маленькая группа замирает у входа: в середине комнаты большой письменный стол — такие столы обычно бывают у великих писателей, — у стены, слева от входа, стол поменьше, с ящиками, в стиле бидермейер, дальше — мраморный камин, в простенке между двумя окнами — книжный шкаф с застекленными дверцами; на стене справа непривычно высоко висит черно-белый портрет писателя: он как будто нарисован на асфальте способным гимназистом или художником, обреченным на бедность и неизвестность; портрет слишком велик, но не стоит придираться. Портрет явно не гармонирует с обстановкой бывшей спальни Пруста; на камине — часы, бронзовые подсвечники, над камином — венецианское зеркало в позолоченной раме, на окнах — накрепко закрепленные белые занавеси; не будь их, из окон был бы виден бульвар Осман. Если ты все же захочешь выглянуть, то сумеешь найти небольшую щель: внизу под платанами гуляют ничего не подозревающие парижане, напротив окна — небольшой парк и церковь. Несколько книг в шкафу — Пруст в издании "Плеяды"; вывод, что Пруст читал эти книги, был бы, конечно, большой ошибкой. На столе, в середине — огромная книга отзывов.

Разумеется, стены покрыты панелями пробкового дерева. Это было сделано еще по распоряжению самого писателя; просто чудо, что после стольких пертурбаций покрытие сохранилось; ты трогаешь стену пальцем, и выясняется, что всего лишь обои с рисунком пробкового дерева. Глаза никак не хотят верить этому: *обои под пробковое дерево!* — мелькает у тебя в голове; но тут девушка-экскурсовод наконец подает голос и сообщает, что мы находимся в комнате Марселя Пруста. Однако она должна заранее сказать: единственное, что точно здесь было во времена Пруста, это встроенный в стену камин с мраморной облицовкой. Я зачарованно смотрю на камин, чьих холодных мраморных завитушек, может быть, касалась болезненно белая, слабая рука писателя. Я, во всяком слу-

1. Видите (*франц.*).

чае, очень надеюсь, что Пруст имел к нему какое-то личное отношение. По всей вероятности, холодными ноябрьскими ночами он приказывал разводить в нем огонь. Но все-таки нет зрелища более удручающего, чем мертвый холодный камин.

Однако девушка-гид не дает нам долго предаваться печали. Решительным жестом она показывает, где примерно находилась в комнате легендарная кровать Пруста. Место это — у стены, слева от входа, теперь там пусто; перед кроватью, говорит девушка, стояла ширма розового дерева, примерно вот тут, проводит она рукой, словно рисуя какую-то схему на поверхности пенных вод. На столике в стиле бидермейер лежат наклеенные на картон, обернутые в прозрачную пленку фотографии; девушка-экскурсовод берет одну из них, на которой, как она сообщает, комната Пруста изображена в своем исконном виде. Правда, на самом деле она фиксирует обстановку не в этой, а в *другой* квартире, где Пруст жил позже; но мебель по крайней мере *та самая*, что была здесь. В ответ на ехидный вопрос, возникший у нас после разглядывания картинки, она говорит, что фотография действительно была сделана не в той, другой квартире, а в одном музее, где чьи-то ловкие руки вновь собрали обстановку той, другой комнаты, каковая, то есть *подлинная* комната, по сохранившимся описаниям, отличается от видимой на снимке уже тем, что походила на настоящую берлогу — столько в ней было отсутствующих на этой фотографии, громоздившихся грудами, башнями книг и рукописей и такой стоял там полумрак.

Времени, чтобы поразмышлять над тем, *что* же тогда изображено на снимке, у нас нет: девушка-экскурсовод уже показывает нам следующий экспонат: гравюру, на которой можно видеть прежний дом — ну, собственно, не тот дом, в котором жил Пруст: дом выглядел так *до того*, как Пруст сюда переехал, причем переехал в квартиру на этаже, которого на гравюре еще нет, этаж был надстроен позже; во всяком случае, дом этот был таким в те годы, когда был построен; перед ним мы видим экипаж с кучером, помахивающим кнутом; деревья, которые сегодня стоят почетным караулом на бульваре Осман, тогда еще не были даже посажены... Девушка жестом зазывалы поднимает картонки одну за другой, мы, сопровождая жесты сопением и негромкими merci beaucoup, передаем их по кругу.

Из комнаты Пруста выходят две двери: одна — в уже упомянутый узенький коридор, вторая — в соседний зал, главный вход в который находится возле лифта и на котором висит табличка "Конференц-зал". Вот уже несколько минут из-за двустворчатых дверей конференц-зала доносится веселый смех, мужские голоса: должно быть, сидящие там люди после долгих серьезных переговоров, на которых были приняты трудные и весомые решения, снимают напряжение веселой болтовней; настроение у господ великолепное, кто-то пронзительным фальцетом рассказывает какую-то историю, рассказчика то и дело перебивает громогласный жирный хохот; маленькая компания, теснящаяся в комнате Пруста, уже несколько минут прислушивается не столько к словам гида, сколько к звукам за дверью; там, кажется, звенят вилки и бокалы, и настроение за дверью превосходное. Тут девушка почти извиняющимся движением показывает на дверь (нам в первый момент кажется, что она хочет извиниться за этот шум) и говорит: за этой дверью находится самое главное, что она собиралась нам показать, *гостиная Пруста*, но в данный момент, как вы слышите, зал занят, там совещание, *réunion* (люби-

"Jelenkor"

мое выражение телефонисток, если лицо, которому вы пытаетесь дозвониться, не настроено с вами беседовать); правда, добавляет девушка-экскурсовод, особенно огорчаться не стоит, не думайте, что вы так уж много потеряли, гостиная, в сущности, тоже не та, что была когда-то, предметов обстановки, которые там стояли при Прусте, вы не увидите, сохранился только великолепный вид из окна, а вообще зал обставлен со вкусом и довольно уютно, кругом картины, скульптуры, дорогая старинная мебель, но Марсель Пруст вообще ею не пользовался: когда он здесь поселился, он, в сущности, был уже совсем болен и посетителей принимал (если вообще принимал) лежа в постели. Мужчины в гостиной Пруста чувствуют себя, как можно услышать, все лучше и лучше, их просто распирает какое-то необъяснимое веселье, они кричат, перебивая друг друга, немного в нос, как наш Габор Боди[1].

Проникшись увиденным, некоторые участники экскурсии ощущают желание записать что-нибудь в гостевую книгу, лежащую на огромном письменном столе.

В воцарившейся тишине, воспользовавшись моментом, когда посетители, слегка оглушенные обилием впечатлений, стоят, прислушиваясь к доносящемуся из-за двери хохоту, девушка-гид незаметно выдвигает средний ящик столика в стиле бидермейер и раздает всем присутствующим, как воспитательница в детском саду детворе, маленькие пирожные, упакованные в целлофан, настоящие "мадленки". Посетители жадно, с голодным блеском в глазах набрасываются на лакомство, показывают его друг другу, восклицают: "Мадленки!", смакуя слово; кое-кто просит — и получает — по два пирожных. Тесто в мадленках немного напоминает губку; такие приторно-сладкие, слегка тягучие пирожные бывают в вокзальных буфетах и автоматах. Плетеную корзиночку, в которой осталось еще достаточно "мадленок" для двух групп, что могут прийти сегодня, девушка-гид убирает обратно в ящик стола и, подождав, пока норвежец с просветленным лицом вписывает свое имя в гостевую книгу, распахивает перед гостями дверь, ведущую в коридор: надо спешить, внизу ждет новая группа.

Мы переступаем воображаемую стену, разделяющую два дома, и снова оказываемся у лифта. Девушка-экскурсовод преподносит нам на прощанье милую историю про чай, который, пока его доставляли из кухни в комнату Пруста, не должен был остыть, вернее, должен был оставаться горячим, но точно определенной температуры, по каковой причине экономка Пруста до секунды высчитала, сколько времени занимает путь из кухни в комнату и сколько градусов должно быть в чае на исходной точке; девушка-гид разрешает нам посмотреть коридор, по которому спешила, неся барину чай, Селеста. Некоторые из нас уже настолько пресыщены виденным, что лишь бросают взгляд туда, где находится коридор, но ближе не подходят; я наклоняюсь в ту сторону, меня не отпугивает сообщение, что коридор *выглядит не совсем так*, как выглядел прежде: теперь он гораздо уже, от него отрезали часть для построенной позже лестничной клетки. Я заглядываю в коридор, где когда-то торопилась с чаем Селеста: коридор похож на кухоньку пассажирского самолета, где все рассчитано до сантиметра, где в неоновом свете теснятся выкрашенные белой краской трубы, кабели, шкафчики. Сегодня Селеста

1. Габор Боди (1946–1985) — известный венгерский кинорежиссер, сценарист и киноактер.

едва ли сумела бы здесь пробежать, разве что боком, и наверняка расплескала бы чай.

Мы спускаемся по лестнице, норвежец завязывает оживленную беседу с девушкой-гидом, внизу вручает ей свою визитную карточку; под фикусом ждет своей очереди следующая группа: их столько же, сколько нас, и состав примерно одинаков. На улице студентка бросает на меня грустный взгляд, но мы не говорим друг другу слова прощания: ведь мы даже незнакомы.

Прежде чем меня проглотит ближайшая станция метро, я оглядываюсь еще раз.

Марсель, говорю я про себя, Марсель... Вот мы и побывали у тебя в гостях.

Имре Оравец
Стихи

Вопрос

Документальные источники гласят:
к концу эпохи куруцев[1] Сайла обезлюдела во второй раз,
а в середине восемнадцатого века
сюда пришли переселенцы из Северной Венгрии,

кто из нынешних знает,
что это были за люди,
что бросили они в родных краях,
что искали на новой родине
и что нашли,
что их гнало сюда,
как они жили, трудились,
что чувствовали и думали,
чего боялись,
чему радовались,
что любили,
что ненавидели,
как проводили свободное время,
что носили,
что ели,
что пили,
во что верили
и на что надеялись?

Имре Оравец (Oravecz Imre, p. 1943) – венгерский поэт. Сайла – родное село Оравца, где поэт в основном и живет.
Стихи опубликованы в журнале "Еленкор" (2000, № 6) и в сборнике "Рыболов" (Печ, изд-во "Еленкор", 1998).

1. Эпоха куруцев: конец XVII – начало XVIII в., период борьбы венгров против захватнической политики Вены. Куруцы (от crutiatus – крестоносец) – участники национально-освободительной борьбы. Подавляя сопротивление куруцев, австрийцы часто уничтожали целые деревни.

Восемнадцатое столетие

Гусей по улице гонят,
в канаве траву собирают,
горшки на заборе сушат,
из колодца воду таскают,
под навесом заступы точат,
в сарае кабанчика кормят,
корове рожать помогают,
уголь в печах обжигают,
в церкви каменный пол подметают,
на погосте могилу ровняют,
в кузне железо греют,
жеребца к кобыле пускают,
в речку падаль бросают,
у сапожника лапти чинят,
у еврея палинку хлещут,
у торговца соль закупают,
у судьи справедливости ищут,
дома, в горнице, женку колотят,
в тюфяке табачок ховают,
на дворе собаку гоняют,
на гумне рожь цепом молотят,
девке юбку в стогу задирают,
на подводах оброк отвозят,
в тенечке бобы из горшка доедают,
газы в портки пускают,

и в самую что ни на есть рабочую пору, сонная, обалдевшая,
слоняется по деревне история.

Послание

Нынче к нам на кормушку в саду незнакомая птица села,
но не стала клевать зерно.
По справочнику выяснилось, что это — свиристель,
а по-моему, это была душа моей матушки.
И днем она прилстела только затем,
чтобы я посмотрел на ее пестрое, нарядное оперение.
Она мне хотела этим сказать,
что там, наверху, у нее все в порядке.

Деревенская свадьба

Придерживая юбку у груди,
раздвинув ноги,
спиною прислонившись к косяку,
глаза зажмурив,
крепко зубы стиснув,
со сбившимся платком на голове,
в кипенно-белой пене кружев и оборок,
с саднящим лоном, ноющим лобком
стоит в чулане, в слабом свете утра,
уже не в подвенечном платье, не в венке —
в наряде красном, бабьем, молодая,
вдали от музыки, от гиканья, от пляски,
стоит, на суженого своего не глядя,
стоит, несчастная, в потоке спермы
и горько плачет.

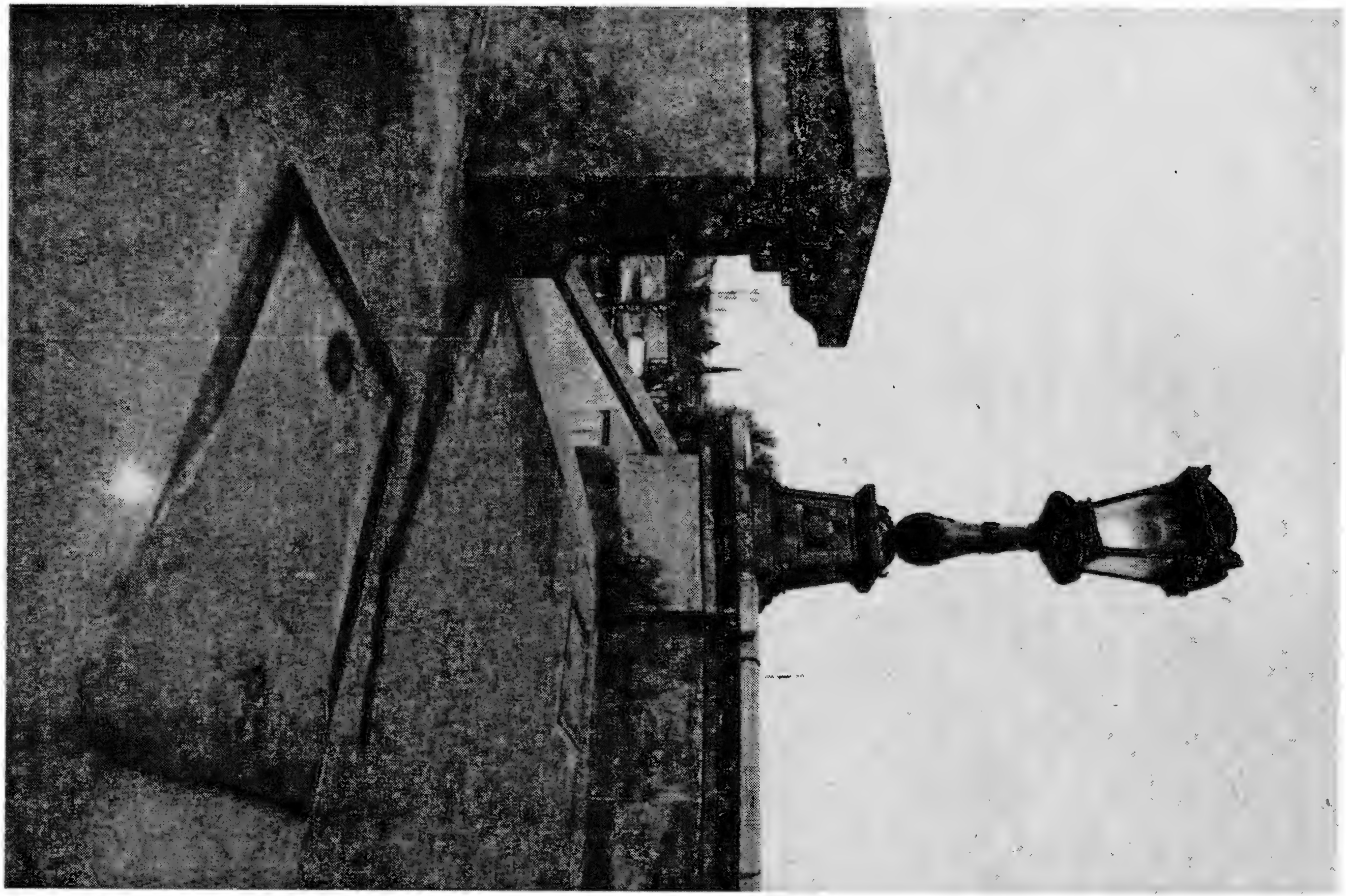
Опушка леса

Внизу, в долине, уже совсем стемнело,
а над горою Лак небо еще озарено солнцем,
сосны на гребне — точеные черные силуэты
на золотом сияющем фоне.

Легко ль будет мне умирать, когда я видел такое?

Куда?

В Будапеште я всем чужой.
В Сайле ждут меня лишь могилы.
Куда мне податься?



Дёрдь Ц. Калман
Литературоведение, 90-е годы

В начале позволю себе несколько витиеватых отступлений, которые тем не менее прямым путем должны привести меня к моему предмету.

Во-первых, некоторых оправданий требует определение границ этого предмета: свою задачу я понимаю так, что мне нужно говорить о *венгерском* литературоведении 90-х годов — но это как бы отнюдь не очевидно в свете того, что в заголовке фигурирует *литературоведение* как таковое. Если свою задачу я понял неверно, то с радостью буду и дальше цепляться за эту свою ошибку, ибо, честное слово, говорить о десятилетии мирового литературоведения *вообще* я едва ли в состоянии. И если найдется человек, который на такое отважится, я буду смотреть на него не только с завистью, но и с подозрением.

Во-вторых: я не знаю точно, что такое литературоведение, однако в данном случае я отсек бы от него критику (о которой тоже не могу сказать точно, что это такое). Остаются две области, о которых я немного и поговорю: это — история литературы и теория литературы (хотя я и о них не знаю точно, что они такое).

В-третьих: мне бы хотелось поговорить о них таким образом, чтобы не было названо ни одного имени. Это можно рассматривать как своего рода игру, усложнение задачи — чтоб было интересней (наступаем только на желтые плитки, причем и из них — исключительно на каждую третью, вдох делаем пять раз в минуту, моргать запрещается...). Отчасти это мера предосторожности: кого-нибудь не пропустить, иначе обида на всю жизнь, или, наоборот, не упомянуть некстати, иначе обида на всю жизнь. Ну и отчасти этим обеспечивается видимость, будто ты, максимально поднявшись над грязной конкретностью, созерцаешь предмет, так сказать, с сугубо теоретических высот.

Пока я тянул время этими отступлениями, мне, к счастью, действительно пришло в голову несколько вопросов, от которых и можно танцевать. Дело в том, что эти оговорки (см. выше) чреваты, как сразу выясняется, серьезными проблемами, которые, за неимением лучших, я и подниму. Например, что касается разделения зарубежное/венгерское. Если бы я затронул и зарубежное литературоведение, моя статья была бы сильно о другом? Следует ли венгерское литературоведение зарубежным образцам? Если не следует или следует не в достаточной мере, плохо ли это? Если плохо, то почему плохо? И если не плохо, то тоже — почему?

Дёрдь Ц. Калман (Kalman C. György, p. 1954) — венгерский критик, литературовед.
Статья опубликована в журнале "Еленкор" (1999, декабрь). Печатается с небольшими сокращениями.

Насколько я могу судить, глядя на ситуацию издали и поверхностно, мы ни в чем и ни от кого не отстали — в том смысле, что венгерская литература принимала к сведению, осваивала, отчасти и усваивала все те достижения, которые за последнее десятилетие могли считаться в мире — главным образом это, конечно, был Запад — заслуживающими внимания. Тут нельзя не добавить, что с таким уж большим количеством таких уж новых вещей нам в этом плане столкнуться не пришлось: задающие в настоящее время тон, самые нашумевшие и самые распространенные (три эти определения означают не одно и то же) направления в основном возникли по крайней мере в восьмидесятых, а нередко в семидесятых или даже в шестидесятых годах. Знакомство и освоение означает лишь, что у нас появляется невероятно много зарубежных работ в переводе (и, конечно, можно предположить — не важно, с вескими ли основаниями, — что венгерские литературоведы, кроме венгерского, читают и на других языках). Те, кого всерьез интересует то или иное литературоведческое направление, составляют сборники текстов, специальные номера журналов, пишут обзоры и рефераты — словом, стремятся ввести эти направления в дискурс венгерского литературоведения; удается им добиться этого или нет, другой вопрос. Дело, во всяком случае, выглядит так: подобная деятельность находит свой рынок, то есть платежеспособный спрос: никогда в Венгрии не издавалось и не раскупалось западных литературоведческих работ столько, как в 90-е годы. Во всяком случае, сейчас не существует принципиальных препятствий для того, чтобы все, что хоть что-нибудь значит на Западе, приходило и к нам.

Но тут я опять должен делать оговорки. Усвоение, внедрение в отечественную практику, подстегиваемое лишь тягой к заимствованию, радостью знакомства, узнавания, — не всегда оправданно и не всегда автоматически означает высокий уровень. Подлинное усвоение достигается в процессе активного обсуждения; а для этого необходимы активный интерес, активная воспринимающая среда. Таким образом, еще одна проблема связана с тем, идет ли речь об универсальных, значимых для всех вопросах; иначе говоря: то, что возникло где-то в другом месте, на другой почве, найдет ли в Венгрии дискурс, в который оно может включиться (или наоборот: будет ли найдено это явление участвующими в дискурсе)? Приведем один-два примера. У нас началось знакомство с новым историзмом, началось его освоение, но до сих пор нет признаков того, что многие усвоили его всерьез или что началось его осмысление. Несколько иная ситуация с феминизмом. Феминистские литературоведческие тенденции у нас едва ощутимы; во всяком случае, то, что есть, ничтожно по сравнению с тем, чего можно было бы ждать на фоне огромной западной литературы, связанной с феминизмом. В отличие от нового историзма, феминизм — такая возможность подхода, для которой необходим довольно специфический общественный фон; может быть, такой фон и не нужен, что называется, позарез, но если он есть, это только полезно. Речь идет о женском движении, об опыте общественного обсуждения вопросов взаимоотношения полов: они, эти вопросы, могут сделать для нас понятнее точки зрения феминизма. Последователем нового историзма — скажем так — может быть кто угодно, у нового историзма есть шансы более или менее независимо от общественной среды и исторических традиций получить место в ряду дискурсов, связанных с литературой. Что же касается проблем, связанных с точками зрения и социальным статусом различных полов (и интерпре-

тацией этих точек зрения в литературе), то они — можно сказать, закономерно — присутствуют и в венгерском обществе. Тем не менее, видимо, в настоящий момент рефлексия по поводу всех этих вещей не столь значима; бытующее отношение к ним как к "маргинальной" проблеме по-прежнему доминирует. Объясняется это, видимо, тем, что у нас нет серьезного феминистского движения, которое (пускай иной раз агрессивно) заставляло бы принимать во внимание эти своеобразные точки зрения, и пока что нет даже признаков, что положение меняется в этом направлении.

Конечно, еще вопрос, считать ли бедой, если определенные западные подходы в Венгрии не могут вполне органично встроиться в функционирование литературоведения. Тогда что же, мы отстали? И должны быстро ликвидировать свое отставание? Или нас все это не должно задевать? Мы, мол — венгры, мы — сами с усами, мы венгерское литературоведение делаем...

Постараюсь высказать свою позицию со всей определенностью. Да, нужно читать, нужно как можно больше узнавать из того, что делается в других странах, нужно черпать идеи, нужно пытаться применять все то, что выглядит пригодным для применения. Однако, на мой взгляд, самые насущные вопросы литературоведения, которые постоянно требуют от литераторов новых и новых ответов, нет необходимости обязательно заимствовать. То есть не беда, если они успешно импортируются, но это не должно становиться целью. Обычно рано или поздно само собой-выясняется, какие направления — независимо от того, откуда они пришли — оказались плодотворными. Поэтому всю проблему "импорта", или "заимствования", хорошо бы изгнать из споров, идущих вокруг литературоведения, как надо изгнать и слово "мода". Моменты, которые с этим связаны, возможно, интересны с точки зрения социологии науки; что же касается литературоведения, тут они только сбивают с толку.

Вторая оговорка сводится к тому, что мне не хочется говорить о критике. Тогда мне сейчас нужно было бы объяснить, как и почему я исключаю критику из поля своего внимания. Ответ мог бы быть простым: критика — не наука, и нечего ей делать в статье, посвященной литературоведению. Беда лишь в том, что я не так уж уверен, что литературоведение — это точно наука. И что есть некая чистая научность, которая присутствует в литературоведении, а в критике отсутствует. Простым — и созвучным с первым — был бы такой ответ: критика — часть литературной жизни, а литературоведение — внешнее описание этой литературной жизни. Существует, стало быть, как бы участие и как бы наблюдение со стороны: участие в создании так называемой литературы (ну и, разумеется, все виды непосредственной реакции на нее: критика, читательские отзывы и все такое), и наблюдение — то есть научное осмысление всего этого. Однако возникает та же самая закавыка: ведь можно возразить, во-первых, что различие тут лишь в степени (степени участия, степени наблюдения); во-вторых, что внешнего, безучастного, независимого наблюдения вообще не существует. Даже по отношению к теории, которая кажется совсем отвлеченной, можно поставить вопрос о том, *откуда*, с каких позиций она формируется. А что тогда говорить об истории литературы! Она всегда пишется с какой-то позиции, с какой-то точки зрения, на фоне каких-то пристрастий, предубеждений, субъективных ощущений. (Возвращаясь к предыдущему вопросу: я уже и по этой причине не верю, что литературоведение — универсально, уже и по

"Jelenkor"

этой причине сомневаюсь, что заимствование, перевод, внедрение зарубежных направлений — вещь автоматически эффективная.)

И все-таки почему я, собственно, исключаю критику? Да просто потому, что штуковину, которая называется литературоведением, я рассматриваю как нагромождение текстов различных жанров: среди них есть тексты исторические, теоретические, критические и еще наверняка много других, — и одним из этих жанров я *не* занимаюсь. Почему? Потому, что он слишком аморфный, расползающийся, неоднородный, в нем огромное множество поджанров; и еще потому, что в нем очень трудно выявить тенденции: если таковые и есть, то они, скорее всего, очевидными станут лишь потом, спустя годы. Однако о критике можно все же сказать, что она у нас сейчас, в 90-е годы, в неплохом состоянии, в гораздо, гораздо лучшем, чем в 80-е. Свобода слова, вне всяких сомнений, благотворно влияет на этот вид непосредственного участия в литературной жизни.

С другой стороны, то, что определенные жанры перемешиваются, — факт, на мой взгляд, отрадный. Ведь это значит, что критика — дело уже не только журналистов: есть уже возможности для того, чтобы в качестве критических работ появлялись более основательные, более детально аргументированные, теорстически более фундированные тексты, а осмысление современной литературы — что вообще-то, по традиции, было задачей критики — принимало и форму серьезных исследований. Такого долгое время нельзя было себе даже представить. Вплоть до 90-х годов о современных писателях писали — скажем просто — *пространнее* лишь из сугубо политических соображений. Журнальная критика, конечно, осталась, останется и в дальнейшем; и, по-моему, ничего плохого в этом нет. У этого жанра тоже имеются свои традиции; очень медленно и очень опосредованно, но он, может быть, тоже находит способ следовать динамике *большой науки;* а если не следует, тоже никакой трагедии. Вместе с тем, повторю, все более важную роль приобретает зона между критикой и *высокой* литературной наукой.

Все это может показаться излишним теоретизированием вокруг простых вещей; да так оно, собственно, и есть. И все же рассуждения эти имеют прямое отношение к ситуации, в которой находится литературоведение 90-х годов. Ведь одна из дискуссий развернулась как раз вокруг вопроса о том, в какой степени и как литературоведение должно быть научным. Неудивительно, что сформировались в основном две группы — соответственно двум (говоря опять же очень упрощенно) точкам зрения. Первая точка зрения: литературоведение — это наука, а если текст не стремится к научности, значит, он остается в рамках субъективности, салонной болтовни, словом, это — критика. В литературоведении есть свой понятийный аппарат (а если нет, то такой аппарат должен быть создан), и им будьте добры пользоваться, если хотите участвовать в научном дискурсе. Вторая точка зрения: осмыслять литературу можно в любом дискурсе, в том числе и в научном, но это необязательно. Осмысление — это прежде всего свободная игра, а не наука.

В такой формулировке это, конечно, звучит грубо, и можно предположить, что с нею ни один участник дискуссии и ни один из тех, кого она касается, не согласился бы. Так что попытаюсь взглянуть на эти вещи немного тоньше. Определенной группе литераторов наскучило половодье очень традиционных историко-литературных штудий; они обратили внимание на то, что в зарубежном литературоведении со времен

структурализма — да даже и до него — произошло немало интересного, и попытались все это использовать в собственной работе. Другой группе литераторов тоже наскучило половодье очень традиционных историко-литературных штудий; они тоже обратили внимание, что в зарубежном литературоведении со времен структурализма — да даже и до него — произошло немало интересного, и тоже попытались все это использовать в собственной работе.

Несмотря на кажущееся полное совпадение позиций, между ними, как ни странно, есть различие. Если представители первой группы убеждены, что литературоведению необходим соответствующий научный язык, который должен функционировать в качестве соответствующей контролирующей инстанции точно так же, как и сами теоретико-литературные построения, — то вторая группа уверена, что именно относительность, размытость понятийного языка может стать фактором обновления, что языки могут перемешиваться и обыгрываться, а над осмыслением литературы не должен довлеть никакой контроль. Первая точка зрения у нас опирается на систему взглядов теории рецепции и герменевтики, вторую же принято связывать с деконструкцией.

В то же время у них есть общая черта: и тем и другим ужасно опротивело то, что делается в традиционном литературоведении: история литературы, критика, исследование современной литературы, развивающаяся в старой колее литературная теория. Те, кто стоит ближе к герменевтике и к теориям рецепции, как правило, выступают за беспощадную и скрупулезную критику, за тщательное выявление скрытых предпосылок, за критический пересмотр истории восприятия. Вторая же группа чаще всего скорее провокативна: она подвергает осмеянию или злорадно преуменьшает все, что относится к сфере традиционного литературоведения.

К дискуссии между ними (которая, может быть, вовсе и не является центральной для литературной науки) я еще вернусь; но прежде давайте немножко займемся конкретикой. Итак: что все-таки свершило венгерское литературоведение за минувшие десять лет?

Прежде всего, существует, не правда ли, история литературы. Слыша эти слова, мы чаще всего думаем о работах, которые написаны об умерших авторах и об их произведениях. Если имеется в виду хорошо всем знакомая деятельность историков литературы, когда берется более или менее значительный представитель одной из прежних эпох или сама эта эпоха и всесторонне рассматривается, изучается вся относящаяся к вопросу специальная литература — и дело в шляпе, да, подобная история литературы процветает и сейчас, тут никаких изменений не произошло. Позитивистское литературоведение в Венгрии все еще не исчерпало себя. Оно не всегда в полной мере позитивистское, но в основе своей все же остается таковым. Полистайте известные историко-литературные журналы: они полны именно такой историей литературы. Что кривить душой: мне такие работы чаще всего кажутся скучными, я не люблю их и не думаю, что этим путем мы и должны двигаться. За классическими историко-литературными работами и монографиями стоит убеждение, что именно благодаря им будет возведено здание истории венгерской литературы, а каждая такая работа — кирпич в этом здании. Что ж, хорошо, пускай здание строится, ничего страшного; к тому же на строительстве его трудятся мои прекрасные коллеги, чудесные люди, хорошие ученые, эрудированные преподаватели, не могу сказать о них

"Jelenkor"

ничего плохого, — вот только кирпичи эти — такие одинаковые, скучные, серые.

В то же время существует явное желание сделать все это более увлекательным. Тут есть много возможностей. Одна из них — в том, чтобы самые важные моменты литературного процесса показать по-иному, не так, как это делалось до сих пор. Вторая — в том, чтобы и сам процесс представлять не так, как привыкли его до сих пор представлять. Третья — в том, чтобы проанализировать, как происходит само строительство истории литературы.

Рассмотрим эти варианты, начиная с последнего. Теперь уже стали понимать: то обстоятельство, что кто-то попадает или не попадает в историю литературы (и то, *как* он туда попадает), — само по себе может быть предметом исследования. Если мы, например, возьмемся проанализировать, как Шекспир стал в Венгрии — да и вообще где угодно — непревзойденным мэтром драматургии, величайшим, богоравным поэтом, или посмотрим, как мифологизируется смерть Аттилы Йожефа, или как строится имидж Петёфи, — то нам неминуемо придется вникать в механику функционирования различных институтов, окружающих литературу, — от читательской аудитории, периодической печати, школьных и университетских программ до написания истории литературы. И мы будем говорить уже не о вечных, нетленных, не требующих объяснения ценностях, но о формировании или даже создании этих ценностей. Может быть, мы при этом утратим что-то с точки зрения идеальной *чистоты* предмета, ибо в сферу исследования литературы вторгнутся такие приблудные науки, как история культуры, этнография, социальная психология и прочие; зато сколько возникает новых перспектив. Однако нельзя не считаться и с тем, что подобный подход тоже грозит появлением огромного количества совершенно неинтересных, скучных текстов, которые хлынут в литературоведение. Предположим, кто-нибудь возьмется досконально изучить, что писала об Ади периодическая печать в какой-нибудь уездной дыре; правомочность своей деятельности он докажет легко: извините, мол, речь идет о формировании культа Ади, как же тут обойтись без краеведческих, социологических материалов, того, сего?.. В итоге к зданию традиционной истории литературы добавится еще один и тоже серый кирпичик.

Можно оживить историю литературы, отказавшись от традиционного, линейного ее построения, не пытаясь привязывать произведения к туманным категориям: литературной эпохе, направлению, отыскивая связь между текстами в иных сферах. Можно — и это проще всего — читать литературу минувших эпох (выразимся по-журналистски) "сегодняшними глазами", то есть одновременно и показывать, и пытаться преодолеть ту дистанцию, которая отделяет нас от старых текстов. Тут мы создаем резкую конфронтацию между собой и текстом, между нашим временем и той эпохой. Подобный подход особенно притягивает мечтающих о радикальном *новом прочтении*. Были и попытки сравнивать тексты, далеко удаленные друг от друга во временном плане, оставляя в стороне такие моменты, как преемственность, влияния, мировоззренческие аналогии, сосредоточиваясь исключительно на особенностях поэтики. Был даже эксперимент с созданием полной истории венгерской литературы, пренебрегающей хронологией.

Третья тенденция связана с пересмотром канонов. В какой-то мере каноны пересматриваются всегда, но переосмысление всей системы

старых канонов — куда более редкий случай. В последнее время многие молодые литературоведы как раз и пытаются подвергнуть кардинальному пересмотру отдельные тексты или в целом творчество писателей, которое получило каноническое толкование. Эта работа стала особенно важной и актуальной после 1989 года. В нормальных странах это, замечу кстати, происходит систематически и без скандалов. Надеюсь, когда-нибудь достигнем такого состояния и мы.

Интересно то, что пересмотр историко-литературных канонов в нашем литературоведении касается прежде всего XX века; пока что весьма редки попытки — видимо, они не находят отклик в широкой аудитории — подобного же пересмотра литературы более ранних эпох.

В заключение хочу вернуться к вопросу о спорящих друг с другом (спорящих порой озлобленно, порой лишь чтоб пустить пыль в глаза) лагерях, ибо, по всей очевидности, наблюдать их противостояние — все-таки самое интересное (хотя и это не так чтобы уж очень интересно). Выскажу несколько ни к чему не обязывающих замечаний. Вот одно: что касается лично меня, то я гораздо терпимее воспринимаю даже бессодержательное зубоскальство, чем очень содержательную тягомотину; хотя прекрасно понимаю, что на длинной дистанции выиграет именно она. Во всяком случае, мне кажется, что литературное качество текста (как он стилистически организован, организован ли вообще) имеет значение даже в таких периферийных сферах, как литературоведение. Я понимаю тех, кто возмущается, встречая чисто развлекательные, построенные на словесных остротах, фрагментарные, пренебрегающие логическими выводами или даже логической последовательностью литературоведческие тексты. Но понимаю и тех, кого отпугивают тексты, где в глазах рябит от головоломных терминов, где в жертву точности и логике порой приносится даже правильность построения фразы, где все дышит раболепным преклонением перед авторитетами. И все же я не могу сказать, что и те и другие тексты никуда не годятся. Первые, по-моему, полезны прежде всего с педагогической, вторые — прежде всего с интеллектуальной точки зрения. Первые привлекают к себе внимание публики и, пусть упрощая и профанируя серьезные вещи, тем не менее внушают ей что-то важное — возможно, всего лишь ощущение свободы, которое, вероятно, самое необходимое условие восприятия литературы: позволяющее игнорировать многие и многие старые предупреждающие знаки. Что касается авторов серьезных текстов, то они, конечно, не шутят, зато их мало беспокоит, каким будет *воздействие* того, что они говорят, они приносят читательский успех в жертву науке. И даже не только успех, но и доступность — ради более важных вещей: прежде всего ради точности, не допускающей упрощений.

Второе замечание: я не зову ни к примирению, ни к поискам третьего пути. К примирению я не зову потому, что, по-моему, все хорошо до тех пор, пока идут споры: каждый может многому тут научиться, и учится, и нет нужды обязательно стремиться к тому, чтобы все мы были согласны друг с другом. Я не настаиваю на третьем пути, потому что не знаю, существует ли он. Хотя есть много маленьких тропинок, и возможно, позже окажется, что они идут параллельно большим дорогам. Или идут по кругу. Или вообще никуда не идут.

"Jelenkor"

Дёрдь Петри

Любовь до гроба

(Рекурсивная функция)

Я все больше злюсь, потому что, увы, умираю,
Мари злится, потому что я злюсь, потому что, увы... —
начинай сначала.
Зато на кладбище будет прекрасно.
Зеленеет трава на могилке под ласковым солнцем.
Вокруг прорастает вьюнок с лебедой.
А Мари поймет, что не так уж
плохо было со мной — в общем и целом.
Иногда мы с ней даже смеялись.
А иногда — иногда небо сливалось с землею.

Дёрдь Петри (Petri György, 1943–2000) — венгерский поэт. Подборка его стихов была опубликована в "ИЛ" (1998, № 10). "Любовь до гроба" — одно из последних его стихотворений; оно было напечатано в журнале "Еленкор" (2000, март).

"Jelenkor"

Мигель де Унамуно
Два эссе

Перевод с испанского Н. Богомоловой

От переводчика

"Дон Мигель" — сказать в Испании вот так, просто, опустив фамилию, достаточно, чтобы стало понятно: речь идет о Мигеле де Унамуно. Что является знаком особого почитания и, разумеется, великой славы. Но в подобной форме именования очень силен еще один оттенок восприятия — или, точнее, приятия: дань масштабу личности человека, жизнь которого встает в ряд с его творениями.

Мигель де Унамуно родился в 1864 году в Бильбао, в семье коммерсанта, закончил факультет философии и литературы Мадридского университета (в юные годы он намеревался стать священником, но за время учебы отошел от религии; в 1897 году, после смерти маленького сына, вернулся к вере); получил степень доктора, преподавал латынь в средних учебных заведениях, потом стал профессором университета в Саламанке — старейшего в Европе, а с 1901 года — его ректором. В 1924-м за резкие выступления против диктатора Примо де Риверы Унамуно смещают с поста и ссылают на Канарские острова. Правда, его очень скоро "помиловали", но вернуться на родину писатель отказался — до падения неприемлемого для него режима. Добровольная эмиграция закончилась лишь в 1930 году. Унамуно горячо поддержал провозглашение Испанской республики, был депутатом кортесов, но реальный ход дел весьма скоро погасил его энтузиазм. Меж тем в Испании крепли позиции фалангистов. В 1936 году Унамуно вновь был отстранен от всех должностей, на сей раз — декретом Франко. Умер он вскоре после этого, в декабре 1936-го, став добровольным узником собственного дома.

Мигель де Унамуно успел написать очень много: стихи, составившие десяток сборников, несколько романов, новеллы, драмы, эссе, философские труды, и еще — сотни и сотни статей и заметок для газет и журналов. Он был бесспорным лидером обновленческого движения, возникшего в Испании на рубеже веков и объединившего писателей, именуемых обычно "Поколением 1898 года". 1898 год — драматическая дата в истории страны. Потеря последних колоний и поражение в войне с США сделали очевидной кризисность ситуации, показали, насколько обветшали все действующие механизмы и как необходимы срочные перемены. Испанию, по словам Унамуно, надо было вытаскивать из "современного маразма". И задачу свою это "Поколение" видело в критическом осмыслении причин катастрофы и поиске путей обновления.

"У меня болит Испания!" — пожалуй, самая знаменитая фраза Унамуно, ставшая тогда для многих духовным лозунгом. Предлагаемые читателю работы — первая глава из книги "Об исконности" и эссе "Вера" — писались именно в тот период.

©. Н. Богомолова. Перевод, 2001

Об исконности

Глава из книги

Вечная традиция

Я беру здесь слова *исконный* и *исконность* в самом широком из общепринятых значений.

Испанское слово *castizo* ("исконный", "подлинный") происходит от *casta* ("каста", "род"), а *casta* в свою очередь — от прилагательного *casto* ("чистый"). Обычно существительное *casta* используется применительно к расам или беспримесным породам животных, прежде всего домашних: скажем, о собаке говорят, что она *de buena casta* ("хорошей породы"), что сперва означало — чистых кровей, без малейших признаков скрещивания. Так что *исконный* следует понимать как чистый, без примеси чего-то чужого. И если иметь в виду, что подобное определение несет в себе оттенок превосходного и предпочтительного качества, то будет очевидно: уже в самом слове запечатлен древний предрассудок, ставший источником тысяч бед и заблуждений, — вера в то, что расы или нации, называемые чистыми или почитаемые за таковые, выше рас смешанных, хотя в ходе экспериментов над домашними животными, да и самой историей, доказано: действительно, вредно и даже ведет к бесплодию всякое скрещивание сильно разнящихся меж собой рас, но в то же время способствует возникновению новой энергии и развитию любое смешение племен, у которых различия не подавляют основополагающее тождество. Очень часто прилагательным *исконный* характеризуют язык и стиль. Сказать в Испании, что тот или иной писатель исконный — значит дать понять, что он считается более испанским, чем прочие.

Ясно пишет тот, кто наделен ясными, живыми умом и воображением, кто живо мыслит, ведь язык — прозрачное облачение рассудка; и если человек, одержимый желанием *создать свой стиль*, творит нечто фальшивое и претенциозное, это тотчас обнаруживает душу фальшивую и претенциозную, и о подобном стиле можно сказать то же, что и об автобиографиях: даже обманывая, они обнажают сущность автора. Таким образом, чистота или исконность языка и стиля есть прежде всего отражение исконности мировосприятия. Пусть читатель теперь припомнит, кого из испанских писателей нынешнего века относят у нас к числу самых исконно испанских, а кого упрекают в недостатке самобытности; легко убедиться, что среди первых преобладать будут приверженцы традиционных доктрин старой кастильской закваски, а среди вторых — те, кто, пропустив через себя чужую культуру, по-кастильски теперь и думают-то с трудом.

На этих страницах я хотел бы собрать воедино свои суждения и выводы, к которым пришел, размышляя о подобном понимании исконности, — ведь именно вокруг этого ядра вихрем закручиваются проблемы, порожденные духовным состоянием нашей родины. Если соображения, которые я намерен здесь изложить, сумеют у кого-то из читателей — *хоть у одного-единственного* — вызвать собственные идеи или просто сумеют

пробудить в глубине его сознания самую непритязательную — *хоть одну-единственную* — мысль, это станет более ценным вознаграждением моим трудам, чем заложенный в них стимул для моей личной духовной жизни, ибо на всякую идею до́лжно взирать не со стороны, когда она в угоду благопристойности предстает облаченной в словесные одежды, нет, ее следует увидеть изнутри — живую, горячую, во всей естественной неповторимости, то есть увидеть ее душу. Уверен, даже в худшем из случаев, даже если страницы эти иссохнут, истлеют в памяти читателя, что-то все равно осядет на дно ее слоем перегноя, который станет питать новые идеи. Многое из того, что найдет здесь читатель, покажется ему весьма и весьма знакомым. Пусть! Совершенно необходимо каждодневно повторять именно то, что каждодневно же *в силу своей общеизвестности забывается*; и мне хотелось бы, чтобы читатель поразмыслил над этим ужасным и роковым законом. Мне хотелось бы также предупредить — и в первую очередь читателя, склонного к умственному крючкотворству, к силлогизмам, — что рассуждения мои не будут опираться ни на непреложные исторические данные, ни на другого рода доказательства, как он их себе представляет; это сочинение не из числа тех, которые он назвал бы *наукой*; здесь всякий, кому неведомо, что силлогизм есть всего лишь фигура речи, увидит только риторику. Мне также хотелось бы предупредить читателя относительно лаконичных и сжатых выводов, которые он здесь найдет, и относительно *противоречий*, с которыми, на его взгляд, он столкнется. Как правило, абсолютную истину ищут *ровно посредине* — методом исключения, *via remotionis*, когда отбрасываются крайности, а ведь они своим сопряжением и взаимодействием как раз и задают ритм жизни; только так и удается приблизиться к тени холодной и скрытой туманом истины. Но я думаю, предпочтительнее будет избрать иной метод — метод попеременной защиты противоположных позиций, и добиться, чтобы крайности оставили неизгладимый след в душе читателя, тогда нечто среднее само в ней образуется — как результат их борьбы.

Итак, читатель, наберись терпения, если в ходе наших рассуждений мы допустим слишком сильный крен в какую-либо одну сторону, дождись, пока, подчиняясь закону колебательного движения, мы повернем к противоположному краю, ведь только тогда в твоей душе созреет некая равнодействующая — если, конечно, попытка моя увенчается успехом. <...>

I

В Испании непрестанно раздаются сетования на то, что чужая культура, мол, нас порабощает, подминает под себя, удушает все исконное и, по словам жалобщиков, постепенно подрывает основы нашей национальной самобытности. Всегда бывшая полноводной река европейского *нашествия* на нашу родину с каждым днем все более и более расширяет свое русло и убыстряет течение, и теперь она просто вышла из берегов — на горе мельникам, у которых прорвало плотины и, возможно, оказалась подмоченной мука. С недавнего времени европеизация Испании ускорилась; переводы множатся — только успевай следить, и в некоторых кругах читают больше иноземного, чем своего, а самые авторитетные и известные критики знакомят нас с зарубежными писателями и мыс-

лителями. Кое-кто из них именно в этом направлении сделал очень много для национальной культуры, пробудив в нас вкус к чужим яствам и подавая нам их под более или менее испанским соусом.

И даже Менендес-и-Пелайо[1] – "неистовый испанец, всегда даже думавший исключительно по-испански" (по крайней мере, сам он верит в то, что о себе говорит), который, имея двадцать один год от роду и "зная окружающий мир и людей только по книгам", на радость тем самым мельникам включился в литературную жизнь и в "Испанской науке" пылко защищал идею исконности, – теперь посвящает лучшие страницы своей "Истории эстетических идей в Испании", самые глубокие ее страницы, тому, чтобы познакомить нас с современной европейской культурой, и выводы его весьма сильно разжигают наше любопытство. С каждым днем у нас все больше распространяются иностранные языки, а многие наши соотечественники и думать отвыкли по-испански. Мы можем, конечно, не замечать явлений, объясняющих, почему здесь таким спросом пользуется "Словарь галлицизмов", но факт остается фактом: немалое число авторов пишут, словно переводя с французского, при этом испанский их далеко не безупречен в *грамматическом* смысле.

"Мое "я", меня лишают моего "я"!" – воскликнул однажды Мишле[2]. Нечто подобное кричат и те, кто начинает жаловаться на разлив реки, когда вода уже подступает им к самому горлу. Время от времени какой-нибудь упрямец, ухватившись за прибрежный кустик, принимается сотрясать воздух грозными пророчествами и изрекает длинные и высокопарные фразы на языке, словно специально придуманном для прославления достопочтенных традиций наших предков – союза алтаря и трона, а также наших славных побед – Нуманции, Наваса, Гранады, Лепанто, Отумбы и Байлена.

Много тише и не так напыщенно, но все же звучит иногда и ропот записных ниспровергателей исконного и самобытного. Достаточно среди нас и таких, кто в дружеском кружке может открыть свои тайные мечты, почти слово в слово повторяя фразу, якобы произнесенную Ренаном, когда немцы подступали к Парижу: "Хоть бы они нас завоевали!" Наверняка в тот миг историограф народа израильского имел в виду теорию, с такой любовью описанную им самим, – теорию анархизма и подчинения, которую во времена царя Иосии проповедовал Иеремия: он просил, чтобы израильтяне покорились халдеям, и тогда, очистившись в рабстве и изгнании от распрей и пороков своих, они смогут стать народом, избранным Господом.

Но нам не нужно *иноземного завоевания*, завоевание никогда не очищает – не благодаря ему, а вопреки цивилизуются народы. Много ли толку от того, что немцы завоевали Францию? События 70-го года упали на землю свежим дождем и помогли сначала распуститься, а после и засохнуть порокам Второй империи. Для нас сходные результаты имело французское нашествие. Второе мая[1] во всех смыслах является символической датой нашего духовного

1. Марселино Менендес-и-Пелайо (1856–1912) – испанский филолог, представитель культурно-исторической школы в литературоведении. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)
2. Жюль Мишле (1798–1874) – французский историк и писатель, автор книг "История Франции" (1833–1836), "История Французской революции" (1847–1853) и др.

1. 2 Мая 1808 г. – в этот день в Испании началось всеобщее национальное восстание против французских завоевателей.

возрождения, и те события заслуживают самого тщательного осмысления, настолько преисполнены они содержанием... Оккупация была болезненной, но для того, чтобы семена проросли, мало разбросать их по поверхности — они либо сгниют, либо их поклюют воробьи, — надо, чтобы прежде лемех плуга взрезал плоть земли, и при пахоте нельзя не погубить дикие цветы, которые, умирая, оставляют нам свой аромат. Если пахарем становится поэт вроде Бернса, он в умилении проливает прозрачную слезу и посвящает нежное воспоминание бедной маргаритке, срезанной плугом, но продолжает пахать, и в результате трудов его близкие получают хлеб для тела и усладу для души, а маргаритка, сгнившая в меже, удабривает почву.

Но и те, кто требует закрыть — или почти закрыть — границы и обратить взоры к провинции, и те, кто более или менее откровенно призывает к нам завоевателей, не желают считаться с реальностью, с вечной и глубинной реальностью, потому что ими правит дух анархизма, который все мы таим в недрах своей души и который есть первородный грех человеческого общества, грех, так и не искупленный долгим крещением в крови многочисленных войн. Нового Наполеона, величайшего из анархистов, призывают те, кто боится бомб анархистов и поддерживает мир и порядок силой оружия — что в свою очередь порождает анархизм.

Среди нас прочнейшим образом укоренилась дьявольская — да, дьявольская! — идея: мы уверены, что субординация удушает индивидуальность и что если не сопротивляться первой, утратишь вторую. В голове у нас все совершенно перемешалось: мы полагаем, будто можно быть только либо хозяином — либо рабом, либо победителем — либо побежденным, мы упрямо верим, будто раскрепощение раба означает гибель хозяина. Слепота наша дошла до того, что индивидуализмом все чаще и чаще называют совокупность теорий, призванных разрушать индивидуальность, ведущих к манчестерству в самой грубой его форме. По счастью, сутью последнего, когда он сумел заявить о себе во весь голос, был дух свободы и протест против любых искусственных запретов, против цепей традиции; лозунг "не мешайте делать и не мешайте идти вперед", провозглашенный *ортодоксальными* экономистами, как раз и породил тот *естественный закон*, к которому они стремились, — подлинный и всеохватный общественный закон, вышедший из недр самого общества, закон жизни общества, закон совместной ответственности и субординации. Но закон этот не столько естествен, сколько сверхъестествен, поскольку возвышает естественность до идеала, все более и более утверждая ее в этом качестве. Но коль скоро те, кто называют себя законными наследниками манчестерства лишь потому, что охраняют его труп, вступают в союз с наследниками тех, кто против него сражался, дабы погасить пламя свободы, им зажженное, — значит, ради общей цели объединили свои усилия поборники изоляции с мечтающими о пришествии завоевателей. Желание заключить страну в футляр, чтобы здесь создавалась какая-то совершенно исключительная культура, желание законопатить и просмолить все щели, чтобы сюда снаружи не проник даже легчайший ветерок, — вот плоды старинного предрассудка, когда индейца, живущего в сельве и охотой добывающего се-

бе пищу, приготовляющего ее, мастерящего оружие и строящего хижину, ставят выше парижского часовщика, который, доведись ему оказаться в сельве, наверняка умер бы от голода и холода. Многие нынче призывают нас отречься от *цивилизации* ради счастья, отправиться в погоню за мечтой; у многих в сердце находит благодарный отклик глас искушающего их дьявола: "Все или ничего".

Нет сомнения, идущие лицом к солнцу рискуют быть солнцем же ослепленными, но если шагать по дороге, оборотившись назад, и безотрывно глядеть на собственную тень, дабы не сбиться с пути, — будто тень главенствует над плотью! — можно споткнуться и упасть. Но и таким образом продвигаются вперед, ведь именно солнце будущего рисует тень прошлого.

II

Сегодня кое-кто ратует за испанские науку и искусство, но как раз сегодня мы, даже терпеливо выслушав все их доводы, не можем понять, о чем же идет речь... Что только не именуют ныне наукой! Что только не именуют ныне искусством! По мнению газет, каждый человек вкладывает свой смысл в слово *наука* — точно наука это дух святой! Достаточно лишь на мгновение задуматься, чтобы понять всю грубую кощунственность подобных заявлений, но люди, как правило, не привыкли размышлять и безнаказанно усваивают любые нелепицы. Самые чудовищные из них, от которых всякий бы отшатнулся, увидев их неприкрытое естество, ложатся в фундамент расхожих суждений, дают силу тем аргументам и псевдодоказательствам, что в свою очередь порождают насилие и акты вандализма.

Всех нас обучают тому, что́ есть наука, но мы забываем урок, едва успев усвоить, не сходя с места. Мы забываем: наука есть нечто живое, непрерывно развивающееся, она не может существовать не только без ранее подготовленной и вечной основы, но и без постоянных изменений.

Мы забываем очевидную вещь: мировосприятие у разных людей не одинаково, потому что не одинаковы как среда их обитания, так и духовные свойства, сформированные средой. Но хотя всякое мировосприятие отлично от другого, все они суть отражения одного-единственного оригинала, все стремятся стянуться к чему-то общему, иначе люди не понимали бы друг друга, и эта основополагающая общность различных человеческих миропредставлений как раз и делает возможным существование языка, а следовательно — и науки.

У каждого народа, как и у каждого человека, есть свое собственное понимание мира, и в науке разные народы различаются склонностью к определенному направлению, к определенному методу, хотя нельзя всерьез говорить, будто бывает некая особая национальная наука. Но сколь ни тверди, сколь ни повторяй избитую истину, что наука не имеет национальности, — все мало, об этом вечно будут забывать именно в силу очевидности, как вечно будет *придумываться наука* для оправдания и приукрашивания актов беззакония и вандализма...

Если мы заводим речь о немецкой геометрии или английской химии, мы имеем в виду что-то конкретное — а это уже немало! — но подразумеваем вещи более очевидные, когда говорим о германской или шотландской философии. Мы придаем этому особый смысл, потому что наука

никогда не проявляется в чистом виде, ведь геометрия — а тем более химия, и гораздо, гораздо более философия — несут в себе нечто донаучное и поднаучное, а также, если угодно, наднаучное, но на самом деле — интранаучное, и как раз это *нечто* и явлено с отметами национальных *особенностей*. В философии вышесказанное ощущается очень сильно, в ней воплощен самый смысл соединения науки с искусством, философия именно потому так жизнеспособна, что наполнена интрафилософией, ведь как звук вырастает из тишины, так наука находит опору и существует на почве живого неведения. Именно на почве живого неведения — потому что главный закон мудрости состоит в умении знать, чего ты не знаешь; на почве живого, а не мертвого неведения, с которым хотели бы связать ее те, кто ратует за протекционистскую науку. А теперь пусть читатель наберется терпения, мы оставим на некоторое время нерешенным этот темный вопрос, и я продолжу свои рассуждения.

Миропонимание формируется средой, но сама среда и мешает ему совершенствоваться, восходить выше и выше. Здесь мы сталкиваемся с вечным таинством — по сути своей таинством первородного греха, когда идея вынуждена подчиняться времени, пространству и плоти. Таким образом, мы видим, как имя — оболочка мысли, которой имя дает жизнь и плоть, в итоге нередко и удушает эту мысль, если последней не удается высвободиться. Точно так же наука, отталкиваясь от вульгарного знания, привязанного к определенной, совершенно особой *национальной* среде, поначалу пользуется народным языком, но она погибла бы, если бы понемногу не освобождалась и не создавала, взрастая, собственной терминологии, обеспечивая себя универсальным языком по мере того, как вырывалась из пут вульгарного знания. Не будь латыни, не было бы в Средние века схоластической философии, той, что универсальной и мертвой латыни обязана своей плотью, а также — своим первородным грехом. <...>

Научные понятия подобны кустикам перекати-поля — только отрываясь от корней, которые связывают их с родной почвой, они могут свободно нестись по свету и разбрасывать свои семена. Если бы все науки могли превратиться в универсальную алгебру, если бы могли мы в политической экономии обойтись без таких окаянных слов, как *стоимость, рента, капитал* и т. д., — вполне жизнеспособных, но так сильно подточенных *первородным* грехом! Алгебра явилась бы для них очистительной купелью, мы сразу отделили бы науку от ее исторического, метафизического фундамента.

На счастье, мы имеем возможность использовать в научной терминологии греческий язык: потому что выраженные *по-гречески* понятия освобождаются от бремени традиции и не сдерживают полета мысли.

Значит ли это, что я защищаю формулу в ущерб идее? А разве формулы лишены жизни? Разве в облаке, зацепившемся за утес, меньше жизни, чем в самом утесе? Скопления облаков... Они закрывают свет, но ведь из них выпадает благодатный дождь, а потоки воды приносят в долину дитрий. Не признавать никакой другой реальности, кроме телесной, — значит ступить на путь, ведущий к смерти.

Как прекрасен был исполинский порыв Гегеля, последнего из титанов, — взойти на небо! Как прекрасен был гераклов труд, за

который Гегель взялся, вознамерившись заключить весь мир в живые формулы, написать алгебру Вселенной! Как прекрасен и как плодотворен! Из обломков той самой башни — мечты об абсолютной науке — сотворили фундамент для науки позитивной и надежной; крохами с гегелевского стола довольствуются те, кто больше всего Гегеля же и чернят. Он понял, что мир науки — это формы, заключающие в себе друг друга: формы форм и формы этих форм — и так до бесконечности; он хотел возвести нас к зениту нашего разума и от высших форм заставить спуститься к реальности, которая начала бы на наших глазах очищаться, освобождаться от покровов, обретать смысл. Эта мечта Дон Кихота от философии вдохнула душу во многие души, хотя с ним и произошло то же, что с бароном Мюнхгаузеном, который решил сам себя вытащить за уши из колодца. Философия должна была изъясняться на каком-то языке — конкретном национальном языке, но человеческий язык оказался слишком бедным для подобного начинания — ведь задумано было ни много ни мало как превратить нас в богов. Говорят, это было проявлением сатанизма[1], а потом Навуходоносор, возжелавший стать богом, принял звериное обличье и ныне бродит, роя рылом землю, в поисках корешков для пропитания. Вот оно, жестокое проклятье, о котором мы подробнее поговорим чуть позже.

Формы, заключенные одна в другую, формы форм и формы этих форм — до бесконечности — таков мир науки, в котором идет поиск количественного, а уже из него возникают качества! Но если формы содержат в себе количество, последнее таит и некое качество — интраколичественное, quid divinum. Все имеет внутреннее содержание, все имеет свое *внутри*, в том числе и наука. Формы, которые мы видим извне, имеют свое *внутри*, как имеем его и мы сами, и таким образом мы не только сознаем себя, мы себя *осуществляем*, а они осуществляют себя.

Какой толк был бы нам от определений любви, если бы мы ее не чувствовали? Можно ли забывать, что вещи существуют, что у них есть нутро! Когда я слышу сетования ближнего моего — а для глаза это лишь форма, вобравшая в себя другие формы, — я ощущаю боль внутри, и через любовь открывается мне *сущее*. Через любовь мы познаем вещи самим нашим *существом*, а не только разумом: мы превращаем их в *близкие* нам, и отсюда рождается искусство, которое живет во всем, даже в науке, ибо и в самом познании оно прорастает из *бытия*, формой которого выступает разум, потому что нет света, каким бы холодным он ни казался, не таящего в себе хоть искру тепла.

Благодаря естественному инстинкту и здравому смыслу всякий понимает, что выражения *исконное искусство, национальное искусство* подразумевают гораздо большее, чем *исконная наука, национальная наука*; скажем, трудно удержаться от вопроса: какой смысл вкладывается в слова *английская химия* или *немецкая геометрия*, зато вполне внятно и ясно звучат сочетания *итальянская музыка, испанская живопись, французская литература*. Искусство кажется более связанным с бытием, а бытие — теснее, чем рассудок,

1. Именно поэтому Гегелем восхищаются те, кто поклоняется Сатане наоборот, кто на самом деле верит в некое божество, двумя ипостасями которого являются Бог и Дьявол, то есть абсолютисты, почитающие анархизм самым логичным явлением в рамках либерализма. (*Прим. авт.*)

связано с национальностью, но я говорю *кажется*, потому что это только видимость.

Искусство не может обособиться от языка, равно как и наука. Да и как? Даже музыка и живопись, которые представляются более универсальными, далекими от скупой определенности и всего преходящего (и действительно таковыми в немалой степени являются), обладают языком, универсальным лишь отчасти — не в большей мере, чем язык великой литературы. Музыка — самое алгебраическое из искусств, но и она оказывается немецкой, французской или итальянской.

Но кричат-то у нас громче всего по поводу литературы, именно здесь оградители сражаются за самобытность, здесь возводят главные оборонительные сооружения. Они утверждают, будто нас порабощает французская литература, будто чахнет и умирает национальный театр и так далее. Все громче звучат сетования по поводу утраты нашим языком коренных свойств, жалобы на засилье *варваризмов*. Кстати, вот еще одно неверное, сбивающее с толку слово. На слух мы связываем "варваризм" с обыденным и общепринятым пониманием слова "варвар" и, сами того не желая, подсознательно выводим, что в варваризмах есть что-то варварское и что засилье варваризмов ввергает наш язык в состояние варварства; но мы не даем себе труда вспомнить — ведь и это забыто в силу своей очевидности, — что нашествие *варваров* дало толчок к обновлению европейской культуры, задыхавшейся под гнетом дряхлой, прогнившей императорской власти. Точно так же именно нашествию отвратительных варваризмов наш язык в большой степени обязан своим развитием; например, вместе с вторжением варваризма "краусизм"[1] пришло в Испанию и само это цивилизующее движение. Возможно, именно варваризмы защищают наш язык от *дикарства*, в котором язык погряз бы, попади он во власть к тем, кто мечтает, чтобы мы жили, как дикари в сельве, где им больше никто не нужен. Поначалу варваризмы, подобно вакцине, вызывают жар, но они спасают от оспы. С другой стороны, современные галлицизмы и германизмы — это тоже варваризмы, а как тогда назвать гебраизмы Луиса де Леона[2], итальянизмы Сервантеса или бесконечные латинизмы наших классиков? Беда таится не в нашествии варваризмов, а в том, что наш язык плохо приспособлен к их ассимиляции, хотя названным недостатком многие гордятся.

Искусство поневоле должно быть более самобытным, чем наука. Но есть искусство вечное и универсальное, *классическое* искусство — весьма сдержанное в оттенках локального и злободневного, и оно переживет творения любых костумбристов[3]. Для этого искусства *сейчас* и *здесь* — точки опоры, как земля для Антея, чтобы в прикосновении к ним черпать новые

1. С идеями и трудами немецкого философа Карла Кристиана Фридриха Краузе (1781–1832) Испанию познакомил молодой ученый Хулиан Санс дель Рио (1814–1869), вокруг которого сплотились энтузиасты — университетские профессора, студенты, журналисты; краусизм стал большим, чем научная школа — он сыграл важнейшую роль в общественной и духовной жизни страны, хотя испанские краусисты весьма вольно развивали идеи самого Краузе и по сути создали собственное учение.
2. Луис де Леон (1527–1591) — испанский писатель, принадлежавший к саламанской школе "мистиков", ученый-богослов; перевел на испанский язык Песнь Песней, за что был предан суду инквизиции и пять лет провел в тюрьме.
3. Костумбризм (от исп. costumbre — нрав, обычай) — направление в литературе и изобразительном искусстве Испании и Латинской Америки, для которого характерно стремление к описаниям национальной жизни, нравов и обычаев.

силы; это искусство дает особый накал всеобщему за счет непритязательности и жизненности индивидуального — слово облекается плотью и начинает жить среди нас. Когда в прах обратится музей портретов, собираемых нашими *фотографами*, портретов, интересных разве что близким родственникам — стоит умереть отцу, как сын срывает со стены портрет деда и отправляет на блошиный рынок, — так вот, когда в прах обратятся портреты, останутся вечные образы. Такому вечному искусству принадлежит наш Сервантес, который в великом финале своего "Дон Кихота" на примере Алонсо Кихано Доброго показывает нашей Испании, сегодняшней Испании, путь возрождения. Сервантес принадлежит вечному искусству, потому что, отталкиваясь от чисто испанского, он возвысился едва ли не до отречения от типично национальных черт в себе, возвысился до вселенской правды, до *человека*, дремлющего внутри каждого из нас. Ведь если мы, очистившись духовно, сумеем погрузиться в традицию, сумеем проанализировать собственное сознание, то в результате — только бы хватило на то человеческих способностей наших — мы вытащим себя сами, каждый по отдельности выйдем из плена плоти и тотчас станем гражданами не маленькой родины, а Вселенной. <...>

III

Если бы проблема испанской науки и испанского искусства не имела животрепещущего смысла, ни одна душа не стала бы за нее сражаться и люди, живые люди, не гибли бы в борьбе за исконность. Но пока мы не выработаем для себя *живой* и плодотворной концепции традиции, всякий шаг вперед будет только уводить нас в сторону от проблемы исконности.

Слово *традиция* происходит от латинского tradere и означает "передача" — то, что переходит от одного к другому; "пере-" (trans) делает родственными по смыслу такие слова, как *перевод, перенос, переход*. Но и уходящее остается, потому что есть нечто, питающее непрерывное течение вещей. Всякое мгновение — элемент цепочки, той цепочки, которую оно и воплощает в себе, хотя мир — не калейдоскоп. Для тех, кто живет в суете, нет ничего нового под солнцем, да и само солнце выглядит случайной нелепостью в однообразии дней; но тому, кто живет в душевной неспешности, каждое новое утро несет новую свежесть.

Легко допустить, что читатель — в силу общепризнанной очевидности — забыл: пока меняются системы, школы и теории, на дне образуется осадочный пласт из вечных истин в их вечной сущности; читатель забыл, что реки, которые спешат влиться в море, несут с собой с гор частички пород и помогают образовываться наносным почвам, что иногда в половодье смывается верхний слой земли и поток мутнеет, но потом поле тучнеет от осевшего ила. Над устоявшимся, неколебимым пластом вечной сущности и вечного искусства течет река прогресса, которая эту почву делает плодородной, а пласт этот утолщает.

Есть вечная традиция — завет веков, традиция вселенских и вечных науки и искусства; вот где истина, которую мы, повторяя ее, как Отче наш, умертвили в себе.

Есть вечная традиция, как есть традиция прошлого и традиция настоящего. И здесь мы должны вспомнить еще об одном общем месте, о выражении, которое, оставаясь по сути своей

живым, повторяется как нечто мертвое, — "современный исторический момент". Задумывался ли над ним читатель? Ведь если говорят о современном *историческом* моменте, значит, подразумевают, что есть и другой, неисторический, и это вполне справедливо. Но если есть *историческое* настоящее, значит, есть традиция настоящего, потому что традиция — сущность истории. Только с такой точки зрения можно осознать живой смысл традиции как сущности истории, как ее наносной почвы, проявления интраисторического, бессознательного в истории. И на этой мысли стоит задержаться.

Волны истории с шумом, искрясь на солнце пеной, катят по бесконечному и глубокому морю — гораздо более глубокому, чем тот слой, что волнуется над невозмутимой толщей воды, и солнечному лучу никогда не добраться до его настоящего дна. Все, о чем ежедневно рассказывают газеты, вся эта история *современного исторического момента* — всего лишь поверхность моря, она, эта поверхность, замерзает и кристаллизуется в книгах и хрониках, но даже кристаллизованный таким образом слой по сравнению с интраисторической жизнью существует не дольше, чем жалкая земная скорлупа, на которой мы живем, по сравнению с заключенной в ней огромной пылающей сердцевиной. Газеты ничего не сообщают о безмолвной жизни миллионов людей без истории, о тех, кто постоянно, в разных уголках земли пробуждается по велению солнца и отправляется на свои поля, чтобы продолжать делать скромную и невидную работу — повседневную и вечную, ту работу, что подобно океанским коралловым рифам дает основу, на которой вырастают скалистые острова истории. Я уже говорил, что на фоне величавой тишины держится и живет звук; на фоне огромного безмолвного человечества становятся заметны те, кто привносит в историю шум и бурленье. Интраисторическая, безмолвная и неизбывная жизнь — подобная глуби морской — и есть субстанция прогресса, истинная традиция, иными словами, традиция вечная, а не та псевдотрадиция, отыскивать которую обычно отправляются в прошлое, погребенное в грудах книг и бумаг, под памятниками и камнями.

Те, кто живут в мире, в истории прикованными к *современному историческому моменту*, кого волны перекатывают по поверхности моря, где видны судорожные движения потерпевших кораблекрушение, те верят, что как бури и ненастья сменяются затишьями, так жизнь может прерываться и возобновляться. Много разговоров велось о возобновлении *истории* Испании, но она смогла возобновиться отчасти и потому, что история образуется из не-истории, что любые волны — это все-таки волны недвижного и вечного моря. Историю Испании возобновила не реставрация 1875 года, а миллионы людей; они продолжали делать то же, что и раньше, для них солнце светило одинаково что до 26 сентября 1868 года[1], что после, прежними оставались их труды, прежними песни, с которыми они шли по вспаханной борозде. Но, в сущности, и они ничего не возобновляли — потому что ничего не прекращалось. Новая волна несет ту же воду, что и предыдущая: все

1. 18 сентября 1868 г. началась Испанская революция, 26 сентября была свергнута с престола королева из династии Бурбонов Изабелла II, были созваны Учредительные кортесы, которые приняли конституцию, вводившую демократические свободы. В феврале 1873 г. была провозглашена республика, 3 января 1874 г. в результате военного переворота установилась военная диктатура, 29 декабря того же года сын Изабеллы II был провозглашен королем Альфонсом XII.

те же волны катят все по тому же морю. Великий урок получили мы в 1868 году! Живущие в истории перестают слышать тишину. Давайте взглянем, сколько было их, восхвалявших 1868 год?

Скольким помог возобновить жизнь призыв "с грохотом разрушить все существующее"? Прим[1] не раз повторял: "С грохотом разрушить все барьеры!" Этот смутьян нес в самой душе своей любовь к шуму истории; но ведь шум ее был слышен только потому, что молчало огромное большинство испанцев, *громыхание* летней грозы слышалось на фоне величавого молчания вечного моря.

В мире безмолвных, в глубинах моря, под историей живет подлинная традиция, вечная традиция, в настоящем, а не в прошлом — окончательно умершем и погребенном среди мертвых же вещей. В глубинах настоящего следует искать вечную традицию, в чреве моря, а не на дне бочек прошлого, ведь пожелай кто ими воспользоваться, они развалятся, и содержимое их выльется все в то же море. Как традиция есть субстанция истории, так вечность есть субстанция времени; история — форма традиции, как время — форма вечности. Искать традицию в мертвом прошлом — значит искать вечность в прошлом, в смерти, значит искать вечность смерти.

Традиция живет в глубинах настоящего, это его субстанция; без традиции не может быть науки, вернее, сама наука и есть традиция. Те последние законы, которые открыла наука, — закон сохранения энергии, закон единообразия природы — не более чем формулы живой вечности, которая пребывает не где-то вне времени, но внутри него. Спиноза, всей душой своей погруженный в вечное, сумел дать вечное определение сущности бытия, которая сводится к заключенному в самом бытии постоянству. Потом это стали повторять на тысячу ладов: "постоянство энергии", "воля к жизни" и т. д.

Именно к вечной традиции должны обратить взоры пророки любого народа, чтобы по-настоящему прозреть, тогда они сумеют познать то, что в народе остается бессознательным, и будут вернее направлять его. Именно вечную испанскую традицию, которая в силу того, что она вечная, является скорее общечеловеческой, нежели испанской, мы, испанцы, должны искать в живом настоящем, а не в мертвом прошлом. Надо искать вечное в наносных почвах ничтожного, *неорганического*, того, что кружит вокруг вечного, словно блуждающая комета, но не образует с ним определенного созвездия, и надо свыкнуться с мыслью: взбаламученный ил реки настоящего осядет на вечную и неизменную твердь.

Вечная традиция есть также основа бытия самого человека. Именно человека должны мы разглядеть в своей душе. А мы в исступлении исследуем в себе наименее человеческое; слепота наша доходит до того, что мы нарекаем самобытным то, в чем меньше всего самобытности. Но ведь самобытность — не гримаса, не поза, не *отличность* и не *оригинальность*; истинно самобытно породительное для бытия, для человеческого в нас самих. Какое безумие — мечтать оторваться от общих для всех основ, от всеединой для всех почвы, от неизменной глины, из которой лепятся разные формы того, что уподоб-

1. Хуан Прим-и-Пратс (1814–1870) — испанский политик, военачальник, один из вдохновителей революции 1868 г., став председателем Совета временного правительства, выступал за установление в стране конституционной монархии.

ляет нас друг другу, объединяет и делает друг другу *ближними*, — разные формы любви и человечности и в конечном счете человека — истинного человека, наследника целого рода человеческого!

С каким упорством у нас возводят на трон псевдооригинальность, внешний знак отличия, гримасу, карикатуру, разные признаки внешней оболочки! Мы ставим выше золота работу чеканщика, и — разумеется! — монеты часто оказываются фальшивыми. Мы предпочитаем жизни искусство, в то время как даже самая мрачная и низкая жизнь стоит бесконечно большего, чем самое великое произведение искусства.

Но та же одержимость, с какой индивиды стремятся к отличительному и особенному, овладела и целыми *историческими* классами у разных народов. И как личное тщеславие бывает столь нелепым, что в желании хоть чем-то выделиться люди начинают кичиться тем, что они глупее других, так есть нации, которые чванятся своими изъянами. Те национальные черты, коими гордится каждый европейский народ, очень часто являются их недостатками. И мы, испанцы, грешим тем же.

IV

Существует особое воинство, оно презирает ту вечную традицию, которая опирается на сегодняшний день человечества, и ищет *исконность* и *историчность* традиции в прошлом нашей расы, вернее сказать, расы, жившей до нас на этой земле. Но большинство тех, кто сами себя провозглашают традиционалистами либо в душе себя за таковых почитают, на самом деле созерцают в прошлом не вечную традицию, а лишь ее смутную тень. Эти люди, спасаясь от оглушающего их шума современности и не умея погрузиться в тишину, из которой рождается шум, тешатся эхом и отголосками мертвых звуков. Они презирают любые структуры, осмысленные более или менее философически — на современный французский манер, и цепляются за выкованные исторически — на старинный испанский манер; они осмеивают тех, кто хочет творить живую плоть из облаков, а сами хотят оживлять скелеты; проклиная якобинство, становятся якобинцами. Именно среди них и прежде всего среди них мы обнаруживаем адептов так называемых исторических штудий — основательных и скрупулезных, — которые позволяют извлечь на свет Божий исторические своды законов и правовых норм, а также дают силы, чтобы бороться против живого закона о сроке давности или погашения права за давностью и продолжать надеяться на реставрацию.

Увы этому воинству! Там есть кому рыться в архивах и сличать документы, собирая бумажную жатву, счастливо воскрешая мертвое, составляя библиографии и каталоги и даже каталоги каталогов, описывая переплеты, откапывая инкунабулы и тратя массу времени на утраченное безвозвратно. Их труд полезен, но не для них и не благодаря им, а вопреки; их труд полезен для тех, кто извлекает из него совсем иной смысл. <...>

Когда на нас обрушивается более или менее новая наука, скажем физиология, при виде цитат из немцев, французов, англичан или итальянцев кто-нибудь из гробокопателей поднимает крик и называет имя Эрваса-и-Пандуро[1],

1. Лоренсо Эрвас-и-Пандуро (1735–1809) — испанский ученый-энциклопедист, один из зачинателей испанской компаративистики ("Каталог известных языков и наций", 1784), писал труды по астрономии, физике, истории.

которому все равно суждено остаться забытым: ведь бывшее в нем вечным уже впитано наукой и возвращается к нам с нею, а на прочее не стоит тратить времени. Время, потраченное на подобное чтение, я никогда в жизни не сумею вернуть.

Все члены фаланги, посвятивших, себя чрезвычайно полезному занятию — собирать и классифицировать мертвых насекомых, насаживать их на булавки, чтобы поместить с нужным ярлыком в энтомологический ящик и выдать нам за нечто совсем другое, — все члены этой фаланги прыгают от счастья, когда им чудится, будто какому-нибудь талантливому человеку, способному раздуть еще тлеющую в скелетах искру жизни, удается утопить под ворохом набитых соломой чучел хоть что-то от вечной традиции. С какой детской радостью встретили они творения Тэна, в слепоте своей решив, будто написанное им поможет удушить идеал Французской революции! Они не понимают, что работы его получили живой отклик только потому, что несут в себе обновленное представление о вечной традиции, не понимают, что из работ его еще в большем блеске выступает 93-й год. Есть ли более жалкое занятие, чем со старческим тщеславным упрямством отыскивать *исторические предпосылки* протестантизма, гнаться за роем мертвых нелепиц, в то время как жив обновленный протестантизм, в то время как дело его развивается. Отыскивать исторические истоки того, что имеет интраисторические корни, в безумной мечте — удушить жизнь! Какая слепота нужна, чтобы не осознать: в причине кроется суть результата, результат жив, пока жива причина.

Тысячу раз размышлял я над выводом Шопенгауэра о малой полезности истории и над тем, насколько этот вывод верен, думал и о возрождающей силе воды из реки Забвения. Безусловно, лучшими книгами по истории являются книги, в которых пульсирует современность, и если мы внимательно приглядимся, сразу заметим: когда об историке говорят, что он возрождает умершие столетия, значит, он отдает им свою душу, оживляет их дыханием вечной интраистории, которое почувствовал в настоящем. <...>

Размышляя над не совсем справедливым суждением Шопенгауэра, я подумал, насколько больше уроков можно извлечь из книг о путешествиях, чем из исторических книг, подумал о преображении исторической науки в исследование жизни и души, о том, насколько глубже историки, если они одновременно являются художниками и философами, чем историки-прагматики, и насколько лучше представляют нам любой век их художественные сочинения, чем их же труды о суетных делах, папирусах и камнях. Современная история — живая история, история, презираемая гробокопателями-традиционалистами, презираемая до крайней степени ослепления — ведь находятся государственные деятели, которые готовы корпеть над книгами, выясняя, что сделали и сказали когда-то давно люди, жившие в суете и шуме, и готовы на все, лишь бы в живую историю современности не пробился еле слышный голос молчальников, обитающих ниже уровня истории, голос настоящих людей из плоти и крови.

Сколько ни тверди о необходимости искать вечную традицию в современности, о том, что она скорее интраисторична, чем исторична, что история прошлого нужна лишь в той мере, в какой помогает нам познать настоя-

щее, — все впустую. Наши традиционалисты публично признают эти истины, но сердцем их отвергают. На самом деле настоящее их оглушает, смущает и раздражает, потому что оно не застыло в мертвом печатном слове, его не заполучить в полную свою власть; как скелеты, оно не пахнет пылью, не имеет пришпиленных к спине булавками ярлыков. Наши традиционалисты живут в настоящем как сомнамбулы, не зная его и не желая знать, вслепую клевеща на него и черня его, они неспособны в спокойствии душевном разгадывать загадки настоящего. Закрученные вихрем *неорганичного*, вращающегося без заданной орбиты, они не могут разглядеть гармонию, всегда in fieri[1] из вечного, потому что настоящее не подчиняется правилам шахматной игры, только и доступным их пониманию. Они видят в настоящем лишь хаос — за деревьями не умеют разглядеть леса. По сути, безнадежная душевная слепота, болезненная гиперчувствительность мешают им увидеть *факт*, событие само по себе, но событие живое, пульсирующую плоть природы. Они ненавидят настоящее из-за свойственной всем laudatoris tempores acti[2] немощности духа, они воспринимают лишь то, что их непосредственно задевает, и, как бывает со стариками, винят весь мир за свои недуги. Иными словами, покорную тень прошлого они подгоняют под свое разумение, ведь свой образ мысли они не могут адаптировать к современности, и вот результат: они начинают считать себя мерилом всего. Таким образом, не умея увидеть настоящее, они не могут познать прошлое, в которое тычутся рылом и где бестолково мечутся туда-сюда.

1. В процессе возникновения (*лат.*).
2. Ревнителям старины (*лат.*).

Их сразу отличишь по презрительным отзывам об успехе, о божественном успехе — единственном, что, собственно, служит веским аргументом здесь, среди нас, где каждый уверен в своей правоте; об успехе, который сильнее воли и потому подчиняется ей, когда воля непреложна, вечна — она мать веры и надежды, но веры живой — не в то, чего мы никогда не видели, а в то, что нам дано созидать невидимое ныне; они проклинают успех, ведь он, прежде чем начать жатву, дожидается, пока идеи вызреют, он глух и к воплям нетерпеливого и к хулам отчаявшегося. Их сразу отличишь по твердой убежденности в том, будто сегодня всевластно правит сила, попирающая закон; их сразу отличишь по их пессимизму.

Пора обратить взоры к вечной традиции, прародительнице идеала, который и есть не что иное, как сама вечная традиция, отраженная в будущем. Вечная традиция — это традиция вселенская, космополитическая. Бороться с ней — значит возжелать разрушить в нас общечеловеческое, значит искать смерти, стремиться отличиться от других и тем самым сделать невозможным или задержать наше растворение в общем современном европейском духовном универсуме.

Надо обрести право сказать: "На самом деле *умирает* и на самом деле разумен Алонсо Кихано Добрый"; сказать, что те самые старые "сказки", извлеченные из нашего полного приключений прошлого и "правдиво рассказывавшие о наших бедах, будут возрождены нашей *смертью* — с Божьей помощью и нам во благо".

Чтобы мы открыли в себе общечеловеческое и сделались новым народом, нам необходимо — да, необходимо — познать себя, ибо случайное, преходящее, вре-

менное, исконное очищается, разрушаясь, уже в силу того, что сублимируется и достигает предела самовыражения. Уже в силу того, что Дон Кихот — испанец и, главное, умер такой прекрасной смертью, он принадлежит всему миру. Не станем делать нашим героем некоего чудака, с точки зрения вечных человеческих ценностей ему не пойдет на пользу суета, затеянная вокруг его тени энтомологами от истории, не пойдут на пользу труды тех, кто ставит наши недостатки выше наших достоинств,— всей этой фаланги, которая любые правдивые слова о великой тени объявляет признаком *дурного вкуса, невежества* и *требует их запрета*, зато насмешки над "Гимном Риего"[1] почитает хорошим тоном.

Когда душа в жажде истины заглядывает в себя саму, она окончательно расстается с иллюзией — матерью порока, ей удается разрушить эгоистическое "я", самостоятельно очиститься, в том числе и от своего прошлого, целиком раствориться в Боге. Эта мистическая доктрина, таящая в себе глубокие истины, применима как к народам, так и к индивидам. Народы, заглядывая в себя, пытаясь понять себя, проанализировать себя и отыскать в собственной истории корни одолевающих их недугов, самопроизвольно очищаются и растворяются в вечно человеческом. Через познание своей исторической сущности они погружаются в собственную интраисторию и по-настоящему находят себя. Но горе тому, кто, оказавшись один на один с собственной совестью, упивается прошлыми грехами и в погубивших его пороках начинает видеть свою оригинальность, кто превыше всего ставит мирской вопрос чести.

К изучению собственной истории, которое должно было бы сделаться нелицеприятным и честным анализом, у нас, на беду, относятся как к поводу для апологий — даже когда дело касается фактов постыдных, — а также как к поводу для самооправдания и сделок с совестью или как к средству защиты против обновительного покаяния.

Горько читать исторические труды, где самые позорные события объявляются нашей *славой*, той самой *славой*, от которой нам надо очищаться, где упиваются нашими былыми пороками, где делается попытка оправдать наши очевидные злодеяния злодеяниями кого-то другого. Покуда история не превратится в исповедь, в честный разговор со своей совестью, она не поможет нам сбросить с себя обличье народа старого и не станет для нас источником спасения.

Человечество — вечный род, субстанция исторических родов, которые возникают и исчезают подобно морским волнам; только общечеловеческое остается вечно исконным. Но чтобы прийти к вечному и вселенскому, надо в исконном разрушить преходящее и увидеть, как возникают и исчезают роды, как возник наш род и какие приметы будущего несет он в своем настоящем...

Февраль 1895 г.

1. Рафаэль Риего-и-Нуньес (1785—1823) — испанский революционер, возглавил восстание 1 января 1820 г., после поражения революции был казнен. Его имя в Испании долгое время оставалось символом свободы. "Гимн Риего" был впервые исполнен в 1820 г.

Вера

Liv og tro skad smelte sammen.
HENRIK IBSEN. "Brand", akt. V. [1]

Вопрос: *Что такое вера?*
Ответ: *Верить – значит без сомнения принимать то, чего мы никогда не видели.*

Без сомнения принимать то, чего мы не видели? Да нет же, нет, не принимать то, чего мы не видели! А сотворять то, чего не видим. Сотворять — именно так, сотворять и, растрачивая, этим жить, и снова сотворять, и снова исчерпывать, растрачивать, чтобы опять творить... — без конца, в постоянном жизненном борении. Такова живая вера, ведь жизнь — беспрерывное созидание и беспрерывная же трата, а потому — нескончаемая смерть. Думаешь, ты жил бы, если бы не умирал каждым мигом своим?

Вера — это когда мы духовно познаем жизнь, а ведь мало кто из живущих имеет понятие о том, чем же он живет, если только жизнь его можно назвать жизнью.

Вера — прежде всего и превыше всего — твердая убежденность; в себя верит тот, кто на себя сполна полагается, именно на себя, а не на свои летучие помыслы; кто чувствует, что жизнь из него рвется наружу, побуждая к делам и направляя, что жизнь дарит ему помыслы и сама же их оспаривает.

Верой обладает не тот, кто желает ее иметь, а тот, кто верить способен, тот, кому она дана самой его жизнью, потому что вера — дар жизненный и, если угодно, Божья милость. Ведь если ты несешь в себе несокрушимую веру в собственное предначертанье, веру, готовую сдвинуть горы, то на самом деле не вера дает тебе силу для поединка с горами, нет, верою выплескивается наружу пульсирующая в тебе сила.

Но не торопи веру, иначе ростки ее никогда в тебе не проклюнутся. Не понуждай ее. Возжелай веры всем сердцем и со всей неотступностью, надейся — ведь надежда уже и есть вера. Ты слаб? Уповай на свою слабость, обрети в ней опору — уйди в тень, стушуйся, смирись; смирение — тоже вера.

Иными словами, не ищи прямого и скорого пути к вере: озаботься своей жизнью, и, если ты сумеешь растворить себя целиком в собственной жизни, она даст тебе веру. Пусть внешний человек сольется в тебе с внутренним, и — уповай. Уповай, ибо верить — значит уповать и любить.

Веру питает идеал и только идеал, но идеал реальный, конкретный, живоносный, воплощенный и — одновременно — недосягаемый; вера ищет неосуществимого, абсолютного, безграничного и вечного — совершенной жизни. Вера — причастность к Вселенной, когда в реальном времени работаешь ради вечности, не гонясь за быстрым результатом — призрачным и жалким; работаешь не ради Истории, а ради вечности. Вера — это когда ты проповедуешь в ночи, среди пустыни, смотришь на мерцание

1. Жизнь и вера должны слиться воедино (*норвеж.*). Генрик Ибсен. "Брандт", акт V.

звезд, не сомневаясь, что они тебя слышат, и говоришь с ними начистоту, как святой Антоний Падуанский, когда он проповедовал рыбам.

Это ведь интеллектуализм учит, будто верить значит принимать то, чего нельзя увидеть собственными глазами, и будто вера сводится к признанию разумом некоей абстрактной логической первоосновы, а вовсе не к умению довериться и подчиниться жизни, той жизни, которую питает энергия, излучаемая душами, личностями, но не идеями, то есть довериться твоей собственной жизни. Да, именно твоей собственной жизни, твоей конкретной жизни, а не той, что именуют Жизнью — ведь это тоже своего рода абстракция, своего рода идол.

Так сумейте же разглядеть в религиозном миропонимании — том единственном, что доступно нашим воспитанным в христианстве душам, то есть в христианском религиозном миропонимании, — сумейте разглядеть в нем, что вера есть упование раскаявшегося грешника на Христова Отца, ведь Христос — единственный Бог, явившийся нам во плоти.

Только такая вера спасает, да и вообще — только это спасает. Из такой веры произрастают поступки — подобно тому, как подземный ключ дает начало рекам.

Присмотритесь к языку, ведь именно в языке под давлением столетий спрессовались вековые слои, богатейшие пласты коллективной духовной жизни; присмотритесь к языку. О чем он нам поведает?

Наше испанское слово fe (вера) мы унаследовали — вместе с понятием, которое оно выражает, — от латинян, от их fides, откуда шли такие слова, как fidelis — верный, fidelitas — верность, confidere — твердо надеяться и так далее. Корень fid — то же, что и греческий корень πιθ от глагола πεθεν (убеждать) в активном залоге и πειθεςβαί (повиноваться) — в среднем; а повиноваться значит доверять и любить. И таким образом из корня πιθ получилось πίσας — вера, понятие весьма отличное от γνῶσις, то есть знания. Таким же образом в немецком языке мы встретим Glaube — вера, от старого верхненемецкого gilouban, готического galaubjan, корня liub — lub, который заключает в себе понятие любви. Но именно в греческом языке разница между pistis и gnosis позволяет различить особый оттенок в понятии веры.

Иисус совсем недавно посетил сей мир, и еще не развеялся аромат следов Его, не угасло эхо утешительных слов Его; живительная память о Нем еще озаряла светом своим Его учеников — так мягкий отблеск заходящего солнца, что умирает среди багряных облаков, стелется по утомленной земле. Юные христианские общины ожидали скорого пришествия царствия Сына Божьего и Сына Человеческого; личность и жизнь Божественного Учителя были полюсом их устремлений и чувств. Его учение не воспринималось в отрыве от личности; без Его жизни невозможно было постичь Его деяния, неотделимые от Него самого. И люди ощущали себя преисполненными истинной веры, той веры, которая сплавляется с надеждой и любовью — с тем, что носило имя pistis πίσας — вера или упование, и это была скорее религиозная вера, нежели теологическая, чистая вера, все еще свободная от догм. Люди жили верой; жили упованием на будущее, уповая на приход царствия вечной жизни; они жили надеждой. И каждый придавал своей надежде ту умственную или рассудочную

форму, которая лучше ей соответствовала, хотя внутренне всех их единил общий настрой общих упований – тон, а не доктрина, и таким образом формировались различные *понимания* как Иисуса, так и Его деяний.

У отцов-апостолов легко обнаружить различные понимания, обычно не слишком четко выраженные, одного и того же предмета веры, основанной на уповании, на надежде; к тому же они весьма часто пользовались и священным правом впадать в противоречие. В кипящем энтузиазмом котле чаяний и устремлений уже вырисовывались, правда еще в зародышевом состоянии, все те тенденции, которые позднее легли в основу длинной череды ересей; но тогда еще практически не существовало разницы между ортодоксами и еретиками, вернее, ортодоксальной была сама ересь, ибо сводилась она к прямой вере в доктрину – вере, в ту пору сжатой до живого упования, которую каждый, придавая ей форму, избирал для себя. И отсюда, из самого этого выбора, возникала ересь, hairesis, что по сути и означает "выбор". Pistis, живая вера, придавала глубинную общность всему богатейшему разнообразию, в котором уже пульсировали будущие различные верования. Так и сегодня некая единая pistis продолжает, выпариваясь, подниматься над различными, враждебными друг другу, христианскими конфессиями.

По мере того как накал веры ослабевал, а религия обретала светские черты, поверхность огненной массы остывала и покрывалась коркой, которая все больше и больше отделяла саму массу от окружающего мира и затрудняла доступ воздуха к ней. Таким образом происходило роковое разделение религиозной жизни и жизни обычной, в то время как последней надлежало бы оставаться всего лишь формой первой. То тут, то там стали появляться зоны затвердений и кристаллизаций. Юную pistis постепенно заменяла gnosis, знание, верование, но отнюдь не вера – доктрина, а не упование. Было провозглашено, что суть жизни – в знании; практические религиозные цели преобразились в теоретические философские принципы, а религия – в некую метафизику, вроде бы только что открытую.

Родились секты, школы, расколы, наконец – догмы. Мало-помалу формировался и символ веры, и день, когда он воспарил во всей своей кристальной чистоте и чеканности, стал днем победы духа gnosis, днем триумфа ортодоксального гностицизма, того, что возник в результате постепенной адаптации ранних и поспешных процессов эллинизации Евангелия, а не как продукт того, что обычно называют гностицизмом. В дальнейшем вера для многих обрела форму безусловного приятия невидимого – признания формул; gnosis, а не упование на царствие вечной жизни; pistis, то есть вера в то, чего люди не имели перед глазами. Так проходит молодость.

Сегодня и тут и там в изобилии развиваются процессы, схожие с теми, что сплачивали людей в первые христианские общины; сегодня юных духом объединяет общая надежда на пришествие царствия человека; сегодня дает ростки истинная вера, pistis santa, то есть упование на идеал, всегда сокрытый в будущем, вера в утопию. Многие верят и надеются на новое тысячелетнее царствие, на скорое спасение, на будущую свободную, братскую и справедливую жизнь. Этот идеал не будет достигнут: он всегда будет маячить в будущем, и таким образом лучше

сохранится его бесценная идеальность, та, что дает нам жизненную энергию, ведь не свершилось скорое пришествие Христа, чье царствие не от мира сего; да, но Христос все же пришел и приходит в душу каждого, кто в Него истинно верует, точно так же воцарится будущий человек в душе каждого своего истинного приверженца; так мы станем жить в будущем, и наша напряженнейшая духовная работа оставит плодотворный след в каждодневной жизни.

Но разве сей грядущий человек, сей сверхчеловек, о котором вы беспрестанно твердите, есть что-то иное, а не совершенный христианин, ныне еще спящий на манер бабочки в христианских личинках или куколках? Разве он, сей сверхчеловек, будет чем-то иным, а не совершенным христианином, как только разорвет оболочку гностического кокона и выйдет из мистических сумерек, где он томится, в мир — Божий мир, — хотя, очутившись в нем, он, возможно, отвергнет жизнь, обычную жизнь? И тогда станет Природа благодатью. И тогда рухнут мрачные средневековые теории, в которых задохнулось простое, светоносное и человеческое Евангелие, теории о рабах и хозяевах рабов. Тогда анахорет найдет уединение в своем собственном духовном мире, чтобы из этого убежища участвовать в потоке общей жизни и жить жизнью всех остальных, ибо только делами любви к ближнему питается любовь к Богу.

Ведь что такое, ежели подытожить, христианская вера? Это либо неколебимая уверенность в Христе, либо вообще ничто; уверенность в исторической личности и в историческом существовании Его жизни, какое бы представление о ней каждый себе ни составил. И многие из тех, кто, по их словам, Его отрицают, представление это для себя имеют; и стоит копнуть поглубже, обнаружится их Вера в Христа, в божественность Христа, в божественность человека в Христе явленную, в то, что мы существуем, действуем и живем в Боге; вера, которая зиждется не на Его идеях, а на Нем самом; не на доктрине, в Нем воплощенной, но на реальной исторической личности, на душе, которая жила, давала животворную силу и любила. Идеи не живут, они не дают животворной силы и не любят. Христианская вера заключается в том, что через евангельского Христа — а не через Христа теологов — является нам и приближает нас к себе Бог — живой, милосердный, *иррациональный*, или, ежели хотите, сверхрациональный, или интрарациональный, Бог религиозного императива, а не абстрактный Высший Генератор Идей, созданный теологами; не "неподвижный перводвигатель" Стагирита[1] в окружении свиты аргументов — физических, космологических, теологических, этических и т. д. и т. д. Бог в наших душах — это Дух, а не Идея, любовь, а не догма, жизнь, а не логика.

Все, что не есть сердечная преданность этому жизненному убеждению, — не есть вера, хотя может считаться верованием. А любое верование сводится в конечном итоге либо к credo quia absurdum[2] — самоубийственному, замешанному на отчаянии интеллектуализму, либо к ужасной наивной вере — тому, что называется верой угольщика.

1. Стагиритом по месту рождения (г. Стагира) называли Аристотеля (384—322 до н.э .). Речь идет о его теории божественного "неподвижного перводвигателя".
2. "Верю, потому что невозможно" (*лат.*) — знаменитая формула, приписываемая Квинту Септимию Флоренсу Тертуллиану (ок. 160 — после 220).

Да, вера угольщика ужасна! Ведь в чем ее суть?

— Во что ты веруешь?

— В то, во что верит и чему учит наша святая Матерь Церковь.

— А во что верит и чему учит наша святая Матерь Церковь?

— В то, чему верю я (bis).

Вот по такому порочному кругу он и ходит... Да еще сколь порочному! Ему показывают закрытую и запечатанную семью печатями книгу и говорят: "Верь тому, что здесь написано!"; а он отвечает: "Верую!". Но верит ли он тому, о чем говорится в книге? Да и знает ли он, о чем она толкует? И что это, если не своего рода "плясание под чужую дудку"? Зато — нет нужды думать. Вот в чем все дело!

Подобная вера — всего лишь акт подчинения некоей земной власти, именно что земной, это обмирщение веры; не упование на Бога через Христа, а подчинение иерархическому и юридическому институту...

Да, безусловно, вера поддерживается только в церкви. В церкви. А что такое церковь? Сообщество верующих, всех тех, кто верит и уповает. Самая многочисленная церковь — это Человечество.

Но что же произошло здесь, у нас? А здесь захотели соединить две вещи несовместные: Евангелие с римским правом, весть о любви и спасении с ita ius esto[1], дух с догмой. И таким образом подрезали крылья древнееврейскому профетизму, который взывал к любви, а не к жертвоприношениям, наградили его балластом из юстинианских эдиктов и языческих sacra; очистительной водой залили огонь веры. А превыше всего вознесли Стагирита с его логической мельницей, его силлогизмами, его энтелехией, активным началом, превращающим возможность в действительность, и пассивной возможностью становления, со всеми его категориями и формулами, загубленными легионом несчастных идеофагов, для коих и сердце стало всего лишь материалом для исследования. Под сенью смертоносного канонического права возникла упаднические теология — скорее дочь, нежели мать блестящей эллинской фантазии на евангельские мотивы, — на которую затем надели замысловатую узду римского духа, духа солдат и преторов, дисциплины и законоустановлений, и дух этот сформировался под влиянием закона — adversus hostem aeterna auctoritas[1] и упомянутого ita ius esto. А кончил тем, что стал auctoritas единственно ius, исполненным adversus hostes против всех верующих, превращенных в hostes, во врагов. Ведь если *человек* — враг, значит, *человек* — дурен; против человека нужно обороняться законом, потому что человек по природе своей строптив и высокомерен. Бедный человек!

А все сводится к *шибболет*!

— Что еще за *шибболет*? — спросишь ты.

Открой 12 главу Книги Судей и найдешь там объяснение. Вот о чем идет там речь:

Ефремляне воевали с Галаадитянами, и собрал Иеффай всех жителей Галаадских и сразился с Ефремлянами. "И перехватили Галаадитяне переправу чрез Иордан от Ефремлян, и когда кто из уцелевших Ефремлян говорил: "позвольте мне переправиться", то жители Галаадские говорили ему: "не Ефремлянин ли ты?" Он гово-

1. Пусть будет правом (*лат.*).

1. Отличить соотечественника от иноземца (*лат.*). Цитируются так называемые "Законы 12 таблиц" (Leges XII Tabularum, 451 — 450 до н. э.) — первый по времени свод законов Древнего Рима.

рил: "нет". Они говорили ему: "скажи: шибболет", а он говорил: "сибболет", и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, закалали у переправы чрез Иордан. И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи".

Вот что нам рассказывает Книга Судей в 5 и 6 стихах главы 12. И нечто подобное происходило бы, вздумай затеять меж собой войну Старая и Новая Кастилии. Когда кто-либо из последней захочет переправиться через Гуадарраму, его спросят: "Ты мадридец?", и если он ответит "нет", ему велят сказать "pollo", и он скажет "poyo", потому что иначе они произносить не умеют. И тогда возьмут его, чтобы заклать у Гуадаррамы.

А слово шибболет осталось прежде всего в английском языке (shibboleth), ведь язык этот, как и говорящий на нем народ, во многом сформировался под влиянием библейских традиций — оттуда и брались пароли для всяких партий или сект.

Мы же слов не перенимали... А суть? У нас полно всяких schibolets, или chiboletes, если для вас предпочтительней такая, уже адаптированная нашим языком, форма; они используются в качестве паролей; шибболеты у нас повсюду. "Иезуит!" — и кажется, будто что-то этим сказано. "Краусист!" — и человек словно гору с плеч свалил. Шибболеты, шибболеты — повсюду, шибболеты — как знак отсутствия веры. "Скажи "pollo"!", и бедняга отвечает: "Poyo!", а в ответ: "Ах, ты говоришь "poyo"?.. Так заклать тебя, ибо ты ефремлянин!"

В пылу жестоких и не столь уж жестоких битв, с невероятными трудностями, сокровенно желаемая, с тревогами и надеждами, с отчаянием и ликованием, родилась из души сообщества догма — цветок древа, преисполненного жизни, древа с положенными ему корнями, стволом, листьями и соком. И сообщество препоручило самым юным своим побегам сей драгоценный цветок, коему предстояло дать плод или, лучше сказать, через который дерево должно было принести плод. И цветок дал плод, но, дав плод, цветок умер — ведь иначе не бывает. И правоверные сохранили увядшие лепестки, поместив в ковчег, и держат их под стеклянным колпаком, и поклоняются увядшим лепесткам мертвого цветка.

Но увядшие лепестки, как и те цветы, что хранят засушенными меж страницами молитвенника — в память, ах, в память о былой любви, — превратились в шибболет. И когда является кто-либо из ефремлян и приближается к стеклянному колпаку ковчега, гаалади-тянин заставляет его понюхать через стекло этот увядший и засушенный цветок из литургического гербария и говорит ему: "Скажи, чем он пахнет?" И если ефремлянин искренне ответит то, что подсказывает ему тонкий нюх: "Он ничем не пахнет!" или "Пахнет смертью!" — "На заклание его!"

На заклание! На моральное заклание! Каленым железом! На суд имманентной, вездесущей инквизиции! Цветок не пахнет! Не пахнет! У тебя нет нюха! Несчастный!.. Да, несчастный, да, достойный сочувствия и жалости, но ведь и представляющий опасность для остальных, потому что подобные зловредные насморки заразны, болезнь распространится, поразит слизистую оболочку, правоверные галаадитяне утратят обоняние — а если они утратят его, что же станется, Боже мой, с племенем Галаада? Без обоняния они наверняка все поотравляются, ведь нюх — часовой рта, и без него утрачивается и вкус. Меч,

меч правосудия сюда! Заклать его! Не то он заразит нас своим дьявольским насморком, и мы утратим нюх и не сможем наслаждаться запахом таинственного цветка, и оттого жизнь наша станет безрадостной.

Да, надо любыми силами противиться потере чутья — тому, что называют потерей духовного чутья. Нельзя допустить, чтобы сухой цветок из гербария распространял запах смерти и тлена, так что стоит ли отправляться в чистое поле за цветами, которые растут под солнцем, дают плоды и умирают. Ведь лишь умирая цветок дает плод. Умирая? Скорее возрождаясь. Да и вообще: существует ли что-либо, что не есть непрерывное возрождение?

***

Э. восторгался тем, что Символ веры поют. Да, поют. Но разве не сводят его при этом к *букве*, букве музыки, навязчивым тра-ля-ля?

Qui ex Patre Filioque procedit!..[1] Сколько чернил пролито из-за этого самого Filioque, сколько непомерных умственных усилий затрачено, сколько силлогизмов и инвектив брошено на ветер! Но тот, кто повторяет это нынче, много ли черпает для укрепления своей жизненной позиции? Почему слово это исключено из Символа веры народного, общераспространенного, которому учат в школах — из "Credo ad usum servi pecoris"[2], в то время как оно сохраняется в литургическом, в том, которое поют? В чем больше божественного: когда человек поет его сам или слушает чужое пение? Когда он больше возвышается сердцем? Каким светом награждает его этот Filioque, дабы он совершил восхождение к Любви?

Но упаси вас Бог осуждать веру бесхитростную и наивную, даже если волей обстоятельств она обрела уродливые формы. Всякая вера свята. В том числе и вера фетишистская, ведь и она воодушевляет, утешает, дает силы, вселяет отвагу, творит чудеса.

Взгляните на чудотворный образ, на грубо обработанный топором кусок дерева, скорее всего сделанный простым плотником, на кусок дерева, к подножию которого сельский люд из поколения в поколение шел со своими горестями, надеждами, тревогами, но шел и для того, чтобы укрепиться в своих надеждах, мечтаниях. Сколько там приношений по обету: грязные костыли, срезанные косы, пожелтевшие и покрытые слоем пыли детские рубашечки, мятые ленты, неуклюжие рисунки, ломкие от времени восковые фигурки... А потом зайдите, к примеру, в один из парижских храмов. Вот оно, настоящее кладбище фетишизма, здесь он смердит на своем почти истлевшем скелете. Здесь простодушные дары превратились в упорядоченные надписи — красными буквами на белых мраморных плитах. Храм похож на газету с неизбежным разделом хроники и объявлений; эти надписи больше всего напоминают списки соратников в партийной печати или ниши на кладбище. Воняет оссуарием. Это тоже фетишизм, но упорядоченный, где действует двойная бухгалтерия: есть обязательный гроссбух, есть книга копиручета, а еще — приходорасходная. Именно она — главная. К тому же вся система успела усовершенствоваться, и у нас уже существует лаборатория по исследованию чудес.

1. Иже от Отца и от Сына исходит!.. (*лат*). Далее речь идет о спорах по поводу добавления в Символ веры формулы "Filioque" ("и от Сына").
2. "Символ веры для рабского стада" (*лат.*).

Через несколько дней после посещения парижского собора с его стенами, похожими на доски объявлений, я попал в обычнейшую деревенскую церквушку на моей баскской земле, в горах, вечно затянутых сеткой дождя. У самого входа, по правую руку, примитивный баптистерий — большая каменная купель, где крестят местных детишек, в то время как папоротники, вереск и дрок принимают свое собственное крещение, впитывая ту воду, что падает на них с густых каштанов. В передней части нефа пол деревянный — это кладбище, где покоятся останки тех, кто с Богом жил и с Богом ушел в мир иной. На полу — куски черного сукна, закапанные воском; тут же — какие-то картонки, тетрадные листы, исписанные палочками, видно, их выводила рука внука, ныне покоящегося под землей, — обрывки газет — на одном реклама Зингера, — цветные бумажки. А надо всем этим — причудливо перекрученная желтая свечка, еще не так давно бывшая цветочным соком, свечка, которая печальным светом тихо горит над мертвыми. Сюда-то и придут молча поплакать — вместе с точащей слезы свечой — бедные простые женщины в черных платках, обшитых бахромой. Что думает такая женщина о Filioque? Наверно, взгляд ее порой скользил по восковому лицу Скорбящей Богоматери в черной мантии, что стоит у левого алтаря; или по фигуре святого Антония, изображенного на потемневшей картине с грязно-золотым небом, той, что справа; или по святому Иоанну в пустыне; а может, она разглядывала картинки, развешанные по обе стороны от главного алтаря; или испанскую Деву Марию — ту, что разместилась рядом с Евангелием, — грубой работы, смуглую, с живыми глазами и суровым лицом, с длинными распущенными волосами, в вышитой накидке, и веселого младенца рядом с ней — тоже в вышитой одежде, вокруг головы у обоих нимбы; или французскую Деву Марию — в узком белом платье, украшенном синими лентами, руки молитвенно сложены, лилейное лицо обращено к небу; а может, задержала взгляд на святой Изабелле, у ложа которой застыли святой Иосиф и Мадонна, глядящие каждый в свою сторону; или рассматривала Христа, вырезанного из дуба и освещенного слабым светом, пробивающимся сквозь занавеси... Но что может думать женщина из Альсолы о Filioque?

Снаружи — мощеная паперть с колоннадой, дробящей солнечный свет; деревянные столбы поддерживают навес; там же стена, которая служит еще и щитом для игры в пелоту, — с железной лентой-разметкой. Чуть дальше раскинулась площадь, обсаженная орехом, там каменная скамья, завернутая полукругом, и стол, сооруженный из двух больших камней, — на нем раскладывают трофеи, добытые на похоронах. С площади видна река, ее каменистое дно, валуны, выныривающие из воды, чтобы сверкнуть белым боком на солнце; об эти камни, журча и закручиваясь, разбиваются прозрачные струи. Рядом с приспособленными для стирки плоскими камнями прогуливаются утки. Виден мост, а также дома, отраженные горизонтальными пластами в спокойной воде, и отражение их приукрашено утесами, которые просовывают в зеркальную гладь свои головы. Зелень гор — в каштановых рощах темная, в кукурузных полях нежно-светлая — одевает просторный храм, огромный храм, свободный храм, в котором вместо фимиама веет ветерок, шурша в тополях, каштанах и орешнике. И бедной

женщине из Альсолы, которая выходит из своей церквушки, из церквушки, где она научилась молиться, в огромный храм, образованный горами, что ей до Filioque? Да и верует ли она?

Да, она верует, она уповает; она живет просто, не мудрствуя, не ведая догм; и у нее есть ее вера — своя собственная.

Убивать способна ложь, а не ошибка; и есть формы лжи, которые страшатся признать себя за таковые, боятся остаться наедине с собой. Есть люди, которые, смутно чувствуя, что живут во лжи, не хотят себе в том признаться и твердят одно: "Не хочу об этом думать!" Не хочешь об этом думать? Значит, ты погиб.

То, во что ты не веришь, и есть ложь: ибо не может быть истиной то, во что не веришь. Всякий, кто берется проповедовать одну из так называемых истин, не веря в нее, лжет.

Истина! "А что есть истина?" — спросил Пилат Христа и, не ожидая ответа, повернулся к нему спиной — повернувшись спиной к истине. Потому что Христос сказал так: "Я — истина", и сказал Он это о Себе, а не о Своем учении. Разве Он не говорил этого? Уверяю, Он говорит нам об этом всечасно.

Вера — это прежде всего искренность, терпимость и милосердие. Искренность! Святой порыв — обнажить душу, говорить правду всегда и везде! И чем более неуместной и неблагоразумной считают ее осмотрительные и законопослушные, тем лучше! Святой порыв — обнажить, открыть свежим ветрам нашу душу, чтобы она глотнула воздуху и черпнула жизненной силы!

Терпимость! Живое осознание относительности знания, как и gnosis в любой форме, и верования, и осознание того, что, только развиваясь в своем собственном мире идей и чувств, каждый из нас может достичь гармонии под единящей верой в богатом разнообразии верований! Терпимость! Порождение глубокой убежденности, что нет хороших или плохих идей, что намерения, вера, а не доктрины и не догма, оправдывают поступки!

Милосердие! Доброта не есть нечто отличное от веры, это форма веры, выплеск надежды на человека. Любому верующему должна быть чужда дьявольская радость, с которой "достойные люди", праведные благочестивые люди, сторонники закона, любители порядка рассуждают, что следует отправлять на казнь преступника, хотя таким образом — при посредстве палача — получают выход их собственные преступные инстинкты, то, что роднит их самих с несчастным осужденным!

Нужна искренность, чтобы мы всегда находили идеал и противопоставляли его реальности; нужна терпимость к разным верованиям, которые могут сосуществовать внутри общей надежды; милосердие к жертвам своевольного прошлого и неукротимого настоящего. Такова вера.

Итак, храни веру, и прежде всего храни веру в саму веру. Потому что, если влюбленные черпают столько сил в любви к самой любви, не меньшую силу черпают верующие в вере в саму веру, из надежды на всемогущественную власть самой надежды.

1900

Издательство "АСТ"

С директором издательства Николаем Науменко беседует Светлана Силакова

Светлана Силакова: Расскажите, пожалуйста, об истории издательства. Сразу ли предполагалось, что это будет крупный, как нынче, концерн, выпускающий литературу практически всех жанров? Какие вообще были первоначальные планы?

Николай Науменко: Вначале ничего не предполагалось. Была маленькая фирма, которая торговала чужими книжками. Потом решили вложить деньги в издание какой-то книги, подготовленной кем-то еще. Потом сами издали книжку, не помню уже какую. Так и пошло. Никаких глобальных планов — только постепенный рост. И вот недавно отметили десятилетний юбилей... Когда-то для нас были несбыточной мечтой

Фото С. Силаковой.

десять книг в месяц. Сейчас в месяц выпускаем около четырехсот, и самых разных жанров.

С. С. А не боитесь разрушиться под собственной тяжестью?

Н. Н. Не боимся. Нас вдохновляет опыт Запада, где в книжной отрасли ширится тенденция к укрупнению. При этом издательства структурированы по тематическому признаку: одно подразделение делает энциклопедии, другое — детские книги и так далее. Есть высшее руководство, но чем больше у него подчиненных, тем меньшее количество параметров оно контролирует. Жизнь доказала: крупные структуры типа "Рэндом-хауса", который сейчас объединяет сто одно издательство, а сам входит в транснациональную империю "Бертельсман", вполне жизнеспособны.

С. С. Были ли принципиальные изменения в издательской политике за время существования издательства?

Н. Н. Принципиальные — нет. Только количественные. Начинали мы с издания фантастики (серия "Координаты чудес", существующая до сих пор) и романов по мотивам сериалов. Постепенно открывались новые направления: детектив, женский роман, фэнтэзи — а прежние временно закрывались. Конечно, после кризиса пришлось кое-что ужать, но общее направление движения сохранилось. Издаем все, что интересно массовому читателю, — от сканвордов и учебников до серьезной современной литературы.

С. С. Видимо, теперь следует перечислить ваши главные достижения...

Н. Н. Читателей "ИЛ", вероятно, прежде всего интересуют наши успехи в области серьезной литературы. Но об этом лучше поговорить через годик, когда книги, которые у нас сейчас в работе, выйдут, и станет ясно, нашли ли они свою аудиторию. Что же касается литературы массовой — конечно, приятно, что нашими любовными романами зачитывается вся страна...

С. С. Ну, а чем вы можете похвастаться в области фантастики? Я знаю, что вам лично этот жанр очень близок и мил...

Н. Н. Именно мы познакомили русского читателя с такими замечательными мастерами фантастики и фэнтэзи, как Дэн Симмонс, Лоис Бужолд, Терри Гудкайнд, Джордж Мартин, Анджей Сапковский, Роберт Джордан. Это большое счастье, что удалось с ними соприкоснуться. Не мы напечатали первые книги Сергея Лукьяненко, но нам... удалось его подтолкнуть в сторону широких читательских масс, и настоящую популярность он обрел, уже будучи автором "АСТ".

С. С. А ваша самая поучительная неудача?

Н. Н. Самая поучительная... не только наша, но и других крупных издательств... Никак не удается привить на отечественную почву переводной криминальный роман. Да, когда-то Кристи и Чейз шли на ура, но в 1993—1994 годах возник русский детектив, и интерес к зарубежному как ножом отрезало. При этом авторы не бездарные, их книги в "нечитающей стране" — Америке — расходятся миллионными тиражами, почти все экранизируются, а это дополнительная реклама... И хоть ты тресни! Наверно, капля камень долбит, и эмпирическим путем кто-то найдет способ сделать этот жанр популярным. Но я верю: свой читатель у этих книг есть, просто нужно так их подать, чтобы они не затерялись в безбрежном море всего прочего.

С. С. Влияют ли ваши личные пристрастия на формирование издательского портфеля? И что бы вы хотели издать для себя, без оглядки на коллег, читателей и бюджет?

Н. Н. Я отвечу на оба вопроса сразу. Практика показывает: все, что хотелось бы издать для себя, рано или поздно издается. Работа в крупном издательстве приучает к терпению. "Для себя" я давно хотел выпустить философские произведения Лема. Три года назад это казалось нереальным, а теперь они переводятся.

С. С. Подчиняется ли читательский интерес каким-то закономерностям?

Н. Н. Закономерности-то есть, но тот, кто вычислит хоть одну, моментально сделается мультимиллионером...

С. С. Тем не менее вы, конечно, стараетесь эксплуатировать те направления, которые пользуются у читателя наибольшим интересом. Какова жанровая структура издательского плана в том, что касается иностранной литературы?

Н. Н. В издательском плане, безусловно, преобладает женский роман во всем его разнообразии: исторический, современный, иронический, триллер, тоненькие книжки "для метро" — тоже самостоятельный "субжанр". Тут мы не изобретаем велосипед, а повторяем западный путь: пятьдесят-шестьдесят процентов всей — всей! — литературы, издающейся на английском языке, это любовные романы. То же самое, видимо, ждет и нас.

С. С. За счет вытеснения с рынка всего остального?

Н. Н. Нет, увеличивая тиражи самих женских романов. Это не хорошо и не плохо — просто тенденция такая. Литература массовых жанров — такой же товар, как холодильник или шоколадка, и подчиняется тем же законам. То есть это нечто, создаваемое по четким рецептам и выполняющее определенную узкую функцию.

С. С. А как обстоят дела с отечественным женским романом?

Н. Н. Нашим авторам было очень сложно преодолеть в себе "инженеров человеческих душ". Они пытались написать "Анну Каренину", но для массового читателя, и получалась ни богу свечка, ни черту кочерга — мягко говоря, никак не "Анна Каренина" Но потихоньку русский любовный роман набирается опыта...

С. С. Итак, женские романы — это львиная доля переводной продукции издательства?

Н. Н. Сказать "львиная" было бы неточно. Скорее значительная — и то, если считать по количеству названий. А вот по объему получится совсем другая картина: так, из одного романа жанра фэнтэзи, где в моде "кирпичи", можно выкроить два-три женских.

Переводную фэнтэзи мы издаем в серии "Век дракона", которая существует достаточно давно и снискала популярность. Хотелось бы также привлечь внимание к новой серии "Темный город", куда входят произведения в жанре "хоррор". Тут тоже парадокс: есть Стивен Кинг, чьи книги расходятся моментально, и есть работающие в том же жанре авторы почти что его уровня — например, Бентли Литтл, — которых наш читатель пока не распробовал. Может, в имени Стивена Кинга мистика какая-то: Кинг — он и есть Кинг, Степа Царев, как мы шутим... Ну да посмотрим.

Выпускаем, разумеется, фантастику в таких сериях, как уже упомянутые "Координаты чудес", "Золотая библиотека фантастики" и так далее.

С. С. Какие факторы становятся решающими при отборе книг для перевода?

Н. Н. Конечно, мы ориентируемся на западные списки бестселлеров, но всегда делаем поправку на наши условия. Также учитывается мнение рецензентов издательства — людей, которые постоянно читают литературу данных жанров. Есть и мистические мотивы: давайте вот это не будем делать, а вон то — издадим, была не была!

С. С. И велик ли КПД?

Н. Н. Две трети книг находят своего читателя сразу, остальные зависают. Две трети из этого остатка начнут новую жизнь, а треть опять осядет на складах. Предугадать заранее очень сложно. Показательна судьба произведений Уильяма Гибсона. На Западе это просто культовый автор, основоположник актуального жанра фантастики "киберпанк" о проблемах взаимодействия человека с компьютером, "реального" сознания с виртуальным миром. Первая попытка раскрутить этот жанр в нашей стране провалилась. Нам стало обидно за Гибсона, и мы попробовали еще раз: включили его книги в другие серии. И вновь результаты не ахти... Но повторю: надежда есть всегда.

С. С. Каковы тенденции: что модно издавать сегодня и что будет модно завтра и послезавтра?

Н. Н. Сегодня модно издавать... скажем, Пелевина с Акуниным. Акунина мы, кстати, издаем. А мода на завтра и послезавтра? Слава богу, никто не может этого предсказать — иначе будет скучно. Кстати, именно благодаря фактору непредсказуемости продолжают жить мелкие издательства. Их бесчисленно много, и именно они могут опробовать новые направления, форматы и т. п. А мы, мастодонты, топаем по их следам.

С. С. А это не парадокс? Маленькое издательство имеет меньше денег и, соответственно, рискует разориться вконец, а концерн-мастодонт опирается, так сказать, на множество ног, свалить его труднее...

Н. Н. Да, зато мелкие издательства мобильнее. Они-то и снимают первый урожай с каждого свежеоткрытого направления. А вот нам очень трудно свернуть на новую тропинку.

С. С. Где сейчас кипит жизнь: в сфере фантастики, мемуаристики, детектива?

Н. Н. Да везде! Таких бумов, как открытие отечественного детектива в 1993—1994 годах и отечественной фантастики в 1996-м, наверно, больше уже не будет. На рынке представлены практически все жанры, и нельзя сказать, что мемуаристика забивает детектив или наоборот. Просто идет процесс притирки, установления пропорций. Сегодня на четыре детектива — шесть названий фантастики, завтра может быть наоборот...

С. С. Насколько ощущается вами обратная связь с читателем? Можете ли вы, сидя в своем кабинете, почувствовать, распродалась ли книжка просто так, "тупо", или читатель ее действительно полюбил и запомнил?

Н. Н. Могу, но не сразу. Первая половина тиража — скажем, пять тысяч в случае стандартного десятитысячного — расходится автоматически. Потом, когда начинаются так называемые "доборы", становится ясно, читают книжку или только покупают.

С. С. А как насчет обратной связи — я имею в виду критику?

Н. Н. Критики как таковой у нас сейчас, к сожалению, почти нет. Определенная часть современных критиков, даже имея дело с серьезной литературой, читает не произведение, а перевод, не сопоставляет с оригиналом. Бывают и другие странные вещи, когда, к примеру, в глянцевом журнале появляется рецензия на "Повелителя мух" Голдинга, написанная с таких позиций, будто для нашего читателя Голдинг — новое имя.

С. С. А есть ли коммерческий эффект от рецензий в прессе?

Н. Н. Если говорить о массовых жанрах, то читатели рецензий, как правило, не покупают книг, а те, кто покупает книги, как правило, не читает рецензий. Четко отлаженная система книжкой рекламы у нас пока не сформировалась. Более-менее эффективна реклама такой услуги, как "Книга — почтой": мы помещаем объявления, высылаем в ответ на заявки бесплатный каталог, и люди заказывают то, что им интересно. Но это скорее связано с тем фактом, что система книгораспространения в нашей стране оставляет желать лучшего...

С. С. Каких авторов, издающихся в "массовых" сериях, вы могли бы порекомендовать эстету, принципиально пренебрегающему развлекательной литературой?

Н. Н. Да того же Стивена Кинга. Многие наверняка записали его в поставщики чтива и игнорируют. Но у него есть великолепный роман "Сердца в Атлантиде", который мы недавно выпустили в одной серии с Воннегутом и Беллоу. Кстати, этому удивились даже наши французские и немецкие коллеги: неужели Кинг до такой степени хорош? В таких случаях приходится говорить: а вы прочитайте, пожалуйста!

С. С. А в жанре фэнтэзи, например?

Н. Н. Джордж Мартин, "Игра престолов" — по сути психологически-исторический роман. Мартин вообще автор очень разносторонний, очень сильный... и стильный. Самые интеллектуальные из его произведений — например, "Армагеддон-рэг" — мы еще не готовы издать, но даст бог...

С. С. Не приведете ли какие-нибудь примеры несправедливо недооцененных публикой книг?

Н. Н. В каждом конкретном случае трудно определить, где неудача издательства, где оплошность книгораспространения, а где чистый неуспех у публики. Недавно издали мы "Времятрясение" — последний роман Курта Воннегута. Продается... ну-у, так-сяк, хотя это имя почти святое для части наших читателей. Нельзя назвать это "недооценкой". Скорее, скажем, проблема требует дополнительной работы.

С. С. Как Вы думаете, почему в последнее время резко возрос интерес крупных издательств к публикации современной зарубежной "серьезной" литературы?

Н. Н. Современная серьезная литература — точнее проза — последняя незаполненная ниша на нашем рынке. Вот все туда и ринулись. Раньше она пустовала не по вине издательств — на такие книги не было платежеспособного спроса. Можно назвать еще ряд жанров и направлений, попадающих в "яму", — их основной потребитель не имеет денег на покупку книг. Теперь же, судя по всему, жизнь потребителя интеллектуальной литературы, слава богу *(стучит по дереву)*, понемножечку налаживается. Конечно, многие из этих людей уехали за границу — но там, между

Издательство "АСТ"

прочим, они все равно покупают книги, выходящие в России. Продукция "АСТ" экспортируется в страны с большой русской диаспорой: Израиль, США, Германию... Продаем мы туда в целом немного, но доля серьезной литературы при этом высока.

С. С. И каковы ваши намерения в области зарубежной прозы?

Н. Н. Как я уже упоминал, запущено несколько серий. Вот "Мастера. Современная проза" — название, сознаюсь, мы позаимствовали у знаменитой доперестроечной серии "Прогресса" (или у "Радуги"), но оформление совсем другое. Во второй жизни это была серия "Мастера" издательства "Фолио", с которым мы много работаем в тандеме, — зарубежная классика по доступным ценам. Сюда пойдут первые книжные издания произведений, в оригинале опубликованных, как правило, за последние 10-20 лет. Например, "Англия, Англия" Джулиана Барнса, свежая вещь Апдайка "Гертруда и Клавдий", роман Голдинга "Двойной язык", напечатанный уже после смерти автора. На данный момент в серии преобладает англо-американская литература, что связано с моими личными (владею только английским) и нашими общими организационными возможностями: литература массовых жанров на девяносто процентов англоязычная, соответственно, под рукой у нас уже есть квалифицированные кадры, наработаны связи с партнерами. Делаем также собрания сочинений: например, Ирвина Шоу, Курта Воннегута, дополненные произведениями, которые доселе не переводились на русский... Потихонечку будем двигаться в сторону французской и немецкой литературы, пробовать ногой воду.

Есть также серия под условным названием "Современная проза", в которой уже переизданы прекрасные романы Айрис Мердок "Море, море" и "Дитя слова". В свое время они просто гремели, но, подозреваю, добрая половина нынешней аудитории воспримет их как новинки. Конечно, мы будем выпускать и те книги Мердок, которые вообще еще не выходили по-русски...

С. С. Насколько я знаю, в этой серии преобладают женские имена?

Н. Н. Да, так уж сложилось. Например, в нее включен "Ангел света" Джойс Кэрол Оутс. Но и Апдайк — а именно, "Давай поженимся". То есть, акцент не столько на женские имена, сколько на... нет, не могу сформулировать...

С. С. А собираетесь ли вы выпускать удешевленные издания?

Н. Н. Конечно. Девяносто процентов книг в твердой обложке ("хардкаверов", как мы выражаемся) будут затем переиздаваться в мягкой обложке.

С. С. Качественная литература, по определению, нуждается в качественном переводе. Как обстоят сейчас дела в переводческом цеху?

Н. Н. По моему ощущению, в сфере перевода мы оказались отброшены к уровню 20-х годов, когда прежняя школа разрушилась, а на развалинах распустились тысячи цветов. Сейчас, разумеется, больше свободы и совсем другие технические возможности. В художественный перевод пришло много новых людей: те, кто раньше переводил техническую литературу, бывшие журналисты... В результате возник определенный "переводной" язык, близкий к языку периодики. Читательская масса к нему уже привыкла, считает его нормальным и хорошим, а все отступления от этого стандарта — например, попытки показать особенности авторской манеры — воспринимает как недостатки редактуры.

"Ваши герои говорят неправильно, надо правильно"... Я уже упоминал роман Кинга "Сердца в Атлантиде", на мой взгляд, блестяще переведенный Ириной Гавриловной Гуровой. Там она передает речь разных персонажей и в том числе — одиннадцатилетнего мальчишки. У читателей возникают нарекания: "Почему этот мальчишка не говорит развернутыми красивыми фразами?", "Почему так плохо отредактировано?.."

Припомним, что мы имели — и что потеряли. В СССР существовала отлаженная машина, включавшая в себя не только переводчиков и редакторский цех, но и группы проверки, а также критиков с литературоведами. Регулярные конференции переводчиков, сборники "Мастерство перевода"... Так осуществлялся обмен информацией, позволявший поддерживать перевод на определенном уровне. Уберите какие-то из этих элементов — и все рассыпется. И рассыпалось. И теперь воссоздается — снизу.

С. С. А есть социальный заказ на качественный перевод?

Н. Н. Есть. Конечно, заказ опосредованный. Но как ни кощунственно это звучит, книга является товаром — и должна иметь товарный вид. То есть ее надо как следует перевести и вычитать... Широко бытует мнение, будто крупные коммерческие издательства все делают тяп-ляп: одной левой перевели, сверстали, зашибли деньгу. На практике оказывается, что все эти издательства потихоньку обзаводятся контрольными редакторами. Мы обходились одной-двумя корректурами — теперь делаем три. Но я знаю, что в советские времена, когда издательство "Правда" выпускало в приложениях к "Огоньку" собрания классиков, где вроде бы давно каждая буква выверена, у них было четыре корректуры. Вот на что мы должны ориентироваться. Я оптимист: может, через год, а может, и через десять лет мы придем к победе коммунистического труда, и школа перевода восстановится.

С. С. Тут мне видится одна загвоздка: в начале цепи стоит переводчик, а переводчики сами собой не рождаются. Их должен кто-то учить.

Н. Н. Вот-вот. Что было раньше, курица или яйцо? Тут диалектическое единство: издатели учат переводчиков, а те — издателей. Нам, я считаю, несказанно повезло, что мы с первых лет существования начали общаться с такими мастерами перевода, как Ирина Гавриловна Гурова, Инна Максимовна Бернштейн... По моему убеждению, абсолютные непререкаемые авторитеты есть и должны быть. Особенно в таких "иррациональных" вещах, как перевод. Уважение к этим авторитетам я и постарался привить своим редакторам. Надеюсь, со временем придут новобранцы и возьмут уроки уже у моих редакторов — учеников предыдущего поколения. Так восстановится связь времен.

С. С. Проблема художественного оформления и полиграфического исполнения книг...

Н. Н. Да, верно сказано — "проблема". Это общая беда всей книжной отрасли: типографии влачат жалкое существование, чинят и латают вконец изношенное оборудование... Чтобы печатать быстро и недорого, мы вынуждены выбирать стандартные форматы.

С. С. Бедность бедностью, но за последнее десятилетие сложились достаточно неприятные штампы в области художественного оформления книг. Очень уж "базарный" вид у некоторых серий, например, "Звездного лабиринта", где печатаются весьма тонкие и интеллигентные авторы...

Н. Н. Да, мы это понимаем. Но очень тяжело выскочить из серии, которая уже имеет коммерческий успех.

С. С. Есть легенда о тупом оптовике, стоящем между издательством, которое искренне хотело бы делать книги со вкусом, и рафинированным читателем, предъявляющим высокие требования к внешнему виду книги. Именно оптовик требует нелепо-крикливых обложек с лужами крови...

Н. Н. Нет, нет, все совсем не так. Проблема коренится в недостатках нашей системы книгораспространения. На сегодняшний день основная масса книг в стране продается через уличные лотки. Магазины, конечно, поднимаются из руин, но пока, увы, не оттянули на себя большинство покупателей. А лоток — пространство сильно ограниченное, куда помещают только те книги, которые достаточно быстро продаются. То, что не идет, моментально заменяют очередной новинкой. На этот закон и ориентируется оптовик. Серьезная литература распродается, как правило, в больших количествах — но медленно. Это не лотошные книги. А среди оптовиков есть люди, которые много чего читали и продолжают читать — но им приходится подстраиваться под свои возможности и запросы аудитории...

С. С. А как сейчас у нас обстоят дела с рекламой книг?

Н. Н. Реальная реклама для нас слишком дорога. Да, реклама осуществляется, но по принципу "падающего толкни": рекламируется то, что продается и так. На Западе мощная система распространения, да и цена книги позволяет тратить десять процентов от стоимости тиража на рекламу. Берем, например, свежий роман Гришэма. Тираж два миллиона по тридцать долларов штука — это если в твердой обложке. Миллион долларов запросто можно бросить на раскрутку. У нас стандартная отпускная цена аналогичной книги — двадцать рублей, тираж — десять тысяч. Допустим, мы выделим на рекламу те же десять процентов, это двадцать тысяч рублей. Даже плохонького клипа не снимешь.

С. С. Чувствуете ли вы ответственность за формирование вкусов читателей, особенно молодых?

Н. Н. Ну, это вопрос философский: может ли искусство изменить человека? Мучаемся им со времен Сократа, а однозначного ответа до сих пор нет. Так что отвечу кратко: влиять на вкусы невозможно.

С. С. В наше время этот вечный вопрос получил новую трактовку. Много говорят об информационных технологиях, программировании людей...

Н. Н. Это все иллюзия. Можно выиграть одно сражение, а всю кампанию проиграть. Об информационных технологиях говорят прежде всего в применении к политике, но... у нас слишком ограниченный опыт, и статистический материал пока не набран...

С. С. А какова ваша ценовая политика?

Н. Н. Осмелюсь назвать ее разумной. Мы исходим из реального соотношения цен на рынке.

С. С. Должна ли книга стоить дороже бутылки водки?

Н. Н. Вопрос серьезный. Вообще-то книга должна стоить дорого. В советское время солидная книга в твердой обложке стоила как килограмм вареной колбасы. Примерно то же самое соотношение установилось перед кризисом. Теперь же колбаса дороже... По ценам мы все еще не вернулись к докризисному уровню. Не думайте, что издатели такие

алчные. Просто на данный момент в структуре цены книги преобладает ее "материальная" себестоимость: бумага, картон, пленка, услуги полиграфистов. На самом деле, если слегка огрубить, мы сейчас торгуем не книгами, а бумагой. Творческая часть, вложенная в то, что на этой бумаге напечатано, составляет очень маленькую долю от цены. Мы бы рады поднять цену, чтобы появились деньги на нормальную рекламу... Но все упирается в низкую платежеспособность потребителей.

С. С. Наверно, издательства вынуждены как-то согласовывать ценовую политику между собой?

Н. Н. Да, солидарность налицо. Поддерживаем эмпирическим путем определенный уровень цен на рынке. Сильный демпинг невозможен и резкое повышение цен каким-то одним издателем — тоже.

С. С. Значит, и конкуренции нет?

Н. Н. Есть. Но мирная. Опередить — святое дело. Украсть автора — уже сложнее... Тут важно подчеркнуть, что книжная отрасль, несмотря на все громкие слова о пиратстве, цивилизовалась раньше других. Да, в 1992—1993 годах были... рецидивы, но они ушли вместе со сверхприбылями, когда книгоиздательство утратило привлекательность для... скажем так, менее цивилизованных деятелей. Сейчас книгоиздательство — это работа. Нудная, потная, утомительная. Невозможно сорвать банк и, по-старому говоря, в Пицунду. Нужно долго и тяжело работать.

С. С. А какие у вас отношения с зарубежными партнерами? Как вообще русских издателей принимают на Западе?

Н. Н. Хорошие отношения, нормальные, с пониманием нашей специфики — и в докризисный период, и теперь. Наши зарубежные партнеры быстро осознали, что единственный способ предотвратить пиратство — это способствовать легальным изданиям. Нам шли навстречу, когда мы не могли заплатить крупные авансы, положенные по западным меркам известным авторам, зато мы обеспечивали легальность.

С. С. И в заключение, не расскажете ли немного о себе?

Н. Н. Мой случай — самый что ни на есть типичный. Среди нынешних издателей почти нет ни гуманитариев, ни тех, кто работал в издательствах до перестройки. Наверно, технари были больше приспособлены к решению конкретных задач... Я закончил Московский физико-технический институт, инженер-физик по образованию. Очень любил читать... вот и дочитался. Пробовал немножко переводить для себя, попал в дурную компанию таких же любителей литературы, шаг за шагом втянулся. В 1991 году ушел из своего КБ, начал заниматься в издательстве всем понемножку... и теперь сижу в этом кресле.

Москва, ноябрь 2000 года

Алексей Зверев
Исповедь при свете софитов

Существует один неотменимый закон автобиографии: она никогда не бывает в прямом смысле слова правдивой. Дело тут не столько в субъективных побуждениях пишущего — ему сложно противиться инстинктивному желанию что-то подправить, чтобы чуточку вырасти в собственном мнении. Скорее дело в требованиях жанра.

Становясь литературным жанром, автобиография заявляет претензию на некий внутренний сюжет, который должен соединить очень разнородные, несогласующиеся стороны жизненного опыта, придав ему осмысленность и значение. Но, как только появляется сюжет, исчезает или, во всяком случае, сверх меры упорядочивается та пестрота, спонтанность, эклектика, которая, собственно, и есть "течение будней". И уже нечего ожидать той достоверно зафиксированной "жизни вразплох", того свидетельства "без ретуши", которым так дорожили первые кинематографисты, довольно наивно верившие, что камера — в отличие от человека, который стоит за камерой, — не соврет. Нужно только одно: не ошибиться, выбирая материал и устанавливая ракурс.

Ингмар Бергман, сделавший свой первый фильм еще в 1946 году, лучше других знает, как притягательна иллюзия абсолютной правды, возникающая, когда на белом полотне движутся кадры, снятые умелым и беспристрастным оператором не в павильоне, заставленном декорациями, а в гуще обыденности. Но с самого начала Бергман не доверял этой иллюзии. В детстве его любимой игрой был кинопроектор, позволявший во много раз увеличивать застывшие фотографии. Очарованный этим необыкновенным аппаратом, который он выменял на сотню оловянных солдатиков, Бергман просиживал у проектора часы напролет и очень быстро принялся его усовершенствовать. Появилось вогнутое зеркало, пластин стало три, изображения накладывались друг на друга. Простая картинка вдруг делалась загадочной и чудесной.

Потом дядя Карл, помешанный на изобретениях, стал покупать обрезки пленки, очищал их, смывая эмульсию горячим раствором соли, тушью наносил абстрактные узоры. Они "менялись, взрывались, разбухали, съеживались". Из приспособления с держателем для диапозитивов рождалось нечто под манящим названием "латерна магика" — "волшебный фонарь".

"Laterna Magica"[1] называется автобиографическая книга Берг-

1. "ИЛ", 1989, № 9–11.

мана, написанная шестьдесят лет спустя, в 1987-м. За шесть десятилетий у него поменялось многое, только не отношение к кинематографу — эта "лихорадка все не отпускает... Слабо жужжит проектор... Тени движутся, поворачиваются ко мне лицом, призывая обратить внимание на их судьбу". Они что-то "неслышно говорят, обращаясь к самому заветному во мне". Автобиография как раз и написана для того, чтобы понять эти трудно различимые, но самые важные слова. И написана она человеком, который за свою долгую жизнь в театре, кинематографе, литературе совершенно уверился в том, что слова произносятся не теми или иными реальными людьми, хотя бы они и составляли его ближайшее окружение — родственное или профессиональное, — но именно тенями. Или же персонажами некой истории, принадлежащей искусству, хотя в ней все житейски правдоподобно и — на фактологическом уровне — достоверно.

Создатели автобиографий чаще всего стараются внушить будущей аудитории чувство, что их текст располагает к полному доверию. "Это искренняя книга, читатель", — ставит слова Монтеня эпиграфом к своей повести "Монток", основанной на доподлинных событиях из частной жизни автора, Макс Фриш. Хотя он же построил свою пьесу "Биография" на том допущении, что "нет ни одного варианта, который не мог бы быть разыгран по-иному".

Парадоксальная природа "искренности", которая не увенчана "правдой", а лишь создает версию, которую в лучшем случае следует считать наиболее вероятной, не переставала занимать Бергмана с его первых попыток воссоздать историю собственной жизни. Этим парадоксом и задан основной сюжет, к которому стянуты линии его повествования, причем жанр, выбранный для той или другой книги, мало что в ней меняет по существу. Произведения, вошедшие в самый представительный том прозы Бергмана, в прекрасных переводах А. Афиногеновой ("Исповедальные беседы", М., "Культура"), по жанру отличаются друг от друга: "Laterna Magica" — скорее автобиография, "Исповедальные беседы" и "Дети воскресенья"[1] — скорее романы. Но это, собственно, единый текст, в котором, цитируя тот же отрывок из Монтеня, использованный Максом Фришем, автор "не ставил себе никакой иной цели, кроме домашней и частной". С самого начала определив, как Монтень, что "содержание книги — я сам", он только хотел воссоздать свое "естественное существо, насколько это позволяет общественное приличие". А взявшись осуществлять этот замысел, с некоторым изумлением увидел, что его скромная цель практически недостижима.

"Естественное существо" ускользает, становится одной из беззвучных теней на экране, на котором эпизоды фильма о себе. Задуманный как документ, этот фильм превращается в нечто иное: он — "спланированная до мельчайших деталей иллюзия". Или добросовестное свидетельство о действительности, но о той, которая сама иллюзорна. Или "сон, греза", как картины Тарковского: его Бергман назвал "самым великим из всех".

Книга "Laterna Magica", написанная, когда путь Бергмана в кинематографе подошел к концу, обобщает его опыт режиссера, чье первое правило: "Буря — под контролем". Ему очень далеки по-

1. "ИЛ", 1995, № 9 (под названием "Воскресный ребенок").

становщики, "материализующие собственный хаос", он называет их творчество самодеятельностью, да к тому же отвратительной. Агрессивность, эмоциональные взрывы — всему этому нет места в картинах Бергмана, и, по его уверениям, там "нет места для личных проблем, если только они не помогают проникнуть в тайну текста": чужого, который переводится на театральный язык, или собственного, как в фильмах (сценарии всех наиболее известных принадлежат ему самому). Мимоходом брошена презрительная фраза о попытках превратить искусство в психотерапевтический сеанс. Сам он никогда их не предпринимал.

Все это не мешает считать творчество шведского художника преимущественно, а может и полностью, автобиографичным. Такие мысли напрашиваются у всех, кто, зная картины Бергмана, читает затем его книги, включая не попавший в сборник роман "Благие намерения", который в свое время напечатала "ИЛ"[1]. Оно автобиографично в том смысле, что постоянно возвращает читающих к одним и тем же духовным проблемам, еще с юношеских лет ставшим главенствующими, неотступными для самого Бергмана. Пожалуй, тут уместным оказалось бы даже слово "исповедь", но с одним необходимым уточнением: исповедь происходит не в волшебном полумраке собора, где стоит запах ладана, а на площадке при свете софитов или на театральной сцене в присутствии сотен зрителей. И о софитах, о зрителях Бергман помнит всегда, не позволяя себе ни на минуту пренебречь тем, что его работа состоит в "педантичном управлении неизъяснимым". Тем, что действие, торжественно именуемое творчеством, есть, помимо всего остального (по Бергману, кажется, и прежде всего остального), "операция, проводимая в специально оборудованном для этой цели помещении". Тем, что автобиографический сюжет — это вовсе не одна лишь откровенность описания прожитого и пережитого, когда мысль о постыдности каких-то эпизодов отброшена во имя полноты свидетельства (которое, конечно, произведет сенсацию, если о себе рассказывает какая-нибудь знаменитость). Что этот сюжет — не упражнение в экзорцизме.

Смысл обращения к нему для Бергмана совсем иной: он говорит о ясновидении, подразумевая способность опознать истину и реальность сквозь сон и грезу, какой становится давнее прошлое с ходом лет. Тарковский, на его взгляд, обладал этой способностью в исключительной степени, ему же самому попытки решить ту же задачу почти никогда не удавались. Особенно если он прилагал специальные усилия с целью освоить пространство сновидения, в котором царит фантазия, но сквозь нее пробивается нечто реально бывшее.

"Змеиное яйцо", "Прикосновение", "Лицом к лицу" — для Бергмана все это "позорные неудачи", хотя каждая из названных картин признана мировой классикой. Бергман пристрастен к себе, но дело не в его оценках, но в трактовке ясновидения как творческой необходимости, которую нельзя игнорировать. Иначе художественный текст уподобится записи в рабочем журнале врача-психоаналитика.

Подобная опасность остро ощущается Бергманом. Описывая свои репетиции, он замечает : "Я никогда не участвую в пьесе — я

1. "ИЛ", 1994, № 5.

перевожу, конкретизирую". Он "не участвует" и в самом тексте, получаемом после репетиций, — в спектакле, фильме, книге, хотя все это, как правило, тексты о нем самом. Но здесь действуют законы ясновидения, и в конечном счете они оказываются намного существеннее, чем намерения, выражаемые формулой "искренняя книга".

Оставаясь нормативной для подавляющего большинства автобиографий, которыми в последние десятилетия завалены книжные прилавки и заполонен экран, подобная искренность, по ощущению Бергмана, оказывается в лучшем случае абсолютной условностью уже по той причине, что невозможно восстановить свое душевное и психологическое состояние тридцатилетней, сорокалетней давности. Описание далеких событий, которое притворяется безупречно правдивым, откровенным, достоверным, на поверку предстает только образом этих событий, сконструированным сегодня, хотя нам кажется, что он выплыл из глубин памяти. Не помогают ни дневники, ни фотографии: "На них изображен лишь маскарад — пустивший корни маскарад". К тому же существует механизм подавления, и он действует несравненно эффективнее, чем самая неподдельная решимость вывернуть наизнанку душу и заняться самобичеванием. "Я не узнаю того человека, каким был сорок лет назад", — говорит Бергман, но все-таки он занят описанием именно этого человека. И убеждается, что описать он его сможет, только став ясновидцем: почувствовав какие-то болевые точки, которые все с тем же постоянством напоминают о себе и по прошествии десятилетий, попробовав понять, отчего именно они оказались такими устойчивыми. Скитаясь по "Городу своего сна, Городу, которого нет и который тем не менее пронзительно реален со своим запахом и своим гулом". Погружаясь в "чужой, но тем не менее таинственно-знакомый мир".

Уверениям Бергмана, что каждая подобная экскурсия в Город сна заканчивалась для него провалом, вряд ли кто-то поверит: достаточно вспомнить хотя бы начальные кадры "Земляничной поляны". Вовсе не случайна установившаяся за ним репутация истинного мастера гротеска: этот режиссер чувствует себя наиболее уверенно, вступая в область фантастического, как определяет эту художественную категорию ее наиболее авторитетный западный исследователь Цветан Тодоров: искусство, способное оказывать "особое воздействие, возбуждая страх, ужас или просто любопытство", причем все это в максимальной степени. Тодоров трактует фантастическое искусство как "опыт границ" — между естественным и невозможным, грезой и эмпирикой, бредом и явью; наверное, это определение всего точнее подошло бы и для описания излюбленных художественных ходов Бергмана. В его искусстве преобладают образы, являющиеся в "час волка", ночью, между тремя и пятью, когда "слетаются демоны: досада, тоска, страх, отвращение, бешенство". Парение между сном и реальностью он сам считает наиболее приемлемой формулой своей эстетики, сожалея о том, что слишком редко это парение происходит беспрепятственно (зато, когда такое происходит, ему удается снять "Вечер шутов", "Молчание", "Шепоты и крики").

Писавшие о Бергмане не раз вспоминали метафоры сюрреализма или экспрессионизма — направлений, очень активно втор-

гавшихся в область сверхреального и пугающего. Искали — и находили — отголоски мистических верований и доктрин. Эти параллели выглядели убедительно, однако в конечном итоге оказывались скорее домыслами или всего лишь смутными приближениями к той истине, о которой напомнил сам Бергман: сон, фантазия для него больше чем способ выстроить повествование в определенном эмоциональном и стилистическом ключе. Скорее это способ воплотить историю собственной жизни, решив главную творческую задачу, над которой он бьется с первых своих фильмов, вышедших на экран сразу после войны. И не только решив, но избежав тривиальности, какой сделались бы признания сенсационного свойства или любовное разглядывание своих комплексов и фобий.

Откровенностям Бергман предпочитает сны, но при этом исключаются попытки что-то приукрасить, а уж тем более утаить. Лютеране заменили исповеди беседами с пастором, когда нужно говорить без утайки, к тому же при свете дня и лицом к лицу. Сын пастора, с детства противившийся всем церковным ритуалам, к которым насильственно приобщали детей в этой семье, Бергман очень хорошо знает, как трудно добиться, чтобы подобная беседа стала исповедальной не только по названию. Сам он беседует не с пастырем, а с собой — но тоже при ярком свете, да еще в присутствии множества внимающих, которые пришли на его спектакль или смотрят снятый им фильм. И эти беседы действительно схожи с исповедью — по крайней мере тем, что их характер определен "одержимостью саморазоблачения", которая владела и Стриндбергом, столько раз (и совершенно по-разному) поставленным Бергманом. Работая над "Геддой Габлер", он сумел распознать ее даже у Ибсена, пусть запутавшегося "в своих интерьерах, своих объяснениях, искусно, но педантично выстроенных сценах, своих ариях и дуэтах".

Ничего этого — дуэтов, объяснений — у Бергмана нет ни в фильмах, ни в прозе. Упреки шведских критиков, которые винят Бергмана в "презрении к художественной и человеческой правде", до какой-то степени объяснимы именно тем, что у него эта правда раз за разом предстает абсолютно незакамуфлированной и оттого начинает казаться то прямолинейной, то травмирующей. Так было даже со сравнительно умиротворенными "Улыбками летней ночи", не говоря уже о мучительной, беспощадной ленте "Фанни и Александр". Бергман много раз подчеркивал свое неприятие пуританского ригоризма, в духе которого он был воспитан. Но если согласиться с Бродским, говорившим о кальвинизме Цветаевой и Достоевского, потому что принадлежность к конфессии дело вторичное, а важен тип сознания — его ригористичность, прямота, "жесткие счеты человека с самим собой, со своей совестью", — Бергман, несомненно, прямой наследник кальвинистской традиции.

Ключевое слово Бергмана — "беспокойство", а многообразные расшифровки и конкретизации этого понятия всегда соотносятся у него с мыслями об оправдании человеческого бытия в мире, поступившемся критериями человечности. Или о бунте против необходимости выбирать между ощущением тотального абсурда, воцарившегося в богооставленной вселенной, и духовным конформизмом, который навязывает церковь. Бергман ищет какой-то третий путь, ищет с юности, с дав-

них, но все еще памятных приступов отвращения к атмосфере, царившей на молельных собраниях, куда его водили школьником. Тогдашние чувства и мысли то и дело оживают во всем, что Бергманом написано, поставлено и снято. Каждый раз, говоря о вещах, обладающих для него самым сокровенным смыслом, он восстанавливает переживания ранней поры жизни, потому что ими очень во многом предопределено все последующее.

Описывая тяжелые сцены, которые разыгрывались в доме, когда он был ребенком, Бергман (в отличие, например, от Сартра, предпринявшего реконструкцию своего детства в автобиографии "Слова"), чаще всего избегает прямых прикосновений к первым и поэтому самым болезненным душевным травмам. Он не верит, что сколько-нибудь верная реконструкция вообще возможна. Ему важны эпизоды, внешне лишенные эмоциональной насыщенности, но сохраненные памятью, потому что все это были прорывы в истинную природу человеческих отношений, да и самого человека. И через эти разрозненные эпизоды Бергман старается приблизиться к пониманию сути своего духовного опыта, который для него и есть автобиография. Не события, а переживание событий личностью, знающей свою зависимость от среды, воспитания, времени и места, — вот канва бергмановского автобиографического рассказа, принадлежит он документальной литературе или сфере вымысла.

И в том и в другом случае повествование все равно будет развертываться вокруг одной из тех коллизий, которые Бергманом изучены вдоль и поперек, потому что глубоко переживались им самим начиная с юношеской поры. Его постоянный сюжет — отвращение к конформизму, который уродует жизнь в прямом значении этого глагола, — непременно (хотя не всегда очевидно) сопрягается с воспоминаниями о пасторском доме, о семейных ритуалах, установленных на века и не допускавших ни малейшего следа неудовольствия, об иерархической системе ценностей, когда хотя бы мелкие коррективы исключаются. Все время повторяющиеся у Бергмана истории бунта против подобной нормативности оказываются напоминанием о том, к чему она приводит: "Брат пытался покончить с собой, сестра, по семейным соображениям, была вынуждена сделать аборт, я сбежал из дому. Родители жили в постоянном — без начала и конца — изматывающем состоянии кризиса. Они исполняли свой долг, напрягали все силы, молили Бога о милосердии. Их нормы, оценки, традиции не помогали, ничто не помогало".

Бегством от этого мира, бунтом против его оснований, которыми Бергман считает прежде всего христианство, низведенное до ригористических моральных доктрин, было все его творчество. Роман "Исповедальные беседы", написанный на склоне лет, в этом отношении может быть назван самой откровенной книгой Бергмана.

Зная правила, по которым строится его художественный мир, можно было заранее предположить, что предпочтение вновь будет отдано не документу, а фантазии, питаемой семейной хроникой. Она хранит истории бунтов и примирений, означающих капитуляцию перед порядком вещей в мире, как бы сильно он ни стимулировал чувства недовольства и неприятия. Бергман рассказал о девушке, которая подростком от-

казывалась от конфирмации, а годы спустя, став пасторской женой и матерью троих детей, решилась на неверность, чтобы покончить с ролью добродетельной матроны и вообще с ролями, заменяющими живую жизнь. Он воссоздал обыкновенную, предугадываемую во всех своих поворотах историю измены с наперед известным концом. В последней исповедальной беседе героине уже за сорок, ее репутация безупречна, и остались лишь чисто внешние знаки завоеванной жалкой свободы. Семейный мир восстановлен, муж, справившись с нервным срывом, вновь обременен заботами священнослужителя, а его соперник, женившийся по окончании богословского факультета, уверенно движется давно проторенной дорогой. От всех терзаний, от жгучих запретных радостей осталось только воспоминание, которое с дистанции прожитых лет кажется героине прекрасным.

Но у Бергмана такая развязка невозможна, и, когда действие завершено, появляется "Эпилог-пролог", пять страничек о юной Анне, так не хотевшей идти к причастию. Ее сопротивление подавили, ритуал был исполнен — предвестие, что и дальше жизнь Анны будет чередой бунтов, смиряемых страхом перед безоглядным разрывом. Тогда духовник сумел ее остановить, внушив, что нити судьбы в руке Божией и нельзя противиться законам, установленным от века. По прошествии многих лет мы видим духовника в его предсмертные часы: вызывающая натуралистичность подробностей — извергшаяся кровь и слизь, судороги, которые прерывают обряд последнего причастия, — ясно говорит о том, какова, в глазах Бергмана, обоснованность доктрины, которой этот пастырь служил всю жизнь, требуя, чтобы в жертву ей приносились свобода выбора и человеческая природа.

Но окончательного итога не подводит и эта сцена. У Бергмана вообще нет претензии на последнее, неоспоримое слово. Пережитое Анной можно воспринять как расплату за моральную непоследовательность, но можно увидеть в ее истории и драму атеистического сознания, не считающего заповеди непреложными и ничего не находящего взамен. Сам Бергман тоже оказался в конце пути перед двойственностью итога, хотя в своем бунте он-то как раз был неуклонен. Но все же, при всех обычных для него резкостях по части притязаний Иисуса стать господином над грезами и действительностью, которые должны оставаться своими у каждого человека, Бергман отшатнулся от атеизма. И как финал его духовного странствия пришло постижение того, что пастырь из "Исповедальных бесед" называет Человеческой Святостью: ее невозможно "ни прозреть, ни уловить", но, кажется, она одна реальна. "Все остальное лишь атрибуты, маскарад, манифестации, выходки, отчаяние... безнадежные крики в темноте и тишине".

Апофеоз Барокко

В. Силюнас. Стиль жизни и стили искусства. (Испанский театр маньеризма и Барокко). С.-Петербург, "Дмитрий Буланин", 2000

Выход в свет новой книги В. Ю. Силюнаса[1], посвященной испанскому театру XVI–XVII веков, — последний удар по все еще живому мифу об аристократическом, пессимистическом и дисгармоничном искусстве Барокко, пришедшем в XVII веке на смену народному, оптимистическому и гармоничному искусству Возрождения (хотя — слава Богу — не все почитатели Донна и Д'Обинье, Рембрандта и Веласкеса, Вивальди и Баха когда-либо связывали их творения с Барокко университетских "образованцев" конца 40-х — начала 50-х годов). Конечно, некоторые из советских ученых от вышеозначенного понимания Барокко отказались лет тридцать тому назад (на Западе переоценка Барокко произошла еще в конце XIX — начале XX века). Но мало кому из них удалось вполне донести целостный образ барочной культуры до читателя, зрителя, слушателя-неспециалиста. Ведь для того, чтобы воссоздать этот образ во всем его богатстве и величии, автор должен обладать не только живостью слога, но и текстовым пространством (тут статьей или предисловием не обойдешься!). Говорить об изобильнейшем, подчеркнуто парадоксальном Барокко нужно на сотнях страниц, говорить взволнованно, красноречиво, пускай даже — многословно, то и дело возвращаясь к одной и той же мысли, как то и делает автор книги "Стиль жизни и стили искусства". Нужно всякий раз сопрягать Барокко с близлежащими стилями или культурными эпохами — Возрождением, маньеризмом, рококо, Просвещением (покаемся: в этом перечислении мы невольно впали в тот же "грех", в который впадает и В. Силюнас: *неразличения* культурных эпох и стилей, которые для многих искусствоведов до сих пор — одно и то же). Но в конце концов Силюнас приходит к обобщающему финалу: таким в рецензируемой книге является ее предпоследняя и, на мой взгляд, лучшая глава — "Ауто сакраменталь". В ней исследователь подводит итог всему сказанному на предыдущих 370 страницах, так что нетерпеливый читатель (или торопящийся на экзамен студент), чтобы постичь суть Барокко, может сразу к силюнасовскому анализу "священных действ" (так дословно переводится "ауто сакраменталь") и обратиться. "Ауто сакраменталь" — органичная часть праздника Тела Господня, который Силюнас очень точно определяет как "блистательный христианский карнавал" (по книге разбросано немало таких афористичных характеристик). Знаток испанской сцены и испанских праздничных ритуалов, он красочно описывает и само празднество, и ауто, реконструируя его сценографию, демонстрируя, как в замысловатых сценических аллегориях творцы ауто осуществляли свою основную задачу — на глазах толпы превращали "умственное" в "зримое", чтобы каждый мог постичь суть "умственного".

Оставаясь верным взятой на себя роли историка испанского

1. Первая часть этого труда, скромно и незатейливо именуемая "Испанский театр XVI–XVII веков. От истоков до вершин" (М, РИК "Культура"), увидела свет в 1995 г.

театра, Силюнас прослеживает все этапы развития "ауто сакраменталь" — от средневековых моралите до Лопе де Веги и поданного крупным планом Кальдерона. Кальдероновские ауто для него — "это summa barroca — свод барочных идей", своего рода модель барочного спектакля, на котором зритель, в свою очередь, сталкивался "не с самой действительностью", а "с моделью действительности" ("Театр был не окном в комнату, а окном в мироздание", — броско формулирует Силюнас). В барочном светском театре, как и в ауто, "царит метафизический порядок — метафизика Любви и Чести". При этом "драмы и комедии ближе к притче, нежели к зарисовке с натуры, и все в них имеет символическое и даже "метасимволическое" значение, все рассматривается, как правило, не в контексте быта, а в контексте всеобъемлющей целостности...", умопостигаемой идеальной гармонии бытия, к которой Барокко устремлено не в меньшей степени, чем сопричастное ему искусство классицизма. Но, в отличие от последнего, в барочном искусстве и, прежде всего, в действах о Таинстве причастия эта целостность является предметом непосредственного динамического переживания и актера, и зрителя.

Два столпа, на которых держится силюнасовская интерпретация искусства Барокко — его символическая сущность и аллегорическое воплощение этой сущности (гётевское противопоставление символа и аллегории для XVII века совершенно неактуально). "Тотальная религиозность Барокко — это тотальный символизм, выражающий божественный смысл сущего": вся барочная культура пронизана "вдохновляющей верой в абсолютную реальность духовного". Поэтому Барокко — искусство трагическое (при том, что "барочный трагизм не тождественен пессимизму") и — "предельно радостное". И бросающиеся в глаза "натурализм" и "материализм" Барокко, которые некогда пытались трактовать как "барочный реализм", на самом деле "ведут к постижению нематериального, духовного, чудесного": эта мысль — лейтмотив книги Силюнаса, в этом также подобной барочному художественному миру.

Соответственно, аллегория в искусстве Барокко — это не "язык отвлеченного умозрения", а изображение "живой полноты бытия". В "действах о причастии, — пишет В. Силюнас, — аллегории обретают плоть и кровь, живут яркой, темпераментной, драматической жизнью. Аллегория в барочном искусстве не только и не столько логична, сколько мифологична..."

В свете этой, в высшей степени убедительной характеристики Барокко (ее дополняют "социоцентризм" и "сознательность" барочной культуры, динамика и экспрессивность барочного стиля и другие его особенности) перед читателем книги на сцене Великого Театра Мира — испанского театра Золотого века — предстает крупнейший драматург Барокко Педро Кальдерон. Силюнас подробно, даже иногда слишком подробно, анализирует наследие Кальдерона, особое внимание уделяя его философским драмам и "драмам чести", "драмам о святых" и так называемым "мифологическим" пьесам. Естественно, им не забыт и Кальдерон-комедиограф, искусство которого "рождается на стыке универсального и уникального... архетипического и остро характерного".

Но до Кальдерона на "подмостки" книги Силюнаса выходит его старший современник — Тирсо де Молина, творец мифа о Дон Жуане (к сожалению, Силюнасом не учтены новейшие исследования испанских тирсоведов, установивших точную дату рождения драматурга — 1579 год — и восстановивших его биографию в почти полном объеме). В интерпретации Силюнаса, Тирсо — манье-

рист, а его пьесы — классические образцы этого стиля, характеристика которого дана в главе "История терминов и ключи тайн маньеризма". В своем понимании маньеризма Силюнас следует концепции, сложившейся к середине миновавшего столетия в работах зарубежных исследователей: маньеризм — это субъективизм, панэстетизм ("все мироздание рассматривается как художественное изделие") и визионерство: "...реальность маньеризма — ...реальность сна, а не яви, но этот сон может быть не только маняшим, но и кошмарным...". И хотя Силюнас делает существенную оговорку — "...ныне (?) искусствоведы перестали воспринимать термин "маньеризм" как ругательное... слово", сам он — в конкретных со-противопоставлениях Лопе и Тирсо (возрожденец — маньерист), Тирсо и Кальдерона (маньерист — барочный драматург) то и дело впадает в искушение возвысить Ренессанс и Барокко за счет "призрачного и лживого" "маньеристского царства". В "царстве" этом, помимо Тирсо, пребывает и творец "Дон Кихота", каковой помещен на линии *перехода* от маньеризма к Барокко.

В принципе, в "Дон Кихоте" можно найти черты и маньеристского, и барочного, и какого угодно стилей, поскольку жанр романа по самой своей сути — явление полистилевое, а стиль — не приписное свидетельство, зачисляющее художника в штат той или иной культурно-исторической эпохи. Но автор книги "Стиль жизни и стили искусства" стремится выстроить повествование по линии исторической смены стилей-эпох: Ренессанс — маньеризм — Барокко... Лопе — Тирсо и Сервантес — Кальдерон... При том, что ранний Лопе, согласно его же представлениям, — маньерист, а его знаменитая пьеса "В притворстве — правда" (об этом говорится уже в первой главе) — образец барочного миропонимания... Сознаюсь, мне ближе другой подход, отозвавшийся в следующем наблюдении Силюнаса: "Широта, многослойность и многогранность Барокко, ставшего фундаментом для последующего развития культуры, заключается в том, что в нем соседствуют, борются, сочетаются и по-своему преломляются темы, образы, стилистические устремления и содержательные мотивы средневековья, Ренессанса и маньеризма". Я бы только отказалась от идеи главенства любого из означенных явлений и дала бы им право со-существовать на равных в едином историко-культурном пространстве, именуемом "раннее Новое время", как то предлагает, к примеру, М. Н. Соколов, труды которого явно учтены Силюнасом. Как учтены все новейшие работы испанских исследователей Барокко и испанского театра. Жаль только, что среди них нет трудов Э. Ороско Диаса. Очевидно, В. Силюнасу просто не хотелось тратить время на полемику с предшественниками, например, с мыслью Ороско Диаса о непосредственности, спонтанности, витальности Барокко, которые испанский ученый противопоставляет сконструированности, расчисленности и умозрительности маньеризма. Ведь "непосредственность" для Силюнаса — главная черта ренессансного искусства, равно как и "абсолютизация материального бытия", линейность, "единство": последнее объявлено "одним из строгих художественных принципов Возрождения" *в противовес стремящемуся к разнообразию Барокко.*

Придерживаясь такого взгляда на Возрождение, автор "Стиля жизни..." продолжает трактовать Лопе как драматурга эпохи Возрождения, хотя к концу книги смягчает свою позицию: Лопе де Вега, оказывается, лишь "во многом близким Возрождению". Возможно, если бы труд Силюнаса был опубликован как единое целое и творчество Лопе не оказалось разорванным искусственной

границей, отделяющей его первую часть от второй, исследователь смог бы более убедительно очертить роль "чуда природы" в истории испанского театра Золотого века.

И впрямь хорошо бы увидеть обе части "Испанского театра XVI–XVII веков" под одной обложкой, какое бы название на ней ни стояло! Это будет издание, где будут убраны опечатки и небрежности в оформлении отсылок, которыми, к сожалению, грешит красочно изданная вторая часть (первая рядом с ней — "золушка", но у нее — по старой доброй традиции — были и редактор, и корректор). К такому фундаментальному труду будут обращаться и любители, и знатоки, все, кто посвятил себя театру и кто просто "ходит в театр", кто благодаря В. Силюнасу сможет еще раз поразмыслить над тем, что такое жить в "занятные времена, когда вселенная описывается в театральных терминах, когда все не только на земле, но и на небесах составляют единую театральную труппу, во главе которой находится Всемогущий Директор!"

С. Пискунова

Сирин и Набоков: один или двое?

Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии / Под общей редакцией Н. Г. Мельникова. Сост., подгот. текста Н. Г. Мельникова, О. А. Коростелева. Предисл., преамбулы, комментарии, подбор иллюстраций Н. Г. Мельникова. — М., Новое литературное обозрение, 2000

Последние два года прошли под знаком громких юбилеев. Больше всех досталось "нашему всему" — многострадальному Александру Сергеевичу Пушкину. Тут и памятники, и книжки, и фильмы, и разнообразные телепрограммы. На долю Владимира Владимировича Набокова выпало родиться ровно через сто лет после Пушкина — во всяком случае, писатель настаивал на том, что год его рождения — 1899 (относительно истинности этой даты по сей день ведутся споры). 100-летие со дня рождения Набокова отмечалось почти с тем же размахом, что и 200-летие Пушкина. И без того обширная набоковедческая литература теперь стала поистине необъятной — так много новых книг, статей и сборников было напечатано, столько прошло конференций в 1999 и 2000 годах. "Классик без ретуши", выпущенный НЛО, — одно из лучших научных изданий последнего времени, интересное как для многочисленных поклонников таланта Набокова-Сирина, так и для его не менее многочисленных ярых ненавистников.

Подзаголовок сборника — "литературный мир о творчестве Владимира Набокова" — не совсем точен. Ведь "Классик без ретуши" включает только прижизненную и (в русском разделе) только эмигрантскую критику — статьи, рецензии, пародии, написанные "по горячим следам", сразу после выхода в свет того или иного романа. Но это нисколько не умаляет ценности издания. Н. Г. Мельников в предисловии говорит о том, что "отстраненный (пусть и враждебно-настороженный) взгляд на творчество Набокова глазами современных ему критиков не только поможет выявить те или иные смысловые грани и осмыслить художественные особенности набоковских произведений, но и позволит реконструировать "горизонт ожидания" того читателя, которому они предназначались, почувствовать динамику литературного процесса с его меняющимися эстетичес-

кими вкусами и оценочными критериями". Но проблема заключается в том, что собрать все написанное о Набокове при его жизни физически невозможно, а потому составителям сборника приходилось выбирать.

Книга разбита на две части — "Сирин" и "Набоков". Таким образом, первая часть посвящена Набокову русскому, подписывавшему свои произведения псевдонимом "Сирин", чтобы его не путали с отцом, известным общественным деятелем, одним из редакторов газеты "Руль", выходившей в Берлине с 1920 по 1931 год (кстати, Н. Г. Мельников по непонятным причинам называет эту газету "печатным органом партии кадетов", хотя кадетская партия была запрещена уже зимой 1917 года). Вторая часть — Набоков американский, прославившийся на весь мир после "Лолиты". В сборник включены статьи, анализирующие основные произведения писателя: поэтические сборники, романы, рассказы, комментарии к пушкинскому "Евгению Онегину" и курс лекций по литературе. Кроме того, в конце приводится несколько обзорных критических работ и некрологов.

Претензий к составителям сборника может быть множество — в зависимости от литературных вкусов читателя и его взглядов. Кому-то может показаться, что составители отдают предпочтение одним критикам в ущерб другим — так, возможно, слишком большое количество рецензий из первой части принадлежит перу Ходасевича и Адамовича. Правда, можно возразить, что это два крупнейших эмигрантских критика, а потому их оценки наиболее значимы. Кто-то из высоколобых интеллектуалов, напротив, решит, что вовсе незачем публиковать в научном издании рецензии периферийных, на их взгляд, авторов, таких как П. М. Пильский или Л. Д. Червинская, рядом с работами мэтров, включая, помимо уже упомянутых Ходасевича и Адамовича, Ю. Терапиано, Ж.-П. Сартра и П. Бицилли.

Это что касается Сирина. Публикация же многих рецензий, посвященных анализу произведений американского Набокова, может преисполнить "набоковоманов" праведным гневом: дескать, взгляды некоторых авторов безнадежно устарели, а тут пожалуйста, печатают рецензию Кингсли Шортера, который пишет, что самое главное в "Аде" — это "явная распущенность", поскольку книга эта "просто перенасыщена всякими шлюхами и похабством, не говоря уж об инцесте", до такой степени, что у рецензента "остается гадкое ощущение от неприятного смакования автором подобных тем".

Но надо отметить, что составители сборника предвидели такие возражения. В предисловии Мельников отметил, что хоть далеко не все суждения о Набокове блещут остроумием и глубиной, но все они обладают историко-литературной ценностью.

Все статьи без исключения — оценочные и на объективность не претендуют. Это надо понять сразу, иначе читать спокойно не удастся. Некоторые лейтмотивы с невероятным постоянством кочуют из одной рецензии в другую. В чем обвиняли раннего Набокова? В первую очередь в том, что он кичится своим талантом. Достаточно привести высказывание эмигрантского критика Владимира Вейдле: "Любопытно, что в новой своей повести ("Соглядатай". — *М. Т.*), как в "Защите Лужина", автор интересуется одним: фактом собственного творчества". Упреки в хвастовстве и самодовольстве раздавались на протяжении всей жизни Набокова и подогревались обычно безапелляционным характером его высказываний относительно других писателей. Скажем, притчей во языцех стала ненависть Набокова к Достоевскому (хотя Сартр называет Достоевского одним из "ду-

ховных родителей" Набокова и, видимо, не ошибается). В одном из интервью Набоков сказал о Достоевском: "Он был пророком, трескучим журналистом и неряшливым шутником. Я признаю, что некоторые его сцены, некоторые его колоссальные, фарсовые скандалы невероятно смешны. Но его чувствительных убийц и душевных проституток невозможно вынести и одной минуты — во всяком случае я как читатель не могу"[1]. Так же он оценивал произведения и многих своих современников, — немудрено, что они нередко платили ему той же монетой. Набокова упрекали в использовании избитых образов, в преждевременной старости и даже "дряхлости" (выражение К. Мочульского): вот откуда чрезвычайно гладкий стиль и похвальба собственной эрудицией, выставленной на всеобщее обозрение. Относительно последней надо сказать, что Набокову было чем гордиться. Помимо всесторонней образованности, он отличался еще и феноменальной памятью. По свидетельству И. В. Гессена, Набоков помнил все свои романы наизусть, до единого слова. Гессен говорил: "Этот ненормальный диапазон памяти представляется мне волнующе непостижимым, мы только и можем сказать, что это явление исключительное, что он избранник Божий"[2].

"Сделанность", "искусственность" произведений Набокова — на это особенно упирает Адамович, хотя и не только он. Такой упрек имеет под собой основания; искусственность построения романов характерна, в основном для Набокова позднего, автора "Ады", может быть самого "литературного" из всех произведений писателя. Однако уже главный русский роман Набокова "Дар" весь построен на литературных аллюзиях и прямых цитатах — к такому выводу пришел А. Долинин, автор научного комментария к "Дару".

Распространенное и самое трудноопровержимое мнение о Набокове — что он писатель очень "нерусский". Об этом говорят, в частности, М. Осоргин, М. Цетлин и Ж.-П. Сартр. Есть, правда, позиция и прямо противоположная: Николай Андреев говорит о том, что "независимо от того, какие иностранные образцы оказали воздействие (и было ли оно вообще) на формирование сиринского творчества, Сирин, на наш взгляд, самый цельный и интересный представитель новой русской прозы".

Русский писатель Владимир Сирин и американский Vladimir Nabokov для большинства исследователей — писатели разные. Конечно, они соглашаются с тем, что Сирин оказал некоторое влияние на Набокова, но это влияние не было определяющим. Подобное "раздвоение личности" Набокова позволяет американским критикам, либо вовсе незнакомым с русскоязычными произведениями Набокова, либо знакомым с ними по переводам, не всегда полностью соответствующим оригиналу (Набоков вносил изменения в тексты сознательно: у него три автобиографии, одна русская и две американские — они не слишком похожи друг на друга), рассматривать его творчество в отрыве от литературной биографии и видеть его английские романы сквозь призму неродной для Набокова американской культуры и литературы. Увлечение внелитературными контекстами, характерное для нынешней Америки, а в то время только набиравшее обороты, заставило многих исследователей анализировать произведения Набокова с точки зрения психопатологии, сексологии, фрейдизма и криминалистики, благо сами произведения давали для этого повод. Как только кри-

1. Цит. по: В. В. Набоков. Pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. СПб, 1997.
2. И. В. Гессен. Годы изгнания. Paris, 1979.

тики не называли несчастного Гумберта Гумберта: и "умным, рафинированным психопатом, порабощенным жертвой своего преступления" (В. С. Притчетт), и "сексуальным маньяком, преследуемым сворой негодующих благонравных граждан" (Ф. У. Дюпи), и просто банальным "извращенцем" (Станислав Лем). "Аде" достается не меньше. Критик и литературовед Элизабет Долтон начинает свою заметку о ней с заявления, что "чуть ли не единодушное признание, которым встречается "Ада", можно, пожалуй, объяснить отсутствием у ее читателей самолюбия, некритически подобострастным отношением ко всему непонятному и тягомотному".

Но у американской критики есть и преимущества перед русской. Нельзя забывать, что Набоков писал свои поздние романы, комментарии к "Евгению Онегину" и лекции по литературе для американской аудитории, потому американцы могут понять многие особенности набоковских произведений лучше, чем мы. С этим ничего не поделаешь.

Конечно, и среди американцев были те, кто "обличал" бездушие автора, его эгоизм, чрезмерную изысканность формы в ущерб содержанию. Многое из того, что ставилось Набокову в вину русскими эмигрантскими критиками, перешло и в критику американскую. Но сам Набоков, сноб и аристократ, критиков не жаловал; антипатия к ним наиболее ярко проявилась в "Даре". В одном из своих писем (кстати, редкий в биографии Набокова случай — письмо было ответом на рецензию Р. Шикеля в "Репортере") Набоков заявляет: "Я никогда не пишу критикам, вследствие чего обижаю друзей и разочаровываю врагов". Но несмотря на то, что Набоков критикам не писал, критики писали и всегда будут писать о нем, поскольку, пользуясь метафорой Мельникова, книги писателя и по сей день представляются "своего рода "диким полем", полным загадок и неожиданностей".

Мария Табак

Диалог историка и критика

Golo Mann, Marcel Reich-Ranicki. Enthusiasten der Literatur. Ein Briefwechsel. Aufsätze und Portraits. Hrsg. von Volker Hage. — Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 2000

У этой несколько необычной книги два совершенно равноправных автора, не нуждающихся в подробном представлении. Голо (Ангелус Готфрид Томас) Манн (1909—1994) — средний из сыновей Томаса Манна, видный историк и публицист. И отметивший на исходе века свое восьмидесятилетие Марсель Райх-Раницкий — один из самых авторитетных в немецкоязычном литературном мире критиков, почетный доктор нескольких европейских университетов, а к тому же и популярный писатель-мемуарист: его книга "Моя жизнь", изданная в 1999 г., более полугода возглавляла в ФРГ список бестселлеров по своей жанровой категории.

Литературный успех пришел к обоим авторам довольно поздно. Первая значительная книга Голо Манна — "Немецкая история XIX—XX веков" — вышла в 1958 г. Родившийся в Польше и закончивший гимназию в Берлине, Райх-Раницкий прошел через Варшавское гетто, после войны был недолгое время польским дипломатом, в ПНР сделал первые шаги на литературном поприще, а с 1958 г. живет и трудится в

ФРГ. В 1967 г. он впервые написал Голо Манну, предложив ему участвовать в книге, посвященной Г. Бёллю. В 1970 г. состоялось их личное знакомство, но регулярная переписка началась лишь четыре года спустя. Возглавив в 1973 г. литературный отдел солидной газеты "Франкфуртер альгемайне цайтунг", Райх-Раницкий пригласил Голо Манна к сотрудничеству. Историк откликнулся, его выступления на страницах газеты получили продолжение; завязалась переписка редактора и маститого автора, длившаяся шестнадцать лет.

Переписку известных людей считают прежде всего источником сведений о самих корреспондентах. В письмах, составляющих почти половину рецензируемого тома, обстоятельства личных судеб авторов занимают маргинальное место, превалирует же предмет их профессиональных интересов. Помещенные во второй части книги эссе и рецензии Голо Манна и три фрагмента из книг Райх-Раницкого воспринимаются как неназойливый комментарий к переписке. Впрочем, если две части книги поменять местами, то письма могли бы читаться как примечания к эссеистике.

Можно выделить две главные темы эпистолярного диалога: семья Маннов и художественная литература — классическая и современная. Нередко эти темы переплетаются между собою. Конечно, центральная фигура в семейном интерьере — *олимпиец* Томас Манн. Работая над книгой "Томас Манн и его близкие", Райх-Раницкий часто апеллирует к Голо Манну как к авторитету и источнику. Последний не уходит от ответов на острые вопросы, откликается на приглашение газеты писать о творчестве отца. Критик называет Голо Манна "нелюбимым сыном", но из мемуарных заметок последнего становится ясно, что определение "любимый" неприложимо ни к старшему сыну великого прозаика Клаусу, автору известного романа "Мефистофель" и других книг, ни к младшему сыну Михаэлю. Писатель не был по-настоящему близок со своими сыновьями, о чем Голо Манн пишет вполне откровенно. Однако это обстоятельство не мешает ему ценить отца как большого художника. Прочитав в одном из очерков Райх-Раницкого о Томасе Манне, что тот был "тщеславен, как оперный тенор", Голо Манн категорически возражает, считая такое сравнение абсолютно неверным. Не идеализируя отца как личность, он не приемлет иной крайности: в статье критика ему не хватает одного — *симпатии* к герою очерка.

Откликаясь на опрос газеты к столетию Томаса Манна, его сын Голо постулирует свою позицию как ученый: "Я постараюсь ответить так, как будто бы я этого автора никогда не знал лично". В его краткой статье нет комплиментарной патоки, но есть понимание значительности свершений Мастера, заявленное уже в названии заметки: "Божественная комедия". В наследии отца он выделяет четыре главные книги: "Будденброки", "Волшебная гора", "Иосиф и его братья" и "Доктор Фаустус". Вполне привычный выбор, хотя не скрывает Голо Манн и своих субъективных пристрастий: лично ему ближе всего "Иосиф и его братья" как произведение "самое крупное, самое ценное, самое удивительное".

Когда Райх-Раницкий послал Голо Манну свою статью о Клаусе Манне, последовал тактичный ответ с выражением принципиального несогласия. Как будто бы каждое отдельное суждение представляется брату К. Манна верным, но в целом он статьи не принимает. Не хватает ему все той же *симпатии*, без которой невозможно понять расхождения отца со старшим сыном и личную трагедию автора "Мефистофеля", приведшую к самоубийству. Такой подход вряд ли объясним лишь

братской любовью. В мозаичных воспоминаниях о брате Голо Манн не притушевывает их разногласий с Клаусом. В частности, не боится показать наивность и недостаточную образованность своего более *левого* брата, который "из Маркса знал "Манифест" и больше ничего". Лишенный, на взгляд Голо, иронии, Клаус не был способен к критической самооценке. Не сразу понял он и необходимость вступления Америки в войну. Но убежденным антифашистом был всегда, и эти убеждения привели его к решению вступить в американскую армию. Такой поступок вызывает у Голо Манна уважение, как вызвал он одобрение даже у Томаса Манна, не прочитавшего, по-видимому, ни одной книги старшего сына.

Интересно, что первой книгой, о которой Райх-Раницкий пригласил Голо Манна высказаться, было переиздание автобиографической хроники Генриха Манна "Обзор века". Статья историка называется "Левый брат" (отсчет позиции, конечно же, ведется от *классика* — Т. Манна). Автор акцентирует свое несогласие с дядей, у которого были "две главные исторические привязанности — Бисмарк и СССР". То время, что для Голо Манна было "веком Черчилля", создателю "Верноподданного" виделось "веком Сталина, большевизма и России". Ни расстрел кронштадтских матросов, ни голод на Украине, ни процессы 30-х годов, ни пакт с Гитлером не смогли заставить старого писателя усомниться в своей правоте. Голо Манн вспоминает, что дядя не желал ничего об этом слышать и порывал с теми, кто начинал говорить с ним о подобных вещах. Высоко оценивая лучшие страницы дилогии о Генрихе IV, историк пишет, что, создавая этот образ, дядя думал о... Сталине. "Если бы Бисмарк жил сегодня, — считал Генрих Манн, — он был бы на стороне Советского Союза". Приводит Голо Манн и другие удивительные примеры историко-политической близорукости "левого брата" своего отца, называя это "волшебным неведением". Райх-Раницкий, рассуждая о том же качестве, определяет его как "смесь волшебства и неведения".

Слово "волшебство" довольно часто встречается у обоих корреспондентов. Критик мог назвать главу о Генрихе и Томасе Маннах из своей книги "Томас Манн и близкие" — "Король и антикороль". Для Голо Манна такое название неприемлемо. Причиной тому не только расположенность племянника к симпатичному человеку, но и отношение к хорошему писателю. В одном из своих писем он вспоминает известного издателя С. Фишера, имевшего обыкновение говорить об авторах или произведениях, которых не хотел издавать: "Здесь нет *волшебства*". В книгах Генриха Манна его ироничный племянник находит *волшебство*.

Тонкое эстетическое чутье Голо Манна было сразу же оценено Райх-Раницким, пригласившим его стать постоянным автором "Франкфуртской антологии", где помещались лаконичные заметки о шедеврах немецкой поэзии, а также рубрика "Вчерашние романы, прочитанные сегодня". Именно там появлялись тонкие микроочерки и заметки историка о поэтических творениях Гёте и Гейне, Фонтане и Гофмансталя, о романе Я. Вассермана "Каспар Хаузер", о "Человеке без свойств" Р. Музиля и других известных произведениях. Позднее в своей автобиографии Райх-Раницкий признал Голо Манна "идеальным автором" литературного раздела газеты. Причину критик усматривал не только в недюжинных познаниях образованнейшего человека. "У меня было твердое правило, — вспоминает он в "Моей жизни", — которого я придерживался в редакционной работе. Литературный раздел должен читаться не только коллегами и специалистами, но по возможности всеми, кто интересуется литера-

турой. Голо Манну, в отличие от некоторых других сотрудников, я никогда не должен был напоминать о том, кому должны быть адресованы его статьи..."

Но то — в статьях. В переписке иногда интеллектуализм брал в Голо Манне верх над эстетическим чувством, и тогда обнаруживалось несогласие двух корреспондентов. Так, историку казалось, что критик склонен к преувеличению масштаба мировой славы Л. Фейхтвангера. Голо Манн подчас не мог абстрагироваться от личных, не всегда приятных воспоминаний о хорошо знакомом человеке, и дело было не только в симпатиях Фейхтвангера к Сталину. К примеру, соглашаясь с Райх-Раницким в том, что Арнольд Цвейг был "идеалистом", Голо Манн подчеркивает разницу между двумя "левыми" писателями: "Конечно, он (А. Цвейг. — *М. С.*) действительно читал своего Маркса, Фейхтвангер же не читал. По моим наблюдениям, Фейхтвангер не был по-настоящему умным человеком..." Оценка жесткая, наверняка небезосновательная, но в ней — увы! — нет ни слова о творчестве, о *волшебстве*.

Было бы упрощением искать причины многих оценок Голо Манна в его неприятии всего, что связано с СССР, марксизмом, "соцлагерем". Вовсе нет. Он, к примеру, с уважением пишет о работе, проделанной германистами из ГДР по подготовке нового издания книги Генриха Манна. Когда Райх-Раницкий предлагает Голо Манну высказаться о составленной поэтом Стефаном Хермлином и изданной вначале в ГДР антологии "Немецкая хрестоматия. От Лютера до Либкнехта", тот охотно соглашается. В рецензии иронизирует над подзаголовком, считая, что единственное стихотворение Либкнехта, помещенное в книге, "никудышное", а подзаголовок хрестоматии вызывает забавные ассоциации: "От Адама до Аденауэра" или "От Бетховена до Вилли Брандта". Тем не менее он отдает должное художественному вкусу Хермлина, а книгу в целом находит полезной и нужной. (Небезынтересно, что Райх-Раницкий называет эту рецензию Голо Манна "виртуозной".)

Широта взглядов и эрудиции в какой-то мере сближает обоих корреспондентов. Райх-Раницкий как литератор вырос на почве немецкой и славянской культур. Голо Манн, поживший в разных странах и владевший несколькими языками, проявлял интерес к фактам различных национальных литератур, включая русскую; он как будто унаследовал от отца интерес к русской культуре. Есть любопытное упоминание в одном из очерков: "...В 1948 г., во время летних каникул, я задержался в Пало-Алто, проходя интенсивный курс русского языка (как учится, так и забывается)..."

Диапазон интересов и выношенность оценок дают себя знать и в ответах Голо Манна на вопросник "Франкфуртер альгемайне цайтунг". Вот лишь некоторые из них:

Ваши любимые герои романов? — Герои Стендаля: Жюльен и Фабрицио.

Любимая историческая личность? — Бисмарк, несмотря ни на что.

Любимый прозаик? — Толстой.

Любимый поэт? — Гейне.

Какую историческую личность презираете вы более всего? — Гитлера.

В анкете, как и во многих письмах Г. Манна, поражает полная открытость, в то время как иным его эссе присуща тонкая ироничность. Объектами иронии могут быть литераторы и их творения, близкие Голо Манна и не в меньшей мере он сам. Райх-Раницкий иногда принимает предло-

женную корреспондентом стилевую манеру общения, но вскоре незаметно переводит разговор в плоскость серьезности и абсолютной доверительности. Эта особенность содержательной переписки делает ее по меньшей мере равнозначной частью всего тома.

Оба корреспондента проявляют друг к другу уважение и симпатию, явно возросшую за годы активной переписки. Можно сказать, что сотрудничество привело их к взаимному обогащению. Райх-Раницкий, вовлекший известного историка в круг постоянных авторов газеты, способствовал более полному раскрытию литературно-критической одаренности Голо Манна. В свою очередь последний, сам того не сознавая, помог популярному критику преодолеть известный монологизм и авторитарность суждений. Уже в 80-е годы за Райх-Раницким установилась репутация едва ли не вершителя писательских судеб в Германии; Голо Манн упоминает вошедшую в журнальный обиход характеристику Райх-Раницкого – "Верховный понтифик немецкой литературы". Но в опубликованной переписке обычно резкий в оценках критик как будто "бежит монолога", делая шаг навстречу собеседнику даже тогда, когда не вполне с ним согласен.

В своей автобиографии Райх-Раницкий назвал Голо Манна "благородным энтузиастом литературы". Составитель рецензируемой книги Фолькер Хаге имел основание назвать обоих участников эпистолярного разговора "энтузиастами литературы", то есть ее вдохновенными тружениками. Вдохновенными и, добавим, талантливыми. Они говорили о существенном и к тому же *слышали* друг друга. Последнее обстоятельство сделало их обмен мнениями подлинным *диалогом*, а диалог людей одаренных и искренних всегда содержателен и интересен.

Марк Соколянский

Любек

Жан-Филипп Туссен
Jean-Philippe Toussaint
[р. 1957]. Французский писатель.

Автор романов *Ванная комната* [*La salle de bain*, 1985], *Фотоаппарат* [*L'appareil-photo*, 1988], *Нерешительность* [*La réticence*, 1991] и др. На русском языке публикуется впервые.
Перевод выполнен по изданию *Monsieur* [Paris, Les Editions de Minuit, 1992].

Драган Великич
Dragan Velikic
[р. 1953]. Югославский писатель. Лауреат премии Милоша Црнянского [1988].

Автор романов *Вил Пула* [*Via Pula*, 1988], *Каракуль* [*Astragan*, 1991], *Площадь Данте* [*Danteov trg*, 1997] и др., сборников рассказов *Ошибочное движение* [*Pogrešan pokret*, 1993], *Стеклянный сад* [*Staklena bašta*, 1985], книг эссе *YU-тлантида* [*YU-tlantida*, 1983], *Хранилище* [*Deponija*, 1984], *Состояние дел* [*Stanje stvari*, 1998].
Публикуемый рассказ *Белград* [*Beograd*] получен от автора в рукописи.

Норман Мейлер
Norman Mailer
[р. 1923]. Американский писатель, поэт, критик, публицист.

Автор романов *Нагие и мертвые* [*The Naked and the Dead*, 1948; рус. перев. 1971], *Американская мечта* [*An American Dream*, 1965; рус. перев. 1993], *Призрак Харлота* [*Harlot's Ghost*, 1991] и др. В *ИЛ* были опубликованы фрагменты его романа-репортажа *Майами и осада Чикаго* [1971, № 1, 2], журнальные варианты романа-репортажа *Бой* [1978, № 10], биографического романа *Портрет Пикассо в юности* [1997, № 3, 4; 1998, № 8], роман *Евангелие от Сына Божьего* [1998, № 5].
Роман *Крутые парни не танцуют* [*Tough Guys Don't Dance*] был опубликован в 1984 г. издательством Random House [New York].

Урс Видмер
Urs Widmer
[р. 1938]. Швейцарский писатель.

Автор романов *Алоис* [*Alois*, 1968], *Конгресс палеолепидоптерологов* [*Der Kongress der Paläolepidopterologen*, 1989], нескольких романов-пародий, пьесы *Штан и Олли в Германии* [*Stan und Ollie in Deutschland*, 1979]. В *ИЛ* [1998, № 9] была опубликована его повесть *Рай забвения*.
Публикуемые рассказы взяты из сборника *До нас потоп* [*Vor uns die Sintflut*. Zürich, Diogenes, 1998].

Анри де Ренье
Henri de Regnier
[1864–1936]. Французский поэт, прозаик, с 1911 г. член Французской академии.

Автор многочисленных романов, в т. ч. *Каникулы благоразумного молодого человека* [*Les vacances d'un jeune homme sage*, 1903], *Встречи господина де Бреота* [*Les rencontres de M. de Breot*, 1904], *Грешница* [*La pecheresse*, 1920], а также стихотворных сборников *Игры поселян и богов* [*Les jeux rustiques et divins*, 1897], *Город вод* [*La cité des eaux*, 1902], *Крылатая сандалия* [*La sandale ailée*, 1906], *Зеркало часов* [*Le miroir des heures*, 1910] и др. На русский язык его стихи переводили В. Брюсов, Б. Лифшиц, И. Анненский, М. Волошин. В 1924–1926 гг. в Ленинграде вышло 19-томное издание его прозаических сочинений.
Публикуемые стихи входят в сборники *Ранние стихотворения* [*Premiers poumes*. Paris, Société du Mercure de France, 1899], *Глиняные медали* [*Les medailles d'argile*. Paris, Société du Mercure de France, 1900].

Эрнест Рейно
Ernest Raynaud
[1864–1936]. Французский поэт.

Автор поэтических сборников *Роща* [*Le bocage*, 1895], *Башня из слоновой кости* [*La tour d'ivoire*, 1899], *Венец дней* [*La couronne des jours*, 1905]. Ему принадлежат также воспоминания *Символистская баталия* [*La melée symboliste*, 1925]. На русский язык его стихи переводил В. Брюсов.
Публикуемые стихи входят в сборник *Знамение* [*Le signe*. Paris, Le Décadent, 1887].

Альбер Самен
Albert Samain
[1858–1900]. Французский поэт.

Автор сборников *В саду инфанты* [*Au jardin de l'infante*, 1893], *По краям вазы* [*Au flancs du vase*, 1898], *Золотая колесница* [*Le chariot d'or*, 1901, посмертно]. На русский язык его стихи переводили В. Брюсов, Б. Лифшиц, Г. Иванов и др.
Публикуемые стихи входят в сборники *В саду инфанты* и *Золотая колесница* [Paris, Société du Mercure de France].

Оливер Сакс
Oliver Sacks
Американский невропатолог и публицист; профессор невропатологии в Нью-Йоркском медицинском колледже им. Альберта Эйнштейна.

Автор неоднократно переиздававшихся книг *Мигрень* [*Migraine*, 1970], *Пробуждения* [*Awakenings*, 1973], *Упереться стопой* [*A Leg to Stand On*, 1989] и др.
Публикуемые очерки взяты из книг *Антрополог на Марсе* [*An Antropologist on Mars*. New York, Alfred A. Knopf, 1995] и *Человек, который принимал жену за шляпу* [*The Man Who Mistook His Wife for a Hat*. London, Pan Books, 1986].

Мигель де Унамуно
Miguel de Unamuno
[1864–1936]. Испанский философ, писатель.

Автор нескольких сборников стихов, романов *Мир во время войны* [*Paz en la guerra*, 1897], *Любовь и педагогика* [*Amor y pedagogía*, 1902], *Туман* [*Niebla*, 1914, рус. перев. 1973], *Авель Санчес* [*Abel Sánchez*, 1919, рус. перев. 1973]; драм *Сфинкс* [*Esfinge*, 1909], *Медея* [*Medea*, 1932] и др.; философских сочинений *Жизнь Дон Кихота и Санчо* [*Vida e Don Quijote y Sancho*, 1905], *О трагическом чувстве жизни у людей и народов* [*Del sentimento tragico de la vida en los hombres y en los pueblos*, 1913, рус. перев. 1997], *Агония христианства* [*La agonía del cristianismo*, 1931, рус. перев. 1997] и др., а также многочисленных статей и эссе, публиковавшихся в прессе. По-русски произведения М. де Унамуно печатались также в сборниках *Назидательные новеллы* [1962], *Избранная лирика* [1980], *Избранное* в 2-х томах [1981].
Книга *Об исконности* [*En torno al casticismo*], фрагменты из которой печатаются в журнале, была впервые опубликована в 1902 г. Перевод сделан по изданию Madrid, Espasa-Calpe, 1957.

Алексей Матвеевич Зверев
[р. 1939]. Доктор филологических наук, литературный критик.

Автор книг *Джек Лондон* [1975], *Модернизм в литературе США* [1979], *Американский роман 20-30-х годов* [1982], *Грустный, солнечный мир Сарояна* [1982], *Мир Марка Твена* [1985], *Дворец на острие иглы* [1989] и многочисленных статей, публиковавшихся в периодических изданиях, в т. ч. в *ИЛ*.

Переводчики

Ирина Всеволодовна Радченко
Переводчица с французского.

В ее переводах издавались произведения Г. Флобера, Ф. Жюллиана, Ф. Саган, Ж. Шардона и др. В *ИЛ* были опубликованы рассказы Ж. Жироду *На волоске* [1989, № 7], А. Камю *Ренегат* [1993, № 3], фрагменты книги Б. Ламблен *Мемуары девушки, сбитой с толку* [2000, № 4].

Лариса Александровна Савельева Филолог-славист, переводчица с сербского и хорватского языков, лауреат премии Библиотеки журнала "Иностранная литература" за 1997 г.	Автор ряда публикаций по современной югославской литературе в периодических изданиях нашей страны и Югославии. В ее переводе публиковались произведения Д. Илича, Д. Угрешич, В. Драшковича и др., работы югославских авторов по истории, социологии и политологии. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.
Владимир Олегович Бабков [р. 1961]. Переводчик с английского. Лауреат премии *ИЛ* [1991] и премии "Инолит" [1995].	В его переводе выходили произведения Т. Вулфа, О. Хаксли, Дж. Барнса, П. Акройда, Г. Свифта, В. Найпола, Р. Шекли и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.
Евгений Николаевич Колесов [р. 1951]. Поэт, переводчик с немецкого.	В его переводе издан роман М. Шпербера *Слеза в океане* [1991]. В *ИЛ* в его переводах выходили *Письма в Древний Китай* Г. Розендорфера [1993, № 1], стихи А. Густас [1996, № 2], повесть У. Видмера *Рай забвения* [1998, № 9].
Роман Михайлович Дубровкин [р. 1953]. Поэт, переводчик с ряда европейских языков.	Составитель английского раздела антологии *Из современной канадской поэзии* [1981]. В его переводах публиковались стихи Г. Гейне, Г. Ибсена, Т. Мура, Г. Лонгфелло, П. Ронсара, Ж. Дю Белле, Э. Пратта, Д. Лайвси, И. Лейтона и др. В *ИЛ* в его переводе были напечатаны стихи С. Малларме [1984, № 9], Ф. Р. Скотта [1986, № 5], Э. Неллигана, А. Дероше [1999, № 5].
Роман Георгиевич Шапиро [р. 1978]. Переводчик с английского.	В его переводе при поддержке Института *Открытое общество* [конкурс "Современная зарубежная художественная литература"] была опубликована повесть Э. Бёрджесса *Долгий путь к чаепитию* [2000].
Валентина Сергеевна Кулагина-Ярцева Переводчица с английского, испанского и польского языков.	В ее переводе печатались произведения Ст. Лема, У. Коллинза, Э. Дансени, О. Блэквуда, Х. Л. Борхеса, Э. Сабато и др. В *ИЛ* были опубликованы произведения А. А. Милна [1994, № 6], Дж. Апдайка [1995, № 1], Б. Шульца [1996, № 8].
Юрий Павлович Гусев [р. 1939]. Литературовед, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, переводчик с венгерского.	В его переводе изданы романы П. Сабо, Л. Немета, М. Сабо, Ш. Шомоди Тота. В *ИЛ* были напечатаны в его переводе повести *Тяжелый день* Д. Конрада [1991, № 4], *Безымянная могила* С. Эрдега [1998, № 5], *Дневники* Ш. Мараи [1993, № 12], фрагменты книги *Кино Жамбоки* И. Манди [1995, № 4], рассказы М. Корниша [1995, № 3], Л. Дарваши [1997, № 2].
Наталья Александровна Богомолова Кандидат филологических наук, литературный критик, переводчица с испанского. Лауреат премии *ИЛ* [1991].	Автор статей по истории испанской и латиноамериканской литератур, публиковавшихся в периодических изданиях. В ее переводе издавались произведения Х. Л. Борхеса, И. Альенде, А. Поссе, Г. Торренте Бальестера, О. Паса, М. Варгаса Льосы, Х. Кортасара и др. Статьи и переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

линия-арт

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ ▫ ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Тел./факс 953-3624, 201-2603

Галерея открыта для посетителей по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10 [illegible] 0
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1[illegible]
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пе[illegible]
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины французского художника Одилона Редона (1840—1916) *"Колесница Аполлона"* (1905—1914)

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://novosti.online.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7;
"Б.С.Г.-Пресс" —
ул. Гиляровского, д. 1;
В Санкт-Петербурге:
в магазине издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 9.02.2001.
Формат 70 × 108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 3923.
Тираж 12 750 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
103473, Москва,
ул. Краснопролетарская, 16.

ПЕРСОНА — журнал для широкого круга читателей, ставящий своей целью раскрытие качеств, которые формируют персону. У нас это личность, обремененная культурными традициями. Герои журнала — те, кто определяет лицо России в XXI веке. Мы рады всем, кому небезразлично состояние нашего общества вообще и культуры в частности. Наша задача — напомнить о вечных ценностях, рассказать о выдающихся современниках и уже вошедших в историю персонах.

ПЕРСОНА

ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

Подписной индекс **38678**.
Объединенный каталог «Подписка-2001».

[4] 2001

РОМАН ПЕРА УЛОВА ЭНКВИСТА "НИЗВЕРЖЕННЫЙ АНГЕЛ" / РАССКАЗЫ МИШЕЛЯ ТУРНЬЕ И БОГУМИЛА ГРАБАЛА / ИРИНА АДЕЛЬГЕЙМ О КНИГЕ МАРИУША ВИЛЬКА "ВОЛЧИЙ БЛОКНОТ" / СТИХИ ЭДУАРДО КАРРАНСЫ / "АНАТОМИЯ СНОБИЗМА" АРТУРА КЕСТЛЕРА / ФРАГМЕНТЫ КНИГИ ФИЛИППА МЮРЭ "ПОСЛЕ ИСТОРИИ"

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

ИЛЛЮМИНАТОР

019. Ник Кейв “И узре ослица Ангела Божия” **020.** Х.Л.Борхес/А.Бьой Касарес “Шесть загадок для дона Исидро Пароди” **021.** Том Вулф “Костры амбиций” [в двух книгах] **022.** Джозеф М.Кутзее “Осень в Петербурге” **023.** Алессандро Барикко “Шелк” **024.** Алессандро Барикко “Море-океан”

В нашей новой книжной серии “Иллюминатор” читайте лучшие произведения мировой литературы в лучших переводах

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала “Иностранная литература”
Факс: (095) 953 5061, e-mail: inostranka@rinet.ru

ИНДЕКС 70394
ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2001, №3, 1-288